

Н О В Ы Й
М И Р

3

1965

Н(О)ВЫЙ М(И)Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания ХLI

№ 3

Март, 1965 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Т. АХТАНОВ — Буран, повесть. Авторизованный перевод с казахского Е. Герасимова	3
Э. МЕЖЕЛАЙТИС — Лесная архаика, стихи. Перевел с литовского Д. Самойлов	57
НИКОЛАЙ ВОРОНОВ — Спасители, рассказ	60
И. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Продолжение	77
ХЕСУС ЛОПЕС ПАЧЕКО — Шесть стихотворений. Вольный перевод с испанского Константина Симонова	130
ВЛАДИМИР РУДНЫЙ — Маяк Каллбода	132
МАРИНА ЦВЕТАЕВА — Стихи разных лет	153
МАРГАРИТА АЛИГЕР — Чилийское лето. Окончание	167

ПУБЛИЦИСТИКА

ГЕНРИХ ВОЛКОВ — Человек и будущее науки	194
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Л. АЗДОВСКАЯ — История одной фальсификации	213
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. СТАРИКОВА — Герои Веры Пановой	230
-----------------------------------	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	239
И. Питляр. Записки сельского учителя.— А. Синявский. Есть такие стихи...— М. Рубинчик. С гочки зрения старожилы.— Ю. Манн. Белинский в изобра- жении Е. Серебровской.— К. Рудницкий. Три грани времени.— Н. Наумова. Сатира — это серьезно	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	260
Е. Гнедин. Глазами историка и современника.— Д. Лихачев. «Камни — немые, если человек не заставит их говорить». — Л. Лерер. Человек для людей.— А. Турков. Портрет деспотизма.— А. Рубакин. Нужное издание.— С. Осокин. Сокровища океана.	
КОРОТКО О КНИГАХ	278
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

Т. АХТАНОВ

★

БУРАН

Повесть

1

Коспан погнал отару в далекую Кузгунскую степь. Жена его Жанель осталась на зимовке с ягнятами, а своего молодого подпаса Каламуша он послал в большой аул. Надо было кое-что купить в колхозной лавке, потому что председатель колхоза Кумар последний раз при встрече обмолвился, что на отгонах собирается побывать сам Касеке. Остальное Коспан понял без слов. Касеке — это не кто иной, как Касбулат, главный человек в районе и к тому же давний друг Коспана. Еще на войне Коспан был под его началом, в каких только переделках они не побывали тогда вместе. Впрочем, было время, когда Коспан очень обижался на Касбулата. Даже совсем было разочаровался в нем. Но Коспан не злопамятный человек, теперь он уже забыл свою обиду, ну, если и не совсем позабыл, то во всяком случае она уже не мучит его. Сам Касбулат постарался, чтобы рана эта зажила.

Вдвойне дорожат своей дружбой те, кого судьба когда-то развела, если потом им снова посчастливится сойтись.

Раз Касбулат поедет на отгонные пастбища, то ему, конечно, никак не миновать Коспана. И приедет он к нему не как руководитель района приезжает к передовому чабану — не по долгу службы, а запросто, по-приятельски.

Коренастый, грузный, он легко выскочит из «газика» и весело воскликнет:

— Что ж ты, верблюд долговязый, не встречаешь гостей?

Ну кто же усомнится в том, что он соскучился по другу? Он крепко пожмет Коспану руку, его квадратное лицо с увесистым подбородком радостно засветится, а маленькие, суженные в улыбке глаза быстро обегут Коспана с головы до ног.

Еще в армии Касбулат прозвал высокого, нескладного Коспана, всегда стоявшего крайним на правом фланге, «долговязым верблюдом». Эта кличка, которой по-свойски наградил его на фронте любимый командир, напоминает Коспану о давности их дружбы, и на сердце у него теплеет.

Домой к Коспану Касбулат входит свободно, как свой, кричит с порога:

— А ну. Жанель, что ты там припасла для гостей?

Одинок жившая в безлюдной степи семья чабана всегда была рада любому гостю. А приезд Касбулата был в их маленьком домике счастливейшим событием. И Коспан и Жанель, с открытой душой выра-

жая гостю свои дружеские чувства, невольно отдавали при этом и должную дань уважения к тому высокому посту, который он занимал в районе.

Ведь Касбулат оказывал Коспану свое расположение не только тем, что по-приятельски навещал его. Не проходило собрания, чтобы он не отметил трудовых заслуг Коспана, ни один той чабанов не обходился без того, чтобы Коспана не премировали. Если бы не Касбулат, то, может быть, Коспан и не стал бы одним из самых прославленных в районе чабанов. Закрадывались такие мысли в голову Коспана. Он иногда начинал сомневаться, по заслугам ли воздаются ему почести, не думают ли люди, что все это потому, что он дружит с начальством. Недавно он смущенно сказал Касбулату:

— Что-то очень уж ты меня выдвигаешь, Касеке. Боюсь, что не по труду, а по дружбе.

Посмеялся тогда Касбулат над его сомнениями.

— Если думаешь, Коспан, что я даю тебе какие-нибудь побрякки, то попробуй-ка снизить свои показатели. Ох, как я тогда тебя вздую! Небось не забыл, как это бывало на фронте? — сказал он и весело захохотал. Потом вдруг сразу затих и заговорил задумчиво: — Нет, Коспан, мы в районе большие надежды на тебя возлагаем. Вот если бы ты на будущий год сумел дать от каждых ста маток... — Тут он запнулся и поглядел на Коспана так, будто боялся огоршить своего друга показателями, которых ждет от него район.

Когда Кумар сказал, что Касбулат собирается побывать на отгонах, Коспан подумал: «Неспроста едешь, хитрец, но зима нынче не та — сбудутся ли твои задумки?»

Тяжелой была эта зима для Коспана — зима шестидесятого года. Как всегда, он зимовал в урочище Костаган. Тут вокруг кошар был хороший травостой полыни и изени, но чабан берег его про запас и до второго снега кочевал на дальних пастбищах. Ничего не поделаешь, раз на его самую далекую от большого аула зимовку не завезли сена. Всю зиму он должен был держать овец на подножном корму и только изредка мог подкармливать их накошенным им самим чагиром.

Погода капризничала, и, после второго снега вернувшись к кошарам, Коспан долго не рисковал удаляться от них. Трудно ему было еще и потому, что как раз в этом году колхоз, решив увеличить поголовье овец, размахнулся слишком широко, не считаясь с тем, хватит ли кошар и чабанов, и Коспану пришлось осенью принять в свою отару дополнительно три сотни ягнят. С ними-то и было больше всего возни. Чуть занепогодит, и их уже не выгонишь из кошары, и они так жалобно голосят, мечутся из стороны в сторону, кидаются к чабану, как детишки к матери.

Коспан успел уже постичь все пастушьи премудрости — прошло четырнадцать лет, как стал чабаном. Далеко окрест нет урочища, где бы он не бродил со своей отарой. Знает, где какая трава, где какой глубины колодец. Знает все повадки овечьего рода. Он пасет овец грубошерстной казахской породы. Они хоть и выносливы, но очень боятся холодного ветра. Чабану надо угадывать все прихоти погоды, и Коспан умеет это делать, выбирая для выпаса подветренные склоны низких холмов.

Небольшую скирду заготовленного на зимовке сена он бережет про запас сколько может. Бережливо экономит он и зимние выгоны, заранее прикидывая в уме, как бы их лучше использовать. Но какие бы премудрости ни постиг опытный чабан, как бы он ни изворачивался, все равно не предусмотрит всех бед, которые может принести капризная зима. То снег ляжет такой глубокий, что овцам не пробиться до низкорослого

ковыля и изени; то вдруг после стужи наступит такая оттепель, что уже подумаешь: «Ну и рано же нынче пришла весна», — и вдруг снова ударят морозы, и так ударят, что овец не выгонишь из кошар; то зима затянется, и как бы ни берег сено, не останется и клочка его, и овцы начинают грызть ворота кошар; то рано придет весна, а потом подморозит, и гололед, как ножом, подрезает копыта овец.

Этой зимой Коспан рискнул перегнать свою отару на дальние пастбища только после того, как вокруг зимовки все уже было выщипано догола, а сена в стогу оставалось лишь для ягнят.

До Кузгунской степи от урочища Костаган сорок пять километров. Здесь нет колодцев, и потому летом тут не пасут скот. Коспан давно уже мечтал о нетронутом разнотравье этой открытой малоснежной степи. И вот, переночевав со своей отарой по пути к балке Иргаили, он сегодня к полудню добрался до этих обетованных мест. Если погода позволит, он пробудет здесь до весны. Севернее, километрах в десяти, у подножья холма Дунгара есть еще одна укромная балка. К ночи он загонит туда овец. Дня два-три Коспан выдюжит здесь один, а потом Каламуш приедет на санях, привезет из дому и из лавки все, что нужно, и тогда им горя мало. Вдвоем поставят они себе шалаш, укутают его войлоком потеплее, наломают побольше сухой таволги и карагача — жарко, с треском горят они, сиди и дыши теплым дымком, который так приятно шекочет ноздри, что слезы льются из глаз.

Отощавшие овцы нетерпеливо разбивали ногами тонкий пласт снега и жадно накидывались на застоявшуюся до сих пор полынь. Своего коня Коспан пустил пастись, а сам стоял на косогоре и удовлетворенно глядел на овец.

«Пай! Пай! — радовался он про себя. — Ишь как набросились! За всю зиму первый раз, бедняжки, наедятся досыта».

Во второй половине дня надвинувшиеся с севера облака стали заволакивать небо. И как-то сразу потеплело. Заслезилась, а потом и совсем растаяли тонкие иглы изморози. Померк блеск снега, и степь, казалось, погасла, притихла, легла на покой. В такие минуты Коспаном овладевала сладкая грусть. Душа его, так же как все вокруг, умиротворялась, и одиночество, к которому он уже привык в степи, становилось благодатью.

В блеклом, просеивающемся сквозь облака свете все в степи принимало мягкие и тем не менее ясные очертания. Одиноким холм Дунгара, черневший незаснеженной таволгой и карагачом, казался совсем близким. Дальше к западу тянулся пологий склон горы Айдобол. У ее подножья в низине хороший травостой. Но сейчас овцам и тут еще есть что пощипать.

Серые облака все плотнее окутывали степь, все теснее становился горизонт. Шестьсот овец Коспана, его конь, две собаки — и больше никого вокруг. Сонная тишина. Степь будто затаилась, подстерегая кого-то. Может, лиса взметнется сейчас вот на тот бугор?

Падают белые пушистые хлопья, мягко ложатся на старый, затвердевший снег. Все больше хмурится степь. Но Коспану жалко отрывать изголодавшуюся отару от сочной полыни. И вдруг в воздухе дохнуло сгущенной влагой. Взяв за повод своего Тортобеля, Коспан зашагал к овцам. Он насторожился, но еще не стряхнул с себя благостной умиротворенности. На спинах овец снег уже лежал толстым слоем, но они продолжали спокойно щипать траву. Только красавица Кокшулан — единственная в отаре белая овца с синим отливом — подняла голову и с недоумением посмотрела на чабана.

— Ну что, не насытила еще свою утробу? — посмеялся Коспан.

Кокшулан ответила ему что-то по-своему. И тогда все овцы, одна за другой, стали поднимать головы. С дальнего конца отары подал свой зычный голос черный длиннорогий козел-вожак. Отара, почувствовав в его голосе тревогу, быстро сгрудилась. Сука Майляк, только что со свернутым колечком хвостом обхаживавшая кобеля Кутпана, жалобно заскулив, приткнулась к ногам чабана и тоскливо поглядела на него. Теперь только один Кутпан безмятежно лежал на краю отары.

Задувший с севера ветер будто ледяным языком лизнул по щеке Коспана. Не успел Коспан переседлать лошадь, как сильный удар ветра рассек воздух. Овцы испуганно заблеяли, стали теснее жаться в кучу. У Коспана упало сердце. С севера шел буран. Вихрь закружил густо падающую с неба белые хлопья, и снежная крутоверть мгновенно, как водоворот, захлестнула чабана вместе с его отарой.

Овцы, давя друг друга, пошли в подветренную сторону. Коспан, вскочив на коня, бросился наперерез отаре. Надо было скорее гнать ее в балку Дунгары. «Чайт, чайт!» — срывающимся криком погонял овец Коспан и жестоко стегал кнутом коня. Наконец ему удалось кое-как повернуть отару против бурана, но ледяной ветер легко пронизывал овец сквозь их грубую шерсть, и они пошли не вперед, а в стороны. Передние поворачивались боком, задние прижимались к ним. Как бы Коспан ни стегал овец, как бы ни надрывал голос, он не мог заставить их идти против ветра. Передние, те, что стояли на ветру, срывались вправо и влево, остальные устремлялись за ними.

Распльсавшиеся в степи снежные вихри бьют в лицо холодными, мокрыми шлепками. Тающий на ресницах снег заливаает глаза. Впереди, в белой кипящей мгле уже не видно холма Дунгара. Коспан колотит лошадь коленями, погоняет криком, кнутом. Он стервенеет от своего крика, от своих ударов, но его все время не оставляет мысль: как же это он так оплошал? Погнал бы отару раньше, и она была бы уже в балке. Никогда с ним такого не было. Не иначе, как быть беде.

Он злится на себя, и это еще больше ожесточает его. Нет, чего бы это ему ни стоило, он пробьется через эту снежную крутень.

Снег тает на лице, превращаясь в массу колючих иголок. Иней слепляет ресницы, режет глаза. Тортобель, низко опустив морду, долго фыркает — ноздри залепило снегом. Иногда у ног лошади промелькнет Майляк. Овцы едва-едва бредут. Ветер не слабеет, значит, до Дунгары далеко еще. Коспан кричит: «Чайт! Чайт!» — размахивает кнутом. Медленно, страшно медленно, но он все же, кажется, гонит овец против ветра. Но что такое? Его вдруг охватывает ужас — он понимает, что овцы топчутся на месте. Оказывается, все это время он только и делал, что заворачивал бежавших назад.

Грудью своего коня Коспан врзается в гущу отары. Сбившаяся в кучу отара раскалывается надвое и устремляется назад. Не помня себя, Коспан мчит наперерез ей. Он останавливает одну, другую овечку, но отару уже не остановить. Она уже не в его власти. Случилось то, чего он больше всего боялся и чего никак не мог предотвратить.

Жанель вовремя успела загнать ягнят в кошары. Впрочем, спасаясь от холодного ветра, они сами, обгоняя друг друга, спешили к теплу. Внезапно налетевший буран сразу поглотил кошары и вместе с ними низенький домик чабана.

Жанель с утра не отходила от ягнят, и в доме за день настало. Она зажгла керосиновую лампу, затопила печь и налила во вмазанный в нее

чугунный котел воду. Когда разгоревшийся кизяк обдал жаром ее лицо и Жанель немного отогрела у огня окоченевшие руки, она вспомнила и пожалела, что, отправляя Каламуша в большой аул, велела ему не торопиться и на обратном пути переночевать у деда. Но разве она могла поступать иначе? Своих детей у Жанель нет, и Каламуш для нее как родной сын, хотя его отец, старик Минайдар, живет по соседству. Когда Каламушу было еще пять лет, мать у него умерла и Жанель взяла мальчика на свое попечение. Вскоре он стал звать ее мамой, Коспана — отцом, а своего родного отца — дедом. Его самого при рождении называли Галим-жаном, а потом стали ласково звать Каламушем и до сих пор так зовут, хотя ему идет уже двадцатый год.

Как ягненок, которого кормят две матки, Каламуш — сын двух семей. В прошлом году он окончил десятилетку и пошел к Коспану в подпаски. Коспан и Жанель души не чают в нем, кормят, одевают его. Но старик Минайдар все еще не сказал того заветного слова, которого они давно уже ждут от него. Жанель не раз напоминала Коспану, что у старика есть другие дети и надо бы ему намекнуть, что он должен уступить им Каламуша. Коспан отвечал, что Минайдар — неглупый человек, сам должен догадаться, а раз молчит, значит, не может иначе. Но Жанель от этого не меньше, а еще больше любила Каламуша.

Обогревшись у огня, Жанель вдруг спохватилась, будто вспомнила, что не сделала еще чего-то нужного, быстро оделась и вышла из дому. Уже смеркалось. Буран разыгрался вовсю. Перед дверью намело сугроб. Она немного прошла по колену в снегу и остановилась, ничего не видя вокруг. Послушала, как воев вьюга, и испугалась: «Как бы ветер не угнал Коспана вместе с отарой». Беспомощно стояла она в снегу, не зная, что ей делать, как помочь мужу. Когда она вернулась домой, свет лампы едва мерцал в клубах заволочшего кухню пара. Вода в котле выкипала. Ах ты боже мой, она забыла положить в котел мясо. Весь день маялась с ягнятами, продрогла, устала. Села попить чая, но... Хоть и не привыкать жене чабана к тревожным вечерам в одиночестве, но сегодня она напрасно успокаивает себя, что Коспан не первый год пасет овец — наверняка найдет, где укрыться, не в таких еще передрыгах бывал.

Кизячки угольки, обволакиваясь пеплом, потихоньку гаснут. В кухне темнеет. Тихо. Только снаружи глухо доносится жалобный вой бурана. Задумавшись, Жанель долго сидит не шевелясь. Теперь ее тревожит, как бы Каламуш, увидев, что погода портится, не заспешил домой. Конечно, хорошо бы, чтобы он приехал, но вдруг собьется с пути, замерзнет или встретит волков и наглупит сгоряча — знает она его характер. Снег с чуть слышным хрустом бьет в окно. Двери, кажется, скрипят. Или это только чудится Жанель? Она все время тревожно прислушивается. Чует ее сердце какую-то беду. А вдруг Коспан или Каламуш блуждают в бурани где-нибудь поблизости?

Совершенно потеряла Жанель покой. Еще раз вышла из дому. Постояла, прислушиваясь к вою ветра. Ветер дул все в ту же сторону.

После того как продрогнешь на холоде, приятно подремать в тепле. Вернувшись домой, Жанель не раздеваясь садится, поджимая под себя ноги, у печки, прислоняется спиной к стене, скрещивает руки на груди. Огонь лампы бьет в ее сомкнутые глаза.

...Солнечный летний день. Жанель хлопочет у котла. Пламя глиняной печи обдает жаром лицо, солнце припекает спину. Она вынимает из котла сваренное мясо. Неподалеку сидят Коспан и Каламуш. Майляк тянется мордой, заискивающе виляет хвостом.

— Угости уж, подкинь ей косточку, — говорит Коспан. Конечно, это он, Коспан. Жанель видит каждую морщинку на его темном, задубевшем лице со слегка впалыми щеками и округлыми скулами, его черные жест-

кие усы. Он сидит сгорбившись, поджав под себя ноги, и, по-детски тараща глаза, ласково глядит на нее. От этого взгляда Жанель, как всегда, становится легко на душе. Ей хочется рассказать Коспану, как она тревожилась, мучилась за него, но она никак не может вспомнить, почему ей было так страшно. Он сидит сейчас рядом, спокойный, улыбающийся. Вдруг начинает темнеть. В небе поет жаворонок. Голос у него какой-то необыкновенно звонкий. Коспан и Каламуш куда-то исчезают. Кругом уже темно. А жаворонок все звенит и звенит.

Проснувшись, Жанель испуганно открыла глаза, оперлась на руку, чтобы встать, но не встала. В комнате было темно. Огонь в лампе угасал. Дребезжал будильник, который Каламуш заводил, чтобы встать ночью и заглянуть в кошары. Она вспомнила, что ни Каламуша, ни Коспана нет дома, и вскочила на ноги. Бессовестная, как же она так долго проспала! О боже мой, бурана все еще воет.

Должно быть, скоро начнет светать — в степи кромешная тьма, небо будто обвалилось, придавило землю. Сколько ни прислушивалась Жанель, кроме воя бурана, она ничего не слышала. В ту сторону, куда дул ветер, километрах в пятнадцати зимовка старика Минайдара. А дальше в степи ни одной живой души. Ни шалаша, чтобы обогреться, ни куста, чтобы укрыться от ветра, и там где-то в буране бродит Коспан со своей отарой. Пустая, кипящая тьма. Кричи — ни до кого не докричишься, беги — пропадешь в этой кромешной тьме.

Снег сыпался Жанель за воротник, но она стояла неподвижно, словно остолбенела. Так же вот стояла она однажды зимой с конвертом в руке. Пять месяцев ждала она с фронта письма от Коспана. И наконец получила — адрес на конверте был написан чужой рукой. В предчувствии недоброго заколотилось сердце. Затряслись руки. Сначала она ничего не могла понять: «...Ваш муж пропал без вести»... Что это значит? Куда пропал? Почему без вести? Ясно было только, что с Коспаном стряслось что-то нехорошее.

У Жанель тогда от волнения подкосились ноги, и она села на снег. Несколько дней после этого она не выходила на работу, сидела дома как опущенная в воду. Притих и озорной, непоседливый, все вверх тормашками переворачивавший в доме четырехлетний баловень Мурат. Если и расшумится иногда, то, поглядев на мать, сразу же притихнет. Соседи утешали ее: «Благодари бога, что не убит. А раз не убит, значит, вернется. Другие бабы похоронные получили — и живут. А тебе-то чего голову терять? Пожалей ребенка». Это помогло. Жанель пожалела Мурата и взяла себя в руки. Но Коспан в самом деле пропал без вести, и тоска по нему с каждым днем становилась все острее.

Счастье, которым полна была ее жизнь в последние пять лет, будто ветром сдуло. Осталось только чувство невозвратимой утраты. Жанель казалось, что вернулись самые горькие дни ее сиротского детства.

Родители ее умерли в тридцать втором голодном году. Жанель тогда приютил дальний родственник Жумаш. Жена его была сварливой бабой, но это не помешало сироте прижиться в их семье. Тихая, покорно сносившая все, она, как говорит народ, входила в дом вместе с дровами и выходила вместе с золой. Хозяева на нее не тратились. У них была дочь чуть старше ее, и Жанель ходила в том, что на хозяйскую дочь уже не лезло, доедала то, что та оставляла на тарелке.

Так Жанель росла и незаметно для себя стала взрослой девушкой. Привыкшая к своей сиротской доле, она ни разу не взбунтовалась, пока однажды не услышала разговора своих хозяев.

— Надо, думаю, поговорить с этим Турсаном. Бедняжка уже давно обнимает в постели свое голое колено. Я-то, конечно, завела речь изда-

лека, с подходом, но он сразу понял меня и обрадовался,— говорила хозяйка.

— Чего мелешь-то? — не понял ее Жумаш.

— Ничего не мелю: Я о Жанель говорю. Девке давно уже замуж пора, сохнет. А Турсан — мужчина еще в силе. Хоть люди и называют его сморчком, но хозяйство у него крепкое. Конечно, так просто, на тебе, бери, не отдадим ему девку, которую столько лет одевали и кормили. Ни много, ни мало, а корову-то и четырех овец отдаст нам.

Жанель не дослушала. Она выскочила из дому. Турсан... Лицо с кулачок, сморщенное, как печеное яблоко, в рыжей бороденке перечтешь все волоски. Ростом на голову ниже Жанель. С утра до ночи возится на своем крошечном дворике, огражденном камышовым плетнем. Когда, надев передник, доит корову, головой упирается ей в живот. Слова из него не вытянешь. Только заулыбается, еще больше сморщится и закивает головой: да, да. Когда Жанель услышала, какого жениха ей прочит хозяйка, ее всю передернуло, словно ей за пазуху сунули лягушку. Впервые взбунтовавшись тогда, она убежала далеко в степь и до поздней ночи не возвращалась домой. Никто еще не заглядывался на Жанель. Конечно, бывало, и не раз, что аульские парни лезли к ней, когда она спала во дворе, но она понимала, что им нужно от нее. и быстро отваживала таких ухажеров. «Подумаешь, какая гордая! — издевались они.— В чужом доме живет, а ломается, как ханская дочь». Но что бы ни было, а о Турсане она и думать не хотела.

На ее счастье Жумаш, хотя он ничего не имел против этой свадьбы, решил, что раньше надо выдать свою дочь. А тем временем в ауле появился один незнакомый джигит. Говорили, что он работает в райисполкоме, приехал сюда к своему дяде по матери, что ему уже за двадцать пять перевалило, но он еще не женат. Иногда он прогуливался один по косогору возле аула, и это всем тут было в диковинку. Жанель старалась не замечать его — не для нее, сиротки, такой джигит. Но однажды, когда она пошла на речку за водой, они встретились и перекинулись несколькими словами. Оказалось, что у этого крупного, рослого человека открытое, доброе, как у ребенка, лицо. И глаза он тарашит совсем по-детски. Жанель сразу же почувствовала к нему расположение.

После этого они еще несколько раз встречались, и всегда так вот, случайно. Джигит не навязывался, но при нечаянной встрече всякий раз пытался завести разговор. Жанель смущалась, и он сбивался, умолкал. Ох, до чего же застенчивы аульские девушки! Попробуй подступись к ним джигит, брось нежный взгляд — покраснеют, отвернутся и уйдут прочь, а потом...

Будто весной дохнуло на Жанель. Она все время была в каком-то счастливом ожидании. Как-то ночью, проснувшись во дворе на кошке, она почувствовала чью-то теплую руку, гладившую ее волосы. Не раскрывая глаз, Жанель, как ребенок, отдалась этой тихой ласке. Она сразу поняла, что это он. Потом вдруг горько подумала: «И тебе нужно только одно»,— отвернулась и укрылась одеялом с головой. Коспан не уходил, но уже больше не гладил ее волосы, сидел молча, и она спиной ощущала его близость.

— Жанель, мне нужно поговорить с тобой,— сказал он немного погодя.

Она не ответила, но горечь обиды уже прошла. «Нет, он не такой, как все, он хороший»,— подумала Жанель. И сейчас ей было бы очень жаль, если бы он встал и ушел. Вместе с ним ушло бы что-то, без чего ее жизнь станет пустой. Она вспомнила о Турсане, и внутри у нее все содрогнулось от отвращения к этому сморчку. Нет, только не Турсан... Жанель повернулась на другой бок, лицом к Коспану. Он крепко обнял

ее за шею, прижал ее голову к своей груди. Она почувствовала на своем лице его горячее дыхание. Он стал целовать ее мокрые от слез глаза. Никогда не знавшая ласки, она таяла сейчас, как снег на весеннем солнце. Вместе с этим теплым чувством в ней проснулось что-то другое. Ее вдруг охватила сладкая, незнакомая до сих пор дрожь, закружилась голова, и она все сильнее прижималась к его груди.

Коспан привел к Жумашу лошадь, подаренную ему дядей, и Жумаш, успокоившись на этом, отдал ему Жанель. У нее началась новая жизнь в районном центре. Она будто заново родилась там. Трудно ей было привыкнуть сразу к своему нежданно-негаданно свалившемуся счастью. Вечером, когда, ставя на крыльце самовар, она замечала возвращавшегося с работы Коспана, ею овладевала такая радость, что, не будь это стыдно для женщины, она побежала бы навстречу, бросилась ему на шею. И он, беря из ее рук топор, чтобы прежде, чем войти в дом, поколоть дрова, так нежно глядел на Жанель, что у нее кровь прилиwała к лицу. В ту первую ночь она выплакала со слезами все свое сиротское одиночество и всей душой предалась Коспану. Кто еще мог дать ей столько счастья, сколько дал ей Коспан?

...Буран не унимался. В зыбком сером свете видно было только на длину аркана, а дальше все тонуло в снежной мгле. Иногда там будто что-то мелькнет или послышится. Жанель настораживается, замирает. Но нет, ничего не видно и не слышно. Только ветер бушует, буран кипит в степи, как в адском котле. Где Коспан? Не стражлось ли с ним чего?

...Война отняла Коспана у Жанель. Отняла все, чем она жила. Если бы не маленький Мурат, она снова осталась бы совсем одна. Она нянчилась с мальчиком, но мысли о муже ни на минуту не покидали ее. Жанель не могла ясно представить себе, что там, на войне, происходит. Она знала только, что там могут убить Коспана, и молила судьбу, чтобы он остался жив. И вот пришло написанное чужой рукой письмо. Она не хотела верить, что Коспан погиб, все еще ждала от него какой-нибудь весточки, но он точно в воду канул. Снова и снова перебирала в памяти прожитые с ним годы. И дома, и на дворе все было сделано его руками, всюду остались его следы. Вот эта табуретка, когда-то светло-зеленая, а сейчас поблекшая, этот стол, покрытый клеенкой, сделаны его руками, и эту книгу в потрепанной обложке он держал в своих руках, читал, шевеля толстыми губами. И калитку перед их маленьким домиком он ставил сам. Помогавшая ему тогда Жанель видела, как он вбивал каждый гвоздь. Опустившись на одно колено, он двумя ударами загонял в доску гвоздь по самую шапку и, вынув изо рта следующий, с удовольствием приговаривал: «Сиди так». И вешалка тоже сделана им самим. Жанель растроганно вспоминала, как, строгая доску, ему приходилось изгибаться и как он в напряжении прикусывал тогда губу. На вешалке долго висело его черное длинное пальто. Когда Жанель приходила с работы домой, ей казалось, что Коспан только что снял его со своих плеч. Но после того, как Коспан пропал без вести, это пальто стало наводить на Жанель уныние, и она спрятала его в сундук. Она работала грузчицей в конторе «Заготживсырья», целые дни ворочала и таскала тюки шерсти и овечьих шкур. Летом ее часто посылали в колхоз то на прополку, то на уборку, зимой — на снегозадержание. Вернувшись домой усталая, голодная, она долго не могла уснуть, все переключивалась в постели с боку на бок, думая о Коспане, место которого пустовало рядом. Она думала, какой он был удивительно добрый. Не было случая, чтобы он кого-нибудь обидел. А если его кто-нибудь обижал или оскорблял, он

смотрел на этого человека с таким укором, что тот в смущении опускал глаза.

В день отъезда на фронт Коспан занимался всякими пустяками, разговаривал с чужими людьми, но по взглядам, которые он искося бросал на жену и сына, Жанель видела, как ему тяжело расставаться с ними и как он скрывает это. Прощаясь, он сказал только:

— Ну, Жанель, не падай духом. Береги Мурат-жана. Но разве может Жанель забыть, как он в последний раз взглянул на нее, полный тоски и такой боли, будто у него из груди вырывали что-то с кровью... «О боже! — молилась она. — Он не обидел ни одной живой души, будь же и ты милостивым к нему».

Мурат... Мурат-жан. Это имя дал ему отец. Сколько радости принес в их маленькую семью этот смуглый толстячок-крепыш, который из года в год, идя в рост, все больше становился похожим на отца. И глаза у него были такие же, как у Коспана, круглые, чуточку навывкат, только с хитринкой. Страшный был шалунишка — поколотит соседского мальчонку и сейчас же прибежит к матери и объявит: «Мама, я ка-ак дал Абиатаю»... Но не случилось, чтобы он не поделился с товарищем, когда тот что-нибудь попросит. А похвастаться любил: «Мой папа как трахнет фашистов! Из винтовки пух! пух!» Начнет играть в войну, все в доме перевернет, а потом утихомирится и захнычет: «Мам, а когда же папа придет?» Жанель утешала его: «Придет, ягненок мой, скоро придет», — а сама украдкой вытирала глаза. Однажды, когда она вернулась с работы, Мурат, строгая кухонным ножом доску, мастерил себе кораблик и при этом точь-в-точь, как Коспан, прикусывал себе губу. Как нежно она прижала тогда к себе сына!

Жаппасбай... До сих пор она содрогается, вспоминая о нем. Узколобый, с длинным носом, уткнувшимся в верхнюю губу, с изогнутым крючком подбородком, похожий на козла, он имел большую власть над бабами, потому что был в райисполкоме главным начальником по трудовой мобилизации. И вот этот Жаппасбай, считавший себя хозяином всех баб в районе, которых мог гонять на работу, покрикивая на них и грозно сверкая своими глазками, как-то вечером, когда Жанель уже собиралась ко сну, вдруг явился к ней в гости. Он вошел в дом не постучав, и Жанель растерялась, не понимая, с чего такой большой начальник пришел к ней так поздно.

Скинув шубу, Жаппасбай по-хозяйски расселся на нарах.

— Чайком пришел угоститься у тебя.

Не прогонишь же гостя, хотя и угощать его нечем. Жанель поставила самовар, накрыла стол скатертью, нарезала черствой булки. Жаппасбай вытащил из кармана шубы сверток с вареным мясом, сунул Жанель: «На, нарежь», — затем поставил на стол бутылку водки и предложил ей выпить с ним. Она отказалась. Пока Жанель, не подымая глаз, наливала ему чай, он опорожнил стакан водки, сгреб пятерней мясо с тарелки, запихал его в рот.

— Ах, забыл, я же принес тебе гостинчик, — спохватился он, прожевывая мясо, и тут же вытащил из кармана пиджака горстку круглых, облитых соринками и пушинками конфет.

Жанель все еще не находила ничего предосудительного в поведении гостя. Ее смущало только, что он пришел к ней в слишком поздний для мужчины час.

Когда он напился и наелся, Жанель убрала со стола скатерть. Пересев на нары, Жаппасбай преспокойно, как ни в чем не бывало, сказал:

— Ну чю ж, теперь постели.

— Как это «постели»?

— А ты что, не понимаешь? Я ведь пришел к тебе поспать.

Жанель и сейчас при воспоминании об этом передергивает всю от чувства гадливости. Чего только не наговорила она тогда, оскорбленная его наглостью.

Жаппасбай сначала растерялся от поднятого ею крика, смущенно забормотал:

— Ты что это... Я же тебя... — но потом заговорил иначе: — Смотри, пожалуйста, какая, ломается еще... Не знаешь, какие девушки сохнут по Жаппасбаю. Не чета такой растрепухе, как ты.

Распахнув руки, он самодовольно шагнул к ней. И откуда у нее тогда взялись силы так стукнуть его в грудь двумя кулаками, что он тут же растянулся на полу?

С тех пор Жаппасбай возненавидел ее. В последнюю военную зиму он как-то нарядил Жанель на подвязку сена к далеким колхозным отарам. «А куда я своего ребенка дену?» — взмолилась она. Но Жаппасбай и слушать ее не стал, закричал, что он не может потакать женам тех, кто продался фашистам. У Жанель голова пошла кругом — при чем тут ее муж? Она ничего не поняла. Набегалась она тогда, пока упростила одну жившую с ней по соседству одинокую женщину присмотреть за Муратом. Потом целую неделю на подвозке сена она была в страшной тревоге за сына. И не зря тревожилась. Соседка захворала и не уследила за Муратом. Вернувшись, Жанель застала его лежавшим в жару. С дрожью в коленях она металась между своим домом и домом соседки, где лежал больной Мурат: ей долго пришлось топить печь, пока она обогрела свою промерзшую, как сарай, комнату.

Когда фельдшер делал ребенку укол, тот не шевельнулся, лежал, как мертвый. Жанель вспомнила, как Мурату, тогда еще совсем маленькому, впервые делали укол. В тот раз, когда в спину ребенка вонзили иглу, Коспан, державший его на руках, весь сжался от боли и до крови прикусил нижнюю губу; будто это не ребенка кололи, а его самого, и не иглой, а штыком. Казалось, из его расширившихся в ужасе глаз вот-вот хлынут слезы. И сейчас у Жанель стоит перед глазами Коспан с ребенком на руках. Не уберегла она его. После укола Мурат успокоился, раскрыв глаза, шевельнул губами, наверное хотел сказать «мама», и затих. До полуночи она сидела над ним, а потом свалилась от усталости в постель. Ее разбудил надрывный плач ребенка. Испуганно вскочив, она долго не могла найти лампу. Мурат исходил криком, весь посинел, глаза закатились, руки и ноги свели судороги. Жанель не находила себе места. С ребенком на руках она металась по комнате.

...Две женщины держали ее под руки у небольшой ямы с бугорком смешанной со снегом желтой глины. Люди опускали в мерзлую землю ее маленького, завернутого в тонкую бязь сына. Не помня себя, Жанель оттолкнула державших ее соседок, вырвала Мурата из чужих рук и побежала. «Не отдам!.. Не отдам!» — кричала она, как безумная, пока не потеряла сознание.

Жанель думала, что не переживет этого нового удара судьбы. Изодня в день она ходила на косогор кладбища, стояла у маленького заснеженного бугорка, под которым в мерзлой глине лежал ее малыш.

Уныло тянулись эти черные дни. По вечерам приходили соседки, старались отвлечь Жанель от ее горя, говорили, что женщина не должна так сокрушаться — это не приводит к добру, лучше бы молила бога, чтобы Коспан вернулся с войны невредимым. что оба они еще молоды, не одного ребенка будут нянчить, и что война, по всему видно, идет к концу.

И Жанель, совсем уже потерявшая надежду, что Коспан жив, снова начинала думать: «А может быть, и верно, он еще вернется». Но чем она его, беднягу, обрадует, если он вырвется живой из этого адского пекла?..

Буран не утихает. Жанель с ужасом глядит туда, куда Коспан угнал свою отару. Кругом, как говорят, не увидишь ушей лошади, на которой едешь,— беспросветная воющая кипень. Буран все выше намечает сугробы у низенького домика чабана, а Жанель все стоит и стоит у ворот — одинокая фигура в серой кипящей мгле.

3

Коспан уже отчаялся укрыться за Дунгарой. Разбушевавшийся буран отбросил его от спасительной балки и вместе с отарой гнал все дальше и дальше от нее. Впереди — открытая степь Кара-Киян с голыми пологими, далеко отстоящими один от другого холмами. В эту зимнюю пору там не встретишь ни одной живой души. Холодная дрожь пробегала по спине Коспана, когда он думал, что его с овцами ждет там, впереди. Все усилившийся ветер неумолимо гнал отару на верную гибель. Если он не уцепится за что-нибудь, не остановит овец, то Кара-Киян поглотит их в свою чудовищную пасть. Но уцепиться не за что было. Как всадник, взбесившаяся лошадь которого несется прямо в пропасть, изо всех сил старается свернуть ее в сторону, так и Коспан пытался повернуть овец вправо, наискосок ветру. Там, километрах в пятидесяти, начинались пески Кишкене-Кумы. Уютное, тихое убежище на краю обжигающей, как железо в мороз, губительной равнины Кара-Киян. Там множество песчаных ям, и в любой из них можно укрыть овец не хуже, чем в кошаре.

Казалось, давно бы пора наступить утру, но рассвета не видно было. То чуть-чуть посереет, то снова все вокруг затянет мраком. Шестьсот овец, слившихся в одну массу, уносило ветром, как легкую кошму. Она то сжималась, то снова растягивалась, словно резина, и тогда края ее исчезали в бурлящей тьме.

Тепло одетому, привыкшему и к зною и к стуже Коспану не страшен был ледяной ветер. Тем более что к седлу его была приторочена тяжелая баранья шуба. Он гнал овец, то сидя на коне, то ведя его на поводу. Но мерзнувшие на ветру овцы уже потеряли свою прыть, шаг их стал медленнее, тяжелее. И все же Коспану трудно было повернуть их вправо. Они хоть и тихо, но упрямо шли к страшной степи Кара-Киян. По расчетам чабана, они прошли уже километров двадцать, а может быть, и больше. «Хоть бы к утру затихло,— думал он.— И то нелегко будет добраться до зимовки. А если буран затянется?» Где же они все-таки сейчас находятся? Вчера, отбросив их от Дунгары, ветер погнал отару к тем холмам, за которыми начинается Кара-Киян. Смог ли он повернуть овец в сторону Кишкене-Кумов?

Коспан чувствовал, что местность повышается и подъем становится круче. Передние овцы остановились было, но задние, подгоняемые ветром, смяли их, и отара пошла дальше. Чтобы узнать, куда это он попал, Коспан вскочил на Тортобеля и поехал вперед. В зыбкой тьме он ничего не видел и только по ногам лошади определял глубину снега. Перевалив через вершину холма, начал спускаться вниз. Ветер поутих, его леденящее тело порывы стали мягче. Казалось, что и в этом холодном, бесприютном мире где-то близко есть теплый уголок. То крайнее напряжение, которое держало Коспана всего, как туго натянутая пружина, стало ослабевать. Вместе с теплом, в котором оттаивали его скованные холодом суставы, он почувствовал страшную усталость.

Дергая шеей, Тортобель уже с трудом вытаскивал ноги из глубокого снега. Спуск становился круче, но до сознания Коспана не доходила подстерегавшая его опасность, пока лошадь не провалилась в сугроб по живот. Только теперь он сообразил, где находится. Конечно, это же те холмы, за которыми начинается Кара-Киян. холмы, обрывающиеся отвесными стенами в глубокие балки. Если овцы провалятся в них... Едва владея своим обмякшим телом, Коспан с трудом вытащил лошадь из сугроба, вскочил на нее и погна́л обратно.

Овцы уже подходили к гребню холма. Покрытых снегом, их едва можно было разглядеть в буране. С гиком налетев на отару, Коспан стал сбивать овец назад коленями лошади, свистящими ударами кнута, но эти обычно пугливые животные плохо подавались ему. Передние останавливались, но задние напирали на них. Задержав половину отары, чабан кидался к другой, но не успевал ее остановить, как первая срывалась с места. Подбадриваемый хозяином, старался изо всех сил и Кутпан. Снежная мгла скрывала собаку, но по ее хриплому, сердитому лаю видно было, как она бросается наперерез овцам, как, не пуская их вперед, присаживается на задние лапы, ложится, опять вскакивает и кидается на непослушных. Гневному лаю Кутпана вторил скулящий лай Майляк.

— Чайт! Чайт! Назад! — во весь голос кричал чабан. — Кутпан! Айт! Айт! — натравливал он на овец своего кобеля.

Буран гонит овец к пропасти. Коспан сорвал уже голос, снег бьет ему в глаза, в рот, при каждом выкрике ветер режет горло, горький запах лошадиного пота щекочет ноздри, но что ему до этого, когда он весь поглощен одним — повернуть овец в сторону. Моментами в глазах у чабана темнеет, и все овцы тогда превращаются в сплошную, движущуюся на него лавину. Не успевает он заткнуть одну промоину, как хлещет из другой.

Долго продолжался этот поединок Коспана со своей отарой на вершине холма. Он потерял всякое представление о времени и под конец уже плохо соображал, что происходит. Им руководило уже не сознание, а инстинкт. На него будто навалилась тяжелая глыба, и он чувствовал, что стоит ему на мгновение ослабить мышцы, как глыба эта тотчас задавит его. Позади была пропасть, спереди напирала сбиваемая с горы бураном лавина овец. Шаг за шагом овцы теснили его назад. У него закружилась голова. Где-то во тьме залаяла собака. Внизу, под ногами коня, копошились овцы. Будто издалека доносилась фыркanye запыхавшегося Тортобеля. Придя в себя, Коспан еще раз с гиком бросил коня вперед, но эта проклятая глыба снова наваливается на него откуда-то сверху, не дает дышать, давит своей страшной тяжестью...

Коспану казалось, что хлынувшая вниз лавина вот-вот сорвет его и погонит к пропасти. Он уже изнемогал под тяжестью навалившейся на него глыбы, и вдруг будто кто-то сбросил эту тяжесть, и он свободно вздохнул. Овцы, ринувшись было по склону холма к пропасти, вдруг остановились и повернули вправо. Коспан сначала не понял, что случилось, а когда понял, сразу почувствовал, что покинувшие его силы возвращаются к нему. По эту сторону холма ветер был мягче, овцы успокоились и подчинились воле чабана.

Коспан погна́л отару наискосок к гребню холма, под его прикрытием. Пригнувшись, потрепал Тортобеля по шее. Она была вся мокрая. Он чуть не запорол коня. Надо ехать скорее, а то Тортобель простудится.

Обогrevшиеся в затишке, овцы заленились, то и дело останавливаются. Коспан подгоняет их, чтобы поскорее убрались подальше от опасной балки. Перед глазами у него мельтешат снежинки, снег брызжет в лицо холодными искрами, леденеет на ресницах, сковывает их. Он тоже

согрелся, и его все сильнее клонит к дремоте. Время от времени он впадает в полусонное состояние, и тогда брызжащие в лицо искры заливают глаза сплошным матовым светом.

...Масса света. Огромная люстра, сотни скрытых повсюду ламп заливают им большой роскошный зал. Полно народа, все празднично одеты, и лица у всех по-праздничному просветленные. Это было в алма-тинском оперном театре. Коспану, не привыкшему к такому великолепию, все тут казалось сказочным. И он тогда тотчас проникся почтением к тем, кто в черных пиджаках и белоснежных сорочках, как галки на карнизе, сидел за столом президиума. В ярком, падающем сверху свете все они казались на одно лицо и отличались только тем, что одни были черноволосые, а у других лысые головы блестели, как бильярдные шары. А дальше, во втором ряду, темнели задубевшие лица чабанов.

Во время перерыва Коспан прошел в боковое фойе, к буфету. Там на нарядно накрытых столиках с белыми скатертями сверкали серебром бутылки, в вазах затейливо разложены были всяческие пирожные, сдобные булочки и прочая неведомая Коспану снедь. «Летишек бы сюда пустить,— подумал он.— А вот взрослому здоровому человеку закусить как следует тут, кажется, нечем».

Кто-то взял его под руку. Касбулат.

— Ну, как тебе совещание?

— Да вот, слушаем.

Широкий в плечах, но ростом невысокий, Касбулат смотрел на Коспана снизу вверх. Он подошел к нему с той сияющей улыбкой, которая всегда вызывала у чабана прилив добрых чувств к своему старому другу. Коспану было только немножко неловко, что он такой дылда и почтенному человеку, разговаривая с ним, приходится задирать голову. Касбулат повел его в большое фойе, где участники совещания прогуливались по кругу.

— Только что говорил с председателем. Скоро тебе дадут слово. Ну, как себя чувствуешь? Не собьешься?

Коспан вытащил из кармана листки с напечатанным на машинке текстом своей речи. Касбулат вручил ему эти листки еще в районе. Коспан не раз перечитывал их и в пути, и тут, в Алма-Ате. Он не очень-то был уверен, что сможет прочесть заготовленную для него речь так, чтобы люди подумали, что он сам это все написал. Да и как-то совестно было выдавать чужие слова за свои. Гем более что слова были совсем не те, какие он хотел бы сказать. Его взволновало выступление одного белобородого старика в черной, мелко расшитой тубетейке. Старик этот так откровенно выложил с трибуны все свои заботы и сомнения, будто вокруг него сидели одни чабаны. И Коспану захотелось многое высказать так же попросту. Но страшно было — такой роскошный зал, столько народа...

Касбулат подошел вовремя. Его широкое квадратное лицо, блестящее, как эмалированная кастрюля, маленькие глазки, светящиеся улыбкой из-под припухлых век — все выражало самое сердечное сочувствие и желание помочь.

— А ну-ка, дай мне, там еще кое-что надо посмотреть.

Странно, но низкий надтреснутый голос Касбулата чем-то напомнил тогда Коспану блеяние старой овцы. Касбулат сел на диванчик, уткнувшись в бумаги, кое-что зачеркивал, кое-что вставлял. Резкие складки у рта стали глубже, щеки обвисли. «И ты постарел».— подумал Коспан. Подняв голову, Касбулат пытливо глянул на него и чуть улыбнулся одними краешками губ.

— Если успеешь, посмотри еще разок. Главное — не волнуйся,—

подбодрил он Коспана, вернув бумаги, и похлопал его по плечу, будто своего скакуна огладил перед скачками.

Коспан почувствовал, что Касбулат волнуется за него, и решил, что не будет выступать по-своему, а то еще, не дай бог, подведет такого хорошего человека.

Откуда у него эта робость: оттого ли, что по своей доброте ему трудно отказать в чем-либо людям, или оттого, что его до сих пор еще гнетет груз, который взвалила на него неладная солдатская судьба? Надо было бы Коспану выложить с трибуны все начистую: вот как мы работаем, живем, вот что нам надо, а вы скажите, какие у вас планы и чем можете нам помочь. Поговорить по-человечески. А вместо этого он долго бубнил о своих показателях, о достижениях и обязательствах района.

Овцы двигались все медленнее и тяжелее — совсем размякли, укрывшись от ветра. И останавливались все чаще, сбиваясь в кучу, жалобно блеяли. Тут, на обратном склоне, снег был глубже, но Коспан решил, что, прикрываясь гребнем холма, он многое выиграет.

Под ногами его лошади, как всегда, путалась Майляяк. А перед глазами, как живая, стояла Кыз-Жибек. В мечте Коспана она жила с детских лет, а тогда в Алма-Ате он впервые увидел ее воочию. После оперы «Кыз-Жибек» народ хлынул из театра. У дверей люди сгрудились, как овцы при входе в кошару. В ушах Коспана еще звучал нежный голос Кыз-Жибек. Стоявший рядом с ним молодой чабан, чуть постарше Каламуша, взволнованно говорил:

— Вот где счастье-то! Все бы отдал, чтобы каждый день видеть такое. Ну и здорово же! Хоть улицу подметай, но живи в Алма-Ате, а то не узнаешь всей прелести жизни.

Коспан вспомнил тогда, как после его выступления на совещании к нему подбежал в перерыв тшедушный человек с густой сетью мелких морщинок на лице.

— Будем знакомы, аксакал, я — корреспондент. К завтрашнему номеру должен сдать заметку о вас. Давайте рассказывайте-ка о своем житье-бытье, а то время не ждет.

Он был до того худ, что челюсти его одна кожа обтягивала, и ребра, наверное, так же. Коспан даже подумал, не пригласить ли его на джайляу, чтобы бедняга немножечко поправился. Но уж очень шустрым и несерьезным оказался этот человек. Оборвав свой разговор с Коспаном на полуслове, он кинулся к своему проходившему мимо приятелю:

— Ты что, уже уходишь?

— А чего тут высидишь? Все говорят одно и то же.

— Вечером «Кыз-Жибек». Придешь?

— Надоела эта старая дева. Все прелести ее уже давно увяли.

Вспомнив этот разговор, Коспан посмеялся про себя — кто в чем видит прелесть!..

В лицо дохнуло холодом, еще мгновение — и снег залепил глаза, ветер захлестал по лицу. Перевалив наискосок через гребень холма, отара начала спускаться на равнину. Спасаясь от ветра, овцы сразу подались влево. Буран безжалостно гнал их в черную бездонную пасть Кара-Киян, и Коспану было уже не до вставшей вдруг перед его глазами Кыз-Жибек.

Каламуш думал задержаться в большом ауле денька на два. Отведя коня в колхозную конюшню, расседлав и кинув ему охапку сена, он прежде всего поспешил заглянуть в школьное общежитие. Небольшой саманный домик с некрашеными, разохшимися полами — как знакомо тут все Каламушу! В пятой комнате, в углу, на его бывшей койке валял-

ся горбоносый Саден. Этого коренастого парня с большим выпуклым лбом еще в первом классе прозвали Кук-Кошкар¹. Давно ли это было, а теперь он учится уже в восьмом.

— А, Каламуш-ага, приехал уже...— подняв голову с подушки, обрадованно сказал тот, будто только и дожидался Каламуша.

— Приехал. А ты чего тут валяешься один?

— Да вот заболел чего-то.— Кук-Кошкар сделал грустные глаза и свалился на подушку.

— Мигренью или ленью? — усмехнулся Каламуш.

— Ей-богу, правда. Температура тридцать восемь.— Вновь мигом оживившись, больной опять сорвался с подушки.

— А ну, давай-ка я прошуаю твоей пульс.

— Агатай! Агатай!² Честное пионерское, то есть комсомольское,— взмолился Саден, подбирая под себя ноги и пряча голову под одеяло.

Каламуш помял его слегка, стащил с койки и сам растянулся на ней. Как-никак он спал на этой койке добрых пять лет.

— Сегодня эта постель опять моя, а ты поищи себе другую,— объявил Каламуш, вставая, и сказал, что пойдет в правление, вернется вечером.— Не забудь чайку приготовить.

Кук-Кошкар скорчил хитрющую рожу.

— Зюбайде только шепни — она и мяса тебе наварит.

— Ах ты негодяй! — кинулся на него Каламуш.

Негодяй был уже в другом конце комнаты, но Каламуш поймал его, повалил на койку и опять стал тужить.

— Попробуй только сказать!

— Не буду, не буду, агатай! Пусть язык мой отвалится, если слово скажу. Она и сама узнает. Чего мне попусту страдать?

— Ну смотри, а то оторву голову и суну тебе под мышку. Будешь ее так носить.

Одуревший от скуки Саден забавлялся. Подтянув ноги к животу, свернувшись в клубок, он продолжал хихикать.

— Ойбай, не буду. Если даже на свадьбу позовешь, не буду, агатай.

Длинная улица с редкими саманными домиками под плоскими крышами. Шагая к конторе правления колхоза, Каламуш мог бы зайти в школу. Он обязательно заходит в нее, когда приезжает в большой аул с дальнего отгона. Любит он поговорить со своими бывшими учителями, важно пройтись по коридору, где чего только не вытворял бывало, любит постоять у своей парты, поглядеть на свои инициалы, которые он когда-то старательно вырезал на ее черной крышке. Скучает без него парта. Скучают и стойки волейбольной сетки во дворе. Но сейчас не время заходить в школу. Он зайдет в нее позднее, когда кончится последний урок. Тогда шумно высыпавшие из классов ребята, увидев его, разинут рты, подойдут гурьбой и, конечно, будут расспрашивать, что там, на дальних отгонах. По правде говоря, Каламушу нравится, когда ребята глядят на него, раскрыв рты.

Но не это только тянуло его в школу. Ребята ребятами, но позади их шумной гурьбы он, наверное, увидит Зюбайду. Она подойдет, посмотрит на него, сейчас же покраснеет и опустит свои черные, как агат, глаза. Ей неловко стоять одной среди мальчишек, но она не отойдет. Чтобы никто ничего не заподозрил, Каламуш будет рассказывать такое, что все уши развесят, но сам он ни на миг не упустит из виду Зюбайду. И наконец наступит момент, когда глаза их встретятся, и тогда он на небеса взлетит от счастья, потому что Зюбайда — единственная для него девушка на всем свете.

¹ Буквально — серый баран.

² Почтительное обращение к старшему.

В предвкушении этой радости Каламуш шагает по улице с блуждающей на губах улыбкой. А навстречу ему из конторы выходит председатель правления Кумар, крупный мужчина в черной бараньей шубе, ладно сшитой в талию. Наушники его шапки стоят на макушке торчком, точь-в-точь, как уши у осла. Нос у него мясистый, с круглыми ноздрями, вдавленный между выпуклых скул, веки пухлые, и черные зрачки из-под них едва светятся, как из глубоких щелей. Он идет быстро, куда-то спешит, но, увидев Каламуша, останавливается.

— Когда приехал, малец?

— Только вот.

— Как гам Коспан? Как отара?

У Кумара удивительно пискливый при его крупной фигуре голос. Кажется, что он с трудом проходит через тоненькое горлышко, вставленное в эту толстенную шею. А человек Кумар крутой, властный.

— Все в порядке, живы-здоровы.

Должно быть, занятый какими-то своими заботами, Кумар беспокойно вздергивает бровь, похоже, что он старается вспомнить, о чем ему надо еще спросить Каламуша. Пользуясь этим, подпасок спешит заговорить с председателем о том, ради чего он шел к нему.

— Ну как, Кумеке, насчет чабанской бригады? Когда мы еще с вами разговаривали об этом, но воз и ныне там. Если мы сейчас не возьмемся...

— Погоди, погоди об этом, — перебил его Кумар, — тебе надо скорее возвращаться к себе. Завтра должен приехать Касеке. Он здесь не задержится, скорее всего поедет прямо к вам. Коспан говорил тебе, чего нужно захватить в магазине? Так смотри же...

— А как же все-таки будет с тем, о чем я говорил? Когда дадите ответ?

— После, после потолкуем, сейчас некогда.

— А что, если я останусь до завтра?

Кумар, чуть подумав, сказал:

— Ладно. Переночуешь у меня, а завтра чуть свет поедешь. — Хлопнул Каламуша по плечу и быстро зашагал дальше.

Каламуш стоял в растерянности. То, о чем он хотел договориться с Кумаром, засело ему в голову еще в прошлом году, когда он прочел в газете, что где-то в Бурятии созданы комплексные бригады чабанов. Одна бригада на шесть, а то и на десять тысяч овец. Сама заготавливает корма, сажает и убирает кукурузу. Свое хозяйство, свои тракторы, свои машины. Он поделился тогда этой мыслью с Коспан-агой, но тот улыбнулся и махнул рукой: «Ох, милый мей, чего говорить о таких вещах, когда у нас даже подножных кормов зимой не хватает. Крутимся возле зимовки, пока овцы не выщипают тут все догола. Сколько я говорил, что нужны запасные базы, чтобы и зимой можно было сменять пастбища, а толку что?»

Все же Каламуш не отказался от своей мысли. Не по душе ему то одиночество, в котором живет чабан, месяцами не видя людей. Где их увидишь, когда твоя юрта под холмом одна-единственная в степи. Скучища. То ли дело будет, если создать чабанские бригады! Тогда, может быть, и Зюбайда переберется к чабанам. Да вот Кумара никак не проймешь. Только что Каламуш думал, что на этот раз он так не отступится от него, заставит серьезно поговорить с ним, готов был доказывать, спорить. А что получилось? Кумар похлопал его по плечу, как мальчишку, и ушел. Всегда вот так...

Разобидевшись на Кумара, Каламуш решил, что ночевать к нему не пойдет. Сгонит Кук-Кошкара и ляжет на свою бывшую койку...

...Начавшийся с вечера буран к утру замел дорогу. Местами снег был по колено лошади. Ветер немного притих, с неба сыпалась мелкая, как пыль, снежная крупа. Вдали, как из тумана, выплывал пологий холм Костаган. Каламуш хотел было завернуть на Дунькзыл, к зимовке Минайдара — до нее оставалось километров пятнадцать, — но потом раздумал ехать к отцу и поехал прямо на Костаган.

Со вчерашнего вечера, когда погода начала портиться, он все больше и больше беспокоится о своем Коспан-аге. Он знает, что в Кузгунской степи, куда тот угнал отару, негде укрыть овец от бурана. Ночью он часто просыпался, тревожно прислушивался. И сквозь дружный храп ребят слышен был неутихающий вой ветра. Как только на востоке чуть посерело, Каламуш сел на коня. И теперь, выставив вперед, под удары ветра, левое плечо, он крупной рысью спешил домой. Вот они наконец, занесенные снегом кошары, вот домик — как сугроб стоит он у подножья Костагана. Только одна труба торчит из-под снега. Но что-то уж очень длинная она. Нет, это не труба, это Жанель-апа забралась на крышу и чего-то высматривает вдали. «Что случилось?» — испугался Каламуш и пустил коня галопом. Ну, конечно, Коспан еще не вернулся. Каламуш сразу понял это, когда Жанель бросилась к нему. Он еще не успел слезть с коня, а она уже, пытаясь обнять его, жалобно причитала:

— Родненький! Солнышко мое!

Оба они думали только о Коспане и, уже войдя в дом, оба долго не решались заговорить о нем. Жанель, накрывая на стол, бралась то за одно, то за другое, выходила из комнаты и возвращалась с пустыми руками, потом спохватывалась, что чай не заварила, мяса не принесла, и все время повторяла одно:

— Небось, родненький, замерз — сейчас подам тебе чайку... Небось проголодался — кушай же, кушай, солнышко мое.

Каламуш с удовольствием потягивался в тепле, но есть ему не хотелось — не до того было. Он все время опасливо посматривал на свою апа, будто ждал от нее какой-то нехорошей вести.

— Не знаю, может быть, где-нибудь и укрылся, переждет непогоду, — наконец, тяжело вздохнув, сказала Жанель.

И тогда Каламуш, поставив опустевшую пиалу дном вверх, решительно поднялся из-за стола.

— Ну, апа, мне нельзя больше задерживаться. Коспан-аге трудно одному в таком буране.

— Да ты что?! Как можно! Это же... — вскрикнула она и запнулась на слове, а потом жалобно проговорила: — Не надо, родненький. И не думай: пурга-то какая!

— Что ж тогда, апа? Будем сидеть и ждать у моря погоды?

Каламуш стал одеваться.

— Как же это ты один? И конь у тебя устал.

Действительно, Каламушу следовало подумать о коне — его Курен-Каска отмахал сегодня уже с полсотни километров. Ну что же, раз так, значит, ему придется заехать к деду Минайдару, сменить у него коня, а может быть, и Кадыржана прихватить с собой.

Провожая Каламуша, Жанель держала коня за узду. Она все еще считала его мальчиком, а он вон уже какой вымахал — рослый джигит, и в плечах как раздался! Схватившись за луку седла, Каламуш сжал ладонь в кулак, и Жанель увидела, какие у него уже увесистые кулаки. Да, но лицо все еще мальчишеское.

— Ну, апа, я поехал.

От этого ласкового слова «апа» у Жанель тает сердце. Как жаль, что у нее уже не будет дегей. Проклятый Жаппасбай — это из-за него

случилось. В ту весну, когда кончалась война, женщины грузили семенное зерно. Вдвоем взявшись за мешок, тащили его на телегу. И тут, выставив вперед свою козлиную голову, подошел грозный Жаппасбай, поглядел, закричал:

— Да вы, я вижу, совсем разленились. А ну, чумазая, давай сюда! — подозвал он Жанель и взвалил ей на спину семипудовый мешок. Жанель едва дотащила его до телеги. Ее пронзила страшная боль, казалось, что-то лопнуло внутри. Закружилась голова, потемнело в глазах. Свалив мешок, она тут же упала. И когда пришла в себя, долго не могла встать, будто ей перебили поясницу.

Каламуш ехал наискосок к ветру. Жанель видела, как поземка до крупа заметает его лошадь, — она все еще неотрывно глядела ему вслед. Да, Каламуш, заменивший ей родного сына, стал уже взрослым. Как настоящий мужчина, он все взял на себя и успокоил ее. Теперь он не слезет с коня, пока не найдет затерявшегося в степи Коспана. Да и бог, чтобы старик Минайдар помог ему. Уже четырнадцать лет, как Коспан работает чабаном и они живут по соседству с Минайдаром. За все это время у них не было ни одной размолвки. Подружились, стали как родные. Каламуш тесно связал обе семьи.

У Минайдара он самый младший. Кроме Каламуша, у старика две дочери и сын. Салиха, самая старшая, немного моложе Жанель, но замуж так и не вышла. Может быть, война помешала. Да и собой не выдалась, туповата, молчалива, ее больше тянет к мужской работе, чем к женской. Все заботы об отаре лежат на ней. Вторая, Васиха, подучилась немного и работает техником по искусственному осеменению овец. Как и старшая, она не блистает красотой и тоже до сих пор сидит в девках — редко заглядывают джигиты в одинокий домик чабана. И старший сын, Кадыржан, хотя ему уже под тридцать, пока еще не женился. Не семья, а бригада холостяков, как говорят шутники.

Лет пять назад случилось, что Салиха, у которой, кроме овец, кажется, ни к кому не лежала душа, вдруг забеременела и родила сына. Сейчас он уже бегаёт вовсю. Славный мальчуган, чернявый, шустрый, через игольное ушко пролезет. Дедушке лучшей забавы не надо.

Одиноко маячит в степи всадник. Удаляясь, он становится все меньше и меньше, превращается в едва заметную точку. Она то совсем исчезнет в снежной пыли, то снова промелькнет.

Трудно Жанель заглушить свою обиду на старика Минайдара. Если бы еще у него был один сын, а то ведь два. Да и внука никто не отнимет у него. И все же он не сказал еще, что уступает Каламуша. «Конечно, ему не так-то легко сказать это», — думает Жанель. Она объясняет себе это тем, что Каламуш такой молодец, каких мало на свете.

Не подумаешь, что этот ленивый увалень Кадыржан от одного с ним отца. В хозяйстве ничего не смыслит, работать не любит. На щеках кровь играет, а ходит всегда какой-то сонный. Отара числится за ним, а на самом деле, с тех пор как старик стал сдавать, все заботы об овцах легли на Салиху. Председатель Кумар знает об этом, но помалкивает — ему лишь бы поголовье росло и овцы были в теле. Вот Кадыржан и доволен: Салиха работает, а почести воздают ему — передовой чабан! Ездит на слеты и совещания, сопровождает разное начальство в поездках по отгонным пастбищам. Голько одна Васиха иногда может заставить его помочь по хозяйству.

Минайдар всячески старался, чтобы его старший сын прослыл передовым чабаном, но сам-то он хорошо знал, чего тот стоит, и Жанель знала это... «Не удался ты, замухрышка несчастный, поэтому-то старик и молчит о Каламуше», — злилась Жанель на Кадыржана.

Чуть забрезжило хмурое утро. Серенький свет начал медленно расторгать тьму, и из нее смутно выступала белизна завьюженной степи. Подстегиваемые пронзительным ветром, овцы шли ходко. Они искали тепла, но уходили все дальше и дальше в открытую холодную степь. Коспан ехал позади отары. Сколько он проехал за ночь, куда забрался, что ждет впереди — все было неизвестно. Распухшими от холода пальцами он срывает сосульки с усов. Кончики пальцев зудят, как от ожога. Он весь уже одеревенел от холода. Ветер гнет спину, клонит его к заиндевевшей шее Тортобеля. Ровная белая степь теряется в серой мгле. Ветер гонит туда овец.

Со вчерашнего полудня во рту Коспана не было и маковой росинки. Он достает из курджуна кусок сухого овечьего сыра и посасывает его. Кисловато-горький сок раздражает пищевод, но все же это пища, и внутри становится теплее.

Из снежной мглы выплывает одинокая островерхая сопка. Коспан узнает ее. Это Аттан-Шоки. Как сторожевая вышка, стоит она посреди степи Кара-Киян. Наверное, в древние воинственные времена с вершины этой сопки обозревали степь дозорные и, увидев вдали облачко пыли, с диким криком «Аттан! Аттан!»¹ сбегали вниз, к своему войску.

Поняв, где он сейчас находится, Коспан с гоской подумал, как далеко его угнало в безлюдную степь. У него вся надежда была на Кишкене-Кумы, а он, оказывается, не приближался к ним, а наоборот — удалялся. Его несло ветром, как сорванный осенний лист. Когда же он при муравьином шаге своих овец сможет выбраться из этой мертвой, холодной степи?

Наметанные у подножья сопки сугробы Коспан принял издали за занесенные снегом кошары, и ему даже показалось, что от них веет теплом и кислым запахом овечьего помета. Сколько раз он твердил Кумару и даже самому Касбулату, что у подножья Аттан-Шоки хороший травостой — зимой здесь может прокормиться не одна отара, надо только построить запасную базу. Но, увы, это были не кошары, а снежные валы.

Коспан укрыл своих овец под высоким, размытым весенней водой яром и усталое слез с коня. Тортобель тоже устал, он дышал, тяжело раздувая бока. Измучившиеся овцы сбились в кучу и стояли, понуро опустив головы.

С трудом распрямившись, Коспан стал подниматься к редкой заросли таволги. Ветер не успел еще смести с сопки весь навалившийся за ночь снег. По склону металась поземка, снежной пеленой укутывала вершину Аттан-Шоки. Подходя к заросли таволги, Коспан огляделся. Вон те заметенные снегом балки, по которым весной бежит вода, за ними полого поднимающаяся к холму степь. Прошлой весной он проезжал тут. Тогда белесая от ковыля и полыни равнина была затянута легкой дымкой. Красный суглинок под тем яром был еще мокрый, внизу, как зеркало, блестела полая вода. Аттан-Шоки — одна в открытой степи и такая высокая, вся от подножья до вершины в солнечных лучах, весело глядела в бесконечную даль. Ах, как хорошо гут было! Дул приятный, чуточку прохладный ветер, и Коспан видел его, этот ветер, своими глазами. Видел, как он нежно трепал ковыль и, убегая дальше, будто сваливался за складку степи, исчезал и снова появлялся на глазах, подымался в воздух, дрожал и переливался в мареве. Казалось, что это он, ветер, заливают весь голубой небосклон.

¹ По коням! (казахск.)

Тут, где сейчас стоит Коспан, обдавало сухим терпким запахом полыни и изени, у ног мелькали крылышками белые бабочки. Внизу, у подножья сопки, среди полыни красными огоньками горели тюльпаны. Как битые в землю колышки, торчали у своих нор проснувшиеся вместе с весной суслики. Их мокрые шкуры обсыхали на солнце, и, согреваясь, зверьки пронзительно пищали от удовольствия. В полыни шустро прыгали воробьи. Степь была тогда полна жизни. А теперь она лежала мертвая, холодная, потерявшая все свои краски и запахи. И ничего не слышно, кроме свиста ветра.

С разрастающимся чувством тоски Коспан подошел к зарослям таволги. У него не было ни кетменя, ни топора. Сухой ченгель и тамариск ломаются легко, с треском, а эта таволга с темно-красной гладкой корой хоть и тонкая, но дьявольски упорная: как ни крути, не сломаешь — надо вытаскивать нож из-за голенища сапог. Больше часа провозился Коспан, пока нарезал две охапки таволги. Потом, пока разгорелся костер, так долго раздувал огонь, что в горле запершило и глаза заслезнились. Наконец набил снегом и поставил на огонь свой маленький черный чайничек, вынул из курджуна замерзший хлеб и вареное мясо, стал отогревать у костра.

Почувяв запах печеного, примчалась Майляяк, улеглась на расстеленную шубу. Морщится от горького дыма, косится на мясо, облизывается и заискивающе поглядывает на хозяина масляными глазками. Ждет, когда Коспан оторвет и бросит ей кусочек мяса. Она тогда живо подхватит его на лету.

Совсем разные характеры у собак Коспана. Майляяк ужасная поллиза. Ей только бы насытить свою утробу. Дома она постоянно вертится возле котла, путается в подоле Жанель, ложится ей под ноги и, задрав морду, так жалобно глядит на хозяйку, что просто невозможно не кинуть ей кусочек. Обожает людское общество. На незнакомого человека бросается с лаем, но уже через минуту трется о голенища его сапог и дружелюбно виляет хвостом. Смышленная тварь. В миг угадает и подладится под настроение хозяина. Если Коспан не в духе, тотчас затихнет и ходит за ним молча, как тень, время от времени поднимая на него всепонимающий и сочувственный взгляд. Но стоит только хозяину улыбнуться, Майляяк уже преобразилась — прыгает, кувыркается у его ног.

А у кобеля Кутпана все наоборот. Ничто не отвлечет его от своего дела, строго хранит он свою гордую осанку. Сам никогда не подойдет к котлу, важно лежит где-нибудь поодаль. Когда позовешь, подойдет неторопливо. Без причины не тявкнет. И перед Майляяк не уронит своего достоинства. Весной, сколько бы она ни виляла перед ним хвостом, он не обратит на нее внимания, пока сам не возгорится желанием. И сейчас только что вот лежал на снегу, сторожил отару, прикрыв веки, будто дремал. Коспан подозвал его, бросил большую кость. Он грызет ее неторопливо, со вкусом, не замечая Майляяк, которая издали зарится на эту кость.

Коспан поел, выпил чаю, обогрелся. Харчей у него хватит дня на три. Сам-то он как-нибудь выдержит. А вот выдержат ли овцы? Шерсть на них уже свалялась, понуро, с потухшими глазами стоят они под кручей. Завтра Каламуш должен приехать. Прояснится ли только? Вряд ли. Ветер выдувает снег, но облака густые, просвета не видно.

Только бы Каламуш не выехал один в такую погоду. Долго ли до беды. Парень такой, что если что-нибудь задумает, то его не отговоришь. Коспан давно заметил уже это. Он помнит, как, сделав детское седло — ашамай, впервые посадил Каламуша на коня. Наверное, оттого, что и раньше он часто подсаживал его к себе на седло, мальчик

ничуть не оробел. Стегнул кобылу кнутом, и она затрусилась. Еще раз стегнул, и кобыла пошла быстрее. Крупной рысью прогарцевал он перед людьми, собравшимися поглядеть на него. Лицо сияло, ноздри раздулись. Не оборачиваясь на предостерегающие крики джигитов, он бил коня ножками, размахивая ими, как воробей крыльями. Далеко ускорился он, и когда Коспан догнал его, ни за что не хотел отдавать повода, кричал: «Ага, я сам поскачу, я сам». Коспан зарезал тогда овцу и устроил токум кагар — пир по случаю первого выезда мальчика.

А сейчас вот этот мальчик, которого он вводил в жизнь, держа за руку, стал взрослым и теперь сам уже хочет быть вожак. Коспан радуется и гордится тем, что Каламуш вырос умным, сообразительным парнем, что с ним уже можно посоветоваться по хозяйству. Но все-таки ему кажется, что Каламуш по своей молодости еще слишком горяч. Иногда ему такое может взбрести в голову...

Вот он последнее время уши всем прожужжал об этих чабанских бригадах. Говорит, что пора бросить дедовскую палку, чабанам тоже нужна техника, машины. Тут нельзя добиться, чтобы построили хоть одну запасную базу для зимовки, скитаешься с отарой по степи в буран, а он... Разве Коспан сам мало думал о чабанских делах? С древнейших пор казахи жили скотоводством. Да и сейчас в большинстве ходят за скотом. Скот кормит людей, но сколько с ним мук и забот чабанам! Конечно, овец всегда пасли и всегда будут пасты, а не с ложки кормить. Но в жизни все изменилось, техника чудеса творит, до луны уже достали, а многое ли изменилось в овцеводстве?

По природе своей Коспан человек трезвый. Поэтому-то он не очень верит, что из затей Каламуша что-нибудь выйдет. Но зачем возить сено в тюках, тратить на это, когда пропадает бесплатный подножный корм? Зачем дешевое делать дорогим, простое сложным? Много есть трудностей в работе чабана, которые легко устранить, если по-хозяйски подойти к делу. Вот он, например, сейчас запросто может потерять отару. А из-за чего? Только из-за того, что нет запасных баз для зимовки.

Коспан не требует того, что невозможно. Он думает, что прежде всего надо спасти скот от такого страшного бедствия, как джут, которое может разразиться в любую зиму. Поэтому-то он давно уже твердит Кумару, что в таких безводных местах, как Кара-Киян, где летом нельзя пасты скот и трава остается нетронутой, надо строить на зиму запасные базы. А что касается предложения Каламуша, то Коспан должен еще поразмыслить. Может быть, парень и прав — ведь кое-какая техника в колхозе есть. Отдали бы ее чабанам, так, пожалуй, зимой дело с кормами было бы лучше. Конечно, короткую веревку на тугой узел не завяжешь. Но если государство поможет колхозу, то овцы одной только шерстью за два года воздадут сторицей. Да, пора бы Кумару с Касбулатом пошевелить мозгами.

В костре погасли последние угольки. Сыплется снежная пыль и тает на теплой золе. Коспан сидит в стеганке на подстеленной под себя шубе. Потом ему становится зябко, он закутывается в шубу, хочет прилечь, вздремнуть, но на душе беспокойно и в голове толкутся мысли. Касбулат, конечно, желает Коспану только хорошего. Эх, надо бы ему подстегнуть Кумара, чтобы он построил запасные кошары, тогда Коспану не пришлось бы так вот скитаться. Кумар еще до войны был председателем. Вообще-то он человек неплохой и хозяйственный, но колхоз очень разросся, и теперь Кумар торчит на его макушке, как детская тютюбетейка на взрослом человеке. Старается, бедняга, но не под силу ему такое большое хозяйство, старые привычки тянут назад.

Коспан не раз заговаривал об этом с Касбулатом, но того не поймешь — будто соглашается, а потом вдруг увильнет в сторону. Странно

как-то получается: часто видятся, дружат, но никогда Коспану не удается поговорить с Касбулатом по душам о колхозных делах. Что-то мешает. Может быть, сам Коспан виноват — робеет перед руководителем района. А может быть, Касбулат не хочет раскрывать перед ним свою душу.

Да, когда-то он очень обидел его своим недоверием, но ведь потом — это было после совещания в районе — сам же первый протянул ему руку, повел домой, с порога радостно крикнул жене:

— Вот он, Коспан, мой старый фронтовой друг, о котором я тебе говорил. А ну, что там у тебя повкуснее есть — живо в котел!

И по улыбке, с которой встретила его жена Касбулата, учительница Сабира, видно было, что она уже наслышалась о нем и будет очень рада, если он на самом деле такой, каким его описывал муж. Коспану она сразу понравилась — удивительно приятная, спокойная, добрая женщина. Бывают такие люди: первый раз встретишься, не успеешь еще разговориться, а кажется, что вы уже старые добрые друзья. И Коспан не обманулся. Сабира теперь часто приезжает с детьми погостить у Жанель на джайляу.

И Касбулат всегда радостно встречает Коспана у себя дома, даже если у него в это время гостит кто-нибудь из областного начальства. В таких случаях он обязательно к слову ввернет за столом: «Когда мы с Коспаном сражались под Харьковом» — и расскажет какую-нибудь фронтовую историю. Так почему же нельзя поговорить с ним откровенно обо всем, что накопело на душе? Коспан не может понять, что ему мешает сделать это. Он сам себе удивляется. С Сабирой он может поговорить обо всем, а вот с Касбулатом...

Коспан все-таки задремал, но ненадолго. Ветер сдувал с обрыва снег. Засыпанные снегом овцы стояли не шевелясь. Поднявшись, Коспан подошел к коню. Тортобель, прячась от ветра, стоял под кручей, опустив шею. Услыхав шаги хозяина, он раздул ноздри и повернул голову. Когда Коспан стал надевать на него узду, конь, встрепенувшись всем телом, сбросил со спины снег и сам подставил хозяину правый бок. Коспан приторочил к седлу курджун и шубу.

Овцы не хотели выходить из затишка. Но Коспан не мог больше держать их тут, у подножья Аттан-Шоки. С трудом выбиралась отара из-под кручи. Одни овцы подпрыгивали, стряхивая с себя снег, а другие так увязли в снегу, что не могли шелохнуться. Коспан, не слезая с лошади, вытаскивал их из сугробов за курдюки. Красавица Кокшулан, забравшаяся под самый обрыв, вытянув из сугроба длинную шею, жалобно блеяла. Выгнанные из своих теплых гнезд, овцы жались друг к другу. Вожак отары, черный козел с длинными рогами, тоже прятался за чужие спины. С полчася провозился Коспан, пока выгнал отару из затишка. Одна черная овца с белой прядкой на лбу, едва передвигая ноги, плелась позади, оставляя на снегу длинный след. Как ни подгонял ее Коспан, она двигалась все медленнее и медленнее. Потом совсем остановилась. Когда Коспан подъехал к ней, она с трудом сделала несколько шагов и легла на живот. Пришлось бросить ее.

Коспан решил гнать отару под прикрытием невысокого гребня, который от Аттан-Шоки тянется на запад, а когда ветер притихнет, перебраться через этот гребень. За ним неподалеку холмы Караул, где можно укрыться на ночь. Хоть ползком, но надо как-то добраться до песчаных ям Кишкене-Кумов.

Небо по-прежнему обложено низкими, сеющими снег облаками. В ста шагах уже ничего не видно — все тонет в зыбкой мгле. Поземка быстро замечает следы овец.

Минайдар и Каламуш молча слезли со своих мокрых, запарившихся коней. Их почерневшие от усталости лица испугали Жанель. У нее так часто забилося сердце, что она едва добрела до кухни и, переступив порог, тотчас обессиленно опустилась на пол. Приехавшие шумно сбивали с себя снег в сенях, а она сидела, замершая в ужасе, что вот-вот услышит страшную весть. Опершись на руки, Жанель с трудом поднялась.

Старик и Каламуш, раздевшись, прилегли на нары, покрытые сверх ковра стеганым одеялом, и, казалось, сразу же оба заснули. Но как только Жанель поставила на стол самовар, Минайдар приподнялся и, морщась от боли в ногах, поджал их под себя, чтобы сесть. Когда он сел, плечи его опустились, старик будто снова задремал. Потом он стал протирать руками лицо, глаза. А Каламуш спал. Жанель стали невыносимы полумрак и тишина в комнате, и она зажгла лампу.

Минайдар, сняв с себя стеганку, накинул ее на плечи. Прижав к груди свою редкую с проседью бородку, он глядел вниз. Когда старик потянулся, чтобы разбудить Каламуша, Жанель остановила его:

— Бедняжка двое суток пояса не расстегивал. Не будите его, кайнага¹.

Жанель давно уже поняла, что они не нашли Коспана, но Минайдар все еще не мог решиться сказать ей об этом прямо. Однако сидеть все время молча, словно в комнате лежит покойник, было еще труднее. И, опорожнив одну пиалу, Минайдар начал издали:

— Не иначе, думаю, как у Дунгары надо искать...

Жанель замерла, рука ее, протянувшаяся с пиалой к самовару, повисла в воздухе.

— Лучше, чем балка у Дунгары, в Кузгунской степи нет укрытия для овец.— Минайдар опустил голову, помолчал.— Но, видно, Коспан не добрался до нее. Не знаю уж, куда он пошел, но если по ветру, то Кишкене-Кумы остались в стороне.

Жанель поняла, что по направлению ветра лежала безлюдная степь Кара-Киян, поняла она и почему старик не сказал об этом. Промолчал о страшной Кара-Киян, Минайдар продолжал:

— Коспан хорошо знает эти места. Раз его не оказалось у Дунгары, значит, думаю, он загодя угнал отару к Кишкене-Кумам...

— А вы были там?— с загоревшейся надеждой перебила его Жанель.

— Сначала по ветру пошли, а у Аттан-Шоки свернули в пески. Были у колодца Бугендик. Но разве в песках разыщешь?

Что могла сказать Жанель старику, который едва приволокся назад? Она готова была сама броситься на розыски Коспана.

Быстро поднявшись, Каламуш осоловело поглядел на лампу, потом вышел на кухню, умылся, вернувшись, сел к столу, пододвинул к себе тарелку с мясом и жадно накинулся на него. Насытившись, залпом выпил одну за другой две пиалы чая и встал.

— Ата, оставайтесь тут, отдыхайте, а я поеду,— сказал он Минайдару.

— Куда ты в такую ночь?!— испуганно глядя на Каламуша, воскликнула Жанель.

И старик удивленно посмотрел на сына.

— Поеду в большой аул,— сказал Каламуш.

¹ Почтительное обращение женщины к старшему.

И Жанель и Минайдар убеждали его, что с бураном шутки плохи, надо потерпеть до утра, но Каламуш и слушать не хотел об этом.

Когда Каламуш стал одеваться, и Минайдар поднялся кряхтя.

— Ладно, поедем домой. Дам тебе Кадыржана в пару, — сказал он. — А ты, Жанель, не очень-то убивайся. Коспан не первый день ходит за отарой.

...Как не убиваться Жанель! Третьи сутки уже блуждает Коспан в буране. Искали и не нашли. Опять, как в войну, пропал без вести. Сама бы поехала искать его, да нельзя оставить ягнят на зимовке одних. Какая это пытка — Коспан в опасности, а она, как лошадь на аркане, должна кружиться на одном месте. Жанель засыпала, но и во сне не могла забыть — ее преследовали кошмарные сны. Утром, поднявшись спозаранку, она натаскала ягням сена в кошары, вернулась, но не смогла усидеть дома. Вывела из конюшни гнедую кобылу и поехала в сторону Кузгунской степи.

Ветер поутих, снег сыпался мелкой крупой. Облака посветлели, поднялись выше, горизонт раздвинулся, даль стала проясняться. Жанель хотела пустить кобылу рысью, но побоялась за нее — кобыла была жеребая.

Она едет шагом. Тревожно вглядывается в даль. Ветер треплет подол ее юбки, метет снег. Будто тысячи белых змей извиваются и мечутся в белой степи. Впереди тут и там мелькают какие-то темные точки. Не то кусты тамариска, не то живые существа. Жанель всматривается в них до боли в глазах. Они тонут в поземке, выплывают из нее, кажется, что снуют туда-сюда.

Когда Жанель поднялась на косогор, в серой пелене облаков начали появляться голубые разрывы. Снег стал белее и вдруг заблестел — выглянуло солнце. И у Жанель посветлело на душе. Третьи сутки она ждала погоды, и наконец-то погода, кажется, пришла, и с ней снова разгорелась надежда. Ведь было уже так — как томилась она, не зная, что случилось с Коспаном на фронте, когда он пропал без вести, и вдруг будто солнце засияло из-за туч — Коспан вернулся. Жар той давней радости обдал Жанель.

...Лето, осень и начало зимы сорок пятого года были сплошным праздником. Фронтвики возвращались домой. Люди шли на пирушки то в один, то в другой дом. Хозяева, забывая о завтрашнем дне, выкладывали на стол все, что имели. Молодежь зачестила на гулянки и посиделки. И Жанель не сиделась дома. Стронясь шумно пировавших компаний, она присаживалась в уголке передней у открытых дверей и, прислушиваясь к застольным разговорам, с замирающим сердцем ждала, что кто-нибудь из фронтвиков заговорит о Коспане. Бабы, заметив ее, звали к столу:

— Заходи, заходи, Жанель. Бог даст, и к тебе придем на праздник. А иногда, уходя, она слышала и такое:

— Надеется все, горемыка. Недаром говорят, что только нечистые силы живут без надежды.

К концу зимы большинство солдат, оставшихся в живых, вернулись из армии. И Жанель уже теряла надежду, что Коспан вернется. И вдруг к ней на работу прибегает соседский мальчик. Полы распахнутого пальто его развеваются, как крылья, и он издали кричит:

— Ура! Ура! Тетя Жанель!

Она не знает, от страха или от радости у нее будто отнялись ноги.

— Ура, тетя Жанель! Приехал Коспан-ага!

Чтобы не упасть, Жанель оперлась на саманный дувал. И она так посмотрела на запыхавшегося мальчика, что тот испуганно воскликнул:

— Ой!

Она положила руку ему на плечо.

— Что ты говоришь, милый?

— Мама послала сказать, что Коспан-ага приехал.

И как только она добежала до дому? Кругом все мелькало. Земля кружилась и быстро уходила назад. Возле дома стоял высокий мужчина в солдатской шинели. Он бросился к ней навстречу, но она все еще не могла поверить, что это Коспан. Все было, как во сне. В доме уже полно людей, а все еще идут и идут. Шумно, с громкими радостными приветствиями, и у всех сияющие лица, будто каждый счастье несет в дом.

— Да будет долгой твоя радость!

— Что умерло, то воскресло, что погасло, то разгорелось!

— Тебе же говорили: не жди того, кто одет в саван, а кто в рубище — тот вернется.

— Три дня у меня дергало правое веко. Это всегда к радости. Вот и приехал твой Коспан.

Жанель растопила плиту, а все остальные хозяйские заботы взяли на себя шустрые соседки. Они живо натащили из своих кухонь посуды, мяса, муки, сбегали в магазин. Выходя на кухню, Жанель часто поглядывала оттуда в дверь на Коспана — она все еще не верила глазам своим: неужели это правда, что он вернулся?

Кто-то из женщин прошептал ей на ухо, чтобы она вышла, — Коспану надо сообщить о смерти Мурата. Она разрыдалась. Женщины вывели ее в переднюю и там долго успокаивали.

Гости разошлись поздно. Оставшись наедине с Коспаном, Жанель молча ласково глядела на него. Казалось, что все накопившееся у нее на душе за тяжелые годы одиночества уже вылилось вместе со слезами и больше нечего сказать. Молчал и Коспан. Конечно, весть о смерти сына, по которому он так тосковал на чужбине, не могла не потрясти его. Глядя на Коспана, Жанель с болью думала, как он осунулся, похудел — все кости торчат. Но больше всего ее мучил какой-то незнакомый, чужой жестокий блеск, появившийся в его глазах.

Она понимала, что прежнего им уже не вернуть, надо начинать другую жизнь, но какой будет эта другая жизнь? Будут ли они еще счастливы?

Коспан будто прочел ее мысли.

— Жанель, сядь поближе, — подозвал он ее, обхватил рукой за шею, прижал к груди.

Так долго сидели они молча. Коспан все сильнее прижимал ее к себе, будто ему было холодно и он хотел согреться. Пальцы его ласково бродили по ее лицу. У Жанель слезы потекли. Проведя пальцами по ее мокрым глазам, Коспан заговорил:

— Не надо, Жанель, милая, не надо. Не думал я уже, что вернусь домой, было такое, но все это уже позади. Чего же теперь плакать?

О многом они поговорили, но о смерти сына Коспан слова не сказал. И позже не заговаривал с Жанель о Мурате, даже когда памятник ставил ему. Он сам готовил саманные кирпичи. Сам клал их. И слезинки не уронил он на могиле сына, только иногда, забывшись, с кирпичом в руке долго, пристально глядел на маленький, уже осевший холмик.

С неделю после возвращения домой Коспан ходил по гостям, побывал у всех своих друзей, а потом поехал с Жанель в колхоз навестить своих родственников. Эта поездка вспоминается ей как медовый месяц. Коспан оживал, становился таким же, каким был в те далекие счастливые времена. Люди жаловались:

— Война довела вас до такой худобы, что аж ребра выступили.

А он смеялся:

— Вы же знаете, как быстро нагуливает жир исхудавшая лошадь. Пройдет недели две, и у нее уже шерсть блесит.

Родственники уговаривали их остаться, погостить еще немного, но Коспан не согласился, сказал, что довольно уже отдыхать, пора за работу браться. Он вернулся из аула полный сил и хотел поскорее устроиться на работу. Но проходил день за днем, а подходящей для него работы в районе не находилось. Сначала Жанель беспокоило только, что, уйдя из дому рано утром, Коспан пропадает до позднего вечера. Но потом она стала замечать, что он возвращается все более мрачным и из него трудно уже слово вытянуть. Как-то за чаем он проговорился:

— Не доверяют тем, кто был в плену.

— Как это не доверяют? — не поняла Жанель.

Коспан долго молчал, потом сказал:

— Есть люди, которым велено стричь волосы у других, а они вместе с волосами головы им снимают.

Коспан не хотел делиться с женой тяжестью, которая легла на его душу. Он старался молча нести ее один.

Но однажды он вернулся домой в каком-то необычном для него возбужденном оживлении. Жанель почувствовала, что его прямо-таки распирает от желания сообщить ей что-то очень радостное. Она забегала, засуетилась, торопясь подать ужин. Когда они сели за стол, Коспан посмотрел на жену с торжествующей улыбкой:

— Ты знаешь, кого я сегодня встретил?

— Кого же?

— Да самого Касбулата. Понимаешь, он недавно приехал к нам. Большой начальник. Все кадры в его руках.

Жанель впервые слышала о Касбулате.

— Кто такой?

Коспан весело засмеялся.

— А и правда, ты ведь его не знаешь. А я тебе, дурак, болтаю.

И Жанель засмеялась. Кто бы ни был этот важный начальник, все равно можно было радоваться, так как он, по-видимому, хорошо знает Коспана.

— Он же мой фронтовой командир.

— Да что ты?!

— Я как гаркнул ему: «Товарищ командир!» Он сразу узнал. Жаль только, что очень спешил на заседание, а потом в командировку куда-то выезжает. «Вернусь, говорит, через три дня. Приходи, обязательно приходи ко мне. Посидим, потолкуем. Есть о чем вспомнить».

Три дня Коспан только о Касбулате и говорил. Вспоминал, как он вместе с ним воевал, все, что оба пережили на фронте. Кто-кто, а Касбулат-то отлично знает, как Коспан попал в плен. Он сам велел ему остаться со своим отделением, чтобы задержать врага. Если бы они тогда в заслоне не дрались до последнего патрона, не вывести бы Касбулату людей из окружения.

— Ну, теперь, раз Касбулат тут, я могу быть спокоен,— решил Коспан. Он несколько не сомневался, что Касбулат сумеет защитить своего бывшего солдата.

Когда эти три дня прошли, он вышел из дому вполне уверенный, что сегодня же устроится на работу, и, уходя, намекнул Жанель, чтобы она ждала гостей.

И теперь, глядя с косогора в завьюженную даль широкой Кузгунской степи, у нее перед глазами стоит Коспан с той же лукавой улыбкой на сияющем лице, с которой он дал ей знать, что, наверное, вернется с важным гостем. С каким нетерпением ждала она тогда его возвращения!

Жанель простояла на косогоре, пока холод не пробрал ее до костей. Вокруг опять помрачнело, тучи снова сгрудились, наглухо укутали небо, запорошил снег.

Снежная муть затянула даль Кузгунской степи.

...Страшно стало Жанель, когда она увидела Коспана, вернувшегося от Касбулата. Он пришел домой до того сникший, жалкий, что его узнать нельзя было, молча, тяжело опустился на нары и долго, не проронив слова, сидел, понуро пригнувшись.

Характер у него мягкий, но ведь огонь и воду прошел, а не сломался. Что же его могло теперь так быстро сломать? С чего он вдруг так осел? Будто ему хребет перебили.

Диву далась Жанель. Ох, как она тогда извелась! И потом, когда Коспан наконец устроился на работу и жизнь у них как будто наладилась, он долго еще был сам не свой. Если и улыбнется, то через силу. Куда девалось его добродушие?

Потом все вернулось, стало на свои места. Они зажили хорошо, спокойно. Ждали тихой старости.

Возвращаясь домой, Жанель ехала на лошади шагом. Она так долго всматривалась в мутную даль, что глаза уже устали. Но и со стороны большого аула никого не было видно. Впереди — кошары под снежными валами. Низенький чабанский домик вытягивал из сугроба свою трубу, словно руку вздымал к жестокому небу.

7

Оторванный от всего живого мира, Коспан бродит на ощупь в снежной мгле.

Первую ночь он провел на коне в отчаянной схватке с навалившейся на овец белой напастью. Так он мысленно называет своего страшного врага, из цепких лап которого до сих пор не может вырвать отару. Когда и чем кончится эта борьба, еще не известно. Буран несет его по степи, как перекасти-поле. Но если на первых порах Коспан доходил до остервенения, то теперь он овладел собой, стал действовать спокойнее, расчетливее.

Коспан давно знает, что всякий страх страшен только в первый момент, а потом ко всему привыкаешь, все становится обыденным. Таков уж человек — самое выносливое существо в мире. Еще в немецком плену Гусев, с которым Коспан потом бежал из лагеря, смеялся: «И если в ад попадем, то, попривыкнув, будем забавляться — угольками кидать друг в друга».

Буран не смог сразу сломить Коспана, теперь он день и ночь изматывает его, третьи сутки не дает передохнуть. Но Коспан уже привык дремать на ходу, не слезая с коня. Подремлет, встряхнется — и снова набрался сил. Вот только ветер пробирает все сильнее и сильнее. Голодные, дрожащие овцы, спасаясь от холода, жмутся друг к другу. Черный козел, спрятавшись среди них, так сжался, что видны только его победоносные рога. А что стало с красавицей Кокшулан! Ее пышный курдюк превратился в жалкий комок, как проколотый мяч, она часто останавливается, изогнув свою длинную, гусиную шею, безнадежно глядит куда-то тусклым взглядом. Буран доконал уже даже многотерпеливых собак. И у Кутпана и у Майляк ввалились бока, свалилась под снегом шерсть. На Майляк больно было глядеть. Поджав свой торчащий калачиком хвост, она понуро брела у ног Коспана, иногда из-под заиндевевших век тоскливо поглядывала на него и жалобно скулила. Коспану нечего уже было кинуть ей: от того, что захватил с собой, оставались крошки.

Не сдавался только его старый друг Тортобель. Коспан время от времени укрывал его своей шубой и вел на поводу, чтобы передохнул. На коротких привалах, сняв узду, пускал пастись. Конь далеко не уходил, укравшись за пригорок, раскапывал копытами снег, сам добывал себе корм. Учуяв, что хозяин идет к нему, поднимал голову и, ожидая приказаний, преданно смотрел на него своими большими слезящимися глазами.

Всем им — коню, собакам, овцам — инстинкт подсказывал, что судьба их в руках чабана. Они глядели на Коспана так, будто просили поскорее укрыть их в тепле. Но до тепла еще далеко было.

Повернув отару в сторону Кишкене-Кумов, Коспан двигался туда, прикрываясь каждой складкой местности. Как только ветер стихал, он переваливал через гребень и шел напрямик, опять подует сильнее — прячется в низинку за какой-нибудь косогорчик, пробирается вдоль него. Буран коварно подстерегал его и тут и там. Не успевала отара выйти на открытую равнину, как он уже обрушивался на нее из-за туч, отбрасывал назад. И все же, хоть и часто приходилось Коспану пятиться, он двигался вперед. Если буран бил в лоб, он поворачивал отару наискосок ему, лавировал между холмами, но все время держал направление на Кишкене-Кумы. Хватило бы только сил добраться до них.

Перед глазами в белой кипени мельтешат сотни овечьих ножек. Снег заносит их мелкие, как у зайцев на игрищах, следы. Овцы едва бредут под прикрытием невысокого косогора. Тяжело колышутся их глубоко впавшие бока. А навстречу воет буран, без устали хлещет Коспана сверху снегом. Распухшие, окоченевшие лицо и руки его уже не ощущают холода. Подгоняя овец, он непрерывно размахивает кнутом. Слабенькие ножки их устало месят снег, мелькают и сливаются в одну копошащуюся в туманной мгле массу. У Коспана кружится голова, темнеет в глазах. Ему кажется, что эта мгла уже поглотила его и никакими силами не пробьешься сквозь нее. Но вот из снежной пелены снова выступают овечьи ножки. Не поймешь, то ли они шевелятся на одном месте, то ли двигаются, мельтешат. Коспан пытается стряхнуть с себя это наваждение, подумать о чем-нибудь, чтобы отвлечься, но мысли с трудом ворочаются в голове и гаснут, как мокрые дрова. И вдруг он замечает, что начало проясняться — облака поднялись выше. Вскоре из мглы выплыли дальние холмы. Впервые за три дня в разрыве облаков заголубело высокое небо. И горизонт стал расчищаться, выглянуло краешком предзакатное солнце. Белая степь, подернутая прозрачной кисеей поземки, сразу наполнилась светом, заблестел, заискрился снег.

Ветер стих, улеглись последние языки поземки, и степь открылась во всей беспредельности. Безмолвно лежала она, покрытая снегом с застывшей на его поверхности рябью. Ни одного звука, ни одной живой души вокруг. Напрасно всматривается Коспан в далекий горизонт.

Хоть бы что-нибудь промелькнуло. Похоже, что он один с отарой остался на всей земле.

Коспан вздрогнул — заскулила Майляяк. Видно, и ей стало страшно в этом мертвом, безмолвном мире.

...А тогда, в Силезии, наоборот, в мире было тесно и он был полон звуков и запахов. Коспан лежал не шевелясь, и при малейшем шорохе у него замирало дыхание. Одна только мысль владела им — чтобы никто не увидел его. Ночью, когда они с Гусевым скрылись в лесу, лес казался дремучим, и это их обрадовало, но с рассветом он будто расступился, поредел и стал просматриваться насквозь. Прятаться в нем было все равно что в стеклянном ящике.

Коспан и сейчас внутренне весь сжимается, когда вспоминает, как он чувствовал себя тогда, лежа в мелких кустах, которые, конечно, не

могли скрыть его большую нескладную фигуру. Как он ни сжимался, а все равно голова или ноги торчали из кустов.

Небольшой, чистый, как парк, лес, в котором они с Гусевым скрывались, был разбит на квадраты, через него проходила асфальтированная дорога. А дальше, километрах в двух, среди деревьев, издали похожих на большие юрты, белели дома. Правее зеленели засеянные поля, а за ними, у развилки дорог, по которым мчались машины и мотоциклы, виднелось какое-то большое село.

Райскими казались Коспану эти по-весеннему затянутые синей дымкой места. По лесной дороге ехали на бичке старик со старухой. Трудно было представить себе более мирное существо, чем этот краснолицый старик с белым пушком на висках и затылке. Казалось, вот где люди живут тихо, спокойно. Но стоило бы кому-нибудь, хоть бы этому старику, заметить притаившегося в кустах Коспана, как стоявшая вокруг тишина взорвалась бы треском мотоциклов и надрывным лаем овчарок.

Недалеко от того места, где скрывался Гусев, остановилась грузовая машина. Из кузова выпрыгнули двое солдат. Коспан решил, что все кончено — их открыли. Но солдаты зашли за деревья, оправились и снова сели на грузовик.

Коспану хотелось, чтобы они с Гусевым лежали рядом — все-таки легче было бы, но Гусев сказал:

— Ночью будем идти вместе, а к утру прятаться врозь. Если уж не удастся спастись двоим, то хоть один, может быть, спасется...

Опять стали надвигаться тучи, закатное солнце скрылось, померкли снега. Оставив овец в затишке, Коспан поехал вперед, чтобы до темна осмотреть местность. От Аттан-Шоки он все время гнал овец наискосок ветру, и, наверное, Кишкене-Кумы опять остались далеко в стороне.

Когда он перевалил через гребень, впереди по снегу промелькнуло что-то темное. Спустя минуту он увидел волка, трусившего по дальнему косогору. Подстегнув коня, Коспан погнался было за ним, но скоро повернул обратно — все равно не догонишь, только коня запалишь. До сих пор бог миловал его от волчьей напасти. Теперь и она дала о себе знать. Хоть волк и убежал, но раз почуял добычу, то может вернуться.

Однако сегодня овец уже не погонишь дальше. Придется всю ночь стеречь отару. Хорошо бы развести костер, но вокруг не видно ни одного кустика. Как только стемнело, Коспан повесил на луку седла длинную дубинку — соил, сел на коня и стал медленно объезжать отару по кругу. Было тихо, но он все время прислушивался. Овцы лежали на снегу, плотно прижавшись друг к другу. Бескрайняя степь сузилась до маленького белесого пятка, за которым плотной стеной стояла тьма. Из нее вот-вот могли засветиться горящие угольки волчьих глаз.

...Большая, как волк, овчарка гналась за ним. Коспан слышал ее дыхание. Где-то совсем близко стреляли. Пули с треском пробивали кору берез. Он знал, что от собаки не убежишь, и хотел лишь увести ее подальше. Услыхав собачий лай, он сразу же побежал, чтобы отвлечь преследователя в сторону от Гусева. Бежал изо всех сил, кидаясь от дерева к дереву, пока собака не схватила его зубами за ногу, оторвав с куском мяса половину штанины.

Долго потом, очнувшись в одиночной камере, Коспан не мог понять, живой он или мертвый. Пробовал шевельнуться — не мог. Хотел что-нибудь вспомнить — в голову ничего не приходило. Лежал, как чурбан, и бессмысленно глядел на темный потолок.

Гусев... Распущенное, потерявшее свой облик лицо. От глаза по щеке кровенеет шрам. Их тогда вели на допрос. Когда они поравнялись в узком коридоре, Гусев пожал ему локоть.

— Ты настоящий человек, Коспан, спасибо!

Конвойный стукнул его в спину прикладом. Он шатнулся к стене, едва удержался на ногах, но в дверях все-таки оглянулся и крикнул Коспану:

— Не падай духом, дружище!

Коспан стережет отару, а перед глазами у него один за другим проходят те кошмарные дни.

Ночи конца нет, но страхи, кажется, напрасны — собаки почуяли бы волков.

Разнуздав Тортобеля, Коспан пустил его попасться, а сам расстелил на снегу шубу и прилег. Но только он задремал, как заскулила и залаяла Майляк. Коспан вскочил, схватил свой соил и побежал к лошади. Обе собаки уже заливались лаем. Овцы метались в глубоком снегу.

8

Как ни торопится Каламуш, но, прежде чем оседлать своего Курен-Каску, он обязательно должен потрепать его по шее — приятно почувствовать под слоем инея теплую бархатную шерсть коня. Курен-Каска тогда встрепенется, будто ток пробежит от его торчком вставших ушей по всему телу, и, положив морду на плечо Каламуша, конь обдаст его теплым, влажным дыханием. Рядом в темноте ворочался Кадыржан, тоже седлавший свою лошадь. Он еще не согнал с себя сон, зевал и поеживался от холода.

— Хоть бы утра дождались. Чего это нас несет в такую ночь?! — сердито бурчал он.

Каламуш молча пропускал его воркотню мимо ушей — достаточно знал он характерец Кадыржана. Тот в конце концов разобиделся, взорвался — этакий сопляк, а его, старшего брата, и слушать не желает.

— Кого ты корчишь из себя, мальчишка?! Подумаешь какой! До утра никуда не поедет. А ну, расседывай коня! — И он начал расстегивать подпругу.

— Это почему же?

— Темь такая... да пурга еще. Мы же замерзнем.

— Ах, вот что! Ну тогда оставайся. Я поеду один.

Каламуш сел на коня.

— А ну, сейчас же слезай! — закричал Кадыржан. — Скажите пожалуйста — один он поедет! Да ты за кого меня считаешь? Чтобы я отпустил тебя, мальчишку, в такую ночь одного!

Да, голос у него властный. Он может приказывать, он старший брат, но когда Каламуш, до глаз замотав лицо пуховым шарфом, молча тронул коня, Кадыржан растерялся:

— Эй! Эй! Куда тебя черт несет? Подожди меня.

— Ну, тогда живо на коня!

Каламуш ехал рысью, сидя в седле боком, чтобы ветер не дул в лицо, но снег все равно залеплял ресницы, таял и заливал глаза. Пробирался он и под шарф. Кадыржан, трусивший на своем гнедом позади, время от времени вспоминал о своих правах и начальственно подавал голос:

— Эй, ты, повнимательней следи за дорогой. А то еще собьешься с пути... Чего гонишь? Так недолго и коней запалить.

Эти окрики раздражали Каламуша, но он не мог позволить себе ответить на них грубо: пусть себе Кадыржан кричит, сколько хочет, а он будет делать по-своему. Родные братья, но что между ними общего? Вообще Каламуш не чувствует себя своим в родной семье. К Минай-

дару он относится с почтением, но скорее как к деду, чем как к отцу. Что поделаешь, если его родным домом стал другой дом, там ему дышится свободно.

Шестой год шел Каламушу, когда Коспан-ага посадил его на коня. Нет в этой округе урочища, где они не побывали бы вместе. Вон там впереди, в низинке, куда он сейчас спускается с Кадыржаном, есть чистый родничок. Летом из этого родника натекает посреди зеленой лужайки маленькое озерко. Ягнята и козлята бегают туда, чтобы напиться. Каламуш любил поглядеть, как они жадно лакают воду. У самого родника — зеленая клейкая глина, похожая на пластилин. Каламуш месил эту глину и лепил из нее верблюдинок, овечек, козлят. За лето он наделивал их множество. В школьные годы на летних каникулах он любил ездить в степь под вечер, когда она начинала остывать после дневного зноя. Как манила его тогда к себе ясная даль! Он скакал во весь опор, взлетал на дальний, закрывавший горизонт косогор, и у него дух захватывало от огромности простиравшегося впереди мира. Хотелось скакать и скакать в эту беспредельную даль с освещенными солнцем холмами и лежавшими в их тени прохладными низинками.

Он возвращался домой уже на закате солнца. Тут и там видневшиеся в степи чабанские юрты издали напоминали ему шлемы сказочных богатырей.

Возле ближней юрты валит дым из очага. Там Жанель-апа хлопочет с ужином. Коспан-ага гонит туда с косогора своих овечек. Он тоже на коне, и за ним далеко, на целый километр, тянется его тень.

Когда Каламуш на всем скаку осаживал перед ним своего коня, Коспан-ага говорил:

— Ты долго скакал, голубчик мой. Не стой теперь, поезжай рысью, дай коню отдышаться.

Большой, добрый, всегда спокойный, Коспан-ага казался Каламушу чем-то похожим на Поля Робсона, портрет которого он вырезал из журнала и хранил в одном из своих учебников.

Где-то он сейчас скитается со своей отарой? Уже третьи сутки как в воду канул.

К рассвету Каламушу надо было обязательно добраться до большого аула. «Весь колхоз подыму на ноги», — решил он.

Каламуш сам себе удивляется. Давно ли пасти овец было для него забавой. Он уже окончил школу, пошел за отарой, а все еще работа чабана казалась ему несерьезным делом. Он даже думал уехать в город, поступить в институт. И если не поехал, то только потому, что не хотел огорчать Коспан-агу. А теперь... Правда, некоторые десятиклассники, которых он подбивает идти в чабаны, не верят ему, что скоро и в овцеводстве все будет по-новому, чабаны станут механизаторами, надо только, чтобы Кумар дал им технику, создал комплексные бригады. Они говорят:

— Знаем мы Кумара. Шиш у него получишь. Даст кнут в руки, садись на коня — и марш за отарой. Вот тебе и комплексная бригада!

Но Кумар хоть и порядочный дуб, но он его все же раскачает. Надо только, чтобы и Касбулат подтолкнул его как следует, а не так, как в прошлом году.

В том году летом Касбулат с Кумаром гостили у Коспана в юрте, ели бешбармак, пили кумыс. Каламуш тогда выложил им свои мысли. Касбулат слушал внимательно, даже улыбнулся, но почему-то только одними губами. Может быть, думал о чем-то другом, а потом, повернувшись к Кумару, который лежал на боку с подушкой под локтем, спросил:

— Что ты на это скажешь, председатель?

Осоловевший от сытной еды Кумар простонал:

— Ох, эта молодежь, не знает она, как по одежке протягивают ножки,— и довольно захихикал.

— А может, все-таки стоит подумать? — бросил ему Касбулат.

— А как же, думать, конечно, надо. Я вот и думаю к осени выделить десять новых отар. Неплохая прибавка, а? Если каждый колхоз даст столько, как вы думаете, покажем соседям спину, а? — На этот раз Кумар весь затрясся от доставленного себе удовольствия.

Тут в разговор вмешался и Коспан-ага, сказал, что и насчет зимовок председателю тоже не мешает подумать.

— Сам знаешь, держим овец на подножном корму, а крутимся у одной кошары. Увеличить поголовье не трудно, а вот как уберечь его?

— Да, да, и об этом, Кумар, подумай,— живо подхватил Касбулат.

Вот как он подтолкнул тогда его: думай, думай, Кумар, на то ты и председатель. Кумар и до сих пор думает — как ему луну с неба достать?

Однако Каламуш не собирается отступить от своего. Он еще поговорит с Касбулатом серьезно, докажет-таки, что нельзя больше пасти овец по старинке. А то что получается? Налетит буран — и отару не найдешь.

Все эти дни Каламуш, только сидя на коне, мог подумать более или менее спокойно. Занятый своими мыслями, он не заметил, как прекратился снегопад. Ночная тьма посерела. Они уже миновали балку Тэнке, молочную ферму с невысокими, занесенными снегом коровниками, вытянувшимися в ряд вдоль дороги. Там дрожащий от холода Кадыржан хотел малость погреться. Но Каламуш не остановил коня. Каламуш тоже очоленел, но разве он мог позволить себе хотя бы полчаса понежиться в тепле, когда Коспан-ага уже третьи сутки бродит со своей отарой в буран? Нет, он не такой. Он еще покажет себя Кумару.

Едва начало рассветать, когда они приехали в большой аул. У колхозной конторы стояло два «газика» и несколько оседланных коней. В освещенных окнах видны были толпившиеся в помещении люди. Можно было подумать, что в предчувствии той недоброй вести, которую вез Каламуш, весь колхоз среди ночи поднялся на ноги.

Задевая плечами людей, сновавших в тесном коридорчике, Каламуш с Кадыржаном прошли в кабинет Кумара. У председательского стола, поставив ногу на табуретку и упершись локтем в согнутое колено, кричал в телефонную трубку Касбулат:

— В «Жана Жол» отправили людей? А как с «Кировым»? С «Кировым» как?

В другом углу галдели люди, окружавшие Кумара.

— Ты брось мне дурака валять.— кричал Кумар.— Вот Коста-убай даст тебе три человека. Посади на сани и езжай.

— Трактор-то мой на ремонте стоит. Как я его соберу? Да и кабина не оборудована. В такую-то пургу...

— А как быть с отарой Жанайдара? Ведь ее тоже потеряли.

— Как?! Все еще нет сведений?! — надрывался у телефона Касбулат.— Немедленно шлите туда представителя! Как только придет, пусть сразу же свяжется со мной. После обеда я буду у себя.

Повесив трубку, Касбулат заметил Каламуша и Кадыржана, вздернул бровь и раздраженно поглядел на них: а этих чего еще черт принес чуть свет?

Кадыржан, здороваясь, расплылся в почтительной улыбке.

— А ты что тут делаешь, наш маяк? — спросил Касбулат.

Каламуш не понял, чего было больше в этих словах — раздражения или издевки. Из-под бугорков припухших век Касбулат нетерпеливо и зло впивался своими буравчиками по очереди то в Кадыржана, то в Ка-

ламуша. В ожидании новой неприятной вести повернулся к ним и Кумар со всеми окружавшими его людьми.

— Коспан?! И Коспан пропал с отарой? — вскрикнул Касбулат.

Покраснев, он с такой силой уперся обеими руками в стол, будто хотел вдавить его в пол, и гневно уставился на Кумара. Тот смотрел на Каламуша и Кадыржана, жалобно моргая. Принесенная ими весть окончательно доконала его. Всем своим видом он говорил: «Неужели это правда? Вы же убили меня».

— Другие. Ну, это еще можно понять... Но как же это Коспан не доглядел? — сокрушенно забормотал он.

Когда гнев Касбулата немного поостыл, он тоже стал сокрушаться:

— Да-а... В самом деле, как же это такой опытный, старательный чабан... Мы же возлагали на него большие надежды...

Это подстегнуло Кумара, который, потеряв уже несколько отар, не знал, на ком сорвать свою злость, и теперь наконец нашел:

— Вот и рассчитывай на человека! Надо жетак подвести. Не мальчишка ведь, не юнец какой-нибудь. Подумать только! Ошиблись в нем.

— Говорят же, что и самый большой верблюд может поскользнуться в луже... Да-а, оплошал Коспан, — вздохнул Касбулат. Нахмурившись, он стал молча барабанить пальцем по столу.

Каламуш не выдержал:

— А как по-вашему? Мой ага ради забавы угнал своих овец с зимовки?!

Кумар досадливо поморщился.

— Надо же следить за погодой.

— А если овец кормить нечем? До последней травинки выщипали все вокруг зимовки. Было бы сено, сумели бы уже как-нибудь скормить его.

— Да замолчи ты, ради бога, — попросил Кумар. Но Каламуша уже прорвало:

— Нет, дядя Кумар, не буду молчать. Триста ягнят прибавили к отаре? Прибавили. А сколько сена дали? Ничего не дали. Так что же, снегом их кормить будем? Мы же вам говорили: создавайте чабанские бригады, сами станем заготавливать корма, ни на кого не понадеемся. Не говорили разве? Говорили столько, что язык уже не ворочается.

Кумар взмолился:

— Ну подожди, голубчик, здесь же не собрание.

Он не знал уже, куда ему деваться от всех свалившихся на его голову бед. Касбулат, упирившийся руками в стол и хмуро глядевший исподлобья, вдруг, будто гоня от себя прочь тяготившие его мысли, нетерпеливо вскинул голову.

— Да бросьте попусту молоть языком.

— Как это попусту?! — вспыхнул Каламуш. — Что вам ни говори, все попусту. Даже слушать не хотите. Создайте чабанские бригады, тогда посмотрим, пустые это слова или нет.

— Эй, ты! Кому грубишь? Смотри, а? — подал голос оживший в теплом кабинете Кадыржан. — Всюду лезет он со своими бригадами...

— А тебе-то что? — зло оборвал его Каламуш. — За тебя есть кому пасти овец. Вот тебе и не нужно никакой бригады.

Касбулат досадливо поморщился:

— Не время сейчас решать такие вопросы.

Это еще больше распалило Каламуша.

— А когда же придет время решать? Если бы в прошлом году решили, сейчас бы к вам не скакали сюда, не кричали: «Спасите!» Будь вы сейчас на месте моего Коспан-аги, по-другому бы запели. Вот случись с ним что-нибудь, тогда будет вам...

Каламуш утихомирился только после того, как Касбулат с Кумаром пообещали сейчас же взяться за поиски Коспана. Но все три колхозных трактора и четыре грузовика, бывшие на ходу, уже ушли на помощь другим чабанам. Касбулат звонил в район, добивался транспорта. Однако толку от этого не видно было, и Каламуш не стал ждать. Он вышел из конторы, решив действовать по-своему: лошади в конюшне есть и джигиты найдутся — надо только кликнуть клич в школьном интернате. Разве там нет ребят, которые уже в нынешнем году окончат школу и пойдут за отарами? Чего же им не испытать себя! Пусть привыкают. Сейчас он подымет их на ноги, велит одеться потеплее и, пока они собираются, договорится с Кумаром насчет лошадей.

9

Ночью Коспан отбилсЯ от двух напавших на отару волков, но это недешево обошлось ему. Прежде чем он прикончил соилом одного из них, волки успели распороть брюхо восьми овцам. Освеживав одну зарезанную овцу, Коспан накормил собак мясом и на рассвете погнал свою отару дальше.

Порошило, поутихший было ветер поднялся снова. Теперь он дул с востока. По-прежнему держась наискосок ветру, Коспан гнал овец на северо-запад. Там — Кишкене-Кумы, которые четвертые сутки уже манят его к себе, как обетованная земля. Но доберутся ли туда овцы? Много их уже осталось в пути. Начали сдавать самые надежные. Двигаются вяло, расслабленно. С трудом вытаскивают свои маленькие, вязнушие в снегу копытца, часто останавливаются, стоят как вкопанные, опустив голову, упершись тусклым взглядом в снег. Коспан и конем напирает, и кнутом стегает, но пока-то наконец они сдвинутся с места и поволокутся дальше, едва переставляя ноги.

Медленно шагают овцы, крохотны шаги их, а степь — конца ей нет! Равнодушная, глухая ко всему на свете, лежит она под белым пологом, в кружении снега, холодная и беспощадная, как сама смерть. Какое ей дело до этих беспомощных существ, которые, теряя последние силы, рвутся из ее ледяных объятий.

И все это было бы не так страшно, если бы Коспан знал, что за ним еще тянется какая-то ниточка, связывающая его с людьми. Но ему кажется, что от того мира, в котором остались колхоз, Жанель, Каламуш, его отделяет уже целая вечность. «Не буду же там сидеть сложа руки, наверное, делают все, что возможно». — успокаивает он себя и тут же теряет надежду, что люди могут его найти в этой бесконечной мгле. Она давит его своей пустотой и безмолвием, стесняет дыхание. Утерянный мир видится ему уже расплывчато, как мираж, и даже горечь сожаления об утерянном проходит. Он уже ничего не хочет, ни о чем не думает, тело тяжелеет, голова опускается на грудь. Чтобы встряхнуться, скинуть с себя оцепенение, Коспан слезает с коня, идет пешком, потом снова садится на Тортобеля, пускает его рысью. Но ноги уже не повинуются коню, он трусит вяло, неритмично. На каждом скачке Коспана так встряхивает, будто его дубинкой колотят по затылку. А как только Тортобель переходит на шаг, на Коспана снова наваливается тяжесть.

...Кружатся и кружатся снежные хлопья. Все вокруг покрыто белесой пеленой. Овцы, кучей сгрудившиеся в тихой балке, не шелохнутся. Кажется, что это не живые существа, а слепленные из снега фигурки: кнешь кнутом — рассыплются. Коспан лежит в шубе на снегу, опустив голову на локоть, лицо его будто воловьей шкурой обтянуто — не чувствует снега, но по телу пробегает знобкая дрожь. Жаппасбай... Козлиная голова с низким покатым лбом и бородкой. Кожа на лице темная,

изрезанная глубокими морщинами, с какими-то серыми пятнами, как на истертом носке сапога. Ввалившиеся щеки, выпирающие изо рта зубы. Нет, не козел, скорее голодная собака.

Это было в райцентре, возле столовой, когда Жаппасбай, пошатываясь, подошел к Коспану и таким кислым, воюющим перегаром дохнул ему в лицо, что его чуть не вывернуло всего.

— Ты меня, ик-хе, хорошо знаешь, ик-хе, хи-хи,— икал он и хихикал, положив руку на плечо Коспана.— Было время, когда стоило мне гаркнуть, ик-хе... Целый район погонял одной палкой... Вот какой был Жаппасбай... Ну брось, давай, ик-хе, посидим с тобой, выпьем. Ик-хе, я ж тебя люблю.

Стоит Коспану вспомнить об этом, как его бросает в дрожь, так же вот, как сейчас. Да, было время, когда Жаппасбай... Лучше не думать о нем. Чего только Коспан не пережил тогда, особенно после разговора с Касбулатом.

Жанель не могла понять, что с ним случилось после этого разговора. Он уже не верил, что сможет устроиться на какую-либо работу, но все еще ходил из одного учреждения в другое. Всюду у него были знакомые, были даже родственники. Многие не прочь были помочь, многие выражали сочувствие, но когда разговор доходил до дела — один посылал к другому, и оказывалось, что нигде в районе свободных мест нет. Коспан научился уже угадывать, кто и почему отсылает его от себя к другому. Этот думает: «Черт тебя знает, чем ты там, в плену, занимался. Можешь и меня запутать. Нет, лучше уже иди подальше». А тот думает: «Прекрасно понимаю тебя, но, к сожалению, ничего сделать не могу». Подозрения оскорбляли его. Хотелось кричать: «Я ни в чем не виноват, я честный человек — почему мне не доверяете?» Крик этот душил его, как немного. А жалость тех, кто сочувствовал, унижала: он был здоров, полон сил, и ему стыдно было чувствовать себя беспомощным.

После долгих мытарств он наконец устроился в контору «Заготживсырья». Принимал и отправлял шкуры, шерсть и прочее. Работа не нравилась, но с этим уж не приходилось считаться. Жил одной надеждой, что так долго продолжаться не может — выяснят, кто виноват, а кто страдает без вины, и тогда он будет смело смотреть людям в глаза.

На своего начальника Байедиля Коспан не мог пожаловаться. Этот пожилой спокойный человек, восполнявший недостатки своего образования житейским опытом, не страдал подозрительностью. Чувствуя его доброе отношение, Коспан начал понемногу успокаиваться.

Но вот однажды они остались в конторе наедине. Байедиль сидел насупившись, перебирал бумаги, потом раскрыл свой перочинный ножик и стал чинить цветные карандаши молча, опустив глаза. Коспан сразу почувствовал что-то неладное.

— Жаппасбай домогается твоего места,— заговорил наконец тот, — уже больше месяца, как подал заявление. Все отказывал, но вот...

Все стало ясно. Коспан не раз видел, как Жаппасбай, вытянув вперед свою козлиную голову, заходил в кабинет Байедиля. Это был уже не тот Жаппасбай, что некогда палкой гонял на работу баб. На каких только должностях не побывал он с тех пор, пока добрался до этой конторы. Но и теперь он еще может напакостить. Наверное, донимал Байедиля: «Кого приютит? А меня, одного из ведущих активистов района, не хочешь взять!» Ну, конечно, Байедиль — человек слабый, разве он мог устоять перед таким...

И этот Жаппасбай еще обиделся, что он отказался с ним водку пить. — Ты что, брезгуешь мною? Подумаешь, передовой чабан. Ик-хе. Ты смотри! Я, ик-хе, все еще Жаппасбай.

Куда делась его пьяная заискивающая улыбочка? Сверкнув своими узкими глазками, он схватил Коспана за шиворот.

Никогда ни на кого не поднимавший руки, Коспан отшвырнул его от себя с такой силой, что тот грохнулся на спину.

После того, как Жаппасбай занял его место в «Заготживсырьё», Коспан остался там же грузчиком. Физической работы он не боялся — ему по плечу было таскать любой груз, — но тяжело было чувствовать, что люди снова смотрят на тебя одни с недоверием, другие с сожалением. Он стал страшно мнительным. Даже самых близких друзей подозревал в том, что они снисходят к нему из жалости. В нем уже прочно осело гнетущее чувство какой-то неосознанной вины. И это заставляло его робеть перед людьми. На лице его невольно появлялась смущенная улыбка. Он старался согнать ее, но не мог. Ох, какое это проклятое чувство! Точно ты собака, которую хозяйка выгнала из дому.

Как раз в эту пору Коспана вызвали в районное отделение госбезопасности. Принявший его там молоденький лейтенант задал ему несколько вопросов, относящихся к плену, и в частности о Гусеве, о их совместной неудачной попытке побега из лагеря в Силезии.

Гусев был самым близким его товарищем по плену. Они познакомились в фашистском лагере на земляных работах.

— Ради чего так стараешься? — буркнул тогда кто-то над его ухом.

Коспан обернулся. Рядом с ним стоял такой же рослый, как он сам, парень с веселыми глазами.

— Лопату запускай не глубоко и землю кидай подальше, чтобы пыли в глаза надзирателю пустить побольше, — сказал тот смеясь.

Вечером, когда их вели под конвоем в барак, этот веселый парень, опять оказавшийся рядом, пожал ему локоть.

— Ну как, научился работать? Случайно не казах? Вот здорово — значит, земляки. Я же акмолинский. Гусев.

Он со всеми знакомился коротко: «Я — Гусев». И все, даже близкие друзья, называли его по фамилии. Один он в понуром строю пленных ходил с поднятой головой, всегда был бодр, весел, сыпал шутками. Когда они расставались после окончания войны, Гусев сказал Коспану:

— Предки твои были кочевниками, но у тебя-то адрес вроде постоянный. А я еще поброжу по свету. Брошу где-нибудь якорь. Тогда напишу тебе.

Коспан получил от Гусева только одно письмо. Это было месяца два до его вызова в районное отделение госбезопасности. Гусев писал, что жив, здоров, женился, имеет уже сына, работает в геологоразведочной экспедиции. Как будто все у него было благополучно, и писал он шутливо, но между слов и в шутках его чувствовалась какая-то горечь. И не зря, наверное, в конце письма он ни с того ни с сего обронил, что все перемелется и мука будет.

Свои расспросы о Гусеве лейтенант закончил тем, что попросил Коспана подробно изложить все это на бумаге.

— А к чему это? — взволновался Коспан.

— Так нужно... Для Гусева нужно, — доверительно добавил лейтенант и, будто спохватившись, что сболтнул лишнее, сухо сказал: — Учтите, что этот разговор должен остаться между нами.

Прощаясь, он успокоил Коспана, сказав, что считает его увольнение с должности, которую сейчас занял Жаппасбай, несправедливым, и пообещал поговорить об этом со своим начальником.

Позже Коспан несколько раз встречался с этим расположившим его к себе молоденьким лейтенантом, но тот больше не заговаривал с ним о работе. И Коспан не стал напоминать ему о его обещании — по всему

чувствовалось, что лейтенант действительно хотел ему помочь, но не смог.

«Не привыкать, вытерплю все», — решил тогда Коспан, но случилось такое, чего он не смог вытерпеть. Оказалось, что Жаппасбай, эта грубая и подлая скотина, к тому же еще и ловкий мошенник, вор. Работая грузчиком в «Заготживсырье», Коспан не мог не заметить, как тот бессовестно обдирал стариков и старух, не имевших точного представления об установленных расценках на сырье, которое они сдавали. Старику, приносившему килограммов тридцать шерсти, он выдавал восьмушку чая и метра три ситца и еще уверял:

— Только ради вас, аксакал, а по норме положено меньше.

А если старик выражал недовольство, то он запугивал его криком, называл рвачом. Время было трудное, народ довольствовался самым малым, и люди не жаловались, говорили только между собой, что у Жаппасбая мерка узкая.

— Брось эти штучки, а то они плохо кончатся для тебя, — сказал ему однажды Коспан.

— Какие это штучки? — Жаппасбай вытарашил на него глаза.

— Такие вот! Стариков и старух обкрадываешь.

В первый момент Жаппасбай испугался. Втянув шею в плечи, растерянно заморгал глазами. Но ему быстро пришла в голову спасительная мысль, и он издевательски заулыбался.

— Ты думаешь, что я тебя боюсь? Ну что ты со мной сделаешь?

— То, что надо, то и сделаю. Во всяком случае покрывать тебя не стану.

Тогда Жаппасбай, пожирая Коспана своими белесыми глазами, угрожающе надвинулся на него.

— Да знаешь ли ты, на кого клеветашь, а? Сам-то ты кто такой, а? Фашистский шпион — вот кто ты! Попробуй-ка оклеветать меня. Не нравится тут, так на край света сгоню. Кому поверят, тебе или мне, а?

На другой день Коспан не пошел на работу. При всем своем многотерпении, под началом этой сволочи он работать больше не мог. Он бы нашел управу на Жаппасбая, но... Какое это отвратительное чувство! Хочется кричать, а у тебя будто рот забит кляпом. Куда он только не ходил — всюду ему говорили одно: «Работайте там, где работаете, никто вас не тронет». И на этом заканчивали разговор.

Коспана до пояса занесло снегом. Он уже потерял счет времени, которое пролежал тут, укутавшись в шубу. Прошла знобившая его, как в лихорадке, дрожь. Он согрелся, разнежился в разлившемся по всему телу тепле — будто после долгой зимней стужи наступила благодатная весна, — и в блаженной дремоте мысли его вспыхивали, угасали, сменялись подобными сну видениями.

Весна... Может быть, никто так остро не чувствует наступления весны, как чабан. Овцы казахской породы ягнятся рано. Уже в марте вокруг кошар в воздухе ощущается какая-то теплая влажность: начинается окот. Нелегко проходит он у овец. Открытыми ртами хватают они воздух, раздувшиеся бока их, кажется, сейчас лопнут. Но все это продолжается очень недолго. Только что овца в смертной муке закатывала влажно блестящие глаза, и вот, забрыкав ногами, она вскакивает и, шевеля ноздрями, вся исходя от нежности, облизывает появившегося на свет ягненка. Глядя, как эти крошечные существа выкарабкиваются из горячего, дымящегося паром последа, Коспан сам приходил в умиление. Еще не успев как следует обсохнуть и открыть глаза, они вставали на свои тоненькие, орленастые ножки и, пошатываясь, дребезжащим бляением оповещали

о своем рождении. И тут же, видно по запаху молока, тянулись к вымени матки.

Казахская овца отличается особенно сильным материнским чувством. Возьмите у нее из-под брюха ягненка, и она, жалобно блея, будет бежать за вами, не отставая.

Коспан уносил ранних ягнят в утепленный сарай, пристроенный к его чабанскому домику, как сени. Он таскал их сюда, в пропахшие острым ягнячьим пометом закутки, одного за другим. Они брыкались, толкались мордочками ему в грудь, его обдавало теплым паром, который поднимался от них. В пору окота Коспан был на ногах и днем и ночью, не знал ни минуты покоя, но ни разу не пожаловался на усталость. Наоборот, в эти дни ему приятно было почувствовать, что он устал. Это была какая-то особенная, радовавшая душу усталость. Ее испытываешь только весной.

В ту первую весну, которую Коспан встретил в степи, ему казалось, что он заново увидел самого себя и только теперь понял, чего он хочет от жизни.

После того как Коспан наотрез отказался работать с Жаппасбаем, он много дней подряд с утра до вечера сиднем сидел дома. Жанель сначала сочувствовала ему, не упрекала, не спрашивала, долго ли еще он будет сидеть так, молчуном. Только уходя на работу, выжидающе поглядывала на него — не думает ли он сегодня что-нибудь предпринять? Через неделю Жанель не выдержала, заговорила:

— Ну что же будет дальше?

Коспан ничего не сказал, но взгляд его, который он долго-долго не сводил с жены, говорил: «Уж и тебе я в тягость стал? Уж и тебе я не нужен больше?!» Прочитав это в его взгляде, Жанель не отвела глаз. Только горько покачала головой. Коспан понял, какую боль он причинил жене, разволновался и высказал ей все, что у него накопилось в душе:

— Не знаю, что делать... не знаю, куда еще сунуться. Кажется, нет уже мне места на земле. Говорят, что собака прячет от людей свой труп, видно, и мне пришла пора убраться куда-нибудь подальше.

Жанель молча ждала, пока он выговорится, потом мягко сказала:

— И чего ты себя мучаешь? Никто тебя никуда не гонит. Но, может быть, все же лучше перебраться в аул. Как-никак, а ближе к родственникам, легче будет.

— Какие там родственники? Людей, которым только бы колоть глаза другим, всюду хватает.

— Не дури! — прикрикнула на мужа Жанель, рассердившись. — Один выродок обидел тебя, а ты всем людям плюешь в лицо. Окончательно, вижу, голову потерял. Не бойся, была бы лопата, а где навоз наскрести, всегда найдется. Поедем в колхоз, чужими там не будем.

Жанель сама поехала в колхоз, вернулась оттуда на телеге с двумя волами в запряжке. Обезлюдившему за войну колхозу до зарезу нужны были мужские рабочие руки. Кумар принял Коспана с распростертыми объятиями.

— Знаю тебя, Коспан. Когда-то ты был неплохим работником в районе... Видно, суждено тебе было откусать и наш хлеб. Что ж, коли так, могу назначить тебя бригадиром. А если хочешь, поставлю на молочную ферму.

Коспан попросился в чабаны, и Кумар был немало удивлен этим. В то время в чабаны шли только неграмотные старики и старухи. У Коспана были свои расчеты. Он искал работу, которой никто бы не позавидовал. К тому же ему хотелось быть подальше от людских глаз. Так он стал помощником Минайдара.

Та весна... Свежо, прохладно было утром после первой грозы. Оазисом в белесой степи зеленела ложбинка с ручейком... Трава еще не обсох-

ла, блестела на солнце бисером дождевых капель. На лужайке копошились ягнята, жадно шипавшие эту влажную траву. Увидев пятилетнего Каламуша, колобок прикатившего сюда, они смешно запрыгали, бросились в разные стороны. И сам Каламуш прыгал, как ягненок. Вокруг под синим небом лежали бугристые просторы омытой предутренней грозой степи. От овец, забравшихся на пологий бугор, поднимался легкий парок. Неумолчно, трепетно-звонко заливались жаворонки, быстро-быстро мелькая крылышками, взвивались высоко в небо, кувыркались там. Густая, бархатная тень каменистого обрыва резко разделяла пойму ручья. Зеленый берег полого поднимался к степи. Даль была прозрачно ясной. В этом очищенном и освеженном грозой мире Коспан сам чувствовал себя посвежевшим и помолодевшим. «Оказывается, человек сам не знает, чего ему надо,— думал Коспан.— Ищет счастья бог знает где и не замечает его у себя под носом. Стоит жить только для того, чтобы увидеть это весеннее утро».

В ту весну один в степи Коспан о многом передумал. Он понял, что глупо было в поисках какой-то ничтожной должности обивать пороги районных учреждений. Сколько напрасных волнений и переживаний! Сколько времени и сил угроблено попусту. И почему это здоровые мужики, если они более или менее грамотны, должны сидеть в канцеляриях, а бабы и старики работать в колхозе? Думают ли эти мужики, за чей счет они живут? Вероятно, не думают, а то взялись бы за настоящую работу. Коспан был рад, что наконец-то он взялся за дело, которое приносит людям пользу, и теперь может со спокойной совестью есть свой хлеб. Минайдар принял их в свою семью запросто, словно так должно было случиться и он заранее знал об этом. Ели из одного котла, ничего не делили. И другие чабаны, кочевавшие в степи по соседству, при встрече радушно принимали его и не отпускали, не угостив чем бог послал.

Коспан чувствовал себя вернувшимся в родной дом после долгой отлучки.

На следующий год он получил свою отару и отделился от Минайдара. Тот по этому случаю зарезал барана и, устроив маленький той, полущутя хвалился: «Это я поставил Коспану отдельную юрту, теперь он самостоятельный хозяин».

Приятные воспоминания. Сладко предаваться им, с головой укутавшись в шубу. Коспан согрелся, но вдруг опять чего-то начинает познать. В нос бьет кисло-терпкий запах овчины, и в груди что-то покалывает.

...Да, тяжелой была зима того пятьдесят первого года. Много овец погибло. Коспан потерял третью часть своей отары. Особенно много пало овец во время мартовских гололедиц. Немало было и выкидышей. Это был первый джут, постигший Коспана. Он тяжело переживал его. На собрание в большой аул приехал злым. Прибыл на это собрание и Касбулат, бывший тогда еще заместителем председателя райисполкома. В ту пору они здоровались молча, одним кивком головы, как малознакомые. Когда Коспану предоставили слово, он сказал:

— Председатель умоляет чабанов сберечь своих овец, а чабаны смотрят на него и молят бога уберечь их от всяких напастей погоды. Вот какое у нас положение.— Потом он обернулся к Касбулату: — Прошлым летом вы сами были у нас уполномоченным. Если посмотреть на сводки, опубликованные в районной газете, то план сеноуборки выполнен у нас был на сто процентов. А где это сено? Мы и половины того не накопили. А то, что скопили, вои оно стоит в стогах. можно будет включить в сводки нынешнего года. Сено сохранили, а овец не сберегли...

... Невесело, но чинно проходившее до того собрание зашумело. Председатель долго стучал кулаком по столу, пока люди, поддерживавшие

Коспана криком, не поутихли. Тогда взял слово Касбулат, переживавший шум молча, с каменным лицом. Он начал тихо, подчеркнуто спокойно. Говорил о недостатках в руководстве колхозом. Да, многим отарам вовремя не успели подвезти сено. В результате имеются потери поголовья. Однако для паники нет никаких оснований. Надо по-настоящему взяться за работу. Главное — повысить ответственность чабанов за сохранение поголовья...

Коспан внимательно слушал, и ему становилось неловко: наверное, действительно ничего страшного не произошло и он зря погорячился. Кто знает, может быть, это и не такой уж джут, как кажется людям. Человек, стоящий наверху, дальше видит, больше знает. Может быть, не все отары попали в такую беду, какая постигла отары его, Коспана, и Минайдара.

Между тем Касбулат, словно угадав сомнения Коспана, стал заострять свое выступление на недостатках, которые еще имеются в работе колхоза и которые надо смело, по-большевистски разоблачать. Голос его загремел.

— Правда, что в некоторых отарах большой падеж скота? Правда. Можем закрыть глаза на этот факт и пройти мимо него? Нет, товарищи. Вот, к примеру...

К примеру он остановился на Коспана, и оказалось, что острие его выступления направлено именно против Коспана, который будто бы потерял уже не одну треть своей отары, а больше половины.

— Случайно ли это, товарищи? Нет, не случайно. Знают ли руководители колхоза, кто он такой, где был этот чабан? Если знают, то позволено спросить их: не потеряли ли вы, товарищи, политическую бдительность?

Коспан был потрясен этим ударом — все то невыносимое, что уже прошло и забывалось, началось сначала.

Почувствовав резкую боль в груди, Коспан поднял голову. Снег пал реже. Поземка мела тише. Наверное, свалившись от усталости, он долго пролежал и сильно застудил бок. Тяжело поднявшись, он подошел к Тортобелю, который разбивал копытами снег, стараясь добраться до травы.

Надо двигаться дальше, перевалить хоть за один косогор, все же будет ближе к цели. Овцы, так прижавшиеся друг к другу, что казались покрытыми одним белым одеялом, нехотя сбрасывали его с себя — под снежным покровом им было уютно и тепло. Едва вытаскивая ноги из глубокого снега, дрожа от холода, они медленно выходили из укрытия в открытую степь.

Гоня отару, Коспан пытался отмахнуться от мыслей, которые уводили его в прошлое, но как от них отмахнешься, когда перед глазами стоит Касбулат. Не один, а два, и не поймешь, какой из них настоящий. Несколько лет его не было в районе — работал где-то в других местах, потом вернулся, и не просто вернулся, а уже первым руководителем. Это был уже совсем иной человек. Сам приехал к Коспану, специально чтобы его навестить, легко выбросил из машины свое грузное тело и весь просиял от радости, что видит своего бывшего солдата.

— Старый друг лучше новых двух. Вот и снова встретились. Честно говорю, соскучился по тебе, верблюдов длинноязыый, — говорил он, пожимая Коспану руку.

И другие районные руководители, приехавшие с Касбулатом, тоже с чувством жали Коспану руку и радостно улыбались, довольные счастливыми встречами старых фронтовых друзей. Поддавшись общему настроению, Коспан не стал вспоминать о своей обиде. Да и не просто это, если первый руководитель района оказывает тебе такую честь. Коспан только удивился, с чего это вдруг Касбулат снова воспылал к нему любовью.

Казалось, что с этого дня их поломанная дружба, как сросшаяся кость, стала еще крепче. Коспан забывал о своей обиде и даже находил оправдание Касбулату. «Видно, время было такое, что иначе он не мог поступить, а сейчас сам понимает, что поступил нехорошо, и хочет загладить свою вину», — думал он. Почему же тогда это давно забытое ожило в памяти Коспана и встало между ним и Касбулатом, как туго забитый клин? Почему он снова усомнился, что Касбулат его истинный друг? Коспан гонит свои сомнения прочь, убеждает себя: «Ну чего ты еще хочешь от него? Ошибся человек раз, другой, но разве уже давно не исправил своей ошибки? Разве он мало хорошего сделал тебе? Разве есть друзья, которые всю свою жизнь прожили без единой размолвки? Может быть, все дело в тебе самом: попал в беду, не выдержал, начал славать и вот уже ищешь, на ком бы сорвать злость... Да, да, Касбулат тут ни при чем», — поддакивает Коспан сам себе, однако убедить себя не может. Как будто и правда все это так: Касбулат всячески выдвигает его, приезжает к нему погостить на отгон, возит на разные совещания, хватит, хлопает по плечу... Вот именно — хлопает по плечу. Нет, все-таки есть в их дружбе что-то сомнительное.

Коспан старается вспомнить все теплые, дружеские слова, которые были сказаны ему Касбулатом. Но в ушах его звучат страшные слова, брошенные тем на собраниях: «Знают ли руководители колхоза, кто он такой, этот чабан?»

Кто он такой? Тот самый солдат, которому Касбулат приказывал в сорок втором году: «Биться до последнего патрона. Пока подразделение не оторвется от противника — ни шагу назад!» И этот солдат выполнил его приказ. А как он встретил этого солдата в сорок шестом году?! Дрожь пробегает по телу Коспана, когда он вспоминает об этой встрече. Трудно убедить ему себя, что Касбулат тут ни при чем. Коспану не хочется терять старой дружбы, но он чувствует, что и терять-то нечего.

10

Без устали мотался «дворник», разметая снег на ветровом стекле «газика». Ехали медленно. Водитель, вытянув шею, как охотничья собака на стойке, высматривал заметенную бураном дорогу. В оврагах, где снег был глубже, машина надрывно гудела, виляя задом, крутилась на одном месте, подавшись назад, рывком пробивалась вперед.

Касбулат, откинувшись на спинку сиденья, казалось, задремал, но сквозь короткие и редкие ресницы глаза его тускло поблескивали, как вода в колодце. Две глубокие складки у рта резко выделяли на лице квадратный подбородок. Невеселые мысли одолевали Касбулата. Он спешил в райцентр. Надо было немедленно поднимать людей на ноги, гнать в колхоз и разыскивать пропавшие отары. Это значит день и ночь висеть на телефоне, до хрипоты кричать в трубку. Медленно тащившийся «газик» выматывал ему и без того развинтившиеся нервы.

Предстоит такая горячка, что голова кругом идет, а гут еще этот желторотый птенец, черт его подери, покоя не дает. Молодой, а напористый. Как порох, вдруг вспыхнул. До того осмелел, что голос повысил, кричать стал. Скажите пожалуйста, какая птица! Ну попросил бы, в крайнем случае мог попытаться убедить, доказать, а он требует. Давайте, и никаких гвоздей. В такой оборот взял. Да, силен парень. А что это за имя — Каламуш?

Фу ты! Чего только не взбредет человеку в голову. В степи гибнут раскиданные бураном отары, район может скатиться на последнее место — и в это время думать о каком-то мальчишке... А все-таки он не

так прост, этот Қаламуш. Как осадил своего старшего брата — тот аж глазами захопал. А давно ли сам, как девица, краснел, когда старшие делали ему замечания. Подумаешь, какой сердитый стал. Как беркут, набросился...

Ох, молодость, молодость! Дорога у тебя прямая, широкая, никаких преград не знаешь. Горы готова свернуть. Идешь по жизни без оглядки. Голову положишь за правое дело. Золотая пора.

В молодости и Қасбулат был такой. Разве его не хвалили: принципиальный, непримиримо борется со всякими недостатками? Эти качества отмечены во многих характеристиках, которые и сейчас хранятся в его личном деле. Но, конечно, с годами человек становится осмортельнее. Тут уж ничего не поделаешь. Известно же, что смелость подобна обоюдоострому мечу: взмахнешь неумеючи — и себя разрубишь. Но, с другой стороны, и робким нельзя быть — далеко не пойдешь. Нужен ум и, главное, — находчивость, быстрая и верная ориентировка. Если загодя подготовился к выступлению, внеси потом коррективы с учетом всех тонкостей обстановки, настроения собравшихся людей и реакции руководителей. Покритиковав подчиненных тебе работников за допущенные ими ошибки и срывы, не забывай об этом — при первом же случае успокой, скажи по-дружески:

— Ничего, ничего, особенно не расстраивайся. Мне еще больше до-
стается.

Не следует обходить критикой и тех, кто стоит с тобой на одной ступени служебной лестницы, в том числе и своих близких друзей, надо только потом объяснить им, что иного выхода у тебя не было, чтобы они не очень обижались.

Не бойся критиковать и вышестоящих, но знай когда и как. На областной конференции или пленуме, прежде чем выступать, надо по ходу заседания определить, предвидится ли в областном руководстве какая-нибудь смена или нет.

Қасбулату не удалось достичь тех высот, о которых он когда-то мечтал. Однако хоть и медленно, но зато уверенно продвигался он по служебной лестнице, пока не добрался до нынешнего своего поста. На этом посту он уже не первый год. Пора бы двигаться дальше, но, как это ни странно, с каждым годом дальнейшее его продвижение становится все менее вероятным, будто он достиг своего предела. Мало того, он чувствует, что и на этом посту держится уже непрочнo. В чем тут дело?

Давно ли, умело маневрируя, он крепко держал в руках руководство районом. Его проверенный опытом стиль работы неизменно обеспечивал ему выполнение всех планов и мероприятий.

Никто не может его упрекнуть и в том, что он когда-либо подменял собой хозяйственных руководителей. Нет, в детали дела он не вникал, инициативы людей не сковывал. Достаточно было одной вести, что Қасбулат выехал в колхозы, чтобы председатели заторможили бригадиров, бригадиры — колхозников. При одном появлении его тихая аульская жизнь начинала бить ключом. Все наперебой выражали послушную готовность признать свои недостатки и ошибки, мобилизовать все силы, выполнить все указания, добиться нового подъема...

Что ни говори, а руководителю все это приятно. Кажется, куда ни поедешь, дорога всюду прямая, накатанная. И вдруг будто все дороги сугробами завалило, того и жди, что застрянешь, заплутаешься. И люди вроде уже не те — вместо того, чтобы беспрекословно выполнять все, что им велено, начинают рассуждать, выдвигать свои соображения.

Каких только вопросов не ставят. каждый день что-нибудь новое. Советуют, предлагают, а потом и требуют, кричат на собраниях, будто

руководители района хуже их знают, что сегодня прежде всего нужно государству. И этот вот мальчишка, что живет у Коспана... Не хочет понять, что проблема, с которой он носится, противоречит принятой в районе установке на резкое увеличение поголовья скота уже в нынешнем году.

Да, все беспокойнее и беспокойнее становится Касбулату на своем посту, особенно после того, как он познакомился летом с новым секретарем обкома.

Его вызвали на заседание бюро обкома с докладом о хозяйственных перспективах района. Были вызваны партийные руководители и других районов. Перед началом заседания все прошупывали, как обстоят дела у соседей и, конечно же, что за человек новый секретарь. Известно было только, что он работал агрономом совхоза, потом директором его, а последние два года был секретарем райкома в соседней области. Раскусить его толком никто еще не успел. Разговоры ходили разные. Одни говорили, что, кажется, человек доброжелательный, а другие считали, что он только с виду такой, а на самом деле может спокойно душу вытрясти из тебя, если ты подойдешь к нему не с той стороны.

Касбулат видел его только на пленуме. Молодой, под сорок, не больше, по крайней мере лет на десять моложе Касбулата. Когда при выдвижении его кандидатуры он сильно покраснел от неумеренных похвал, Касбулат подумал: «Почестями не избалован». После пленума новый секретарь сразу же поехал по районам. К Касбулату он не заглянул и теперь пригласил его на бюро, наверное для знакомства. Судя по своему впечатлению от него на пленуме, Касбулат полагал, что он еще не успел привыкнуть к своему высокому посту и вряд ли станет придирается к тем, в положении которых сам только что был. Он вошел в зал заседаний, убежденный, что беспокоиться ему нечего.

Он уже привык к тому, что в знакомстве с новым руководителем всегда есть кое-что похожее на новоселье. Та же, только более сдержанная, и у хозяина и у гостей праздничная возбужденность, те же радостные у одних, а у других завистливые, прикрытые приветливой улыбкой взгляды, те же у большинства предчувствия каких-то хороших перемен. Каждый спешит раньше, чем другие, пожать новому секретарю руку, и каждый старается при этом как-либо дать ему знать, что от всей души рад работать под его руководством.

И сначала все было так, как ожидал Касбулат. Новый секретарь со всеми здоровался с теплой улыбкой, с такой же улыбкой внимательно присматривался к тем, кого видел впервые, с некоторыми долго разговаривал. Разговорился, и заседание началось с опозданием... «И правда не привык еще к своему положению», — подтвердил про себя Касбулат. Он решил, что, конечно, характер у нового секретаря мягкий, и, когда пришла его очередь, с жаром стал читать свой доклад. Но вскоре он заметил, что секретарь слушает его, прищурился и как-то странно растянув губы, будто с трудом сдерживает улыбку. «Что за неприятная привычка?» — подумал он, и в тот же момент секретарь прервал его:

— Аудитория небольшая, может быть, просто так, без бумаги, расскажете нам?

Это было сказано с легкой улыбкой, но она больно уколола Касбулата. Он растерянно замялся. Секретарь закивал головой, подбадривая его: давайте, дайте, не стесняйтесь. Касбулат оторвал глаза от бумаги, но отойти от заготовленного текста ему было трудно, и он стал читать на память, иногда обращаясь к бумаге за цифрами.

Когда секретарь опять прервал его, попросив избегать общих слов, Касбулат подумал: «А ведь верно, душу может вытрясти».

Сбившись с текста, он заговорил наобум и вскоре сам почувствовал, что запутался: перечисляя обязательства по разным отраслям хозяйства, которые взял на себя район, он перемешал все цифры и не мог уже разобраться в них.

Секретарь больше не перебивал. Касбулату казалось, что тот уже не слушает его, а ощупывает взглядом, добираясь до чего-то другого, более важного, чем цифры, в которых он запутался. Свалив все цифры в кучу, Касбулат замолк.

Секретарь пристально глядел на него, будто не мог понять, кто стоит перед ним. Бывает же, что человеку так не повезет. Выбьют его из колеи, и он уже не может собраться с мыслями, не поймет, что от него хотят, с языка его срываются одни избитые, пустые, набившие оскомину слова. Касбулат ужасно злился на себя. С чего это он так растерялся перед человеком, который только вчера был на равном с ним положении и еще не успел освоиться на своем новом, высоком посту? Наверное, все из-за этой покоробившей его улыбки. Что за странная привычка слушать докладчиков, растягивая рот чуть не до ушей, кажется, вот-вот рассмеется. Кого не покоробит! И разберись, пожалуйста, чего это он.

Да, серьезно споткнулся Касбулат. Он тотчас же понял это: доклад не принят, послали на пересдачу, как провалившегося ученика. И раньше случалось ему спотыкаться, но в последний момент он всегда удерживался на ногах. Спасало умение подать свои показатели, а главное, самокритика, искреннее признание своих ошибок и упущений. А этому секретарю не поймешь что нужно. Может быть, надо было начать не с показателей, а с недостатков, сразу выложить все, ничего не утаивая, но ведь это значило бы заранее самого себя выдать — не новый человек в районе. Видимо, новый секретарь хочет смотреть в корень, и где он, этот корень, докопайся-ка до него!

Как ни тяжело переживал Касбулат свою неудачу, но он не опустил рук и в конце концов нашел-таки выход из положения. Он решил, что корень всего — животноводство, и сдал на мясо скот личного пользования колхозников и рабочих, кое-что прикупил в соседних районах, тем самым убил сразу двух зайцев: выполнил план мясопоставок и увеличил общественное стадо. В каждом колхозе выделено по десяти—двенадцати новых отар. Не все они указаны в сводке, но это на случаи падежа, а если бы обошлось без него, то район мог выиграть на показаниях приплода. Цыплят по осени считают, а ягнят можно сосчитать и весной. Удастся к лету увеличить поголовье свец в полтора раза и вывести по району показатель приплода в сто десять ягнят на сто маток — посмотрим тогда, как заговорит секретарь обкома. После этого можно будет попроситься и в другой район, а то засиделся уже тут. Все было бы хорошо, да вот буран проклятый...

Десятки угнанных ветром отар гибнут в снегу. Может быть, многие уже погибли, а те, что успели укрыться в кошарах, доедают последние клочки сена или, ошалевшие уже от голода, грызут плетни и столбы.

Снегопад усиливался. «Дворник» с трудом очищал от снега ветровое стекло «газика». Все короче был его размах, просвет в залепленном снегом стекле становился все более узким.

В метушейся снежной мгле одиноко полз и трясся «газик», единственное теплое гнездышко в холодной, завьюженной степи. Только бы не застрял где-нибудь в сугробе... Касбулата словно сквозняком продуло всего от сознания своей беспомощности. Он плотнее закутался в шубу.

Опять лезет в голову этот дерзкий мальчишка. Здоровенный парень, а лицо, как у ребенка, губы пухлые, глаза ясные. Счастливое, наивное дитя. Все ему нипочем, отчаянно смелый. В такой буран повел своих

мальчишек на поиски Коспана. Прямо как настоящий батыр, ведущий войско, привстал на стременах, окинул взглядом всех, тронул коня и исчез в снежной пыли. А за ним и все... Как бы не сбились с пути, а то еще замерзнут. Погода-то все хуже. Скребло на душе Касбулата: как же это он не сумел остановить ребят? Вот уж истинно говорят: пришла беда — открывай ворота. Нет, нельзя было разрешать им. А попробуй не разреши такому. Сам себе голова. За Коспаном в огонь и в воду пойдет.

Коспан... Ну, у того характер совсем другой. В армии ему не хватало подтянутости, расторопности, была в нем такая медлительность. Начальство глазами не ел, не кидался сломя голову по его велению. Прежде чем повторить приказание, подумает — все ли ясно, но зато уж выполнит точно. Говорил мало, но всегда держался компании. Бывают люди, которые с первого взгляда внушают доверие, знаешь, что не подведут. Коспан был именно таким солдатом.

Касбулат знает людей. Не зря тогда, летом сорок второго года, после прорыва немцев под Харьковом его выбор пал на Коспана. Фронт развалился, неразбериха была ужасная, немцы, рвавшиеся к Дону, с ходу сметали танками отдельные части, пытавшиеся задержать их, а упорно сопротивлявшихся обходили. Рота, которой командовал Касбулат, потеряла связь со своей частью. Противник преследовал ее по пятам. При подходе к Дону надо было с наступлением темноты во что бы то ни стало оторваться от противника, чтобы ночью переправиться на другой берег. Кого выделить в заслон? Кто останется на верную смерть? Может ведь и так случиться, что постреляют немного и удерут. Надо было выделить самых надежных, и Касбулат вызвал Коспана. Он назначил его на место только что погибшего командира отделения и приказал остаться в заслоне, умереть, но задержать противника. Коспан, кажется, и глазом не моргнул, будто приказ был самый обычный. Спокойно повторил его и пошел располагать своих солдат в оборону. Только потом, когда они прощались, в голосе его прорвалась дрожь, и он стал суетливо вытаскивать из поясного карманчика брюк эту гильзу от патрона, в которой оказалась свернутая бумажка с адресом его семьи.

Он и сейчас такой же, этот долговязый верблюд, хотя ему уже перевалило за пятьдесят. Удивительный характер. В усах седина пробивается, кончики их по-стариковски свисают вниз, а взгляд по-прежнему доверчивый, как у ребенка.

Что с ним было в тот раз... Касбулат съезжился весь, вдавился в спинку сиденья, по кончик носа укутался в шубу. Бывает же такое в жизни, что мороз пробегает по коже, когда вспомнишь. В тот раз глаза у Коспана словно остекленели, как это бывает, когда человек увидит что-нибудь ужасное, взгляд его потух, и он опустил голову. Трудно отделаться от таких воспоминаний. Гонишь их прочь, а они, как растревоженные пчелы, все лезут и лезут на тебя.

В тот раз — это было в сорок шестом году, когда Касбулат впервые увидел Коспана после возвращения его домой, — он искренне обрадовался ему. Но не до разговора было. — начиналось заседание, и потому надо было ехать в колхоз, и он попросил Коспана заглянуть к нему дня через три. Очень хотелось поговорить с ним, расспросить, как он тогда выбрался. Почему-то и в голову не приходило, что Коспан мог оказаться в плену. Касбулат был очень взволнован, когда он после заседания случайно услышал об этом. В том районе, где он работал раньше, у него тоже был один такой фронтовой друг, и он чуть было не погорел из-за того, что хотел поддержать его. И Коспан наверняка будет просить под-
держки.

Мог ли Касбулат снова пойти на такой опрометчивый шаг? Коспан долгое время был в руках врага. Кто знает, как он вел себя там, в плену? С какими настроениями вернулся на родину? Ведь, наверное, не без основания всех их берут на подозрение. Может быть, Коспан и ни в чем не виноват, скорее всего, что так, но чем докажешь это? Ты же не сидел с ним вместе в лагере.

За эти три дня Касбулат достаточно переволновался, думая о Коспане, пока наконец твердо решил, что не может больше подвергать себя риску. Он принял его сдержанно, но до Коспана, который еще с порога заулыбался во весь рот, это не сразу дошло. Неловко чувствовал себя Касбулат, когда Коспан тарашил на него радостно сиявшие глаза, будто все еще не мог поверить, что ему снова посчастливилось встретиться со своим боевым командиром. Кажется, он уже готов был предаться воспоминаниям. Пришлось предупредить, что времени для разговора в обрез. После этого ему уже было не до воспоминаний. Сразу поник и заерзал на стуле, будто не знал, куда деваться. «Раз заерзал, значит на душе у него не все чисто», — подумал тогда Касбулат, и тяготившая его неловкость прошла.

— Третий месяц, как вернулся, а все не могу устроиться на работу. Ни к одному учреждению не подпускают, словно я прокаженный какой-то, — пожаловался Коспан, не поднимая головы.

И Касбулат, набравшись твердости, холодно ответил, что этим делом должны заняться соответствующие органы, а он тут ничем не может помочь — и встал. Ясно дал понять, что разговор окончен.

Коспан вскинул голову, будто его по щеке ударили.

— Вы?! — воскликнул он. — Вы... Вы же меня очень хорошо знаете... Вы же сами...

Так и замер с открытым ртом, уставившись на Касбулата. Должно быть, никак не мог понять, что произошло с Касбулатом. Да, Коспан был все тот же — большое наивное дитя. Чувствуя, что он вот-вот снова потеряет твердость, Касбулат разозлился и на себя и на Коспана.

— Да, я вас знал до сорок второго года. А после того... Я не знаю, что вы делали после того, — сказал он.

Тогда-то вот взгляд Коспана остекленел, будто он увидел что-то ужасное... Опустив голову, он тяжело встал и медленно поплелся к двери.

Отгоняя от себя неприятные воспоминания, Касбулат встряхнулся и подался вперед, подпер голову ладонями. За стеклом в сплошной снеговой завесе ничего не было видно. Шофер по-прежнему, вытянув шею, напряженно вглядывался в дорогу, правой рукой то и дело переключая скорость.

— Далеко еще?

— Да не должно быть. Кажется, уже Ушобы.

— Прибавь газу.

— Газовать-то я могу, Касеке, да вот дорога...

Попав одним колесом в заметенную свежим снегом колдобину, машина завилыла на месте, натужно гудя.

А Коспан все не выходил у Касбулата из головы. самого страшного он все же не сказал: «Тогда-то, оставляя на верную смерть, верили мне». Да, да, долго тогда позади стучал пулемет Коспана. Если бы затих чуть раньше, не успел бы Касбулат со своей ротой переправиться через Дон. Пожалел Коспан, ушел, не сказав этих готовых уже было сорваться у него с языка жестоких слов. «Тыфу ты, черт меня дери, что это со мной сегодня творится?» — злился Касбулат. Час от часу не легче. Один бог знает, сколько отар уже угнал буран, сколько из них погибло. Да, не

удалось району благополучно проскочить эту зиму, ужасно не повезло. Придется расплачиваться.

Снег царапается в ветровое стекло «газика», как собака в дверь. Мурно на душе Касбулата. Где-то сейчас в степи бродит Коспан со своей отарой? Жив ли?

11

В полдень небо прояснилось. Буран, этот шабаш белых ведьм, бушевавший четвертые сутки, умчался на запад. За ним тысячами змей уползала поземка, извиваясь, взбиралась на косогоры, выбившись из сил, ложилась и затихала в степи. Ушли последние мелкие змейки поземки, и под блеклым небом распростерлась необозримая белая степь с застывшей на поверхности снега рябью. Уплотненный ветром снег хрустел под ногами лошади.

У простывшего утром Коспана все еще покалывало в правом боку, сильно сосало в груди. То в жар бросало, то в холод. Коспан слезал тогда с лошади, вел ее на поводу, но долго идти он не мог, ноги слабели, подкашивались, трудно становилось дышать.

Все время уклоняясь от ветра, он уже потерял ориентировку и сейчас идет наугад среди таких же пологих заснеженных холмов, что и вчера. Ох, как изводят его эти холмы! Взберешься на один, а впереди другой, точь-в-точь такой же, и конца им нет.

Утром, порывшись в своем курджуне, Коспан нашел замерзшую лепешку и завалившийся кусок вареного мяса. Половину съел, половину сберег про запас. Осталось еще несколько шариков сухого овечьего сыра, и он понемногу сосет его. Надо беречь последние крохи еды и последние крохи сил.

Отара тает, и все быстрее. Не сосчитать уже, сколько овец осталось в степи. Сначала оставались по одной, по две, а теперь остаются десятками. Наверное, уже больше сотни пало. Коспан сначала считал, а потом, испугавшись числа, перестал вести счет павшим. Да и те, что еще идут, едва живы. Чуть остановится отара, овцы сейчас же ложатся на снег и лежат, вытянув шею. Когда поднимаются, задние ноги у них трясутся, едва-едва держат. Утром, поднимая отару, Коспан, чтобы поставить овцу на ноги, хватал ее за курдюк, но она, пошатавшись немного на трясущихся ногах, снова ложилась на снег. На краю отары, вытянув ноги, лежала с раздувшимися боками красавица Кокшулан. Она так мучилась в схватках преждевременного окота, что глаза ее вылезали из орбит. Засучив рукава, Коспан помог ей выпростаться. Живой, теплый ягненок с жидкой шерсткой на тонкой розовой шкурке упал на снег и забрыкал. От него шел густой пар. Кокшулан сейчас же вскочила и стала облизывать своего недоноска. Коспан нагнулся, чтобы поднять его, и замер: ягненок уже еле шевелил ножками. Потом они вытянулись, и только по мелкой дрожи на боку еще виден был трепет жизни. Спасая свое детище, Кокшулан изо всех сил облизывала и облизывала его, суетливо семеня на месте. И вдруг испуганно застыла. Ягненок лежал, свернувшись в комочек, пар от него уже не поднимался. Коспану надо было спешить, он и без того задержался тут. Ослабев после окота, Кокшулан едва брела в хвосте отары. Иногда останавливалась, оборачивалась назад, жалобно блеяла. Потом остановилась и дальше уже не пошла. Когда Коспан подъехал к ней, она стояла, широко расставив ноги. Бока ее мерно колыхались. Опустив шею, Кокшулан уткнулась в снег мордой. Долго, очень долго, пока Коспан с отарой не перевалил через косогор, она все стояла так неподвижно, одна посреди белой степи.

Было уже под вечер, когда Коспан заметил, что по овцам словно ток прошел. Они нервно закопошились, вдруг останавливаясь, суетливо

пробивали снег и долго ковырялись в снежных ямках. Нет, ни одна травинка не попадала им на зуб. Низкорослый, спрессованный толстым слоем снега ковыль оказался для овец недоступным.

Надолго ли еще хватит у них сил? Сколько еще идти? Взобравшись на холм, Коспану уже страшно глядеть вперед. Гляди не гляди — кругом все та же уходящая за горизонт мертвая степь. Но все-таки он вглядывается и вдруг видит на горизонте гряду мелких, переходящих один в другой бугорков. Он растирает слепнувшие глаза и вглядывается пристальнее. Да, широкая равнина упирается в сплошную стену белых бугров. Похоже на очертания большого города. Снижаясь по краям, эта стена уходит за горизонт. Остановив коня, Коспан не верит своим глазам: неужели это Кишкене-Кумы — его спасение? Он шел к ним сквозь буран, шел ощупью и наконец-таки дошел.

Вскарабкаться бы на этот гребень сыпучих песков, наломать тамариска и колючек дузгена. Изголодавшихся овец пустить пастись, а самому отдохнуть у пылающего костра. На миг почудилось: лицо обдало жаром пламени, в нос ударил запах жареного мяса, под ложечкой засосало. Отчетливо выступавшие на фоне вечернего неба, Кишкене-Кумы манили своей кажущейся близостью. Но поди доберись-ка до них, когда с овцами творится не поймешь что. Они то останавливаются и стоят понуро, как неживые, то, дергаясь всем телом, начинают судорожно рыться в снегу и тут же выдергивают из него морды, вскидывают головы. Их нервное, отрывистое блеяние непрерывно дребезжит в тишине. Коспан гонит их, и одни бегут с какой-то неестественной прытью, а другие, хоть наезжай на них лошадь, не сдвинутся с места, стоят как вкопанные.

Солнце холодным красным шаром закатывается за горизонт. На растоптанном овцами снегу горят красные пятна. Коспан вглядывается в них. Нет, это не блики заходящего солнца, это — кровь на снегу. Оледневший наст подрезает овечьи копыта. Вот почему овцы останавливаются и стоят как вкопанные. Коспан гонит отару, а эти остаются, не могут уже шагу ступить. Всегда послушные стадному чувству, овцы совсем вышли из подчинения ему. То рассыпаются в разные стороны, то сгрудившись, рвут друг у друга зубами свалявшуюся шерсть. У многих уже из истертых о снежный наст до крови морд торчат клочья шерсти, которую они натужно пытаются разжевать.

Кто-то сзади дернул лошадь. Коспан оглянулся, и его бросило в дрожь. Он увидел гнедую овцу, вцепившуюся в хвост Тортобеля. Она изо всех сил, так что глаза лезли на лоб, тянула клоч конских волос. По жадности слишком много схватила их и не могла оторвать. Коспан ударил ее кнутом и погнал коня. Обернувшись, он увидел, как гнедая овца жадно грызет оставшиеся у нее в зубах конские волосы. В тот же миг в хвост Тортобеля вцепилась другая овца, и еще две бежали к коню, вытянув морды. Размахивая кнутом туда и сюда, Коспан едва отбил от них. Он был в ужасе: самые смиренные на свете животные превратились в лютых зверей.

До поросшей верблюжьей колючкой окраины песков Кишкене-Кумов Коспан добрался глубокой ночью. Озверевшие от голода овцы набросились на колючку и скоро выщипали ее всю. Это только разожгло их аппетит. В поисках скудной растительности они быстро переваливали через бугорки и разбредались по котловинкам.

Коспану только бы радоваться: наконец-то достиг заветной цели — спасительных песков. Но он уже ничего не чувствует. Голова, налившаяся свинцовой тяжестью, клонится вниз. Тот ужас, который он испытал, когда овцы стали бросаться друг на друга и клочьями вырывать шерсть,

все убил в нем. Никаких мыслей, никаких желаний, кроме одного — слезть бы с коня, лечь и забыть обо всем. Но овец не удержишь. Только те, что вконец уже обессилели, копошатся в одной котловинке, некоторые даже залегли, а остальные, пощипывая на ходу колючку, уже перемахнули через второй гребень, взбираются на третий.

Среди легких, как пушинки, облаков плывет блеклая луна. Кажется, что и она потускнела за эти дни. В мутном и зыбком свете дрожит множество каких-то темных точек, и кажется, что гребни песков колыхаются. Надо бы подсчитать, сколько осталось овец, но это невозможно — отара разбрелась. Одно ясно — осталось мало. И надо же было этому случиться у самых Кишкене-Кумов. Если бы он добрался до них немного раньше...

Давая овцам пастись на ходу, Коспан собирал отару и медленно гнал ее в глубь песков, пока не добрался до солонцевой котловины, поросшей иссиня-желтоватыми барашками буюргуна. Снегу тут было так мало, что он не покрывал даже эту низкорослую растительность. Сочный буюргун задержал отару. После голодовки сытная пища быстро размолила овец, и они тут же ложились.

Теперь овцы уже не разбредутся — утолив голод, будут отдыхать до утра. С трудом расшевелив онемевшее тело, Коспан слез с лошади. Надо было наломать дузгена, разжечь костер. Хоть и луна светила, но мелких колючек дузгена не разглядишь. Они больно резали ладони, прокалывали и сквозь рукавицы. Сломать ствол пониже сил не хватало, приходилось ломать тонкие колючие веточки. Коспан ломал, но больше сидел отупевший, и ему казалось, что он уже шевельнуться не может.

Тихий, протяжный, шемящий душу звук. Во сне или наяву слышится он? Опять, на этот раз уже явственнее. Коспан очнулся, и у него все похолодело внутри. Он услышал волчий вой. Вот где подстерег его извечный враг чабанов!

В эту зыбкую лунную ночь в сыпучих холодных песках тоскливо, выворачивая все свое нутро, завыл один волк. Таким же тягучим, приглушенным, будто из-под земли идущим воем ответил ему другой. Проснулся и третий. Их голоса сливаются, крепнут. Теперь в волчьем вое слышны уже не тоскливые и жалобные, а совсем другие нотки. Волки воют и далеко и близко, со всех сторон, их все больше и больше. Коспану уже кажется, что изо всех песчаных ям вокруг выползают волки.

Увязая в сыпучих песках, он побежал к Тортобелю. Овцы, вскочившие уже на ноги, замерли в страхе, подняв уши торчком. На краю отары, не находя себе места, суетилась и плаксиво скулила, втянув шею и задрав морду, Майляк. «Видно, на тебя надежда плохая», — мелькнуло в голове Коспана. Ощетинив загривок, стоял хищно оскалившийся, готовый к мертвой хватке Кутпан. Тортобель, вскинув голову, тревожно поджидал подбегавшего к нему хозяина. Пока Коспан натягивал подпругу, он не шелохнулся, только махнул хвостом под пах. Схватив соил, Коспан сел на коня и, как ни велика была опасность, все же не забыл потреть по холке своего верного друга. Вся надежда была на него. До сих пор не подкачал, а как-то теперь покажет себя? Волки выли реже и слабее, наверное, уже начали сходитьсь.

Коспан поудобнее ухватил соил, эту выдавшую виды потертую дубинку, единственное оружие чабана, и, поглядывая вокруг, стал объезжать настороженно замерших овец. Вскоре волки затихли, будто совсем исчезли. Затаив дыхание, Коспан глядел на гребни песчаных бугров. Вдруг он услышал позади себя яростный отрывистый лай Кутпана, и в тот же миг на гребне замелькали спины зверей. Волки прыжками ныряли в темную котловину. Сколько их прыгнуло, он не успел заметить. Мелькнули, как призраки, и растаяли в темноте. Ударив коня ногами,

Коспан хотел крикнуть, но голос сорвался и прозвучал только сиплый хрип.

Во тьме вспыхнули волчьи глаза. Овцы шарахнулись в разные стороны. Звери с ходу врзались в их гущу. Коспан, не успевший перехватить волчью стаю, поскакал вдогонку ей с поднятым над головой соилом. Несколько овец уже лежало с распоротыми брюхами. Коспан опустил соил на волка, вгрызавшегося в брюхо овцы. Удар пришелся ему по задку. Волк сел на задние лапы и, сверкая клыками, обернулся, но Тортобель уже пронес Коспана дальше.

Обезумевшие от страха овцы кучками и одиночками носились по котловине. Где-то далеко отрывисто лаял Кутпан. Трудно было разобраться в этой сумятице. Коспан наезжал в темноте на овец, сбивал и топтал их копытами лошади. У него помутнело в глазах, он резко осадил коня, чтобы оглядеться, и потом пустил его во весь опор на волков, терзавших овец на другом краю котловины. Он уже настигал их, когда два волка, обернувшись, стали быстро-быстро скрести задними лапами землю и подняли позади себя такую бурю, что коня и его самого засыпало перемешанным со снегом песком. Тортобель, зафыркав, подался в сторону. Зная коварную повадку серых в таких случаях нападать сзади, Коспан на полной рыси сделал круг, подскочил к ним сбоку, но они увернулись от ударов его соила.

Часть овец пыталась перемахнуть через гребень окружавших котловину бугров, но передние увязли в сыпучих песках, и задние, налетев на них, сбились в кучу. Овцы падали, лезли друг на друга, душили оказавшихся внизу кучи. Как смертный вопль, доносилось их истошное бляение. Один из волков врзался в эту вопящую кучу. На него налетел Кутпан. Серый увильнул и, огрызаясь, побежал, но Кутпан догнал его и схватил за ляжку. Они сцепились и покатались с бугра кувырком. Коспан в это время гнался за другим волком. Настигая его, он так замахнулся соилом, что чуть было не упал с лошади. Схватившись за гриву коня и выпрямившись, он увидел свою сцепившуюся с волком собаку. И тот волк, на которого он неудачно замахнулся, бросился в их сторону. Вдвоем волки загрызли бы Кутпана, но в этот миг невесть откуда выскочила Майляк, до сих пор только изредка дававшая о себе знать испуганным лаем. Двумя прыжками она догнала волка, подбежавшего к Кутпану сзади. Тот отскочил в сторону и, кинувшись на Майляк, живо подмял ее под себя, но тотчас подпрыгнул что было мочи, точно испуганно отпрянул от лежавшей под ним собаки. Вцепившись ему в горло, Майляк безжизненно висела на нем. И волк, вытянувшись на задних лапах, рухнул вместе с ней. Все это произошло так быстро, что Коспан не успел повернуть коня, как Майляк уже лежала мертвая в обнимку со своим мертвым врагом.

Тяжело, с храпом дышал Тортобель. Коспан то пускал его во весь опор, то круто осаживал на скаку, поворачивал на ходу то сюда, то туда. Не давались ему быстрые и верткие, как шарики ртути, хищники. Нацеленный на волка соил со стуком ударялся о землю. У Коспана уже помутнело в голове. Сколько времени он вертится на коне, размахивая дубинкой? Кажется, что бесконечно долго, а может быть, и одно мгновение.

Дважды он выручил свою храбрую собаку, когда на нее наседали сразу по два волка. Теперь он отгонял от истекавшего кровью Кутпана матерого зверя ростом с годовалого теленка. Хоть и огромный, но поджарый, волк ловко ускользал от ударов его дубинки. Опять слишком сильно замахнувшись, чуть не вылетел из седла. Удержался, но соил выпустил из руки. Быстро высвободив ногу из левого стремени, стал отстегивать его, чтобы заменить им упущенную дубинку, и в эту минуту Тортобель подпрыгнул задними ногами, потом под животом его что-то про-

мелькнуло, конь встал на дыбы и надрывно заржал. Едва успев высвободить из стремени другую ногу, Коспан вместе с падавшей лошадей опрокинулся на землю.

Только он вытащил ногу из-под коня, как этот исчезнувший было куда-то матерый волк накинулся на него. Он инстинктивно упал на левое колено, чтобы обеими руками оттолкнуть от себя волка, и почувствовал, что руки его вцепились в шею хищника.

Волк передними лапами в клочья разодрал у него на груди стеганку. Коспан изо всех сил отталкивал его от себя. Брыкая передними ногами, волк норовил снова вцепиться ему в грудь, потом запружинил на задних лапах, пытаясь прыгнуть. Пальцы Коспана выскальзывали из волчьей шерсти. Чуть ослабив хватку, Коспан ловчее вцепился в шею хищника и стал давить ему горло большим пальцем. А тот все сильнее пружинил на задних лапах, стараясь опрокинуть его. Одно неосторожное движение — и Коспан, потеряв равновесие, мог оказаться под волком.

Позади захлебывался отрывистым храпом Тортобель. Мучаясь в предсмертной агонии, он сильно бил ногами в землю, потом стал утихать и только царапал еще землю копытами.

Припавший на левое колено Коспан все так же, на вытянутых руках, продолжал держать матерого за шею. Раскрыв пасть, волк дергал головой, норовя укусить его за руку, но не доставал ее, и только слюна с длинного языка зверя капала на рукава стеганки Коспана. Сжавшись всем телом, матерый рывком подался вперед, но Коспан выдержал и этот натиск. Пальцы его скользили по шее волка все выше, и когда они остановились у самой челюсти, Коспан так сжал зверя за горло, что сквозь его теплую кожу почувствовал пальцами острые шейные позвонки.

Хищник начал слабеть. Рывки его становились более вялыми, язык вывалился, кончик его дергался, как змеиная головка. Коспан попытался встать на ноги и опрокинуть волка, но у него не хватило на это сил. Навалившись всей своей тяжестью, волк словно пригвоздил его к земле.

Откуда-то сзади доносился задыхающийся лай собаки, все ближе слышалось дробное постукивание по земле чьих-то лап. Опять лай, урчание, шум какой-то возни, гавканье, жалобный скулеж...

По телу матерого уже пробежали судороги, он вытянулся на задних лапах с мертво повисшим языком. Коспан чувствовал пальцами, как волк постепенно холодеет, но подняться, оттолкнуть его от себя, даже шевельнуться не мог. Как стоял на одном колене, так и застыл с руками, вцепившимися в горло волка.

Каламуш и его ребята, кто верхом на коне, кто на санях с сеном, вторые сутки уже рыскают в мертвой степи Кара-Киян. Вырываясь вперед, верховые взметываются на холмы, скатываются в балки. Вчера, теряя и разыскивая друг друга в буране, ребята к вечеру приуныли, но сегодня во второй половине дня, когда погода прояснилась, опять повеселели. Никто не может долго усидеть в санях, всем хочется скорее взобраться на коня. Верховые рассыпаются в разные стороны. Минайдар-ата сердится, кричит, машет шапкой — зовет обратно.

Каламуш не хотел брать с собой отца, думал, что обойдется и без старика, но тот поехал, и теперь подпасок уже рад, что Минайдар-ата с ними. Старик и ночью в буран находил все косогоры и балки, где мог укрыть свою отару Коспан-ага. Каламуш уговаривает его сесть в сани,

укутаться потеплее сеном, но Минайдар не хочет слезать с лошади. Он все больше тревожится. Прочесана уже почти вся равнина Кара-Киян, а никаких следов Коспана еще не найдено.

— Овца! Овца! — закричали вдруг скакавшие впереди ребята.

Когда Каламуш нагнал их, он увидел уже выкопанную из снега замерзшую овцу и узнал ее: черная, с белой прядкой на лбу, была такая в отаре Коспан-аги.

Минайдар два раза перевернул замерзшую гушу и заключил:

— Во всяком случае не сегодня околела. Значит, Коспан ушел к Кишкене-Кумам.

Они поехали дальше и вскоре увидели еще несколько снежных бугорков. Раскопали их — опять замерзшие овцы.

Как зерно из дырявого мешка, Коспан-ага рассыпал по пути мертвых овец. Чем ближе было к Кишкене-Кумам, тем чаще встречались эти страшные следы отары.

14

Коспан все еще сжимал в судорожном оцепенении шею стоящего перед ним на задних ногах мертвого волка. Не раз он уже пытался оттолкнуть его от себя, но одеревеневшие руки по-прежнему не двигались. Одеревенела и левая, согнутая в колене нога. Будто железными обручами было сковано все тело. Наконец он почувствовал, что пальцы правой руки, глубоко впившиеся в горло хищника, начали разжиматься. И тогда, собрав все свои силы, он рванулся вперед. Железные обручи лопнули. Он поднялся на ноги и правой ожившей рукой стал мять сведенные в судороге пальцы левой руки. Оторвал их от шеи волка, и тот грохнулся на землю.

Коспан тоже не удержался на ногах. Он опрокинулся навзничь, и у него искры брызнули из глаз от удара по затылку. Придя в себя, он огляделся и увидел, что лежит головой на седле павшего Тортобеля: очевидно, он ударился о луку седла... «Надо встать», — подумал Коспан, но не встал. Несколько раз он повторил про себя: «Надо встать... Надо встать...» — прежде чем набрался сил поднять свое тяжелое, как камень, тело.

Небо совсем расчистилось, луна до гребней песчаных бугров заливала своим бледно-молочным светом вытянувшуюся среди них пологую котловину. Как на поле битвы, кочками лежали на ней мертвые овцы, многие с вывалившимися внутренностями, среди овец распростерлись два волка, а дальше еще один лежал в обнимку с Майляк. Не счесть было растерзанных волками овец, но остались ведь и живые — где они? Будто земля поглотила. Коспан бродил среди трупов, единственное тут живое существо. Сделав круг, он вернулся к Тортобелю. Конь с вспоротым брюхом лежал, широко раскидав ноги и запрокинув голову, словно в последних судорогах хотел ускакать от смерти.

Коспан отстегнул подпругу, снял с Тортобеля седло и попону. Стянуть узду было трудно — челюсти коня крепко сжимали мундштук. У ног Коспана вдруг кто-то зашевелился, заскулил. Кутпан... Откуда он взялся? Тихо скуля, кобельлизывал раны. Еще одно живое существо, все-таки легче...

Растянув попону, Коспан уложил на нее собаку и пошел к песчаному гребню. Шел ли он, куда глаза глядят, или искал уцелевших овец своей отары — этого он и сам не сказал бы. На гребне его догнал Кутпан. И собаке тягостно оставаться одной среди трупов.

Перебравшись на ту сторону бугра, Коспан нашел остатки своей отары. Смертельно напуганные волками овцы рассыпались кучками по

песчаным ямам и лежали в них, как неживые. Только одна овца, увидев чабана, попыталась подняться. Она встала на передние ноги, немного постояла и снова устало легла.

Коспана вновь трясло в ознобе, зуб на зуб не попадал. Ему тоже захотелось лечь, укрыться шубой. Но где она? Ах да, он оставил ее там, у коня, — вспомнил Коспан и побрел обратно. У него уже меркло в глазах. Зыбкий лунный свет превращался в текучий туман. Сознание гасло, он шел в этом призрачном тумане, и ему мерещилось, что рядом с ним, неслышно ступая, идет Жанель, ведет его домой. Сейчас она уложит его в теплую, мягкую постель.

...Он только что крепко заснул, и кто-то уже теревит его за плечи, стаскивает одеяло. Жанель... Где она? Холодно. Коспан дрожит, но ему не хочется вставать. И вдруг он слышит рядом, под боком у себя тихое, утробное подвывание Кутпана. Тогда он быстро садится и сразу понимает, как далеко сейчас от него Жанель. Он один в Кишкене-Кумах, больной, без коня. Неужели это конец?

Жанель... Как бы далеко она ни была от него, но душой-то она тут, с ним. Коспан это знает. Все эти кошмарные дни она неслышно и незримо шла рядом. Он видел, как в страхе расширились ее глаза, когда он был в опасности, ее теплое дыхание согревало его, когда, свалившись в смертельной усталости, он дрожал от холода на снегу.

Конечно, она уже совсем не та, какой была в молодости. Сильно постарела, раньше времени старухой стала. Нелегкую прожила с ним жизнь. Но разве человек замечает, как посаженный им на дворе молоденький чинар превращается в старое дерево с сухими сучками и потрескавшейся корой? Он даже не помнит, что этот чинар когда-то гнулся под ветром, как тростинка. И Коспан тоже не заметил, как робкая Жанель стала ему опорой в трудные минуты. Никогда не задумывался он над тем, как же это случилось. Прожили жизнь рядом и стали как одно существо. Не все ли равно, его это рука или ее? Он и представить себе не мог одного без другого. А теперь...

Нет, ему еще рано думать об этом. С чего это вдруг он хоронит себя вздумал? Что, у него уже нет сил подняться на ноги? Сейчас вот встанет, наломает тамариска и разложит костер. Только бы дождаться утра. В колхозе люди тоже, конечно, не спят, наверное, давно уже ищут его. Каламуш... Разве он усидит?

Коспан встал, накинул на себя шубу и, выбравшись из котловины на гребень, стал ломать тамариск. Его часто охватывал жар, кружилась голова, когда силы покидали его, он садился, отдыхал. Отдохнув, снова с остервенением ломал колючий кустарник. Немало провозился он, пока собрал охапку хвороста и разжег огонь.

Конца нет зимней ночи. Сидя у костра, Коспан дремлет, иногда засыпает, но сейчас же просыпается, встряхивается, гонит от себя сон, подбрасывает в костер хворост. Его ни на минуту не оставляет чувство, что если он поддастся тяжести, которая клонит его голову к земле, то эта тяжесть его задавит и он уже больше не встанет, а он во что бы то ни стало должен встать. Его ждет Жанель и что-то еще очень важное. Что это важное, он плохо представляет себе. Он мучительно старается вспомнить, какое это важное, большое дело ждет его, что такое он еще обязательно должен сделать, иначе покоя ему не будет. Старается, но вспомнить никак не может.

Перед глазами опять встает Касбулат. Кто же он все-таки такой? Если друг, то как же он мог предать его в самый трудный час? А если не друг, то как же можно было потом простить его? Растаял перед ним, как мальчишка-сирота, которого погладили по голове. Касбулат... Что в нем

такое, чего он никак не может постичь? Почему он безропотно идет за ним на поводу? Осенью, когда к отаре прибавили триста ягнят, Кумар шепнул ему: «У нашего Касеке корни расшатываются, хочет укрепить их овечками». Вот и укрепил! Почему он до сих пор не выложил Касбулату все начистую? Почему не настоял на своем тогда, на совещании в Алма-Ате? Не пора ли уже прямо посмотреть ему в глаза и спросить с него за все? Если уже не ради себя, так ради других, ради того же Каламуша. Каламуш... Разве он не роднее ему родного? Кто его наследник, как не Каламуш? А что он оставит ему в наследство? Все ту же вековую дубину чабана? Этих овец, трупы которых устилают степь от Атан-Шоки до Кишкене-Кумов?

Утро не наступило, а костер уже гаснет. Надо наломать еще тамариска. Коспану трудно подняться, тело разбито, но он уже чувствует себя лучше, потому что сознание, словно мутная вода, когда она отстаивается, начало проясняться, как это бывает после долгой тяжелой болезни.

...Когда Каламуш и его ребята вымахнули на бугор, они увидели в затопленной лунным светом котловине рослого человека. С дубинкой в руке он взбирался на гребень песков, казалось, готовый схватиться с кем-то притаившимся там, в кустах тамариска. За ним, как тень, брела крупная собака-волкодав.

Авторизованный перевод с казахского Е. Герасимова.



Э. МЕЖЕЛАЙТИС

★

ЛЕСНАЯ АРХАИКА

С литовского

ГОРОДОК

Над удочкой пригнувшись, жду форелей.
Стою, не поднимая головы.
И вдруг я слышу — прямо из травы —
Подобье звонких колокольных трелей.

Оказывается, на тихий луг
Сквозь ветки, как сквозь комнатные двери,
Впустил я мягкий луч и тихий звук.
Луч был пушист — и от него запели

Всех колокольчиков колокола.
Как трепет ласточкиного крыла,
Был этот звон. Так в утро городское

В зеленом этом малом городке
Звенит, звенит, звенит невдалеке:
«Динь-дон, динь-дон» — ямбической строкою.

РАБОТНИКИ

Динь-дон! Летит пушинка звона,
Как одуванчиковый пух.
И малый город полусонно
Оглядывается вокруг.

Уже над мятлицей клубится
Клочок дымка, как над трубой.
И в кузницу свою трудиться
Пришел жучок-мастеровой.

А по дорожкам муравьи
Спешат вершить дела свои,
Они не признают безделья.

(Вон эти двое — вроде нас...
Позволь смутить на этот раз
Тебя подобной параллелью.)

УЮТ

На живописном косогоре
Улитку звуки разбудили...
Она живет, не зная горя,
В уютной и удобной вилле.

И гусеничка-лежебока,
Проснувшись на рассвете,
Напившись макового сока,
Лежит, как в ванночке, в соцветье.

И губы красит, спинку чистит,
Высматривает свежий листик,
Сложивший крылышки листок —

Кусок весны, еще непрочной,
Зеленый самый, самый сочный,
Что может выбрать червячок.

КАПЛЯ

Что будешь делать, друг горбатый,
Кузнечик, маленький звонарь?
На колоколенке покатою
Звенишь, бушуешь, как бунтарь.

Колотишь, как обезумелый,
В цветочные колокола...
Но бабочки не стало белой,
Но Эсмеральда умерла!

Звук, с колокольчика стекая,
Как будто капелька живая,
Скользит по стеблю. И роса

Слезой трепещет на рассвете.
И бабочку везут в карете...
И разбивается слеза...

ЗЕМЛЯНИКА

...Итак, украл у горбуна паук
Его любовь, где не было корысти.
И земляникой закраснелся луг,
Как будто кровью капнуло на листья.

Кузнечик малый! О, как тяжело
На свете жить утраченной любовью!
А солнце словно за сердце взяло
И капнуло на листья алой кровью.

На свете нету проявленья чувств —
Пусть это чувство велико иль мало,
И пусть оно веселье или грусть,

Которое бы кровь не выжимало.
Земля у солнца капельку взяла.
Та капля земляникою была.

ФОРЕЛЬ

Першокшну¹ окровавило зарей.
И сказка кончилась. Конец безделью.
Но вдруг взметнулся акробат речной —
Удилище прогнулось под форелью.

Вот золотом сверкнула над водой,
И пляшет, пляшет, покидая воду...
В котомке я ташу ее дсмой,
Как грусть влачит горбатый Квазимодо.

Карабкаюсь на косогор крутой
И задеваю тонкою удой
Весенний мир экзотики старинной —

Готические башни, гребни крыш,
И колокольчики, пугая тишь,
Звенят протяжно над речной долиной.

¹ Речка в Литве.

Перевел Д. Самойлов.



НИКОЛАЙ ВОРОНОВ

★

СПАСИТЕЛИ

Рассказ

1

Маяк на горе. Колючая под током изгородь. Край обрыва. И твердый снег над желтым льдом рудопромывочной канавы.

Маяк — начало нашего излюбленного лыжного пути, утрамбованный снег над льдом — конец.

Мы — барачные шестнадцатилетние мальчишки Саня Колыванов, Лёлёся Машкевич, Колдунов и я, живущие во втором военном году.

Нас привлекает этот путь тем, что, скользя по накатанной до никелевого блеска лыжне, испытываешь гордость: рядом колючая проволока, заряженная смертью, а тебе все нипочем, ветер жужжит вокруг (летишь чуть ли не со скоростью самолета «ястребка»), а у тебя не захоленет сердце, и хочется скользить бешеной, бесшабашней. А после с разгона прыжок. Паришь будто бы над пропастью.

В тот памятный день мы, как всегда, катались вчетвером: Саня Колыванов, Лёлёся Машкевич, Колдунов и я.

К горе мы бежали непрытко. Бил лобовой ветер. Казалось, что по щекам задевают наждачной шкуркой. Скоро наши лица притерпелись.

На гору мы всходили «елочкой». Вчерашняя поземка ободрала пушистый верх снегов. Слюденели плешины наледей.

Я поехал по запорошенной лыжне. Стремительно набирал разгон. Захотелось взглянуть на себя, мчащегося под гору. Мысленно перенесся к маяку — под ним стояли мои товарищи — и увидел оттуда: лечу черным парусом, — чтобы набрать стремительность, я разбросил полы шинели, и их надувало.

Изгородь отшвырнуло вправо, а меня, летящего к обрыву, — влево. Резкий поворот лыжни да подземный хлопок артиллерийского выстрела на полигоне, где испытывали броню, — это и вызвало впечатление: изгородь отмахнуло вправо, меня — влево.

До края обрыва — миг скольжения. Сердце екнуло от страха. Я увидел вдалеке над металлургическим комбинатом крахмально-белое облако. Оно ввинчивалось в желтые патлы сернистого дыма. То был пар из тушильной башни. Башня — огромногорлая труба. Электровоз вкатывает под нее тушильный вагон, полный свежеепеченного кокса, горящего красно-медным пламенем. И тут кокс поливают до сизой черноты, а из ствола башни выкручивается пар.

Я работал люковым на коксовых печах, хотя и занимался в ремесленном училище. Каждодневно, кроме воскресенья, вспухали такие вот блистающие облака.

Лыжи плотно шелкнули об снег, и я помчался по ущелью. Скоростью запрокидывало в сторону, обратную движению. У меня были лыжи-коротышки. Они встали торчком, не удержав своей площадью моего долговязого тела. На карельских лыжах, проданных недавно на базаре из-за нужды, я бы устоял: они были двухметровыми.

Поднялся и услышал свист Колдунова. Колдунов летел над ущельем, он свистел, прося освободить дорогу.

Колдунов, как и я, ремесленник, только учится на машиниста мостового крана.

Лёлёсю пришлось ждать: не может обойтись без раскочки перед действием, требующим решимости. Но вот и он катапультируется в небо. Лыжи скрестились. Пальцы рук хватают воздух. Длинные уши женской шапки вьются за его затылком.

Перед самой посадкой Лёлёся разъединил лыжи, удачно стукнулся на ручьевой наст.

Когда он несся по ущелью, я, Саня и Колдунов кричали:

— Bravo, bravo, bravo!

Подъезжая к нам, Лёлёся, довольный своим прыжком, сказал:

— Хлопцы, человек ползает.

— Где?

В Лёлёсиных весело светящихся глазах проблеснула тревога.

— На тропинке.

Колдунов не поверил.

— Заливай.

— Честно.

— Я б увидел с горы.

— Не всегда же ты все видишь.

— Я? Из всех пацанов у меня самые большие глаза.

— Нет, у меня.

Я вспыхнул: в бараке давно признавали, что именно у меня самые большие зенки.

— Были.

Вены на шее Колдунова вздулись во всю длину.

— Кто ползает? — спросил Лёлёсю Саня Колыванов.

— Не то казах, не то киргиз.

— Ну и пусть ползает. Туда ему и дорога.

— У, бесчувственный кирпич. Может, он раз в триста лучше любого из нас.

Я, Лёлёся и Саня побежали по дну ущелья.

2

— Сашок, вернись.

Саня не оглянулся.

— Ну, берегись, Шурка, я тебе сделаю...

— Не грози. Я не Лёлёся.

— Еще как сделаю...

— Голубей, что ли, отравишь?

— И отравлю.

— Отравишь — подстрелю из берданки. Как кулика. Совсем убивать не буду. По ногам лупану. Тогда небось никому не вздумаешь ломать костыли.

Молодец, Саня! Заткнулся Колдунов. Кривил-кривил губы, подбирал, чем бы уязвить Саню, но так и не подобрал.

Саня умеет отбрызгивать задиру-горлохвата и почище Колдунова. Он умный, добрый парнишка, только уж очень невезучий. Отец у него за-

пился. Осенней ночью шел домой из ресторана, лег на стылую землю и умер.

Санина мать, Раиса Сергеевна, была домохозяйкой. Она устроилась мороженщицей в «Союзмолоко», где ее муж заведовал магазином. Кроме Сани, было у Раисы Сергеевны еще двое маленьких детей — дочь и сын. Попасты в мороженщицы было трудно, однако ее взяли в «Союзмолоко», жалеючи ребяташек.

Саня частенько звал меня на базар, и мы подолгу толклись около киоска Раисы Сергеевны, покамест она не угощала нас мороженым. Хрмированной лопаточкой она поддевала мороженое в высокой стальной и луженой банке и набивала им формочку, в которую вставила вафельный кружок. Поверх крупитчато-белой холодной массы, плотно натолканной в жестяную формочку, нашлепывался вафельный кружок. Мгновение — и порция тугого мороженого вытолкнута наружу. Сане, мне. И мы крутим на языках сладкие жернова. Мороженое для покупателей Раиса Сергеевна готовила иначе: тщательно, но без нажима заглаживала в формочку и выдавливала порцию, облегченную в весе.

Знакомый Раисы Сергеевны дядя Миня восхищался тем, как она торгует: «Не мороженое накладываешь — золото куешь».

А денег на содержание семьи Раисе Сергеевне все-таки не хватало. Велики расходы: на еду, на одежду, на оплату трудов бабушки Кирьяновны, обихаживавшей ее детишек, себе на наряды — молода, в чем-то надо в люди показаться, чтоб совестно не было.

Из киоска Раиса Сергеевна редко возвращалась веселая. Еще издали, завидев кого-нибудь из своих ребят, начинала браниться, не зная, ладно ли вели себя ребяташки, убрано ли в комнате. Просто она ругалась для острастки, со зла на вдовью недолю, по невоспитанности: росла в приюте, до замужества жила в няньках — не знала покоя, да и после замужества света невзвидела. Виноваты ли в чем, нет ли — дети прятались под кровать. Заступалась Кирьяновна — ей перепало. Из-за этого, как ни любила ребят, отказалась старуха ходить за ними.

Саня окончил лишь пять классов. Он поступил в ремесленное училище, но бросил его, даже не научившись делать табуретки. Каким-то старшим пацанам из группы столяров Саня не понравился. Они задирали его, а когда он лез в драку, лупили. Саня и перестал ходить в училище.

Накануне новогоднего праздника нагрязнул к Кольвановым мастер Шлычков.

Чтобы задобрить Шлычкова, Раиса Сергеевна выставила на стол угощенье: кислушку, капустные вареники, для обмакивания вареников — блюдце с хлопковым маслом.

Брага только отыграла (боялись, что разорвет бутылъ) и теперь была ядрена и крепка. Шлычков захмелел, расплюснутыми пальцами громко щелкал, как деревянными ложками.

— Чубарики-чик-чигирик.

Мать послала Нину за Саней.

Шлычков посадил его рядом, на сундук, стал объяснять, зачем пришел.

— Человечества не хватает людям. Испокон веку воюют, скандалят, в тюрьму один другого. Я решил по человечеству. Чубарики-чик-чигирик. Ты форму получил? Получил. Сдай. Сдай — дело прикроем. Сам директор со мной согласился. Правильно ведь — по человечеству?

Раиса Сергеевна стала уговаривать Шлычкова, чтобы оставил мальчику бумажную гимнастерку с брючишками, байковый бушлат, ботинки. Она соглашалась сдать шинель, репсовую гимнастерку и суконные брюки.

— Все сдай. Добро-то государственное.
— Мы тоже государственные. Сынок голым-гол останется.
— Зато при матери.
— Товарищ мастер! — взмолился Саня. — В одном белье останусь.
— Ладно. Белье не возьму. Директор спишет. В остальном давайте по человечеству.

Шлычков увязал форменное Санино барахло в тряпку, кинул узел на загорбок, ушел, ковыляя, сквозь снегопад.

Саня переживал свое невольное заточение. Целыми днями сидел на кровати в кальсонах и нижней рубаше. По-башкирски подоткнута нога под ногу. В пальцах рук — роговая расческа, меж зубчиками — папиросная бумага. Саня водит расческой по губам, дует. Бумага потрескивает, жужжит, верещит.

Все, что он играет на расческе, задумчиво, горестно, наводит грусть не только на него самого, но и на сестренку Нину и братишку Юрика, да и вообще на всех присутствующих.

Любимая Санина песня «Сидел рыбак веселый». Мелодию этой песни он жужжит со слезами на глазах. И, наверно, как и мы, видит, как в яви, рыбака, дующего в тростник, и слышит, что рассказывает дудка человеческим голосом: она была девицей, сын мачехи никак не мог добиться ее любви, однажды привел на берег реки, зарезал и закопал, на могиле взошел тростник, его срезал рыбак, и вот тростник жалуется девичьим голосом на свою судьбу.

Ногти у Сани с белыми пятнышками. В бараке считалось, что каждое такое пятнышко к обновке, а человек, у которого их много, счастливчик.

Мы и в самом деле поверили, что Саня счастливчик, когда Раиса Сергеевна нашла в трамвае ордер на хлопчатобумажный костюм. Пришлось выкупить костюм пятьдесят второго размера: других не оказалось в магазине.

Брюки сделали с напуском. Необъятностью они напоминали штаны запорожцев. Подол гимнастерки подшили, рукава наполовину отстригли овечьими ножницами и тоже, как и штаны, собрали на резинках.

С тех пор как Саня поступил в ремесленное училище, мать перестала получать на него хлебные и продуктовые карточки. Но и после того, как была возвращена Шлычкову Санина форма, Раисе Сергеевне выдавали карточки только на Нину и Юрика. У себя на обувной фабрике, куда перед войной устроилась бракером — стали прибаливать от постоянного ее обращения с мороженым суставы рук, — она скрывала, что старший сын уже не ремесленник. И тогда, когда он столовался в училище, семья жила впроголодь, а теперь приходилось еще трудней. От недоеданий Раиса Сергеевна начала пухнуть, но упорно не хотела устраивать Саню на работу: как-нибудь перебьемся до лета, а там будет новый набор в ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения. На государственном-то иждивении куда легче существовать, чем на своем собственном.

Холостяк кочегар, работавший на паровозике, который таскал на откосы доменный шлак, перед уходом в армию раздаривал немудреные пожитки. На костлявые плечи Сани он накинул ватник, глянцевого от угля и мазута. От того же кочегара досталась ему в наследство пара бусых голубей. В них редкостно сочетались голубиные стати: на лапах мохны, крылья свисают веслами, опущенными на воду, хвосты веером, носики с пшеничное зернышко, шейки пульсируют, и от этого на шелковистых пепельно-бурых зобах скачут сполохи — прямо-таки северное сияние.

Бусым Саня обрадовался. Целовал, таскал за пазухой, скармливал им хлебные ломтики, которые отрезала на его долю мать.

Потом он взялся приучивать бусых к своему балагану. Связал им крылья, кормил дробленым подсолнечным жмыхом и жареным овсом. И жмых и овес приносил с конного двора.

С помощью бусых Саня скоро начал ловить не только чужаков — неизвестно чьих и неизвестно откуда прилетевших голубей, — но и голубей, покупаемых и приучиваемых голубятниками тринадцатого участка.

У Сани появились недруги среди мальчишек, парней и мужиков. К будкам нашего барака они боялись подходить с враждебными намерениями: издали свистели, швыряли коксинами, кирпичами и палками.

Саня оковал будку железом, на дверь, крест-накрест перехлестнутую стальными полосами, навешивал лабазные замки.

Спал спокойно: будут ломать балаган — услышит грохот листового железа и скрежет гвоздей, бабахнет через форточку, и воры разбегутся.

Как-то утром он проснулся от тишины. Еще не отмахнул стеганое одеяло, но уже догадался: украли голубей. Обычно, прежде чем, как говорила Раиса Сергеевна, продрать глаза, он слушал сквозь полудрему раскаты воркованья, узнавал в клубке рокочущих звуков, не расчленимых для грубого уха, голоса разных своих голубей. Под эту сладкую музыку он забывался опять.

Саня продышал ворсистый ледок на оконном стекле. Ужаснулся. Воры приподняли ломами будку и поставили на облепленные глиной опорные столбы.

Поникший Саня ходил вокруг будки. Глаза слезились, вытирал их рукавами фуфайки и стал чумаз, как паровозник. За Саней бродили печальные «шестерки» — мальчишки, бывшие у него на побегушках.

По приказу повелителя они наташили ломов — как ни жилились, будки не стронули. Восхищались ворами: «Здоровенные дяденьки приходили. С самим Яном Цыганом смогут бороться!»

Саня хмурился. Надумал подбить под стойки деревянные клинья. Принесли кувалду. Загнали под столбы клинья. Поднатужились, напирая плечами на ломы. Всеми четырьмя стойками будка ухнула в ямы.

Набили ямы скальником, железяками, стеклянистым доменным шлаком. Из таких плотно-наплотно утрамбованных ям даже борцы не выдернут будку.

Саня не стал разыскивать украденных голубей. Разыскать разыщешь — получить не получишь. Разве что финку в бок. Умные голуби, свяжи их или крылья обдергай, все равно прилетят; шалавые — те куда попадут, там и приживутся. Туда им и дорога. Бусые обязательно прилетят, красноплекие тоже. Горелый может прилететь. Башка! Под Михайдарову стаю подкинул, круга не дал — домой. Дробленого жмышку захочет и нарежет на тринадцатый участок.

Бусые прилетели. Красноплекие и горелый не оправдали надежд. Зато удивили плюгавенький сизый жучок и желтохвостая: прилетели в густых сумерках, когда голуби боятся летать и разбиваются о провода.

Саня сколотил в будке маленький домик, в него и закрывал голубей с наступлением темноты. Хоть он и крепко застраховался от пропажи голубей, теперь вскакивал по ночам и смотрел сквозь студеную лунку в стекле — не толкуются ли мужики у балагана.

Через полмесяца Санина голубятня снова стала одной из самых больших на нашем участке.

Вскоре стряслась новая беда: кто-то выстрелил дуплетом по снижавшимся бусым, и они замертво попадали на землю.

Покамест Саня подбирал бусых да ревмя ревя трясся над ними, липкими от крови, убийца, стрелявший из-за сараев восточной стороны

барака, успел скрыться. Говорили, что эту подлость сделал Пашка из землянок, по прозвищу Кривой. Пашка был женатиком, хвастался своей недюжинной силой — жонглировал двухпудовыми гирями, шел на всякое вероломство против того, кто начинал, подобно ему, кормиться на доходы от голубей.

Потеря была велика, и Саня принялся натаскивать — постепенно выбрасывал все дальше и дальше от барака — не кого-нибудь, а замухрышистых на вид жучка и желтохвостую, о которых и не подумаешь, что у них есть летная силенка, тем более сообразительность и чувство ориентации, как у бусых. Натаскивание шло успешно. И все-таки не возвращалось к Сане душевное спокойствие и впервые терзала зависть к врагу: Пашке привезли чкаловских попов — черных с белыми головами и белыми маховыми перьями голубей. Не масть, не красота попов разжигали зависть — то, что они поднимались в высоту прямо-прямо, как жаворонки.

Сегодня перед лыжной вылазкой Саня затолкал за пазуху жучка и желтохвостую, кинул их на ветер от маяка. Они повернули и напрямик, резко взмахивая крыльями — к тринадцатому участку.

Саня ликовал:

— Круга не дали — и домой!

3

Он ползал неподалеку от крутояра. Видно, хотел взойти по ступенькам, вырезанным в глине, но упал и скатился на берег. Ноги не слушались, да и ступеньки были в ледке.

Зачем-то снял ботинки: наверно, попытался оттереть ноги и не оттер, вдобавок обморозил руки.

Он ползал вокруг ботинок. Голые руки и ноги были белы. Портянки — их шевелила поземка — валялись на тропе. По этой тропе, начавшейся от барачных общежитий на том берегу пруда (километров пять отсюда), он и дошел до крутояра. Куда его несло в такую морозную непогодь? Да еще в бумажных портянках и расплзающихся ботинках? Это тебе не Средняя Азия. Сидел бы в общежитии возле печки. Мы на что закаленные, и то оделись теплой обычно.

На нем были ватные брюки с развязанными тесемками, ржавая фуфайка и янтарно-рыжий треух.

Теперь, вспоминая облик казаха, я с улыбкой думаю о наших тогдашних возрастных представлениях. Казаху было лет двадцать пять, а мы воспринимали его как пожилого дядьку.

Казах увидел нас. Вскинул голову. Глядел страдальческими цвета пустыни глазами.

— Малшики, малшики, малшики...

В сиплом, дрожащем голосе слышались и радость и надежда на спасение.

— Малшики, деньга́ дам...

Руки казаха подломились. Он ткнулся в шершавую наледь.

Мы бросили лыжи. Перевернули дядьку на спину. Стали тереть снегом его ноги.

Никак не проступала на лапищах казаха обнадеживающая краснота.

— Бессмысленно, — сказал Лёлёся. — Не ототрем на холоде. Градусов сорок. Не меньше. И сами обморозимся.

— Малшики, деньга дам. Таскай барак. Бульна, шибко бульна...

Связали лыжи. Завалили на них казаха и покатали. Я быстро сообразил, что катить такого здоровенного дяденьку будет страшно трудно: толкать можно лишь с боков и низко наклонясь.

Вот бы лыжи Кольки Колдунова — широки, длинны, железной прочности, притом в их высоко загнутых носках просверлено по дырке. Охотничьи лыжи!

Я бросился к ущелью. Колдунов стоял на выходе из него.

Он тронулся с места. Лыжи мерно поплыли, сшибали заступы. Либо он решил нам помочь, либо догадался, по какой причине мчусь к нему.

Я толкнул Колдунова в плечо. Верткий, как кошка, он успел упасть на руки: это связало его.

Колдунов все-таки ушибся. Утаскивая лыжи, я посмотрел назад — он вставал медленно, будто преодолевая слабость и боясь свалиться.

Между охотничьими лыжами положили лыжи Сани Колыванова — тоже длинные. Связали обе пары. Я отнес их наверх.

Мы тащили казаха волоком. Тяжел! Прямо-таки медведь. Мы скользили по лестничной наледи, скатывались вниз, отдыхали, учащенно дыша.

Он тревожился, что бросим его.

— Малшики, денга дам... Пряник покупите на базар, семечки покупите...

Мы молчали, вновь перли казаха по длинной вилочей лестнице. Пыхтенье, клубы пара, ругань. Лёлёся и тот лаялся.

Рядом с Лёлёсей пристроился Колдунов. Кто знает, почему он переменял решение: пожалел ли казаха, совестно ли стало, что товарищи лезут из кожи, а он стоит в сторонке вроде начальника, или просто-напросто испугался, что мы, везя казаха, угрозим охотничьи лыжи — не такие, дескать, люди, чтобы беречь чужую вещь.

В путь подготовились быстро. Саня натянул на скрюченные кисти казаха шубные рукавицы величиной в штык лопаты. Рукавицы он выменял на бантового сизаря. Колдунов продел в носы лыж тонкий сыромятный ремень, а кончики завязал узлом. Лёлёся обмотал своим широким длинным вязаным шарфом ноги казаха.

4

В Железнодорожск Лёлёся Машкевич со своей матерью Фаней Айзиковной приехал после смерти отца незадолго до начала войны.

В наш барак их устроил родной брат Фани Айзиковны. Он был инженером-сталеплавильщиком. Жил в двухэтажном коттедже на Березках. Вызывая сестру и племянника из Бобруйска, он рассчитывал, что они поселятся в коттедже, однако Фаня Айзиковна не пришлась по душе его супруге и оказалась на тринадцатом участке.

Когда Машкевичи въезжали в наш барак, кто-то из женщин, помогавших им таскать с телеги вещи, спросил Лёлёсю:

— Детка, вы откуда приехали?

— Из Бобруйска.

— Че-то не слыхала. Чё доброе есть в этом вашем Бобруйске? У нас вот чугуны. В домах варят. Дак чё?

— У нас — сало.

С того дня за Лёлёсей и закрепилось прозвище Бобруйское Сало. Вообще-то его правильное имя Лева, но Фаня Айзиковна называет сына Лёлёся.

За три года он почти не подрос. Как и раньше, ни с кем не дрался: стукнут — сдачи не даст; не курил, хоть старшие ребята и старались насильно приучить его к табаку; читал медицинские книги, доставшиеся в наследство от отца.

Вечерами вместе с Фаней Айзиковной Лёлёся красил папиросную бумагу, делал из этой бумаги розы и маки.

По воскресеньям мать и сын уходили утром на базар торговать цветами. Покупали у них хорошо. Может, потому, что розы и маки были красивы, а может, и потому, что у Фани Айзиковны с Лёлёсей были умоляющие глаза.

Отторговавшись, Машкевичи набирали продуктов, рысцой спускались с базарного холма, продрогшие до синюшности.

Пока Фаня Айзиковна готовила завтрак, Лёлёся виснул на турнике, втайне надеясь хотя бы чуть-чуть вытянуться. До турничной трубы допрыгивал с трудом.

Фане Айзиковне хотелось, чтобы люди думали, что она живет только для сына и что у них в семье нет недостатков, поэтому, приготовив еду, она выходила на барачное крыльцо, громко кричала визгливо-тонким голосом:

— Лёлёсик, иди скушай жирный борщ. Я кинула туда буряков и томату. И он красный, как гусиные лапки. Ты просил черный перец. Я достала черный перец. Я потолкла его. Ты будешь доволен. И горчицы я достала, мой Лёлёсик. Ты был еще кроха, а тебе уже нравилась отварная говядина с горчицей. Ты задыхался от горчицы, кушал и не плакал. Слушай, Лёлёся, и чернослив будет к отварной говядине. Ты делаешь вид — не зову тебя? Так меня не проведешь. — (Лёлёся уже бежал к барраку.) — Знала бы, не старалась. Ах, дурная голова, зачем я толкла кофейные зерна? Такой кофе приготовила, твой знаменитый дядя с Березок выпил бы три кружки. Без цикория? Без цикория вкусней. — (Лёлёся уже влетел в барак.) — Мать приготовила завтрак из трех блюд, а сына не загонишь за стол. Борщ ему надоел, говядина с горчицей и черносливом надоела, кофе надоел. Ты бы поголодал, как другие дети. Ты бы не крутил носом.

Таких блюд, о которых сладостно-яро распространялась с крыльца Фаня Айзиковна, она, конечно, не подавала на стол. Вместо борща Лёлёся ел затируху, вместо мяса — картофельные драники, испеченные на чугунной плите голландки, вместо кофе пил шалфейный чай. К чаю ему выдавалась липкая крученая конфета, сваренная на патоке.

Лучшей еды у Машкевичей почти никогда не было. Фаня Айзиковна зарабатывала гроши. Дополнительный паек не получала. Пользуясь своим положением банщицы мужского отделения, она могла бы ловчить на мыле, которое развешивала по талонам, и имела бы приличный доход, но не решалась: попадешься — осудят, и погиб без нее Лёлёся.

Их выручали бумажные цветы.

Лёлёся души не чаял в матери, но ему было стыдно за нее: всякий раз, приглашая есть, кричит неправду, об этом любой знает, и она сама знает, что об этом любой знает.

Еще сильнее он совестился того, что Фаня Айзиковна работает банщицей. Она получала талоны на мытье, выдавала ядовитое фиолетово-серое мыло, цинковые тазы, открывала, закрывала, сторожила шкафчики для одежды. Он видал, как на ее глазах раздеваются мужчины, подходят голые за веником или мочалкой да еще в таком виде шутят, подсмеиваются, разговаривают о жизни.

Лёлёся часто ездил за Фаней Айзиковной на работу. Она боялась ходить ночью. Он брал с собой ножичек, выточенный из полотна пилки по железу. Если нападут бандиты — будет защищать и маму и себя.

Однажды, дожидаясь в банщицком закутке, он читал справочник по гальванопластике.

Перед самым закрытием вошел в раздевалку большой мужчина в короткой, потрепанной, с заплатами шинели. Қозырнул культяпой рукой.

— Трудармеец Иван Акимыч Каюткин прибыл на предмет банной профилактики.

Просительно наклонился к Фане Айзиковне.

— Я без талона — касса закрылась. Пустила бы на минутку в парную. До смерти соскучился по парку. Ночью аж исцарапаюсь до крови, вот как соскучился.

— Санобработку проходили?

— То-то что...

— Как же вы пришли? Трудармейцы прикреплены не в нашей бане. И справки нет из санпропускника. Привезите справку — и парьтесь на здоровье. Мы завтра ремесленников будем мыть, но я пропущу.

— Золотая, расчудесная, кто же меня каждый вечер будет из казармы пускать? Сегодня еле упросил старшину. Насекомые навалились. Тоскую. И работа тяжелая. На горновой канаве, на домнах. Потом исходишь, убираешь когда горновую канаву. От прения, поди, и заводятся. Ну, черноглазая, выручишь?

— Ладно.

Фаня Айзиковна вынесла фланелевую тряпку, раскинула по каменному полу.

— Увяжи. В прожарку отнесу.

Болтливый он оказался, дядька Ванька. Другой бы молча раздевался и побыстрее: баню надо закрывать, он язык распустил:

— Я деревенский. У нас в Каракульке все сподряд русские. Соврал. Про хохлов позабыл. Почитай тоже русские. Смешались с каракульскими. Да как вот у нас кое-кто сказывал: евреечки смолоду приятственны собой, а как в годы начнут входить, делаются толстучими. Что вдоль, что поперек. Верил, признаюсь. Как не поверить? Миру не видел. Эвакуация и в Каракульку нацию вашу занесла. Смотрю. Женщины как женщины. И у нас и у вас всякие в каждом возрасте: худые и толстучие, красавицы и дурнушки. Ты, к примеру, в года начинаешь входить, а из себя ладная. Ростик? Ну что же ростик? Женщине маленький ростик идет.

Мать сидела напротив Лёлёси в банщицком закутке. Дядька Ванька говорил в раздевалке. От раскатов его голоса срывались с потолка ртутно-голубые капли. Лёлёся удивлялся, что мать жадно слушает болтовню обовшивевшего трудармейца, и ее сухощавое лицо, строгое, как бы застывающее во время дежурства, размякло, и на нем, будто дуновение ветра на воде, отражались смысловые повороты дядьки-ванькиных рассказней.

Лёлёся захлопнул книгу по гальванопластике. Выскочил из раздевалки. Думал, что мать выбежит за ним, но она не выбегала. Не поняла, что он обиделся на нее.

Холод сотрясал его щупленькую фигурку.

Лёлёся хотел вернуться в баню. На дверь крючок накинули изнутри. Он пинал в нее, рыдая от мороза и ревности. А когда дверь распахнулась, чуть не сшиб сторожа.

На втором этаже терся, отогреваясь, об горячие ребра радиатора.

Враспloch застал мать: сидела на лавке возле дядьки Ваньки, опять о чем-то молотившего.

Едва Лёлёся появился в раздевалке, Фаня Айзиковна сразу вскочила и отправилась в жарилку.

Трудармеец, раскалившийся в парной до багровости, прилег на лавку, подложив под голову таз.

Перед новым годом Лёлёся с матерью купили целых два стакана рису, зубастого щуренка, ведро картошки. В магазине получили американский ярко-желтый омлетный порошок. Поговаривали, что этот омлет из

черепаших яиц. На пятый номер продуктовой карточки Фане Айзиковне дали бутылку свекольной водки.

С утра мать сказала Лёлесе, что за праздничный стол они сядут втроем. Догадался с кем — с культяпым трудармейцем.

В Бобруйске Фаня Айзиковна часто готовила фаршированную щуку — любимое блюдо отца. Лёлёся почти забыл это блюдо, и вдруг мать фарширует щуку. И Лёлёся почувствовал себя так, как однажды на железнодорожной станции, когда подлезал под вагон, а поезд тронулся. Тогда он сообразил лечь плашмя на шпалы, и состав думпкаров со звоном прокатился над ним и не задевал стальными скреплениями тормозных шлангов. Теперь же ему казалось, что он опять угодил под поезд и его начнет бить-задевать несоединенными стальными набалдашниками.

Войдя в комнату, дядька Ванька выворотил из кармана куцей шинели кулек с грецкими орехами, протянул Лёлесе. Лёлёся не взял кулек. Трудармеец не обиделся. Сел рядом на койку, запросто давил орехи здоровой рукой и культяпой.

— Угошайся, парнище. За мамку не бойся. Иван Акимыч Каюткин никому вреда не делал. И мамке твоей ничего, кроме хорошего, не сделаю. Ты сейчас не до корня нас с нею поймешь. Вот станешь большим, поимеешь и к ней, и к дяде Ване сострадание — как мы были одиноки, без тепла и не в старых годах.

Если бы дядька Ванька пришел в гости к матери какого-нибудь Лёлёсиного товарища, то он бы понравился Лёлесе. Он нравился Лёлесе и теперь, но Лёлёся не хотел, чтобы дядька Ванька нравился ему.

— Я сроду брезговал щуками, — говорил дядька Ванька. — Глотают всяку нечисть. И мясо жесткое. Верно, есть приходилось. Отведаю кусочек — и хватит. А ты, гляди-кось, как приготовила: сочная щучка, сладкий дух. Объеденье!

Дядька Ванька остался ночевать и лег вместе с Фаней Айзиковной на полу между сундуком и кроватью, на которой Лёлёся обычно спал с матерью.

Ночью они не заснули ни на минуту. И Лёлёся не заснул ни на минуту. Закрывался огромной подушкой и все-таки слышал, что они шептались друг другу, совсем забывая о нем.

Рано утром дядька Ванька ушел на домну. Вечером снова заявился. Месяца через полтора дядьку Ваньку отпустили из трудармии. Лёлёся успокоился, но не простил матери.

Дядька Ванька прислал письмо. Оказалось, что из трудармии его выхлопотали колхозники. Они и поставили его председателем. Потом прислал посылку со сливочным маслом, домашними колбасами, курдючным салом и пыльно-мелким тростниковым сахаром.

Мать плакала. Ударила Лёлёсю по голове, когда он отказался есть дядьки-ванькины продукты.

5

С пруда по пути к тринадцатому участку был крутой спуск в глубокий ров.

На покатою краю рва я и Колдунов, затянув сыромятный ремень, встали с боков нашего негаданного возка. На всякий случай нацелили лыжи правой железнодорожного тупика: поперек колеи — штабель шпал с двумя жестяными фонарями.

Хотя мы с Колдуновым яростно тянули на себя ремень, а Саня с Лёлёсей сдерживали казаха от скольжения вниз, нас поволокло и расшвыряло по склону, будто кутят. Меня так кувырало по снежной тверди, что я, едва поднявшись на ноги, сказал Лёлесе:

— Три тысячи оборотов в секунду.

Лёлёся засмеялся, побежал за шапкой.

Колдунов молодчина! Не выпустил из кулака сыромятный ремень, а то бы казах мог убиться об шпалы, а лыжи бы врезались в них и сломались.

Казах, лежа неподалеку от штабеля с фонарями, замученно копошился, что-то страдальчески бормоча.

Он, наверно, решил, что уж теперь-то мы бросим его. Может, другие ребята и бросили бы, рассердившись: мол, хватит с нас падать, надрываться, колеть на холоде. Сообщим полигонному часовому: «Человек замерзает во рву!» Часовой позвонит куда следует, и казаха подберут.

— Миня не надо оставить. Деньга дам.

Я разозлился. Нелюди мы, что ли, чтобы кинуть тебя, бедолагу?

Вслух, ожесточенно:

— Всем дашь?

— Псем.

— Богач выискался.

— Псем.

— По сколько? — врезался в разговор Колдунов и подтянул лыжи к встревоженному казаху.

— Правда, по сколько? — заинтересованным тоном спросил Саня.

— Его дам. — Казах указал на меня глазами. — Разделит.

— Замолчите! — крикнул Лёлёся.

Колдунов шибанул его плечом. С Лёлёсиной барашково-черной головы слетела шапка. Он поднял шапку за длинные уши, отряхивая ее об валенок, робко смотрел на Колдунова.

— Еще строит из себя Исусика. Цветы ведь задаром не отдаешь. Зачем нам тащить задаром вон какого бугая? Гроби у него есть. Говори, по сколько дашь?

— Его дам. Разделит.

— Ты не крути. Ну, сколько?

На шее Колдунова надулись вены. Горлопан несчастный! Я вырвал у него сыромятный ремень. Подтянул лыжи на ровное место. Колдунов окрысился на меня, однако поволок казаха вместе с нами и старательно втаскивал на лыжи.

6

И что он за пацан? То лучше некуда — веселый, добрый, уступчивый, то взъерепенится и может целый месяц вести себя мстительно-настырно, драчливо.

Прошлой осенью мы с Колдуновым здорово дружили, даже вместе прославились на весь Урал.

Мать Колдунова работала сторожихой вагонного цеха. Частенько, когда она шла на дежурство, мы увязывались за ней. Нравилось играть в догонялки, бегая по осям колес, что тянулись длинными рядами наздах краснойдерного здания вагонного цеха.

Рядом находилось вагонное депо. Мы навевывались и туда. Подносили ремонтникам масленки, ветошь, учились у слесарей шабровке и нарезке.

Однажды, выходя из механической мастерской, где вытачивали из рессорной стали ножи, мы с испугом увидели, как вдруг выпучились углом закрытые ворота депо, как потом, выворачивая запоры, они распахнулись и из копотной утробы депо вырвался паровоз «ФД».

Темнело. Паровоз шел без машинистов и огня и казался до жути разумным существом, бежавшим из депо с какой-то враждебной целью. Все чаще мелькая шатунами, он зловеще катил в сумерки пустыря, за которым начинался огнящийся стеклянными крышами прокат.

Чтоб паровоз да сам покинул дело, недавно оставленное людьми, — мы слыхом не слыхали. И все-таки быстро освободились от остоленения, порожденного неожиданностью, испугом, изумлением.

Мы влетели в механическую мастерскую с криком:

— Паровоз из депо удрал! Крушение наделяет.

Токаря побежали с нами в конторку мастера, где был телефон. Трубку схватил я. Ответила телефонистка, работавшая на коммутаторе внутризаводского транспорта.

— Тетенька, паровоз сбежал. Позовите главного диспетчера.

Телефонистка прыснула, но соединила с вязким, как мазут, басом. Заходящимся от ознобной спешки голосом я прокричал диспетчеру обо всем, что случилось. Он буркнул «спасибо», отключился.

Позже нам рассказали, что стрелочницы, предупрежденные диспетчером, направляли паровоз на свободные пути, а также подкладывали под него металлические башмаки, но он был как заморожен — сшибал башмаки, пер дальше. Он мчался на «кукушку», везшую платформы, уставленные изложницами с огненными слитками. Крушение предотвратил сцепщик вагонов, заскочивший на тендерную подножку «ФД» и пробравшийся оттуда в его будку.

Я смутно помню, как машинисты объясняли тогда бегство поставленного на ремонт паровоза: будто бы его топка, которую начисто освободили от горящего угля, была настолько раскалена, что в котле образовался пар взамен предусмотрительно спущенного часок тому назад, и будто бы паровоз сняли по халатности с тормозов и еще что-то там открутили, а закрутить забыли, вот он и разорвал воротные запоры и покатил без механика, помощника и кочегара.

В награду за находчивость нас снимали в газеты — городскую пионерскую, городскую партийную, областную комсомольскую, а в профсоюзном комитете завода вручили футбольные принадлежности и мячи. Бутсы, штитки, трусы и майки были велики, но наше появление на барачной поляне в чудовишно большой форме вызвало общий восторг мальчишек. Мы набрали себе команды, орала на своих игроков за каждую промашку, ковались и, если на нас угрожающе галдели, приструнивали их предупреждением забрать мяч («Опять будете гонять кепку, набитую тряпьем»).

7

Вечерний воздух уже синел, а в нашем тридцатишестикомнатном бараке еще не горели лампочки. Невелик электрический паек военного времени. Перерасход тока — свет обрежут.

Мы усадили казаха на санки прямо под лампочкой, которая висела посреди коридора на толстом от извести шнуре.

Притащили таз снега. Принялись оттирать обмороженного. Саня с Лёлёсей — руки, я и Колдунов — ноги.

В коридор выскакивала детвора, за нею, набросив на плечи платки или фуфайки, выходили женщины, оказавшиеся дома.

Марья Таранина помяла пальцами снег.

— Ых вы, без соображения... Кожу парню навреде рашпиля снесете. Покуда шерстяными варежками трите. Мягкого снежку нагребу.

Она принесла гладкого, как мука, снега.

— Вдругорядь брать станете — поглубже в сугроб задевайте. Пуховенький! Дай-ко, Толя, смену тебя. Шибко усердно ты. Легонечко надо. Вишь, парню больно. Я обморазивалась. Когда оттирают, аж сердце заходитя. Лучше кипятком обвариться. Дай-ко.

— Сам.

Меня удивил обидчиво-злой тон Колдунова. Но едва я взглянул на его лицо с помидорным накалом щек, понял — он, как и Лёлёся, и Саня, и я, проникся состраданием к казаху, который стонал, охал, просил дать ему спокойно умереть.

— Тетя Марья, смените,— сказал я.

Она встала на колени, оглаживала огромную, твердую стопу казаха. Снег ей подавал младший пятилетний сын Коля.

Марья была рослой женщиной с грустными и в радости глазами. Сокрушаясь по какому-нибудь поводу, она вскрикивала громогласно:

— Ах ты, нечистая половина!

Таранины переехали в наш барак года за два до войны. И без отца — умер.

Были они мал мала меньше. Обличьем, кроме Коли, смахивали на мать: сивые прямые волосы, скулы по кулаку, зеленые глаза. Коля был круглолицый, глаза синие-синие, как у синих стрекоз-«бомбовозов», выпуклая, «матросская» грудь. Не только внешностью он отличался от сестры и братьев, но и поведением: те — вялы, тихи, уступчивы, он — шустр, как стриж, мордашка веселая, озорник. Лишь в часы дневного барачного безлюдья он напоминал братьев и сестру. Сидит дома один, проголодается, выйдет в коридор и тихо стоит без шапки, в белой рубашонке, еле прикрывающей подолом его пупок, в материнских валенках, воткнувших-ся ему в пах.

Иногда выходишь из барака и споткнешься о валенки Марьи, лежащие у коридорного порога. Значит, непоседливость и скука опять выгнали Колю на улицу. Выскочишь на крыльцо. Бесштаный Коля носится босиком по снегу, подпрыгивает, гикает, хлопает себя по голяшкам. Начнешь его ловить (простудится ведь, дьяволенок) — он чешет от тебя во все лопатки, смеясь и виляя. А когда умается, то подбежит к смоленому пожарному чану, который вечно пуст, если не считать кирпичей, склянок, железяк, подскочит, уцепится за верх чана, и тут ты схватишь Колю и утащишь в тепло.

Как всегда зимой, в барачном коридоре холодище. Марья просит Колю, одетого лишь в белую рубашонку да валенки, уйти домой, но он только улыбается и держит наготове снег, чтобы положить его в ладонь матери.

8

Барачные печи топили пыльно-мелким бурым углем; получали его по талонам коммунально-бытового управления — КБУ. Правда, кое-кто топил антрацитом и коксом. Находились отчаянные люди, ездили на доменный участок и там, забравшись на хоппера, нагребали в мешки то антрацита, то кокса, рискуя попасть под поезд, в тюрьму или быть застреленным охранником.

Перед засыпкой в печь пыльно-мелкий уголь намокро поливали. Он медленно разгорался, зато, запылав, долго гудел лохматым огнем.

Должно быть, за полчаса до нашего прихода Марья завалила в барабанную печь ведро смоченного угля. Он тлел, тлел, да и запылал.

Из дырочки внутренней дверцы барабана высовывались в коридор коготки пламени, а сама дверца, раскаляясь, становилась арбузно-алой.

Поначалу, когда казах увидел огонь, нам показалось, что он рехнулся. Он умоляюще мычал, не сводя горячечных глаз с дырочек в чугунной створке. Чуть после он смотрел с укоризной на Марью и на нас четверых, все еще не оттерших его стылых рук и ног.

— Тетя, малшики, пусти печь... А-а-а. Миня типла надо. Типла не! — пропал. Ва-ай, вай!

Мы знали: к печи ему нельзя, останется калекой, а то и помрет.

Мы хмуро молчали, но нам было очень горько, что не можем посадить казаха к огню. Мы сами любили огонь.

Он хотел вскочить и тут же, едва привстав, сел на санки. Зажмурился, закачался от боли и снова тянулся к печи.

Я подошел к барабану, закрыл и крепко-накрепко привинтил к чугунной раме верхнюю, без отверстий, дверцу. Она была сиренево-белесая, в веснушках ржавчины.

Казах зарыдал. А немного позже мы узнали, как велики его деньги. Плача, он просил меня забрать из внутреннего кармана фуфайки, застегнутого на булавку, сто рублей, но только посадить к печи.

На отшибе от всех, кто сгрудился вокруг казаха, стояла, приткнувшись плечом к двери, Фаина Мельчаева. Недавно ей исполнилось тридцать два, но она была седа, как старуха. Поседеешь: муж пропал без вести под Смоленском, четырнадцатилетний сын Вадька где-то на Воронежском фронте ходит в разведку, сама была в заключении. (Недавно освободилась, Вадька выхлопотал — писал Калинин.)

— Трите, ребятки, не прекращайте, — сказала Фаина Мельчаева. — Одного так же угораздило... Вовремя не оттерли — руки-ноги отняли. Теперь с ложечки кормят. Трите.

Мы старались: не делали передышек, попеременно бегали за снегом, не уступали своих мест женщинам, кроме Марьи.

Сначала стала наливать малиновостью левая рука. Но его правая рука и ноги никак не отходили. Неужели не будет пользы от наших усилий?

— Может, поздно? — спросил я Мельчаеву.

— Пустое, — ответила за нее Марья.

— Самогону бы сейчас! Первача самого! Натерли бы парня — мигом бы зардел навроде яблочка.

Это размечталась сердобольная Марья.

Подходили малыши и взрослые. Глазели, перешептывались, толклись. Меня задевало, что некоторые из них исчезали с постно-безразличными лицами.

Внезапно Фаина Мельчаева скрылась в комнате. Вскоре она вернулась, держа перед грудью четвертинку с прозрачной жидкостью. Пшеничная водка, что ли? Не должно. Пшеничной не бывает в магазинах; все мутноватая, с никотиновым оттенком — буряковка.

Фаина Мельчаева протиснулась к нам, присела на корточки, откнула четвертинку.

— Вадька гостинец оставил. — (Он приезжал за месяц до освобождения матери из колонии.) — Написал: «Может, папка объявится. Разведете и выпьете на радостях». Что беречь? Лишь бы вернулся Платон, найдем, что выпить.

— Вот это по-моему! — сказала Марья. — В беде человек — все отдам. Крестик нательный — мамин подарок — разве что пожалею.

— Ну-ка, Сереж, подставь свою варежку.

Едва из горлышка четвертинки полилось на варежку, я почувствовал, что не могу продохнуть воздух. Еле-еле вымолвил:

— Что это?

— Спирт.

— Да?! Крепкуший, дьявол!

— Помалкивай да три.

— Са-па-сибо, тетя. Деньга на карман возьми.

Мы заулыбались: чудной у казаха выговор, да и особенно смешно то, что каждому, кто пожалеет, он обещает или предлагает деньги.

И недочменно, и осуждающе, и печально Марья покачала головой. Мелет, дескать, и сам не знает чего. Перестал бы трясти сотенной бу-

мажкой. И то бы скумекал: литр сивухи стоит на рынке две тысячи пятьсот рублей, а четвертинка спирту соответственно — одну тысячу двести пятьдесят.

Не помню, тогда ли, под воздействием этого многозначительного покачивания головы Марьи, позже ли я понял душу нашего барака: он носил черные и серые одежды, считал великим лакомством колбасу, селедку и ломоть ржаного хлеба, политый водой и посыпанный толченым сахаром, но никогда не измерял деньгами человеческих поступков.

Спирт заметно убывал из четвертинки, зато ноги и правую руку казаха начала покидать жуткая молочная белизна, и на смену ей проступала чуточная малиновость. Вскоре она растворилась в знойно-густой красноте.

Казах уже не вайкал, не стонал, не жмурился страдальчески-отчаянно.

Блаженно улыбаясь, он смотрел на свои спасенные руки-ноги. У всех, кто наблюдал за ним, лица озарялись счастливой ласковостью; подобное выражение бывает на лицах людей, вышедших после тяжелого сна в теплынь утра с алым солнцем, россыпями росы, с криком горлана-петуха.

Саня Колыванов достал из пачки «прибоя» папиросу и прятал ее в рукаве кочегаровой фуфайки, стесняясь закурить при женщинах. В счастливом состоянии — выиграет ли голубей, осадит ли чужака, делает ли кому-нибудь что-то доброе — он сладко затягивался махорочным или папиросным дымом, растроганно крутил выпуклыми глазами. Я шепнул ему, чтобы он не боялся и закуривал, но он только двинул бровями в сторону женщины и сглотнул слюну.

Лёлёся скатывал рулончиком теплый шарф. Если бы Фаня Айзиковна была не на дежурстве, она бы разахалась, увидев сына голошеим.

Радостный Колдунов рассказывал Фаине Мельчаевой, как мы подобрали казаха. Конечно, он не подумал упомянуть о том, каким образом себя вел, узнавши от Лёлёси, что на прибрежном льду пруда ползает человек. Ладно. Пусть то, о чем он умалчивает, останется между нами четверыми. У кого не бывает провалов?

— Сейчас бы парню шерстяные носки, — вздохнула Марья. — Мой мужик тоже крупный был. Лапищи во! — Отмерила чуть ли не полметра сумеречного барачного воздуха землистыми ладонями. — До прошлой зимы лежали мужиковы шерстяные носки. Распустила и связала варежки ребятишкам. Может, у кого найдутся носки?

— Нет, — сказал Фаина Мельчаева, заматывая состиранные руки в концы головного платка.

6

Женщины завели казаха в комнату Марьи. Там стащили с него фуфайку и янтарно-рыжий треух.

В комнату было набилось великое множество мальчишек и девочек, однако Марья выдворила всех в коридор, кроме Сани, Колдунова, Лёлёси и меня.

Спирт закрывал донце четвертинки на палец. Фаина развела спирт водой, слила в жестяную кружку и заставила казаха выпить. Он задохнулся и долго кашлял. Потом захмелел. Виногато-благодарно вглядывался в лица присутствующих. Вдумчиво осматривал предметы комнатного убранства: тощие кровати, лавку, умывальник, отштампованный из красной меди, занозистый табурет, ядовито-синий от кобальтовой краски стол.

Он съел печенные в поддувале картофелины, вяленого карасика, половник салмы — кругляков теста, сваренных на воде, вычерпал ложечкой и вымазал хлебной коркой граненый стакан розоватого кислого молока. И ждал, когда Фаина Мельчаева заварит чай. Склонившись над печью, она кусала сахарными щипцами плитку закаменелого черного чая. Чайные крупинки падали в парящий кратер эмалированного кофейника.

Казах наклонился к присевшей за стол Марье, показывал воловьими глазами на плитку чая и прищелкивал языком.

— Уж знаем, че вы любите. Вы бы все чай дули, а наши мужики, они все бы глушили водочку. Зовут-то как?

— Тахави.

— Мудрено. Забуду. А как по-нашему?

— Ти-ма.

— Тимка?! Хорошо! Дак куда тебя, Тимка, в такой лютущий мороз несло? Да в эдакую погоду волк из логова носа не высунет.

— Миня друг шел. Друг ночевал, завтра бы вместе работу бежал.

— Не из-за работы, поди, шел, чтоб вместе на нее идти? Покушать у друга надеялся? Так?

— Ага, тетя. Карточки миня ташили. Хлебный карточки.

— Продал, поди?

— Ташили.

— Ах, беда с вами. Жил ты, Тимка, небось у себя в жарких краях, как туз. Урюк с кишмишом уплетал! Яблоками хрумтел! Жена, поди, тебя обрабатывала, а ты в чайхане отирался. Одного из ваших встретила, дак он хвастал, дескать, баем жил за женой!

— Миня арыки рыл.

— А сейчас где работашь?

— Домна... пути...

— А, пути возле домен в порядке держите. Работенка не сахар. Ну да нашим мужикам на войне еще хуже. Под пулями ходят. Дак че ж ты, голова садовая, жизнь не берегешь? И карточки потерял или там продал, и в плохих обутках по крещенскому морозу поперся? Посмотри, ботинки-то твои чуть дышат. И в одних тонюсеньких портяночках... Голова садовая... А так ты, Тимофей, видный из себя мужчина. Почто не на фронт взяли, а в трудовую?

— Из-за угла в кривое ружье стрелять? — съязвил Колдунов.

— Стоишь дак стой.— Марья строго взглянула на него.— Или выдь из квартиры... Тима, ты не обращай... Он еще сопляк. Почитай до самой школы резиновую соску сосал. Про что я тебя спросила?

— Миня верблюдов падал. Спина ломал. Два год больница...

— Ясно, Тима. Беречься тебе надо. С морозами не шуткуй. Россия! Воробышки вон... Выпорхнут из гнезда и хлопаются в снег...

Железнодорожк обслуживало всего несколько карет скорой помощи. Да и те высылались в особо тяжелых случаях: был строго ограничен расход горючего.

Я решил послать мальчишек в участковую милицию.

Пока втолковывал им, что надо сказать оперуполномоченному, что бы прислал за казахом, да пока они ходили, Тахави вдосталь напился чаю.

На вызов явился сам оперуполномоченный Порваткин. Его сопровождал рослый младший сержант Хабибуллин. У обоих был вид людей, привыкших вести себя по-хозяйски в любом жилище тринадцатого участка и в какое им угодно время дня и ночи.

— Где здесь жареный-пареный? — бравым голосом спросил Порваткин, уставясь на Тахави, разомлевшего от тепла, сытости и женского

внимания.—Надевай, джалдас, меха. И пойдем. Смотрю, загостился у баб, как медведь в малиннике.

Пальцы рук плохо слушались казаха — с трудом завязал тесемки треуха.

Портянки ему накручивали и ботинки натягивали Сайя и я.

Полностью одетый, Тахави вспомнил о деньгах, попытался засунуть руку под фуфайку.

Марья засмеялась:

— Подь ты к лешему, беспонятливый. Заладил: «Деньга, деньга». Завтра хлеб не на что будет выкупить. Пригодится тебе твоя сотенная. Шагай с богом с товарищем Порваткиным. Он тебя отведет в участок, вызовет какой-нибудь газогенераторный грузовичишко. И доставят тебя по месту работы или в общежитие.

У казаха подгибались и дрожали ноги: было больно стоять.

Порваткин и Хабибуллин повели его, взявши под мышки.

Когда спускались с крыльца, Тахави хотел оглянуться на провожающих его женщин и детвору, но Порваткин приказал ему не вертеть башкой, и тот, ступая, как водолаз в свинцовых башмаках, пошел дальше.

Мороз усилился. Он был обжигающе крепок, будто давешний спирт.

Так как все выходили из барака налегке, быстро на крыльце никого не осталось, кроме нас четверых и Коли, одетого в белую рубашонку и валенки матери.

Лёлёся, Саня, Колдунов и я стояли плечом к плечу. Наши глаза ярко блестели в темноте среди снежных сухих скрипов, раздававшихся под обувками бегущих в ночную смену заводских рабочих.



И. ЭРЕНБУРГ

★

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ*

17

В Париже меня позвал обедать мой старый друг, художник, писатель, а в то время посол Чехословакии Адольф Гофмейстер. Я увидел у него художника Шиму, который прожил почти всю жизнь в Париже и неожиданно стал дипломатом — культурным атташе. Говорили мы не о политике, а об искусстве, вспоминали молодость, Прагу. Гофмейстер рисовал Незвала с лирой, а меня на чемодане. Он сказал, что меня просят выступить в Праге с рассказом о конгрессе. Прямого сообщения Париж — Москва тогда не было, ночевали в Праге, и я согласился.

На пражском аэродроме молодой человек сказал мне: «Ваш доклад завтра. Министр иностранных дел товарищ Клементис просил вас прийти к нему сегодня вечером».

Я жил в эпоху, когда судьба то и дело тасовала колоду. Многие из друзей моей молодости оказывались на необычайных местах. Сидя в кабинете министра иностранных дел Чехословакии, я вспомнил, как познакомился с Владо.

Это было в Братиславе, в январе 1928 года. Молодой сотрудник местной «Правды» и вдохновитель литературно-художественного журнала «Дав», Владо Клементис повел меня «под вехи». (В Братиславе каждый винодел имел право одну неделю в год торговать своим вином распивочно. Над дверьми он вывешивал «веху» — сухую ветку.) В комнате былолюдно, шумно. Заходили музыканты, торговцы бубликами и копченым сыром. За нашим столом сидели молодые словацкие писатели. Меня расспрашивали о Маяковском, о конструктивизме, об индустриализации Советского Союза, о том, что теперь делают Эйзенштейн, Мейерхольд, Татлин. Клементис говорил о победе марксизма, а потом вдруг запел песню про разбойника Яношека, который грабил богатых и раздавал награбленное голытьбе. Все подхватили. Клементис сказал с усмешкой, за которой я почувствовал и смущение и гордость: «Вот мы, словаки, такие...»

В квартире министра иностранных дел было тесно от чужих громоздких вещей. Мы поужинали. Клементис спрашивал про конгресс, говорил о Берлине, о том, что в Америке есть люди, которые хотят начать войну. За несколько лет он изменился — потяжелел, помрачнел. Поглядев на него, я подумал: наверно, нелегко быть министром...

Лида принесла бутылку. Я пригубил рюмочку и вдруг вспомнил вслух: «У твоего отца в Тисовце была чудесная персиковая наливка и еще настойка, которую я называл «зубровкой»...» Владо оживился, повеселел. Мы начали вспоминать далекое прошлое, прекрасные пустыки, похожие на паутину осеннего леса. Мы больше не говорили о предстоя-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 1, 2 с. г.

щем совещании министров иностранных дел четырех держав, обходили все, что нас тревожило. Мы вспоминали друзей, бывшие споры, шутки. Только когда я уходил, Владо вдруг сказал: «А ты помнишь, как в тридцать девятом я пришел к тебе на улицу Котантен? Ты болел. Мы говорили о политике, потом ты мне прочитал твои стихи «Верность». А ведь это правильно; если нас что-то спасает, так только верность...»

Случайно у меня сохранился том «Литературной энциклопедии», выпущенной в 1930 году. Там я нашел справку: «Дав» — еженедельный литературно-общественный словацкий журнал, издаваемый в Братиславе, объединяет словацких революционных писателей, преимущественно коммунистов. Журнал редактируется коллективно. Основную работу ведет молодой талантливый журналист коммунист Владимир Клементис». Энциклопедия называет среди сотрудников «Дава» Поничана, Новомеского, Илемницкого, Даниила Окали.

В Праге мне говорили, что «Дав» — это нечто вроде словацкого варианта «Деветсила». С «деветсилцами» я познакомился еще в конце 1923 года; среди них были крупные писатели — Незвал, Ванчура, Библи, Галас, Сейферт; талантливые художники, режиссеры, архитекторы. К концу двадцатых годов они продолжали говорить о связи конструктивизма и коммунизма, увлекались индустриальной эстетикой, фотомонтажом, ассоциациями образов, любили Маяковского, Пикассо, Ле Корбюзье, Эйзенштейна, Вертова, Арагона. Теоретиком «Деветсила» был Тайге, веселый начетчик, классный наставник со страстью Дон-Кихота; он умел найти марксистское объяснение словотворчества Хлебникова или «каллиграмм» Аполлинера. Чехия была богатой индустриальной страной, коммунисты там обладали большим влиянием. Прагу обдували различные ветра. Художники «Деветсила» ездили в Париж. Незвал влюбился в Бретона. А Словакия напоминала бедную губернию дореволюционной России. Во главе «Дава» был Владимир Клементис, сын сельского учителя, коммунист. Он не сводил глаз с Москвы — для «давовцев» любой сотрудник «Лефа» был куда авторитетнее, чем все сюрреалисты мира.

В январе 1928 года я пробыл в Словакии всего неделю. Клементис уговаривал меня приехать летом, обещал показать страну. Я сказал: «Постараюсь» — словаки мне сразу пришлись по душе, в них было много бескорыстности, порой наивности, той, что связана с душевной широтой.

Вернувшись в Париж, я получил посылку и письмо от Клементиса. Он прислал мне словацкие народные трубки «запекачки» и писал: «Ту запекачку, что завернута отделено, я получил так: я пошел к одному старику, рьяному курильщику. Услыхав о том, что мне нужно, он вынул трубку изо рта и дал мне ее. Он сказал, что курит ее уже тридцать лет, но хочет ее отдать, так как любит русских (конечно, на старый лад, как любили наши отцы). Эта трубка связана для него с одним воспоминанием. Дело было двадцать семь лет тому назад. Он красил крышу, и ему хотелось курить. Запекачку не следует закуривать, как обыкновенную трубку, тогда внизу остается «мочка», то есть несгоревший слой мокрого табаку. Но на крыше костра не было, а он курил за трубкой трубку. Ночью он вдруг вспомнил, что в запекачке образовалась «мочка». Он встал и вышел во двор, чтобы отдать «мочку» работнику Юро — тот любил жевать табак. Юро не было. Он пошел в хлев. Вдруг он услышал бульканье. Он подбежал к колодцу и увидел своего сына, трехлетнего мальчика, который упал вниз и, держась за перекладину, еще бился. Он его вытащил. Теперь его сын — врач в нашем селе. Вот и вся история. Это, конечно, не литература, но я обещал старику передать ее вам вместе с запекачкой».

Я читал письмо Клементиса друзьям, процитировал его в очерке.

Запекачка давно разбилась, а рассказ о том, как старый словак отдал дорогу ему трубку потому, что «любит русских», волнует меня и теперь. Волнует и оговорка Клементиса: «конечно, на старый лад, как любили наши отцы» — в этом противопоставлении история «Дава», судьба Клементиса, Новомеского, многих моих друзей.

Летом того же 1928 года я снова приехал в Словакию. «Давовцы» мне показали страну, глухие деревушки Оравы, Татры, Прешов, Бардиев, Кошицы, венгерские монастыри барокко и горные шалаши пастухов. Клементис был прав — тогда, кажется, только в Словакии слово «русский» открывало все двери. Правда, любовь была разной. В Турчанском Мартине сидели старые правоверные славянофилы. Там я видел на кладбище могилы первых просветителей с надписями на русском языке. В «Славянской матице» висели портреты Пушкина и Лермонтова. Я бродил по улице Гоголя. При Габсбургах Чехия входила в Австрию, и австрийцы старались онемечить чехов, но в стране была интеллигенция, преданная родному языку, богатой культуре прошлого. А венгры, которые правили Словакией, не строили заводов, они пили в ресторанах Братиславы и Кошиц крепкое вино «ассу» и предпочитали школьным учителям священников и жандармов. (До первой мировой войны большинство словацких крестьян было неграмотным.) Все надежды словацких патриотов связывались с Россией. В Турчанском Мартине знали не только Пушкина, но и Хомякова, почитали не только Толстого, но и генерала Скобелева. Октябрьская революция многим деятелям «Славянской матицы» казалась загадочным и преходящим эпизодом. Помню, один седоволосый литератор жаловался мне: «Прислали стихи из Москвы. Удивительно, как такое печатают!.. Говорили, что автор покончил с собой. Может быть, у него и был талант, но он писал не по-русски. Пушкин говорил на другом языке. Сейчас я вспомню имя автора... Есенин...» (Не знаю, дожили ли эти «славянофилы» до сороковых годов и как они вели себя — пытались с помощью Гитлера «освободить русских братьев» или кое-что поняли. Может быть, некоторые помогали словацким повстанцам?..)

«Давовцы» любили Россию по-другому — любили народ Октября, читали Маяковского, Есенина, Пастернака, Багрицкого; это было двойной любовью — к близкому народу и к революции. В увлечении «давовцев» Маяковским, теориями «Лефа», современным искусством было что-то от романтического бунтарства — кажется, нигде я не видел такой привязанности к орнаменту, к традиционным народным костюмам, как в словацкой деревне: крестьяне расписывали не только печи, но даже могильные кресты; и вот их дети увлеклись голым, рассудочным, сухим конструктивизмом.

(В 1950 году я увидел Словакию переменившейся. Народные костюмы перекочевали из быта в костюмерные ансамбли, новые дома, большие заводы, электростанции. Вместе с курными избами и нищетой исчезли пестрые «фартучки» молодых крестьян, расписные печи, картинки на стекле. Таков закон века, и, глядя на залитую светом долину Вага, я не стал вздыхать о прошлом.)

В 1928 году, когда я впервые увидел Словакию, это была страна без городов. Конечно, в Братиславе жили словацкие писатели, там выходили газеты, журналы, но среди жителей города немцев и венгров было больше, чем словаков. В Кошицах только на базаре, куда приезжали крестьяне, я услышал словацкую речь. Маленькие немецкие города Левоча или Кежмарок с ратушами и готическими церквями, с аккуратными абонентами журнала «Ди вохе» казались перенесенными из другого мира. А городки, где жили словаки, — Брезно, Зволен, Ружемберок, Мартин, походили на большие села: несколько городских домов — и

здесь же хаты, огороды, гуси. Вся словацкая интеллигенция была связана с деревней. В Ясеновой меня повели в избу, где родился один из зачинателей словацкой литературы Кукучин. В такой же избе я увидел Илемницкого — он сидел и писал роман. Как-то я попал в Словакию зимой, и поэт Ласо Новомеский повез меня на рождество в село Сеници, где жили его родители, бабушка. Приехал туда и молодой поэт-«давовец» Иван Хорват. Нас угощали традиционными рождественскими яствами. А Ласо и Хорват говорили о Маяковском, Незвале, Арагоне, Пастернаке... Клементис возил меня в свое село Тисовец, его родители потчевали нас галушками, сливовицей, зубровкой, радушно суетились. «Давовцы» мечтали об индустриальной красоте и в то же время любили словацких крестьян, малограмотных, но душевно благородных, не прошедших через уродующую души печь капитализма. В этом и было своеобразие «Дава», его трудности. Клементис мог петь песню о старом пастухе, который в последний раз ведет в горы отару, или о Яношеке, мог восхищаться красотой старого черпака, но не раз он говорил мне, что у меня сохранился «ряд идеалистических заблуждений», нужно к тому-то «подойти по-марксистски»...

Помню беседу в горном шалаше над Тисовцем. Владо заговорил о своей судьбе. Он тогда писал о поэзии, любил искусство, для меня он был одним из молодых писателей. Мы глядели на долину, на старые деревья, на хаты, едва заметные среди зелени садов. Клементис говорил, что главное — борьба, пока чехословаки не сбросят капитализма, не будет ни справедливой жизни, ни настоящего искусства. «Мое дело — партия...»

С каждым годом Клементис все больше и больше отдавался партийной работе. Да и многие другие «давовцы» были прежде всего борцами. О том, что Ласо Новомеский — поэт, можно догадаться, не зная его книг, побыв с ним четверть часа, даже просто взглянув на него. А он сидел в тюрьме, писал листовки, сражался, стал министром народного просвещения новой Словакии и, оклеветанный, снова увидел острожную решетку... Ласо однажды сказал: «Совесь подсказывает...» Совесь для него не случайный собеседник, а несмолкающий суфлер.

В 1936 году в курортном местечке Тренчанске-Теплице по инициативе «Дава» состоялся съезд словацких писателей. Я тогда работал в секретариате Международной ассоциации антифашистских писателей и поехал на съезд, чтобы предложить словакам войти в ассоциацию. Там были писатели различных толков, некоторые из них потом пошли за сепаратистами-католиками, поставившими на победу Гитлера, другие участвовали в Сопротивлении, партизанили. Клементис и его друзья «давовцы» убедили всех участников съезда войти в антифашистскую ассоциацию. Мы попали в деревню, там нас угощали, пели песни, старик говорил, что русские побьют фашистов, и подымал кулак. Я сказал Владо: «Совсем как в Испании...»

Вскоре началась испанская война. В 1937 году в Валенсии я встретил Новомеского. Мы говорили о боях, о Комитете по невмешательству, об интербригадовцах, только на минуту я припомнил Владо, хаты, светлую зелень Словакии.

Пришел Мюнхен. Гитлеровцы заняли Прагу. Мир почернел.

Когда началась «странная война», я лежал больной в Париже. Мало кто приходил ко мне: одни возмущались пактом, другие побаивались шпиков. В сентябре пришли Владо и Лида, огорченные, печальные. Потом пришел снова Клементис, он был мрачен, но старался меня приободрить: никогда он не расставался со своим талисманом — верностью. В октябре французы его арестовали и отправили в концлагерь. Накануне разгрома Франции я его увидел в солдатской форме; он хотел сражаться против гитлеровцев, но Франция Петена капитулировала.

Мы снова увиделись в 1944 году в Москве. Клементис стал видным политическим деятелем. Он рассказывал мне, что англичане и американцы боятся советской победы, строят козни, но был весел, верил в торжество той идеи, которой посвятил свою жизнь. Потом мы вспомнили прошлое, и мне показалось, что я не на улице Горького, а в шалаше над Тисовцем, где старый пастух потчевал меня едкой запеканкой.

В феврале 1948 года в Клубе писателей устроили мой вечер — сорокалетие литературной работы. Чехословацкий посол Иржи Горек переслал мне телеграмму «Государственного секретаря Клементиса»: «Дорогой Илья, пьем за твое здоровье тисовскую зубровку. Владо и Лида».

О последней нашей встрече я уже рассказал. Потом я вспоминал: у Владо были очень печальные глаза. Может быть, он просто был усталым после трудного рабочего дня, а может быть, знал, что кольцо клеветы сжимается?

Приехав год спустя в Прагу, где помещался секретариат Всемирного Совета Мира, я узнал от Гофмейстера, что арестовали Лиду, Новомеского, Ивана Хорвата (он был до этого послом в Будапеште).

Лиду освободили два года спустя. Я встретил ее в Праге, на улице, хотел поговорить, но она пожала руку и сказала: «Не нужно со мной разговаривать» — и убежала.

Выпустили Новомеского, Ивана Хорвата. Ласо я видел в Праге, он работал — переводил, но его стихов не печатали. Иван Хорват умер вскоре после освобождения.

Шли годы. Многое на свете изменилось. Недавно я получил письмо от Новомеского — он просил меня написать о Клементисе для словацкой литературной газеты. Тауфер рассказал мне, как сердечно приветствовали Ласо на съезде чехословацких писателей. Написал мне и Окали: «Вы, наверно, знаете, что организатора и душу «Дава» товарища Владо Клементиса ложно обвинили в шпионаже и казнили. Я сам вместе с другими товарищами был освобожден после десятилетнего заключения... Теперь после устранения несправедливостей пересматривают значение «Дава» для нашей литературы и культуры в широком смысле слова...» Передо мною словацкий журнал, в нем фотография Владо...

Я гляжу и вспоминаю, как в 1949 году, печально улыбнувшись, он прочитал мои стихи: «...Пройдут по тебе. Верность сердцу и верность судьбе...» Накануне казни он написал Лиде, что умирает честным коммунистом.

Есть эпохи, когда люди могут думать о своей личной судьбе, о биографии. Мы жили в эпоху, когда лучшие думали об истории. Ложь все-таки и всеильна, но, к счастью, она не вечна. Могут погибнуть хорошие люди, жизнь многих может быть покалечена, и все же в итоге правда побеждает. Для Владо, как и для некоторых моих советских друзей, с которых я рассказал в этой книге, эпоха оказалась очень горькой; но для истории, в которую верил Клементис, она была эпохой побед.

А сейчас я думаю о далеком вечере «под вехами», когда молодые словацкие писатели пели песню о Яношеке. Некоторых нет, другие хлебнули горя, до времени состарились. Вспоминаю и шалаш над Тисовцем, молодого Владо, его очень чистые светящиеся глаза, слова о борьбе; смеркает, все голубеет, и над мягкими, округлыми горами чуть посвечивает бледная вечерняя звезда.

Мне позвонили под вечер и сказали, что на следующее утро мы вылетаем в Рим: сессия постоянного комитета Парижского конгресса. Это было в нравах того времени: поздно решали, поздно запрашивали визы; то и дело мы опаздывали. Я рассказал в предшествующей части книги.

как мы чуть было не задохнулись над Альпами, когда из-за грозы маленький самолет поднялся чересчур высоко. Вылетев из Праги рано утром, мы приземлились в Риме часов в десять. На аэродроме нас встретили итальянские друзья. Я мечтал выпить кофе и съесть бутерброд, но не тут-то было: оказалось, что нам всучили экземпляр какой-то кинокартины, и таможня нас продержала добрый час. Фадеев сказал, что нужно сейчас же идти на заседание — сессия уже началась. Я плохо слушал доклад д'Арбузе о борьбе за мир в Черной Африке — мне хотелось есть. Когда наконец-то объявили обеденный перерыв, сотрудник посольства сказал, что нас ждет посол.

Фадеев, Василевская и Корнейчук сели в посольскую машину, а меня предложил подвезти Эмилио Серени, депутат-коммунист. Это тучный, черный и веселый человек. Он знает множество языков — французский, русский, испанский, польский, английский, древнееврейский, немецкий, китайский, арабский и еще какие-то (забыл какие). Он долго сидел в фашистской тюрьме и привык, думая, шагать из угла в угол; иногда на маленьких заседаниях он начинал ходить — придумывал что-нибудь интересное. Если он сидел рядом со мной во время длинных выступлений, я не скучал: он на ухо рассказывал забавные анекдоты. Я попросил Серени остановиться возле какого-нибудь бара — я выпью у стойки кофе. Но Серени сказал, что посол нас сейчас накормит, и вместо кофе угостил меня стаканчиком очень горького и вкусного вермута.

Посол принял нас в кабинете; никаких признаков обеда не было. Посол долго и обстоятельно рассказывал Василевской, Фадееву, Корнейчуку и мне, что капитализм не похож на социализм и что в Риме нужно вести себя иначе, чем в Москве. Фадеев закрывал глаза и от злости краснел. Я все время глядел на часы — половина второго, через час нужно идти на заседание, если нас не накормят, я не выдержу... Вдруг Корнейчук прервал посла: «Мы, знаете, вылетели в семь утра — натошак...»

Столовая посольства помещалась в полуподвальном помещении. Пахло капустой. Свободных мест не оказалось, и нам предложили подождать во внутреннем дворике. Я сказал Корнейчуку: «Я лучше похожу по городу». — «Ты с ума сошел — ведь у тебя нет ни одной лиры...» Я понимал, что поступаю неразумно, но заупрямился — обидно было стоять и ждать.

Когда я выходил на улицу, высокий молодой человек приветливо спросил меня: «Вы Илья Эренбург?» Он представился: «Вишневский, корреспондент ТАССа» — и стал хвалить мои книги. Я взмолился: «О книгах поговорим в другой раз. Но, может быть, вы одолжите мне немного лир — столько, сколько нужно, чтобы пообедать: нам еще не выдали денег...» Вишневский из ресторана позвонил своей жене, чтобы она пришла, а я уже ел макароны и пил вино. Это был божественный обед, все мне казалось на редкость вкусным — может быть, потому, что после вермута я обезумел от голода. Да и сотрапезник достался интересный — Вишневский знал и любил Италию, рассказывал о политическом положении, о новых фильмах, о писателях.

На заседание я, разумеется, опоздал и тихонько спросил Корнейчука, кто выступал. Он взревел от зависти: «От тебя пахнет вином!.. Ты, значит, обедал?..»

В зале можно было курить. Человека трудно удовлетворить. Я успел выкурить все, что было в моем кисете, а лир не было. Я начал «стрелять» сигареты у различных делегатов, прикидываясь любознательным: интересно, что курят в Мексике, в Ливане, в Швеции...

Я не был в Риме четверть века. Конечно, ни храм Весты, ни романские базилики, ни дворцы барокко не изменились; изменился я — впер-

вые был подготовлен понять величие этого города, где двадцать веков мирно сосуществуют.

На второй или третий день я понял, что изменился не только я, изменился и воздух Рима. Конечно, в политическом плане не было большого отличия Италии от Франции; тот же «план Маршалла», тот же Атлантический пакт, сильные коммунистические партии, непрерывные забастовки и одновременно восстановление экономики, американские военные и надписи на стенах: «Да здравствует мир!» Но в Париже было грустно, а итальянцы выглядели веселыми. Может быть, сказывалось чувство, которое я пережил, когда меня выпустили из Бутырской тюрьмы? Двадцать пять лет Италия была придавлена фашизмом. Никакие репрессии не могли теперь обуздать народ, и поражения не вызывали разуверения. (Я написал эти строки и задумался: может быть, я несправедлив в сравнении? В Париже я долго жил, это город, который я вправе назвать своим, а в Риме я — турист, гость, паломник. Естественно, что я лучше знаю французов и замечаю больше деталей; да и грусть, наверно, охватывает меня потому, что в этом городе прошла моя молодость.)

Кажется, на второй день сессии художник Ренато Гуттузо, с которым я подружился еще во Вроцлаве, организовал ужин: мы встретились с итальянскими писателями, художниками, режиссерами. Гуттузо — страстный человек, настоящий южанин. До сегодняшнего дня он ищет себя: хочет сочетать правду с красотой, а коммунизм с тем искусством, которое любит; он восторженно расспрашивал о Москве и богомольно смотрел на Пикассо; писал большие полотна на политические темы и маленькие натюрморты (особенно его увлекала картошка в плетеной корзине).

Каждый вечер он приглашал Пикассо и меня. Мы ужинали в различных ресторанах, очень хороших, но и очень дорогих. С переводом денег произошла заминка, мы получили их дня за два до отъезда. Стесняясь, я лицемерно говорил: «Разреши мне сегодня заплатить», даже совал руку в карман, чтобы достать бумажник; у меня билось сердце: вдруг не остановит вовремя?.. Однако Гуттузо всякий раз брал меня за руку: «Брось! Ты здесь в гостях». Люди, которые с нами ужинали, были интересными: поэты, живописцы, режиссеры; но неизменно приходил кто-нибудь, представляя которого Гуттузо не указывал его профессии. А я не мог понять: откуда у Ренато столько денег? В то время он еще не был знаменитым художником, и я знал, что ему приходится туго. Только когда я уезжал, он раскрыл мне секрет: каждый вечер человек, о профессии которого он ничего не говорил, оплачивал счет, счастливый тем, что сидит за одним столом с Пикассо.

Как-то мы ужинали в ресторане в квартале бывшего гетто, там нам подали «артишоки по-еврейски» (их кипятят в оливковом масле, они раскрываются, как розы, и листики хрустят на зубах). В зале сидела красивая девушка из Калабрии. Неожиданно Пикассо сказал: «Я хочу ее нарисовать». Девушка села, и Пикассо начал работать. Полчаса спустя он показал нам чудесный рисунок в манере Энгра, сделанный на оборотной стороне карточки кушаний. Девушка нам рассказала, что у нее жених, скоро они справят свадьбу. «Что же, покажи портрет жениху, ему понравится», — сказал Карло Леви. Она смутилась: «Боюсь — он у меня ревнивый». Все рассмеялись, кто-то посоветовал девушке продать рисунок: «За него дадут по меньшей мере двести тысяч — у тебя будет хорошее приданое». Она вспыхнула: «Что вы!.. Конечно, денег у нас мало, но мы оба работаем. Я лучше его повешу над кроватью...»

Один богатый меценат устроил прием, на который пригласил всех участников сессии. До приема он накормил обедом Пикассо, Гуттузо

и меня. Пикассо утром побывал в Ватикане. Мы любопытствовали, как ему понравился Рафаэль. Пикассо вежливо отвечал: «Знаменитый мастер», а потом вдруг признался: «Но вот потолок Микеланджело!.. Не понимаю, как он написал руку Сибиллы...» Хозяин жил в одном из дворцов и собирал старинные шипцы для каминов. По парадным залам с бокалами прогуливались делегаты — болгары, сенегальцы, японцы: все напоминало маскарад былых времен.

Карло Леви — писатель и художник (а теперь ко всему и сенатор). Мы как-то сразу подружились. Этот человек кажется ленивым — ходит медленно и вдруг останавливается на людной улице, увлеченный разговором. Однажды он меня вез в маленькой машине. Это было в тот день, когда Гагарин полетел в космическое пространство. Мы пересекли центральную площадь Колонна. Карло Леви говорил о понятии бесконечности и забыл про правила уличного движения. Полицейский потребовал довольно крупный штраф — нарушение было серьезным. Я попытался вмешаться в драматический диалог: «У нас полицейские снисходительнее к писателям» — рассчитывая, что слава Карло Леви может сыграть свою роль. Полицейский недоверчиво посмотрел на меня: «Где это «у вас»?..» — «В Советском Союзе, в Москве». Полицейский восторженно схватил мою руку: «Ваш человек полетел на Луну!..» Он отпустил нас, не взяв штрафа.

Карло Леви живет возле парка Пинчио в большой захлавленной мастерской. Просыпается он не раньше десяти часов. Он написал несколько моих портретов; у мольберта он тоже кажется ленивым — кистью едва касается холста, похоже, что кошка умывается лапкой. Но, бог ты мой, сколько холстов, книг, статей написал этот мнимоленивый человек! В 1949 году я прочитал его книгу «Христос остановился в Эболи»; она автобиографична — молодого Карло, врача-антифашиста, отправили в ссылку на юг, в нищую, пустынную Калабрию, где говорят, что «Христос остановился в Эболи» — дальше этого крохотного городка даже Христос не решился пойти. Карло Леви показывает жизнь нищих, неграмотных крестьян, с любовью раскрывает их душевный мир. Есть в этой книге одна особенность — сразу чувствуешь, что она написана живописцем: читатель видит пейзажи, сцены, людей.

Человек, который кажется ленивым мечтателем, успевает многое сделать: он изъездил далекие страны, участвовал в различных кампаниях, положил много времени, чтобы отстоять тишайшего бунтаря Данило Дольчи, которого сицилийские феодалы хотели уничтожить. Чем объясняется видимость лени? Вероятно, тем, что время для Карло Леви — пешеход, оно бредет, как бродил по горам Тосканы неутомимый Данте, а не ставит рекорды скорости на автомобильных гонках. Из его холстов мне больше всего нравятся пейзажи с коровами; может быть, дело не только в цвете, Карло должен любить этих животных — они ведь проводят свои дни очень сосредоточенно. Карло Леви далек от куцых истин, воистину абстрактных, и всегда найдет время, чтобы выслушать, задуматься, понять.

На следующий день после того, как я с ним познакомился, он повел меня к себе; жил он тогда на верхнем этаже старого дворца; внизу шел разгоряченный Рим. Я рассказал Карло, что мне нужно выступить на митинге в театре «Адриано», и я не знаю, что сказать. Карло улыбнулся: «Что сказать — вы знаете. Но я хочу вам посоветовать: говорите по-итальянски». Я засмеялся: «Это почти так же трудно, как вам выступить по-русски». Он предложил перевести мою речь на итальянский, я ее прочитаю. Я решил рискнуть — когда-то я немного говорил по-итальянски, потом забыл, понимаю наполовину. Мы гуляли по старому Риму. Карло сказал: «Здесь живет один мой знакомый. Он был

фашистом, но, в общем, человек неплохой, у него есть машинка, я смогу отстучать. Вы будете говорить по-французски, а я переведу...»

Карло Леви оказался прав: когда на следующий вечер я начал свою речь по-итальянски, все было предreshено — я мог бы говорить любые плоскости, но русский, выступающий по-итальянски, это было неслышанно, об этом написали даже антисоветские газеты.

Я познакомился с одним из лучших новеллистов Европы — с Альберто Моравиа. Очень давно, в 1933 году, я писал об его романе «Безразличные» — это была история средней буржуазной семьи в годы фашизма: безразличие, равнодушие, скука. Моравиа — писатель трудный, и не по форме, а по содержанию; вероятно, труднее всего он сам для себя. Он живет в чеховском мире без чеховского снисхождения, без жалости, да еще говорит, что его учитель — Бокаччио.

Однако Моравиа мало занимает интрига действия, своих героев он показывает, как коллекцию забавных насекомых — не ярких бабочек Возрождения, а озверевших печальных тараканов. Его «Римские рассказы» чем-то напоминают один из фильмов, который меня покорило, — «Сладкую жизнь» — может быть, тем, что автор не в заговоре со своими героями. Я понимаю отношение Феллини к скучающей богатой черни Рима. Труднее понять отношение Моравиа к своим обездоленным героям. В начале 1963 года я был у Пикассо, видел у него злые рисунки, показывающие уродство и скуку сановитых особ. Два дня спустя Пикассо приехал в Ниццу, мы пообедали, а в пять часов ему вздумалось пойти в кондитерскую, где дамы пьют чай на английский лад. Он долго глядел на старых расфуфыренных женщин, у которых много бриллиантов, а лица, несмотря на косметику, голые, потом сказал: «Я люблю рисовать стариков и старух — к старости все проступает яснее, у молодых черты смазаны. Видишь ли, есть старость бедняков — я ее почитаю, и есть старость скучающих бездельников — над ней я смеюсь...» У Моравиа часто на лице скука, он машинально отвечает: «Знаю... знаю...» Но иногда его лицо светлеет — мне кажется, от подавленной нежности; так и в его книгах вдруг прорываются человеческие чувства, и они ослепляют, как прогалины в темном лесу.

Когда закрылась сессия, итальянцы сказали, что я должен поехать в городок Альбано неподалеку от Рима. Городком я его называю по облику, а большинство его жителей виноделы; в Риме я часто пил светлое душистое вино с окрестных гор — «фраскати», «альбано», «джензано». (Есть вина, которые, как люди, не переносят перемещения, вина окрестностей Рима, вывезенные за границу или даже на север Италии, теряют и аромат и вкус.) Митинг был в сельском театре, похожем на сарай. Широкие двери были раскрыты, и часть людей стояла на улице. Потом меня повели в мэрию, угощали вином, произносили задушевные речи.

Поздно вечером я возвращался в Рим с секретарем посольства в большой машине, которая на узких улочках казалась особенно неповоротливой. За нами в маленьком «фиате» ехали два журналиста из «Уни-та». Я с утра ничего не ел и спросил советского товарища, знает ли он где-нибудь поблизости ресторан попроще. Секретарь растерялся: «Может быть, в вашей гостинице?.. Я никогда не был в римском ресторане...» — «Вы что, здесь недавно?» — «Скоро год. Но мы ведь обедаем в нашей столовой». Мы остановились, и я спросил итальянских журналистов, где тут можно поужинать. Они ответили, что как раз на этой улице есть маленькая харчевня, они там несколько раз ужинали: хозяин — товарищ.

Ресторан был переполнен; посетители по виду были рабочими. Журналист сказал хозяину: «Покорми нас. Это русские товарищи...» Хозяин

принес кувшин вина, маслины, помидоры, колбасу, маринованные артишоки и пошел на кухню воровать над макаронами. Ему хотелось поговорить с русскими товарищами, но он не мог никому передоверить приготовление сложного соуса к тончайшим, как нити, спагетти. Мы съели по большой миске. На столе появился жареный барашек. Посольский шофер, до этого не обронивший ни слова, вдруг восторженно сказал: «Вот как они едят!» — и широко заулыбался. Мы одолели и барашка. Хозяина то и дело подзывали посетители. Наконец он подсел к нам и, развернув утреннюю газету, сказал мне: «Я вас сразу узнал, не говорил, чтобы вас не стеснять. Да и все вас узнали...» Он попросил меня надписать фотографию в газете. Когда мы хотели заплатить, он рассердился: «Не нужно меня обижать!..» Он сказал посетителям: «Выпьем за писателя, за советский народ! Вино ставлю я». Люди подходили, чокались, рассказывали, кто о партизанском отряде, кто о митинге на площади Сан-Джованно, кто о своих дочках, и все это было просто, сердечно. Когда в полночь мы вышли из ресторана, секретарь посольства сказал: «Кажется, я за три часа узнал больше про итальянцев, чем за год...» А водитель, все еще широко улыбаясь, пожал мне руку: «Вот они какие!..»

Два дня спустя один из сотрудников «Унита» повез меня во Фраскати — винодельческий городок неподалеку от Альбано: руководители Итальянской коммунистической партии пригласили меня пообедать с ними. Обедали мы в деревянной пристройке, где обычно справляют деревенские свадьбы. Некоторых из итальянских товарищей я встречал раньше — в Москве, в Париже или в Испании, других увидел впервые. Они удивили меня своей простотой, любовью к искусству, разговором, который заставлял порой забыть, что передо мной не писатели, не художники, а члены политбюро большой партии. Тольятти рассказал, что одному из наших кинороботников не понравился фильм «Похитители велосипедов», который меня привел в восторг: «Нет конца». Тольятти усмехался: «Но если, показав мост без перил и человека, который падает в воду, заставить тонущего произнести речь о необходимости перил, то никто не поверит ни тому, что оратор тонет, ни даже тому, что он упал в реку. Очень хорошо, что фильм кончается не прописной моралью, а по-человечески...» Слушая Тольятти, я думал о том, насколько он, да и другие товарищи связаны с итальянским народом, с его характером, культурой. Мы встали из-за стола и вышли в садик, там крестьяне, много женщин с детьми поджидали Тольятти. Одна крестьянка подвела к нему пяток малышей: «Вот погляди на моих...» Тольятти разговаривал с ними так же естественно, как со мной. В последующие годы я несколько раз беседовал с Пайетой, с Аликатой, часто встречался с Донини, в Движении сторонников мира работал с покойным Негарвилле, человеком большой чистоты и душевной тонкости. Это были живые люди, и думали они не по схеме, говорили не по шпаргалке.

Я рассказал о встрече с итальянскими товарищами. Мне хочется добавить, что и люди, по своим мыслям, по складу бесконечно от меня далекие, разговаривали со мной дружелюбно, с итальянской непосредственностью. Вспоминаю, как принимал меня в старом Палаццо Веккио мэр Флоренции, набожный католик Ля Пира. Мне сразу показалось, что мы давно знакомы. Он пригласил меня в Фьезоле, там в trattoria я встретил сотрудников левой католической газеты; они расспрашивали о жизни в Советском Союзе, рассказывали о тосканских крестьянах; споры походили скорее на поиски себя вслух, чем на словесные поединки.

Мне везло: после 1949 года я еще несколько раз побывал в Италии — то заседание бюро Всемирного Совета Мира, то ассамблея Общества

европейской культуры, то приглашение выступить с докладами в различных городах, то встреча «Круглого стола». Правда, поездки были недолгими, и приходилось дни просиживать в накуренных залах, но всякий раз я что-либо для себя открывал и все острее чувствовал близость Италии. Побывал я снова и в милой мне Флоренции, и в Венеции, где на улочках кошки спокойно пожирают рыбные отбросы, зная, что их не потревожит треск мотора, и даже в чудесной Лукке, опоясанной древними крепостными стенами, — там что ни дом, то музей, а живут в музейных домах живые страстные современники.

Впервые я увидел Италию полвека назад; многое, конечно, с той поры изменилось. На севере выросли огромные заводы; построили современные рабочие поселки; а туринский музей, кажется, не имеет равного себе во всей Европе и по освещению, и по развеске картин. Поднялся уровень жизни. Возросли тиражи книг — начали читать рабочие, даже крестьяне. Мир раздвинулся: исчез былой провинциализм. По знакомству с советской литературой Италия опередила другие страны Запада, переводят много, причем не случайно, а с отбором. По дорогам, где я когда-то шагал, встречая волов и осликов, несутся вереницы маленьких «фиатов», мотоциклов. Но характер народа, который меня поразило и покорило, когда я был зеленым юношей, остался тем же.

С некоторыми писателями я познакомился — с Витторини, Квазимодо, Павезе, другие, как, например, Пратолини или Кальвино, знакомы мне только по их книгам. Не знаю, на какое место нужно поставить современную итальянскую литературу, да и книга, которую я пишу, не требует отметок. Скажу одно: эта литература человечна. Один кибернетик мне говорил: «Лет через двадцать—тридцать мыслящие машины будут исправлять ошибки в книгах, написанных людьми». Я вполне допускаю, что в недалеком будущем машины заменят не только халтурщиков, но и популяризаторов, эпигонов. Все же человеку придется исправлять проделанное самой совершенной машиной — ведь то, что машине покажется «ошибкой», может оказаться находкой, открытием, началом творчества.

Мне обидно, что только к концу моей жизни я увидел в миланской коллекции холсты замечательного художника — Моранди. Это главным образом натюрморты — бутылки, скромных три-четыре неярких тона; при всей их философской глубине, в них нет рассудочности, сухости — они взывают к миру эмоций. Моранди не только не жил в Париже, он там, кажется, ни разу не был, этим объясняется, что его холсты мало знают вне Италии. Я его никогда не видел, хотя он мой сверстник — он живет уединенно в Болонье и пишет бутылки.

А итальянские фильмы перевернули кинематографию всего мира. Я познакомился с режиссерами; кроме Де Сика, узнал Феллини, Висконти, Де Сантиса, Антониони. Пожалуй, они все могли бы стать героями своих фильмов. Говорят, что неореализм победил правдивостью изображения, борьбой против театрализованной игры, краткостью и неожиданностью диалогов. Все это справедливо, но есть еще одно свойство — итальянские фильмы искренни; а искренность отнюдь не считается обязательной даже для весьма честных и весьма одаренных художников.

Удивительно, как быстро вошли в мою жизнь итальянские друзья! Я думаю прежде всего о Карло Леви и Ренато Гуттузо. Я ведь познакомился с ними, когда мне было шестьдесят. в этом возрасте слишком часто теряют друзей и неохотно обзаводятся новыми. Мы видимся редко — порой несколько дней в году, порой один день за несколько лет, но всегда говорим о вещах, нам равно близких и дорогих. Хотя они живут далеко, жизнью, не похожей на мою, да и поколение другое — Карло

много моложе меня, а Ренато мог бы быть моим сыном, я их понимаю, и они понимают меня, мне кажется, что мы кружимся вокруг Земли по той же орбите.

Во время моей последней поездки в Италию я оказался в городке Рокка-ди-Папа над Римом. Автобус, взобравшись на гору, остановился на площади. Оттуда нужно было идти наверх. Узкие улицы, бельё на веревках, детвора. Мы подымались медленно, то и дело глядели вниз: виноградники, долины, где-то далеко — сизоватая пустота моря. На крутых улочках шла жизнь, женщины судачили, щипая фасоль. Прошел аббат, ветер вздувал черную сутану. На домике, похожем на древний форт, висела дощечка: местный комитет Итальянской компартии. На другом таком же доме была изображена лира: музыкальное училище. Наконец мы остановились на крохотной площади, откуда была видна широкая долина. Я думал сразу о многом, о важном и о пустяках. Будь это двадцать лет назад, я взбежал бы, а сейчас сердце колотится. В этом году много винограда. Странно, что я никогда здесь не был. Почему я не был в Мексике, в Сиаме? У слонов необычайные глаза. А здесь ослики — как в Испании. Хорошо бы прожить в таком городке хотя бы неделю! Неделя — это очень много, особенно когда человеку за семьдесят. Странно — время умирать, а я об этом не думаю, на сердце совсем другое. Неделя — это вечность, если есть покой. За обрывками мыслей или, вернее, за ключьями картин во мне было глубокое ощущение спокойствия, счастья, наверно, я отдыхал, хотя Фадеев и уверял, что я не умею отдыхать. Вдруг, оглянувшись, я увидел циферблат: через пятнадцать минут уйдет последний автобус, нужно бежать вниз. Я про себя проворчал: вот только дополз, и пожалуйста — вниз!.. Слишком часто так бывало... Суеверно я повторял старым, оглохшим домам, ослику, вывескам «до свидания», короче, как говорят итальянцы, «чау!».

Вернусь к 4 ноября 1949 года. Я должен был на следующий день поехать в Сицилию — итальянцы предложили нам остаться еще неделю, и я выбрал Сицилию потому, что там никогда не был, а Гуттузо говорил: «Значит, ты не видел Италии...» Под вечер я зашел передохнуть в гостиницу и нашел записку: «Завтра мы вылетаем в Москву — есть указание. С нами поедет Жолио, мы должны приехать до праздников. Желаю вам хорошо провести последний вечер. А. Фадеев». Я не зашел в комнату, а побрел снова по городу — на площадь Навонны. Поднялся холодный ветер, и народу было меньше, чем обычно, а длинная площадь, залитая старинным светом фонарей, походила на танцевальный зал после разъезда гостей. Я глядел на струю фонтана, она взлетала и рассыпалась — как вчера, как много веков назад.

В пражской гостинице «Алькрона» в пять часов утра затрещал телефон. Я едва успел побриться. Фадеев сказал, что мы летим на специальном самолете, в Легнице через час нам дадут чай. На аэродроме чешка приговаривала: «Да вы не улетите, ведь такой туман, что не видно самолета...» Александр Александрович повторял: «Нужно лететь — мы должны сегодня быть в Москве».

Я сел в самолете рядом с Жолио: он сказал, что хочет со мною поговорить. Он начал: «С югославами было нелегко — некоторые члены комитета возражали...» Я вдруг уснул. А проснулся оттого, что Жолио Кюри схватил меня за руку: «Смотрите!...» В маленькое оконце я увидел купы деревьев с последними редкими листьями — они были не внизу, а выше нас. Самолет резко развернулся: «Возвращаемся в Прагу — туман»...

На пражском аэродроме мы прошли в буфет. Рядом какие-то люди пили пиво и ели сосиски. Фадеев попытался позвонить в Комитет защи-

ты мира, но никто не отвечал — рано, еще нет девяти. Я сказал Фадееву, что нужно заказать завтрак. Он рассердился: «У нас нет крон. Понимаете?..» Жолио-Кюри шепнул мне: «Как бы раздобыть чашечку кофе? Мне что-то не по себе...» Я сейчас же заказал кофе для всех, хлеб, масло, ветчину (последнюю для Фадеева). Александр Александрович пробовал запротестовать: «Вы с ума сошли! Вдруг мы не дозвонимся до чехов?..» Я махнул рукой. Жолио-Кюри выпил две чашки, съел булочку и вдруг с легкой улыбкой спросил: «Вы думаете иногда о смерти?..»

Пришли чехи. Мы долго сидели на аэродроме: туман держался. Все же мы долетели до Москвы.

19

«Я редко думаю о смерти, но когда думаю, то настойчиво, не пытаюсь уйти от ответа», — говорил мне Жолио-Кюри на пражском аэродроме. «Для человека невыносима мысль, что он исчезнет. Это не физический страх, а нечто более серьезное — неприятие исчезновения, пустоты. Мне кажется, что идея загробного мира рождена именно этим, и пока наука была в пеленках, люди тешили себя иллюзорными надеждами. Знание требует от человека мужества... Отсутствие загробной жизни вовсе не означает отказа от продления. Есть физическая связь поколений, она продиктована природой. Но есть и другая — работа, творчество, любовь, то, что остается, когда исчезают и человек, и его имя, и даже кости...»

Эти слова я записал, но Жолио выразил свою мысль куда лучше восемь лет спустя в эссе «Человеческие ценности науки»: «Не раз мне приводилось быть свидетелем ужасных разочарований, когда люди вдруг теряли веру. Но... Я хотел бы сказать — но, черт побери, почему загробная жизнь должна протекать в другом, потустороннем мире? Думая о смерти даже в раннем возрасте, я видел перед собой проблему глубоко человеческую и земную. Разве вечность не живая, осязаемая цепь, которая связывает нас с вещами и людьми, бывшими до нас? Если вы позволите, я поделюсь с вами одним воспоминанием. Подростком я как-то вечером сидел над уроками. Работая, я вдруг дотронулся рукой до оловянного подсвечника — очень старой семейной реликвии. Я перестал работать, охваченный волнением. Закрыв глаза, я видел картины, свидетелем которых, наверно, был старый подсвечник... Как спускались в погреб в день веселых именин, как сидели ночью у тела умершего... Мне казалось, что я чувствую тепло рук, которые в течение веков держали подсвечник, вижу лица... Конечно — это фантазия, но подсвечник помог мне увидеть тех, кого я не знал, увидеть их живыми, и я окончательно освободился от страха перед небытием. Каждый человек оставляет на земле неизгладимый след, будь то дерево перил или каменная ступенька лестницы. Я люблю дерево, блестящее от прикосновения множества рук, камень с выемками от шагов, люблю мой старый оловянный подсвечник. В них вечность...»

(Я начал рассказ о Жолио с разговора о смерти, а кажется, я не встречал человека более живого, чем он. Пять лет прошло с его кончины, но мне трудно себе представить, что его нет, часто я ловлю себя на мысли: жалко, что Жолио не приехал, он сказал бы, что делать...)

Разговор на пражском аэродроме имел продолжение. В 1955 году Жолио вернулся к той же теме. В Вене было расширенное заседание бюро Всемирного Совета. Жолио в своем докладе утверждал, что накопленных запасов ядерного оружия достаточно для уничтожения жизни на планете. Такая оценка некоторым показалась чересчур пессимистической («Рассуждения специалиста. С политической точки зрения это непра-

вильно...»). Я приехал из Вены в Париж недели на две позднее, чем Жолио: ждал визу. Сразу же ко мне пришел секретарь Жолио — Роже Мейер: «Жолио говорит, что ему придется уйти с поста президента — он не может поступиться убеждениями ученого...» Инцидент был быстро улажен, Жолио успокоился, но, когда мы встретились, он сразу сказал: «Поймите — это дело совести! Политика — высокая человеческая функция. Но если, несмотря на здравый смысл, на советские предложения, на все, что мы делаем, разразится катастрофа, я вас уверяю — некому будет рассуждать о политической бессмысленности происшедшего... Когда мне вручали в Стокгольме Нобелевскую премию, все было празднично. Я немного нарушил всеобщее благодушие... Я еще не отдавал себе отчета в силе атомной энергии и, конечно, не мог предвидеть Хиросимы, все же я закончил речь предостережением: осторожно! Силы, освобождающие человека, огромны. Я вспомнил о новых звездах, которые вспыхивают и гибнут, это было скорее образом, чем научной гипотезой... Смерть человека ужасна, но созданное им не исчезает — я убежден, что, несмотря на зигзаги истории, на провалы, несмотря на глупость, она объясняется младенчеством человечества: всего шесть тысяч лет, как оно начало думать, двести поколений, — да, несмотря на глупость, есть прогресс, движение вперед... Верующие считали, что разумные существа имеются только на Земле. Вряд ли... Но если вопреки всему произойдет атомная катастрофа... Что будет тогда? «Новая звезда»? Пустота? Одно поколение передает другому эстафету — я повторяю ваши слова. Но кому мы тогда передадим созданное в течение шести тысяч лет? Вакуум... Вы мне сами говорили, что я — оптимист. Но я повторяю: осторожно!.. Опаснее всего иллюзии. Человеку, который только что женился, нашел новую квартиру, трудно себе представить, что он не успеет расставить мебель, как от всего останется пыль... Виновата не наука, а неравномерное развитие человечества. У некоторых людей, у которых, увы, большая власть, нет ни моральных тормозов, ни элементарных познаний: они воображают, что освобождение атомной энергии — очередное изобретение, нечто вроде парового двигателя или мотора внутреннего сгорания...»

Нельзя отделить биографию Жолио-Кюри (так его называют в книгах и газетах), Жолио (так его называли люди, его знавшие), Фреда (так звали его друзья) от проблем, вставших перед нами в связи с рождением новой физики. Утро новой эры человечества я увидел в вечер моей жизни. Конечно, открытия Эйнштейна поразили меня еще в начале двадцатых годов, хотя я их и плохо понимал. Хиросима меня потрясла размерами бедствия, но я не давал себе отчета в происшедшем. Атомная бомба меня возмутила оттого, что она была в тысячу или в десять тысяч раз сильнее обыкновенных бомб. Я не понимал, что трагедия в другом: знания опередили мораль. Власть в Америке принадлежала не профессору Принстонского университета, который считался гениальным чудачком с длинными кудрями и с человеколюбием прошлого века, а вполне благообразному современному человеку, стандартному политику, случайно оказавшемуся на посту президента.

Эйнштейна я слушал с благоговением, но пробыл я с ним всего несколько часов. А с Жолио я часто встречался в течение восьми лет. Я его полюбил — его ум, чувствительность художника, интуицию, воистину женскую, смелость, чистоту. Я его не только любил, я ему признателен — он помог мне понять то, что дотоле оставалось для меня закрытым. Его слова, да и его судьба позволили мне увидеть лицо новой эпохи. Над гробом Жолио его друг Бернал сказал: «Трагедия Жолио была трагедией благородства...» Вечером Бернал добавил: «И трагедией науки...»

Иногда говорят о писателе, что он похож на свои книги. Может быть, и Жолио-Кюри походил на свои труды, не знаю — я слишком невежест-

вен в современной физике, чтобы об этом судить. Но для меня Жолио по своей манере держаться, по разговору, по увлечениям — словом, по душевной структуре никак не вязался с представлением об ученом, которое сложилось еще с детских лет: меньше всего он был узким специалистом, аскетом, рассеянным книжником. Впрочем, все рассуждения о прирожденных ученых, писателях, инженерах, музыкантах натянуты и произвольны. Жолио как-то сказал мне: «Я сам удивляюсь, почему я стал ученым? В школьные годы я мечтал стать профессиональным футболистом, мне прочили блестящее будущее. Вышло иначе... Вероятно, что-то притянуло меня к науке. Я колебался — химия или физика? Очевидно, и здесь не было простой случайности. Не знаю, хватило ли бы у меня для химии усидчивости, терпения... В моем возрасте люди не только давно придали личные черты своей работе, их черты сложились в зависимости от того, что они делали. А меня и теперь удивляет, что я — ученый. Поверьте, с рыбаками Аркуэста я чувствую себя естественнее, чем на научных заседаниях...»

Вполне возможно, что Жолио не родился ученым, но он им стал и свой дар, свою творческую инициативу, свои силы вложил в науку. Он пережил счастье открытия, когда, по его словам, ему хотелось танцевать, кричать, хлопать в ладоши; он пережил и расплату. Говоря это, я думаю не о многих несправедливостях, связанных с его гражданским мужеством, а о них я все же должен упомянуть. Жолио создал атомный реактор «Зоэ», это было гордостью Франции. Год спустя глава французского правительства снял Жолио с поста верховного комиссара по атомной энергии: политики не могли простить большому ученому, что он стал коммунистом. (Расскажу об одном эпизоде, скорее смехотворном, чем трагическом. Когда шведский король в 1935 году вручил Жолио-Кюри Нобелевскую премию, все стокгольмские газеты писали о молодом французском ученом, а шведские коллеги восхищались им. Но вот Жолио снова приехал в Стокгольм в марте 1950 года — на сессию постоянного комитета. Газеты молчали. На следующий день я увидел Жолио с чемоданом — оказалось, его попросили освободить номер: не хотели держать в гостинице «красного».) Говоря о расплате, я думаю не об административных гонениях — они связаны не с открытием искусственной радиоактивности, а с политической ролью Жолио. Его мучило другое — он много раз повторял: «Простые люди начинают ненавидеть науку». Он понимал свою ответственность, говорил и в публичных докладах, и в частных беседах о том, что атомная энергия может принести людям величайшее счастье — освободить их от подневольного труда — и она может погубить человечество. В лаборатории он чувствовал себя хозяином. Но, помимо научных открытий, существует использование этих открытий, и не ученые, а политики решили использовать величайшие открытия Эйнштейна, Резерфорда, Жолио-Кюри, Нильса Бора, Ферми, Гана для создания оружия массового уничтожения. «Доверие к науке поколеблено, — сказал мне Жолио во время одной из наших последних встреч, — обыкновенные люди видят только зло — стронций, лучевую болезнь, картину всеобщей гибели...»

Меня могут упрекнуть в преувеличении роли личности, но я пишу не исторический труд, а книгу воспоминаний и решусь признаться, что Движение сторонников мира для меня неотъемлемо от личных качеств Жолио, от его сознания своей ответственности как ядерного физика, от его умения объединить людей различно мыслящих. Он часто говорил: «Это не враг, это противник» — к врагам он причислял только людей, которые хотели войны, а противниками называл тех, кто не хотел примкнуть к движению, считая его прокоммунистическим, но пытался отстоять мир по-своему.

В начале пятидесятых годов климат был суровым: шла корейская война, взаимная ненависть достигла апогея. Но и в те годы я помню, как Жолио пытался защитить то итальянскую католичку Пьяджио, говорившую об ответственности двух сторон, то датчанку Аппель, возражавшую против нападков на политику Запада, то американского пастора Дарра, — Жолио говорил: «С ними можно и нужно спорить, но не здесь, не в движении за мир...»

Конечно, не будь на свете Жолио, наше движение все равно возникло бы, но мне кажется, что оно было бы уже, да и суше. Всё политика — и война, и борьба против войны, но люди, для которых политика — профессия, и в движении не могли освободиться от своих навыков, от словаря, от формул (именно поэтому Жолио особенно ценил участие в движении Ива Фаржа, в котором ничего не было от профессионального политика).

Движение сторонников мира отнимало у Жолио очень много времени. Однажды он признался мне: «Минутами я сомневаюсь... Близкие мне говорят: «Ты не можешь так продолжать...» Действительно, почему я должен мирить голландских сторонников мира с индонезийскими? Почему ко мне приходят с рассказами о распрях в секретариате? Почему от меня требуют, чтобы я успокоил представителя Гондураса — на следующем конгрессе ему дадут слово не ночью, а днем... Все это могли бы сделать и другие. Мне хочется иметь время для научной работы. А вместе с тем я понимаю, что нельзя провести границу: то-то делаю я, то-то другие. Тем более, что все привыкли обращаться ко мне, скажут: «Значит, движение теперь отходит на второй план». Люди, которые меня упрекают, правы — мое место в лаборатории, а не в комиссии, где люди спорят всю ночь — сказать «потребовать» или «предложить». Там на месте политики — Лоран, Серени, Ненни... Но я хочу, чтобы наше движение расширилось, только тогда мы сможем повлиять на политику Запада. Значит, я должен сидеть в комиссиях...»

Политические проблемы пятидесятых годов остаются и ныне актуальными, живы люди, работавшие вместе с Жолио-Кюри, и мне придется о многом промолчать. Бывали большие трудности, бессонные ночи, политические распри, а порой и личная неприязнь, не всегда Жолио удавалось примирить людей, приободрить их. Однажды он сказал мне: «Х. меня упрекнул в чрезмерном оптимизме... Для того, чтобы быть оптимистом, стоит только придумать над историей. Но бывает, что и товарищи-коммунисты удивляются моему оптимизму, вероятно, это связано с характером — не только философия, — физиология...» А между тем я знаю, что Жолио порой переживал очень трудные для него недели, но он умел приободрить не только других — самого себя.

У него была внешность не кабинетного человека, а скорее спортсмена; он любил ходить на лыжах, был страстным рыбаком. На стенах его дома в Антони красовались препарированные головы гигантских щук, которых он выловил. 18 марта 1950 года Жолио исполнилось пятьдесят лет; было это во время сессии постоянного комитета. Шведские друзья вспомнили дату и на митинге поднесли ему подарок. Мы сидели рядом. Жолио сразу догадался: «Спиннинг!..» На его лице была ребяческая радость и любопытство. Он не решался при всех раскрыть пакет, нагнулся, отодрал кусочек бумаги и, восхищенный, шепнул мне: «Это какой-то особенный бамбук!..»

Летом 1951 года Жолио отдыхал под Москвой; однажды он приехал ко мне в Новый Иерусалим. Он был в хорошем настроении, шутил, перед обедом признался, что у него в Советском Союзе нашелся враг — какая-то травка, которую сыплют повсюду: в суп, на картошку, на мясо. (Оказалось, что его враг — укроп.) После обеда он спросил, нету ли у нас самовара. Таковой оказался: года три назад мне его подарили на тульском

заводе. Мы его ни разу не ставили. Начали разжигать щепки, они сгорали, не зажигая угля, или сразу гасли. Жолио дул в трубу изо всех сил. Наконец-то справился с самоваром. Жолио восхищался старыми ветлами, долго рассматривал скворечники и, уезжая, сказал: «Подумать, что мы даже не поговорили о бюро, о секретариате, о Рогге!.. Вот это настоящий день мира!..»

А неделю спустя мы отправились на сессию бюро в Хельсинки. Жолио предоставили вагон-салон; с ним ехала Ирэн Жолио-Кюри. В Ленинграде Жолио попросил меня отвезти его в Эрмитаж. «Мне сказали, что там часть картин, которые я видел пятнадцать лет назад в московском Музее западной живописи... В то время импрессионисты, не говоря уже о Матиссе и Пикассо, считались противоположаемыми для посетителей музея и ценнейшая коллекция хранилась в фондах; картины висели на щитах. Жолио восхищался, особенно ему нравились пейзажи Сислея, Монэ, Писсарро. Когда мы уходили, он сказал: «Я как будто провел целое лето в деревне — другой человек...» Нагнувшись ко мне, он тихо добавил: «Нехорошо лишать такой радости советских людей...» И тотчас добавил: «Это ненадолго, я убежден».

В 1955 году Жолио серьезно заболел, его поместили в госпитале Сен-Антуан. (Он умер в том же госпитале три года спустя.) Это очень старое, мрачное здание. Жолио отвели отдельную маленькую комнату. Он рассказал, что врачи не уверены в диагнозе, но он наблюдает за собой, записывает, подружился с главным врачом. Потом, разумеется, он заговорил о разрядке — теперь как раз время попытаться расширить движение... Вдруг он взял холст, повернутый к стене, и, смущаясь, сказал: «Я здесь обречен на безделье и занялся живописью. Не судите слишком строго, я ведь никогда не учился, начинаю с азов...» На холсте был пейзаж, который он видел в окно: двор, несколько деревьев, стена дома. Я поглядел второй холст, третий... Жолио спросил: «Очень плохо?..» Я ответил ему, что в его пейзажах есть чувство света, непосредственность, даже наивность, хотя рисунок довольно уверенный. Он сказал: «Забавы пятидесятичетырехлетнего ребенка...»

Весной 1956 года умерла от лейкемии Ирэн Жолио-Кюри. Для Жолио это было тяжелым ударом: они прожили и проработали вместе тридцать лет — в 1926 году молодой лаборант, работавший в Институте радия под руководством Мари Кюри, женился на ее дочери, ассистентке того же института. Они жили дружно, хотя были очень несхожими. Ирэн была сдержанной, молчаливой, и Жолио, обычно разговорчивый, в ее присутствии часто замолкал. Помню ночь, которую мы провели в вагон-салоне. Ирэн вскоре ушла в купе, а Жолио остался. Он начал говорить об одиночестве, о своей «плебейской природе», о том, как порой человеку хочется вырваться из своей жизни: «Мы все машины, буксующие в колее...» В 1956 году Жолио приехал в Вену. Мы его встречали на вокзале. Вечером он сказал мне: «Ирэн умерла от той болезни, которую мы зовем профессиональной. Теперь мы стали осторожнее, а в тридцатые годы...» Он помолчал и тихо добавил: «Все это нелегко...» Год спустя я был у него в Антони. Он показал мне сад, изумительную стену вьющихся роз, последние тюльпаны. «Ирэн очень хорошо подбирала цвета тюльпанов. Прошлой весной они зацвели, а ее уже не было...» Несколько минут спустя он сказал: «Мною овладела торопливость — хочется успеть что-то сделать. Я не мнителен, но нельзя быть чересчур легкомысленным...»

Еще раньше — в 1956 году — он заговорил со мною о Сталине: «Многие наши интеллигенты после XX съезда заколебались. А мне кажется что наше дело шагнуло вперед. Я никогда не обманывался так, как не которые другие, — о Сталине говорили, как о полубоге. Помню, я сказал тогда Х.: «Осторожно! Мы не должны верить в непогрешимость, оставим

это католикам. Я видел в Советском Союзе много изъянов — они первые начали, неудивительно...» Весной 1958 года, когда он меня пригласил в Антони, он сказал: «Пожалуйста, при детях расскажите о том хорошем, что у вас делается. А сейчас поговорим о прошлом... Вы все понимаете? Я много думал и все же до конца не понял...»

Коммунистом он стал в очень страшное время — в 1942 году — и до смерти сохранял верность избранному пути. В его выборе сказались не только эмоции, героизм коммунистов в Соппротивлении, борьба против фашизма советского народа, но и логика, размышления ученого. Вспоминая Фадеева, Жолио сказал: «Однажды мы поспорили — вы помните, это было в Вене — он уговаривал меня отказаться от моих слов, когда я утверждал, что война способна уничтожить жизнь на нашей планете, он повторял: «Мы знаем вас, как верного друга». Я ему ответил, что в дружбе хороша верность, а в политике, как и в науке, нужно не только верить, но и думать...»

У Жолио было лицо с тонкими, хорошо вырисованными чертами, он походил на француза, да и в характере его было много национальных черт — он радовался порой с легкой печалью, много говорил, но очень редко проговаривался, рассуждая, всегда был точен, логичен.

В Антони я видел, как он возился с внуками — детьми Элен, — и вспомнил стихи Гюго «Искусство быть дедом». В доме было много красивых вещей, за обедом хорошее вино, в кабинете фотографии друзей, во всем ясность, свет, радость. Я не знал, что вижу Жолио в последний раз.

На похороны я летел вместе с Д. В. Скобельцыным, который в тридцатые годы работал в лаборатории Жолио: мы знали двух разных людей, а любили одного.

После долгих переговоров между детьми Жолио и представителями правительства похороны разделили на два акта. Вернувшись в Москву, я писал: «Во дворе древней Сорбонны перед часовней XVII века, между памятниками Гюго и Пастера, был установлен катафалк... Стояли, как статуи, солдаты республиканской гвардии в архаических шлемах с конскими хвостами. Стояли министры и послы, академики и сенаторы. Стояли члены ученого совета Сорбонны в красных тогах, отороченных горностаем... А потом уехали министры, ушли гвардейцы. В предместье Парижа Со возле кладбища собрались друзья и товарищи Жолио, сторонники мира, студенты, слушавшие его лекции, рабочие, домашние хозяйки, лаборанты, служащие, простые люди Франции. День был грозовой, под ливнем шли и шли люди, многие плакали; рядом с парадными тяжелыми венками лежали скромные цветы садов и палисадников Франции...»

Вечером некоторые члены бюро Всемирного Совета, приехавшие на похороны, собрались: нужно было обсудить, что делать дальше. Помню Бернала, Казанову, Спано, Изабеллу Блюм. Мы не могли говорить — слишком свежим было горе. Передо мной стоял живой Фред, и я не мог представить себе, что его больше нет. Да и сейчас, пять лет спустя, я вижу его живым, и снова все возмущается: умер... Он говорил, что каждый человек оставляет на земле след, а память о нем трудно назвать следом — это скорее рана, рана и вежа.

Движение за мир организовывало многолюдные конгрессы и митинги. В Риме двести тысяч человек проходили по улицам с зажженными факелами. Нас торжественно принимал президент Польши Берут, а в Дели Неру говорил нам о традиционном миролюбии Индии. Мы относили венки на могилу Ганди и в пещеры, где гестаповцы расстре-

ливали итальянских патриотов. На Варшавском конгрессе мы увидели окровавленную рубашку парагвайского студента Алонсо, замученного полицейскими за то, что он отстаивал мир. Прилетев в Вену, один из делегатов Бразилии умер от инфаркта: не выдержал длинного перелета. На одном из конгрессов мы услышали стихи Назыма Хикмета, на другом пел Робсон, на третьем получитал-полунапевал поэму, прославлявшую братство, старый индийский сказитель. Мы слышали речи опытных парламентских ораторов — Пьера Кота и Ненни, блистательные эссе Сартра, молитвы буддийских монахов. Порой наши собрания бывали бурными. В декабре 1956 года в Хельсинки бюро начало работать в девять часов утра, и только на следующий день в восемь часов утра мы пришли к соглашению — проспорили двадцать три часа подряд в душном, накуренном зале. Пять лет спустя мы обсуждали созыв Конгресса за разоружение; это вывело из себя китайских делегатов, и зал шведских кооператоров, привыкший к чинным обсуждениям годового оборота, превратился в поле боя.

Все же, оглядываясь назад, я с особенным волнением вспоминаю Стокгольмскую сессию в марте 1950 года. Внешне ничего примечательного не было. Приехало человек полтора. Заседали мы в подвальном зале ресторана (шутя мы говорили: «В катакомбах»). Шведские газеты не упоминали о сессии, и жители Стокгольма нами не интересовались, Да и не запомнились мне речи. Однако в истории нашего движения Стокгольмское воззвание заняло исключительное место. Мы понимали, что обращаемся к миллионам людей, что от успеха или неуспеха нашего призыва зависит многое, и, когда Жолио-Кюри прочитал текст (кажется, самый короткий из всех, которые мы когда-либо принимали), нас охватило волнение. Мы первыми поставили подписи под призывом.

За несколько месяцев до Стокгольмской сессии Советское правительство заявило, что оно было вынуждено обзавестись атомным оружием. Западная печать уверяла, что в ядерном вооружении Советский Союз никогда не догонит Америку. О третьей мировой войне говорили как о событии завтрашнего дня. Одна французская газета устроила анкету: «Что вы будете делать, если русские захватят Париж?» Западная печать называла Стокгольмское воззвание «троянским конем». Журналисты спрашивали меня: не потому ли мы осудили атомную бомбу, что она тормозит захватнические планы Москвы? Перепуганным обывателям мерещились советские танки на Елисейских полях или на Пикадилли. Когда в Америке передавали по радио скетч, посвященный воображаемому нападению, началась паника. Один американец рассказал нам, что в Сан-Франциско маленькая девочка, которой старший брат расписывал, как атомные бомбы уничтожат «красных», спросила: «А мы не можем уехать куда-нибудь, где нет неба?..» Взрослые рассуждали иначе: атомная бомба многим казалась защитой, спасением.

Датский журналист, радикал прошлого века Киркеби, с которым я познакомился еще в двадцатых годах, рассказал мне, что сомневался, должен ли поставить свою подпись под Стокгольмским возванием: он ненавидел войну, но считал, что запрет атомного оружия выгоден одной стороне: «Я спросил мою жену: не кажется ли тебе, что это воззвание косит в одну сторону?» Она ответила: «Может быть. Но атомная бомба косится на наших детей». И она подписала...» Наверно, миллионы женщин и мужчин подписывали текст с таким же чувством.

Произошло чудо: обращение, которое мы приняли в подвальном зале стокгольмского ресторана, облетело мир. Полгода спустя в Варшаве я увидел француженок, итальянок, аргентинок, гречанок, которые

обошли множество домов, стучались во все двери. Помню работницу типографии, итальянку, ее звали Фирмина, она собрала восемнадцать тысяч подписей, она рассказывала, как убеждала католичек, монахинь, женщин, боявшихся коммунистов, как дьявола. Бразильцы привезли ящички с листочками — неграмотные крестьяне ставили крестики. Представители Черной Африки показывали палки с зарубками вместо подписей.

Много лет спустя один из военных комментаторов Соединенных Штатов признал, что пятьсот миллионов подписей под Стокгольмским воззванием заставили призадуматься Трумэна, когда во время корейской войны встал вопрос об использовании атомных бомб. Конечно, весной 1950 года мы не могли этого предвидеть, но мы расходились из «катакомб» взволнованные.

Мы приняли воззвание 19 марта. Вечером меня пригласил на ужин левый социал-демократ, сенатор Брантинг. Все было по-шведски — радушно и немного торжественно. Хозяин предлагал тосты, а на столе трепетали тонкие свечи. Ненни говорил о Ватикане, об Атлантическом пакте. Приятель Брантинга Ялмар Мэр с кем-то спорил о «Скандинавском союзе». Кажется, я мог бы давно привыкнуть к таким вечерам и все же стеснялся.

Меня посадили рядом с молодой женщиной, Лизлоттой Мэр. Мы говорили по-французски. Вдруг она сказала по-русски: «Я училась в Москве...» Оказалось, что она родилась в Германии; когда Гитлер пришел к власти, ее родители успели выбраться в Париж, а оттуда перебрались в Москву, где девочку отдали в десятилетку. Потом они уехали в Стокгольм, там Лизлотта встретила с Мэром. Мне сразу стало легче: училась в Москве — значит, не чужой человек...

Брантинга я смутно помнил по Испании. В тридцатые годы о нем много писали — он обличал Геринга во время процесса Димитрова, организовывал помощь испанским республиканцам. Коллонтай мне рассказывала, что в годы войны он выступал против своих товарищей по партии, которые пытались откупиться от Гитлера уступками. Хотя я четверть века назад много ездил по Швеции, я плохо знал шведов, вернее, у меня было о них несколько абстрактное представление, наверное оставшееся еще от книг Стриндберга. Мне казалось, что чуть ли не любой швед выступает против несправедливости, пишет стихи о смерти и боится житейских пустяков. (Потом я подружился с Брантингом, мы вместе работали над организацией встреч «Круглого стола». Мифический викинг превратился в живого человека. Все же в одном я оказался прав — он действительно писал стихи о смерти.)

Была еще по-зимнему холодная ночь. Я долго бродил по безлюдным улицам. Вместо голубей в Стокгольме — чайки. Им полагается летать над морем, но они, как голуби, предпочитают жить возле людей, в море они кружатся вокруг корабля, а в Стокгольме суетятся на набережных, беспокойные, крикливые. Ярко и холодно пылали фонари. В освещенных витринах каменели сервизы, пылесосы, рубашки, апельсины. Старик прогуливал толстую таксу. Два матроса шли, пошатываясь, и что-то выкрикивали. Влюбленные целовались, прижавшись к столбу с афишами, под злым ветром Балтики. Длинные пустые улицы. В некоторых окнах свет — там мечтают, ссорятся, плачут, танцуют... Под утро в маленькой комнате гостиницы я записал: «Все дело в людях». Не помню, почему именно тогда я написал слова, которые подходят к любому дню жизни.

Шведские власти оказались терпимыми и гостеприимными. Мне часто приходилось бывать в Стокгольме, и этот город вошел в мою жизнь. В Стокгольме (или в других шведских городах) происходили

различные конгрессы, конференции, сессии Всемирного Совета, заседания бюро. Я выступал на митингах в Гетеборге, в Норчепинге. Шведские писатели меня пригласили в их клуб. Я делал доклады студентам Упсалы и Лунда; познакомился с некоторыми министрами, с учеными — Густавсоном и Мюрдалем, встречался с поэтами и журналистами. Швеция неизменно удивляет иностранцев. Эта страна — баловень судьбы: дважды мировые войны ее пощадил. Из сельской идиллической окраины Европы она превратилась в страну передовой промышленности и ультра-современного комфорта. Ее новая архитектура напоминает мечты наших конструктивистов начала двадцатых годов. Все здесь разумно — и большие окна, и кресла, и яхты, и кухни. Несмотря на это, не только в книгах шведских писателей, но и в рассуждениях любого шведа, после того как он опорожнит бутылку водки, столько противоречий, столько душевного разора, что диву даешься. Видимо, комфорт одновременно восхищает и обкрадывает, засасывает и выводит из себя.

Я довольно часто встречаюсь с поэтом, романистом, эссеистом Артуром Лундквистом. Познакомились мы в 1950 году на Конгрессе Мира. Он сын батрака из Скании, и лицо у него скорее мягкое, лирическое. А в суждениях он непримирим и душевно сродни не букам, а шхерам. Он почти всегда путешествует, изъездил полмира, и нет ни в его книгах, ни в его жизни даже тени уюта. С ранней молодости он боролся против эпигонов, против социального консерватизма, говорил (и говорил) о торжестве будущего — это оптимист, но на редкость печальный. Я не удивился, услышав по радио, что во время страшного землетрясения в Агадире Лундквист оказался там: по-моему, земля под ним всегда трясется, но ноги у него длинные и крепкие.

Я был с академиком Д. В. Скобельцыным в Стокгольме, когда Лундквисту вручали Ленинскую премию мира. Это совпало с напряженными днями в приступе «холодной войны»: за неделю до того шведские академики присудили Нобелевскую премию Пастернаку. Церемония вручения премии Лундквисту состоялась в том самом зале, где вручают нобелевские премии. На эстраду вышел человек во фраке и уныло объявил: «Музыкальной части не будет — в связи с событиями квартет распался...» (Оказалось, один из участников знаменитого квартета в связи с событиями отказался играть.) На торжественном ужине — разумеется, со свечами — Лундквист встал, сказал: «В общем, писателям всегда плохо», постоял, потом сел.

Почему же в Швеции много и «проклятых поэтов», и мрачных пропойц, и самоубийц? Не знаю, не хочу отделяться парадоксальными гипотезами. Верно одно: «Все дело в людях». А человеку, видимо, мало и артистически приготовленных селедочек, и рая из пластмассы.

В середине пятидесятых годов, когда многое на свете оттаяло, Лизлотта рассказала мне о своих школьных годах. Это было время ежовщины. В школу порой приходил то растерянный мальчик, то заплаканная девочка. Лизлотта по-детски влюбилась в одного из учителей. Он исчез. Она увидела Москву в очень трудные годы, и, несмотря на это, а может быть, именно поэтому, в ней осталась любовь к советским людям, к русской речи, к Москве.

Мне хочется прервать рассказ о Стокгольме одной историей. Я должен ее рассказать, хотя она может показаться чересчур литературной, неправдоподобной. Героя истории зовут Андре, у нас его звали Андреем, я не назову его фамилии — может быть, огласка была бы ему неприятной. Накануне революции в Париже русский эмигрант, литератор, познакомился с молоденькой поэтессой русского происхождения. Родился Андре. Вскоре его отец уехал в Россию, а поэтесса вышла замуж за скульптора, ставшего потом знаменитым. Отчим полюбил мальчика,

баловал его. Однажды Андре увидел фильм «Броненосец «Потемкин». Он знал, что его отец в Москве, и решил, что должен уехать в Советскую Россию. Мальчика вписали в паспорт одного советского художника, и он поехал в Москву — к отцу и молодой мачехе. Романтики он не увидел. Мачеха посылала его в очереди. Вскоре он с нею поссорился и ушел к беспризорным. Помню, как его мать, обливаясь слезами, показала мне письмо Андре, которое он написал ночью в аптеке, где прятался от мороза.

При облаве милиция поймала Андре и отвела его в родительский дом. Он учился в школе и подговорил двух товарищей убежать в Париж. У них были велосипеды. Андре украл револьвер. Ночью произошла перестрелка на турецкой границе; пограничники задержали беглецов. Мать Андре поехала к Ромену Роллану, а от него на Капри к Горькому. Времена еще были легкими, и Андре отправили в Болшево — в образцовую колонию. В 1934 году он приехал из Болшева в Москву, спрашивал меня про мать, про отчима. Я с ним проговорил час и понял, что судьба его будет трудной. В 1937 году его отца арестовали. Андре пошел во французское посольство и потребовал, чтобы его отправили в Париж. Никаких документов, подтверждающих, что он родился во Франции, у него не было. В тот же день его задержали и направили в концлагерь. Он отсидел свое, а когда его освободили, поехал в Москву и пошел во французское посольство. Его снова отправили в лагерь.

Кажется, в 1953 году он написал мне, а я написал о нем прокурору. В итоге Андре освободили. Я увидел уже не подростка, а человека с проседью, который забыл французский язык и не научился хорошо говорить по-русски, не имел профессии, жил то у профессора, то у инженера — товарищей по лагерям. Потом ему разрешили уехать во Францию.

В Париже он пришел ко мне. Он был хорошо одет, рассказал, что вначале ему докучали журналисты, узнавшие от посольства о его необычной судьбе, он отказался отвечать на их вопросы. Получил работу, сносно зарабатывает. Живет с матерью. Помолчав, он тихо сказал: «Но жить здесь неинтересно. Меня тянет назад в Советский Союз. Теперь это уж не глупые мечтания мальчишки, а трезвый вывод человека, которому пошел пятый десяток. Там я узнал настоящих людей...» Когда я рассказал Лизлотте об Андре, она сказала: «Я его понимаю...»

Вернусь к городу, с которым связано и Движение сторонников мира, и многое в моей жизни. Это северный город — там холодно летом, а в декабре куцые дни. Хотя я прожил много лет в Париже, я человек севера. Я знаю, как трудно растопить лед человеческих отношений. На севере любят комнатные растения куда больше, чем в Париже. Да и человеческое тепло особенно ценят там, где люди много молчат и где они сжились с одиночеством.

«Все дело в людях»... В 1950 году мне было под шестьдесят. Конечно, я был много крепче, чем теперь, — мог проработать десять часов подряд, пройти, не останавливаясь, десять километров; но на душе у меня часто бывало смутно; я думал, что не живу, а доживаю, и душевную вялость приписывал возрасту. Я не мог не писать, но писать в то время было нелегко. Я говорю не о всех писателях — о себе. В писательском труде я зависел от злобы дня, от газет, от печального письма, рассказывающего про чужое горе, которому я бессилён помочь. В 1950 году я начал «Девятый вал», писал много, но без внутреннего огня. Меня выручило Движение сторонников мира: чистое и живое дело, хорошие люди. Может быть, и успех Стокгольмского воззвания в первую очередь объясняется людьми. Жолио-Кюри или Ива Фаржа знали миллионы. Но,

вероятно, мало кому известная итальянка Фирмина обладала большим сердцем, если ей удалось убедить тысячи незнакомых людей.

Да, многое у меня связано со Стокгольмом. Именно в этом городе в тусклый зимний день я впервые подумал о книге, которую теперь дописываю. Не знаю, удалась она мне или нет, автору трудно судить о своей работе, но это действительно моя книга, я пишу ее по внутренней необходимости, пишу искренне, без давней желчи, которая не раз меня спасала, да и без пайкового меда. Я помню, как мне пришло в голову ее написать: вдруг стало страшно, что умру и не расскажу о людях, которых знал, любил. Годы и жизнь пришли потом — оказалось невозможным рассказывать о других, умалчивая о себе. А когда я решил сесть за эту книгу, я не думал о своих надеждах и заблуждениях: передо мной вставала вереница людей ушедших, но близких, теплых, живых.

В суеверном страхе я спрашивал себя: хватит ли сил, времени? В записной книжке среди пометок о заседании комиссии и черновиков резолюции я нашел стихи Тютчева о том, как в старости скудеет кровь, но не скудеют чувства.

В январе 1963 года я был у Пикассо. Пабло вдруг вздумал меня наставлять. «Ты не в том возрасте, чтобы обязательно при всяком случае отстаивать правду. Вспомни молодого человека в Палестине, ему за это пробили руки гвоздями...» Я усмехнулся — Пабло старше меня на десять лет, но в нем больше страсти, даже неистовства, чем в любом юноше, он только то и делает, что отстаивает правду...

Конечно, теперь я хорошо знаю, что такое старость: мотор изнашивается, часто отказывает. Я чувствую старость, но о ней почти не думаю. Дело не в возрасте: задолго до того, как приходит смерть, человек не раз душевно умирает и снова рождается — казалось, костер догорел, под пеплом едва тлела головешка, но вот человеческое дыхание ее разожгло. Все дело в людях...

21

В начале 1950 года я написал заявление: для работы над романом «Девятый вал» мне необходимо поехать во Францию, расспросить о некоторых событиях послевоенных лет. Поездку мне разрешили, это было удачей; но вскоре я узнал, что французы не дают визы. Представитель министерства иностранных дел сообщил прессе: «Г-ну Эренбургу отказано в визе не потому, что он — коммунист, а потому, что есть все основания полагать, что он лично испытывает неприязнь ко Франции».

Прочитав это во французской газете, я рассердился, а потом мне стало смешно. Сколько меня ругали за чрезмерную любовь ко Франции! Как раз незадолго до этого я прочитал длинную статью критика, который доказывал, что в романе «Буря» я пытаюсь окружить ореолом даже «беспринципного буржуа Лансье»... И вот, извольте видеть, Бидо выдает меня за врага Франции!

1950 год был годом, когда «холодная война» ежечасно грозила перейти в горячую. Летом загремели пушки в Корею. Правда, Сталин занялся вопросами языкознания, но обыватели закупали соль и мыло. Один старик объяснил мне: «Без соли не проживешь...» Весной и летом я побывал в Швеции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Англии — повсюду я видел испуг, ненависть, страх. События того времени еще хорошо памятливы, и я хочу рассказать о некоторых малозначительных эпизодах только для того, чтобы восстановить своеобразный климат конца сороковых — начала пятидесятых годов.

Трудно объяснить, почему я стал любимой мишенью антисоветских журналистов. Может быть, они преувеличивали мою роль, а может быть, их раздражало мое знакомство с жизнью Запада, не знаю, но писали обо мне часто и злобно. В Стокгольме один из французских делегатов дал мне газетку «Руж э нуар», в которой сообщалось, что я недавно избран в Верховный Совет, буду получать ежемесячно десять тысяч рублей и перееду в «дом в роскошном предместье Москвы, в так называемой «запретной зоне», где проживают высшие сановники». Вслед за этим французский журналист спрашивал меня об «исчезнувших»: «Исчезла Тамара Мотылева, еще год назад вознесенная официальной критикой на небеса. Она лишилась всего, даже университетской кафедры, за то, что процитировала фразу Леона Блюма. Исчез Анатолий Софронов, на него обрушились молнии Кремля после того, как он осмелился обличить карьеризм. Исчез крупнейший романист Советского Союза Михаил Шолохов, который укрылся в деревушке на Волге...»

Во главе французской организации левых писателей тогда стоял Мартен-Шофье. Он написал письмо премьеру Бидо, которого знал по годам Сопrotивления, настаивал, чтобы мне выдали визу. Бидо не ответил. Мартен-Шофье опубликовал открытое письмо: «Прощайте, Бидо!» Однако на Бидо больше не действовали никакие письма — ни закрытые, ни открытые.

Я решил попытаться счастья в Бельгии и Швейцарии — туда смогут приехать некоторые французские друзья. Бельгийцы дали визу на две недели, по тем временам это было крайним либерализмом. Общество дружбы «Бельгия — СССР» устроило мои доклады в Брюсселе, в Антверпене, в Льеже. Народу повсюду было много, и аудитории были бурными: все тогда теряли спокойствие — и враги и друзья.

В Брюсселе меня пригласила к себе королева Елизавета, вдова короля Альберта, о котором много писали в годы первой мировой войны. Королева меня потрясла. Конечно, это была первая королева, с которой я разговаривал, но, будь она нетитулованной, все равно я изумился бы: ей было семьдесят четыре года, а она ходила быстро, как молоденькая девушка, водила машину, занималась скульптурой, изучала русский язык. Она поговорила со мной о «Буре», которую читала по-русски, показала свои работы, рассказывала о встречах с Роменом Ролланом, спрашивала, давно ли я был у Сталина, как поживают Оборин и Ойстрах. Насчет музыкантов я мог что-то сказать, а о Сталине промолчал: трудно было бы объяснить бельгийской королеве, что советскому писателю куда проще встретиться с нею, чем со Сталиным. Я заговорил о Стокгольмском воззвании. Она сказала, что текст ей кажется прекрасным. У нас нашлась общая страсть — садоводство, я сказал, что очень люблю туберозы, искал в Брюсселе луковицы, но не нашел. Месяца три спустя в Москве я получил из ВОКСа пакет с сопроводительным письмом: «Прилагаемые луковицы переданы на ваше имя в посольство СССР в Бельгии королевой Елизаветой». В конце беседы королева сказала, что придет на мой доклад: «Я сяду в королевской ложе, обычно я сижу в партере, но газеты захотят промолчать о вашем докладе, а если я буду в королевской ложе, им придется написать...»

Королева действительно сидела в королевской ложе, и в газетах появились отчеты о моем докладе.

В Антверпене возле «Зала Рубенса» было много полицейских. Несмотря на безработицу, бастовали докеры; помимо экономических требований, они отказывались разгружать американские суда с оружием. Одному американскому судну пришлось ночью зайти в маленький порт Зее-Брюгге и там выгрузить оружие. Желая обескуражить забастовщи-

ков, власти арестовали стачечный комитет и среди его членов депутата парламента, докера Франса ван ден Брандена. Забастовка, однако, продолжалась, а ван ден Бранден объявил голодовку, протестуя против незаконных действий полиции. Первого мая рабочие двинулись к тюрьме, требуя освобождения «нашего Франса». Мой доклад состоялся в тот самый день, когда ван ден Брандена освободили. Мы выпили в кафе за его здоровье, за мир. Кругом толпились рабочие. Ван ден Бранден, высокий, худой фламандец, говорил: «Можете быть уверены, в наш порт они не привезут оружия!..» Потом ван ден Бранден и его товарищи пошли в «Зал Рубенса» на мой доклад. Я говорил о Рублеве, о Пикассо, об единстве культуры, о Стокгольмском воззвании.

Вспоминая весну 1950 года, я думаю, что никто тогда не знал, чем все кончится. «Может быть, завтра начнется война» — это можно было услышать на любом перекрестке любого города. Пять послевоенных лет были бурными, пестрыми, противоречивыми. Германская Федеральная Республика была годовалым младенцем, да и НАТО еще барахтался в колыбели. Многим казалось, что можно изменить ход событий. В Брюссель приехал молодой француз, рабочий-металлист Раймонд Агасс: он хотел рассказать мне о драме города Ля Рошелль. Докеры Ля Рошелль отказались грузить суда с военным снаряжением, которые должны были уйти в Сайгон. Власти попытались разогнать докеров, найти «желтых». Тогда в порт двинулись рабочие. Агасса арестовали и предали суду. В день суда над зданием трибунала неожиданно взвился красный флаг. Агасс восклицал: «На войну мы не будем работать! Не выйдет!..» Рассказывал он мне о событиях в салоне гостиницы «Палас», и дамы, дремавшие в креслах, испуганно убежали.

Две недели спустя в Женеве марсельцы рассказали мне, как судно «Эмпи́р Маршалл» металось по Средиземному морю — ни в одном порту его не хотели разгрузить. Ко мне приехал товарищ из Ниццы. Там должны были погрузить установки для управляемых снарядов. Военную технику стыдливо прикрыли ветками мимозы, но кто-то обнаружил закамуфлированные установки; завывала сирена, рабочие ринулись в порт.

Бог ты мой, сколько в этом было романтики! Раймонда Дьен отпраздновала в тюрьме день рождения — ей исполнился двадцать один год. Ей слали десятки тысяч поздравительных телеграмм. Что она сделала? Легла на рельсы, задержала на час или на два воинский состав. Но ее имя повторяли сотни миллионов людей, юноши и девушки повсюду вдохновлялись ее поступком.

Тогда еще не успел сложиться быт послевоенного Запада. В Лондоне в центре города чернели развалины. Пролетая над Германией, я видел скелеты разбомбленных городов. В Англии еще существовали продовольственные карточки. Европа жила бедно, тревожно, суматошно. Битва рабочих во Франции и в Италии была проиграна еще в 1947 году, но всем казалось, что битва продолжается.

Пентагону, который вместе с некоторыми монополиями определял политику Америки, помогал всеобщий страх. Я убежден, что Сталин не хотел войны, однако его имя пугало не только буржуазию, но и крестьян, интеллигенцию, даже многих рабочих Западной Европы. Французские газеты писали, что советские танки в течение нескольких дней смогут пройти до Дюнкерка и Бреста. Симона де Бовуар в своих воспоминаниях рассказывает, как писатели, встречаясь друг с другом, спрашивали: «Что вы собираетесь делать, когда советские войска приблизятся к Парижу — уедете или останетесь в оккупированной Франции?» Камю говорил Сартру: «Вы должны уехать — они вас не только убьют, но и обесчестят...» Трагедия коммунистов была в их изоляции, связанной с

подозрительностью соседей, со страхом перед нашествием, с разговорами о «пятой колонне». Антверпенских докеров не поддержали ни фламандские крестьяне, ни многие социалистические профсоюзы.

В Льеже мой доклад устроили в консерватории. Валлонцы люди темпераментные, и после доклада меня не отпустили — я должен был расписываться на книгах, своих и чужих, на листочках из записных книжек, на членских билетах общества «Бельгия — СССР», на различных карточках. Вдруг чрезвычайно рослый любитель автографов, расталкивая всех, прорвался ко мне и протянул бумажку. Я чуть было не подписал ее, но человек зычно крикнул: «Ваши документы!» Оказалось, он сунул мне полицейское удостоверение: решил на всякий случай проверить, кто этот смутьян.

А в общем, бельгийские власти вели себя корректно. Правда, когда ректор Брюссельского университета попросил министра юстиции продлить мне визу на один день для того, чтобы я мог прочитать лекцию студентам о русской литературе, министр отказал. Но это было в нравах времени.

Бельгия жила лучше соседней Франции: в магазинах было не только больше товаров, но и больше покупателей. Бельгийцы объясняли: «Все дело в Америке...» Директор «Атомного центра» профессор Козенс рассказал мне, что бельгийские ученые, работающие над проблемами мирного использования атомной энергии, не имеют урана. Он посоветовал мне съездить в загородный музей Конго. Там я увидел кусок темного минерала, под которым значилось: «Уран. Катанга Шинколобве». Это было некоторым объяснением любви американцев к маленькой Бельгии.

Теперь, вспоминая музей и дощечку «Катанга», я думаю о другом: о драме, разыгравшейся десять лет спустя, о судьбе Лумумбы. Экспонаты стремились убедить посетителей музея в богатстве Конго и в духовной неполноценности его туземцев: благородные миссионеры, культурные колонизаторы и уродливые, дикие негры. Уран, золото, медь, олово, слоновая кость, каучук... Десять лет спустя к этим сокровищам можно было добавить реки человеческой крови.

Я познакомился с сенатором-социалистом Анри Ролленом. Он наговорил мне много неприятного о советской политике, а потом неожиданно сказал, что находит Стокгольмское воззвание разумным. Конечно, я тогда не мог себе представить, что Роллен станет одним из инициаторов встреч «Круглого стола», что я буду у него дома дружески разговаривать с ним о литературе, что на митинге в Брюсселе, где он будет председательствовать, после меня выступит Жюль Мок и скажет: «Мой друг Эренбург предлагал...» Я говорил, что политика часто вмещивалась в человеческие отношения — рвались дружеские связи; бывало и наоборот — вчерашние недруги начинали благожелательно улыбаться. Я думал: такой-то очень изменился, а такой-то считал, что изменился Эренбург; наверно, мы все менялись, а больше всех менялось время.

Бельгия меня удивляла контрастами. Центр Брюсселя был освещен куда ярче Парижа, световые рекламы неистовствовали, как на Бродвее. Но стоило отойти в сторону — и в теплый вечер у старинных домов судачили старушки в чепцах. Люди читали в газетах ужасные предсказания об атомной войне, а потом работали, мирно калякали, пили пиво. В старых городах Фландрии сплетницы с помощью прикрепленных к окнам зеркалец видели, что происходит на улице, оставаясь невидимыми. Писатели, которые принимали меня в Пен-клубе, сначала судорожно говорили о надвигающейся войне, спрашивали, не ждет ли их участь Ахматовой и Зощенко, а потом начали спорить о Сартре, о Кафке, о Маяковском.

Я поехал в Остенде, чтобы повидать художника Пермеке. На побережье было много разрушенных зданий. Проезжая мимо Ля Панн, я вспомнил, как писал «Хуренито». Где же та гостиница?.. Чернел кусок обугленной стены.

В Брюсселе я пошел к Элленсу. Он говорил, что кругом бестолочь, слепота, трудно разобраться. Я его удивил, сказав: «Самое трудное, что мы противоречим самим себе...»

Действительно, было много противоречивого не только в жизни Бельгии, но и в голове человека, размышлявшего над бельгийскими противоречиями. Я сидел в Брюсселе и читал статьи финансистов о дивидендах «Верхней Катанги», о том, как американский трест «Группа А — Б» купил миллион шестьсот тысяч акций у англичан и бельгийцев: злорадия продолжала меня волновать. А попав на посмертную выставку Энзора, я погрузился в другую стихию — исчезли и уран, и Ван-Зееланд, и Ачесон. Я глядел на пустынные пейзажи, на шествие розовых масок, на одинокого извозчика, уснувшего навеки в эпоху Верлена и Малларме. Кажется, почти всю свою жизнь я жил одновременно в различных мирах, два человека сосуществовали, и порой далеко не мирно; в тот год я это чувствовал особенно остро.

Швейцарскую визу я попросил еще в Москве. В Брюсселе меня вызвали в посольство Швейцарии: визу мне дадут, но я должен подписать заявление: «Я, нижеподписавшийся, Илья Эренбург, обязуюсь во время моего пребывания в Швейцарии воздерживаться от какой-либо политической деятельности, в частности не выступать с докладами и не появляться на собраниях, как публичных, так и частных, также не давать пресс-конференций».

Я исправил текст и перед словом «собраниях» вставил «политических». Дипломат сказал, что запросит по телефону Берн. Я прождал добрый час. Наконец дипломат уныло мне сообщил, что я не должен показываться на собраниях не только политических, но и культурных, религиозных или литературных. Он добавил, что я могу посещать богослужения и ходить в кино.

Когда я приехал в Швейцарию, в Сен-Галлене шла конференция швейцарских писателей. Я получил приглашение, но власти мне напомнили, что я обещал не показываться на собраниях... Я не решился даже пойти на концерт чехословацкой музыки.

Нейтральная Швейцария была вовлечена в водоворот «холодной войны». В Цюрихе мне дали циркуляр биржевого агентства «Аффиде»: «...Тот факт, что Россия теперь также обладает атомной бомбой, вызовет еще более быстрый рост американского вооружения. Ввиду этого на бирже наблюдается оживление с так называемыми «младенцами войны», то есть с акциями предприятий, которые во время второй мировой войны благодаря военным заказам шли на повышение. Мы прилагаем краткое описание «Локхид эйркрафт корпорейшен», акции которого приносят проценты, превышающие обычные, а именно 6,7 процента...»

Я ознакомился также с размышлениями педагога, продиктованными ученикам старшего класса сионской гимназии для упражнений в переводе с французского языка на немецкий: «...Пусть русские придут, они узнают нашу храбрость. Мы отомстим этим медведям за наших задушенных друзей, за наших похищенных жен. Эти разбойники хотят похитить у нас нашу отчину, они уже собрали солдат и подошли к предгорьям наших Альп...»

Разумеется, я встречал швейцарцев, равнодушных к акциям и ненавидевших ненависть: в Женеве — дирижера Ансерме, в Базеле — теолога Барта, в Люцерне — художника Эрни. Мне хочется сейчас рассказать о

замечательном эллинисте Андре Боннаре. С ним я познакомился на Парижском конгрессе. Теперь он пригласил меня к себе в Лозанну. Мы говорили о Микенах, о советской поэзии, о мире. Потом я прочитал его книги, и они помогли мне понять многое в культуре Эллады. Я встретил Боннара и позднее — побывал еще раз у него в Лозанне, беседовал с ним на различных конгрессах мира. Я пишу о нем в этой главе потому, что вечер его жизни тесно связан с «холодной войной». Он был на три года старше меня и принадлежал к последним гуманистам Запада. Никогда не занимавшийся политикой, он одним из первых примкнул к Движению сторонников мира. В 1952 году, когда он ехал на сессию Всемирного Совета, его задержали в Цюрихе и предъявили нелепейшее обвинение в разглашении государственной тайны. Судили его полтора года спустя и приговорили условно к пятнадцати дням тюремного заключения; приговор достаточно показывает вздорность обвинения — оправдать его судьи Берна все же не решились: боялись тем самым обвинить швейцарскую полицию.

Редко можно встретить такого бескорыстного, честнейшего и чистейшего человека, каким был Боннар. Он любил поэзию древней Греции, ее памятники, жизненность ее искусства, любил студентов, которым читал лекции, любил мир. На суде он сказал: «Вы теперь должны вынести приговор. Это вопрос вашей совести. Моя совесть чиста... Здесь говорили о моем гуманизме, но гуманизм для меня не наука кабинетного ученого, а нечто другое — законы, определяющие жизнь. Я также хочу сказать, что неправильно пытались доказывать, что во мне гуманист подозрительно сосуществует с другой половиной — с тем, кого слишком обобщенно называли «коммунистом». В действительности эллинизм для меня был долгой всепоглощающей школой. Пытаются отрезать переводчика «Антигоны» от сторонника мира, а на самом деле это тот же человек. Нет, господа судьи, я не существо с двойной жизнью, каким меня здесь изображали... Не думайте, что литература лишь для того, чтобы ее читали, она создается для того, чтобы ее воплощали в жизнь. Если бы она не учила искусству жить, она была бы только игрой и я никогда не посвятил бы ей свою жизнь...»

Страшная была эпоха, когда к книгам относились, как к бомбам, когда мирная и нейтральная Швейцария могла судить свою гордость, Андре Боннара, и попытаться его замарать. А он после суда мягко улыбался и с надеждой глядел на детей: «Им будет легче...»

Я пробыв в Швейцарии десять дней; приезжали друзья из Парижа, Гренобля, Марселя, Лиона, Ниццы; я слушал, записывал, а вечерами сидел на террасе кафе, озеро мне казалось то притихшим на минуту морем, то искусственным бассейном, устроенным для почтенных англичанок или туристов из Оклахомы. Глядя на воду, я в тысячный раз думал о том, что жизнь — это очень странная пьеса — трагедия, которая сбивается на фарс, один актер плачет, другой почему-то смеется, и для того, чтобы принять происходящее на сцене, нужно, видимо, быть очень мудрым или круглым дураком. А обыкновенному человеку остается работать, читать газеты, смотреть на озеро, если таковое имеется, и не пытаться разгадать замысел чересчур сложного автора.

Приехала на несколько часов Дениз. Мы долго глядели друг на друга — может быть, снова захотели понять, что с нами случилось. Потом я вдруг сказал: «Это было в другой жизни...» Она ответила «да» и улыбнулась смутной улыбкой — как когда-то.

Виза истекла. Я поехал в Берлин. Там «холодная война» была бытом. В Восточном Берлине на троицу проходила «встреча молодежи». Юноши и девушки в синих рубашках или блузках маршировали, пели песни, слушали речи ораторов. Все это происходило среди развалин. Одна сторона

Потсдамерплатца принадлежала демократической республике, на другой стояли американские солдаты. Парни в синих рубашках запускали пачки листовок, на них была воспроизведена пикассовская голубка. В ответ летели апельсины, и какой-то бурш в клетчатой рубашке вопил: «Апельсинов-то у вас нет...»

Границу все время переходили люди — шли на работу, повидать родственников, купить что-либо. Я несколько раз отправлялся в Западный Берлин. Напротив «Романишес кафе», где я когда-то сживал с Моголи Надь, Маяковским, Вальтером Мерингом, Тувимом, была биржа — меняли «восточные» марки на «западные». Тем же занимались сотни менял в бараках или в отремонтированных нижних этажах разрушенных домов. Курс в то время был фантастическим — за одну западную марку» требовали семь «восточных». Побриться стоило одну марку в обеих частях города. Экономные бургеры западных секторов брились в восточном — у них оставалось после этого шесть марок. Хозяйки западных секторов покупали в восточном овощи, хозяйки восточного сектора несли домой в кошелках кофе, апельсины, бананы. Магазины на Потсдамерштрассе бойко торговали английской материей; в витринах красовались надписи: «Принимаем восточные марки»; а расчетливые бургеры Шарлоттенбурга несли шевиот портным на Александерплатц — костюм обойдется втрое дешевле. На Курфюрстендаме танцевали самбу, пили рейнвейн, разглядывали полуголых визгливых певичек. А в Восточный Берлин любители отправлялись смотреть пьесу Брехта. В Западном Берлине было довольно много безработных, но американцы не жалели денег — перед ними был не город, а выставка капиталистического рая, безработным давали пособие — сто марок в месяц, и безработные говорили своим родственникам или друзьям, проживавшим в Восточном Берлине: «Мы ничег не делаем и получаем семьсот ваших марок».

В восточном секторе было много книжных магазинов. На столбах красовались политические плакаты или афиши — «Разбойники» Шиллера, диспут «Нужно ли нам искусство». В Западном Берлине пестрели рекламы; маленькие магазины выставляли предметы роскоши. На Курфюрстендаме были переполнены рестораны, кафе, кабаре. Вывески напоминали о далеком прошлом: «Ликеры Маппе», «Ресторан Кемпинского». Мне было десять лет, когда я впервые ел у Ашингера сосиски. Все рухнуло: империя Вильгельма, Веймарская республика, третий рейх — и вот передо мной сосиски Ашингера. Правда, помещение не то — закусовая в полуобвалившемся доме, но бургеры довольны: жизнь восстанавливается, старая, надышанная, хорошо знакомая.

Громкоговорители двух Берлинов с утра до ночи обличали друг друга. Это, как и многое другое, напоминало фронт. Печать Западного Берлина уверяла, будто «красные» устраивают «встречу молодежи», чтобы захватить весь город. Американцы, англичане, французы выставили орудия, танки. Но не было ни снарядов, ни пуль, только много листовок и немного апельсинов.

У войны свои законы, она неизменно обкрадывает духовный мир человека, упрощает его суждения, превращает своего в святого, а врага в плакатное чудовище. В этом «холодная война» напоминала все войны. Если Москва или Нью-Йорк были тылом, то берлинцы жили на переднем крае. А писателю трудно ограничиться короткими лозунгами, иконописью или карикатурами.

В Восточном Берлине я встретился с Брехтом, с Анной Зегерс, с Арнольдом Цвейгом. Газеты Западного Берлина на них нападали, называли «продавшимися Москве», «карьеристами», «приспособленцами». Это было глупо — ведь любой житель Восточного Берлина мог перейти

Потсдамерплатц и оказаться в том мире, который на Западе именовался «свободным», а подкупить было куда легче на «западные марки», чем на «восточные». Анна Зегерс приехала в демократическую республику из Мексики, Брехт из Соединенных Штатов, Цвейг из Палестины. Но и в Восточном Берлине некоторые критики нападали то на Брехта, то на Цвейга, то на Зегерс. Помню долгий спор с одним из людей, которым чуждо, а может быть, и враждебно искусство. Мой собеседник уверял, что в романе Зегерс «Мертвые остаются молодыми» чувствуется симпатия к гитлеровцам, есть там даже антисемитские ноты; Цвейг — «полусионист-полумистик», который смотрит одним глазом на Израиль, другим на Запад; что касается Брехта, то это «неисправимый формалист», упрямец, выступающий против реалистического изображения действительности, в его пьесах «нарочитая фантастика». Я возражал, говорил, что Цвейга никто не тащил из Палестины в Берлин, что Анна Зегерс не может быть антисемиткой — она еврейка, ее мать гитлеровцы убили в Освенциме, а насчет избытка нарочитой фантастики в Берлине лучше промолчать — этот город превосходит фантазию и Брехта, и По, и Гойи. Горячился я, конечно, зря: есть люди, которые умеют говорить, но не слушать.

Брехта я знал давно; беседовать с ним было нелегко: часто он казался отсутствующим, такое впечатление обманывало — он слушал, многое подмечал, порой усмехался. Однако всегда его окружала атмосфера мира, в котором он жил — не Парижа или Берлина, а некоей страны, которую я про себя называл «Брехтией». Его фантазия, как и его философия или поэзия, была не литературным приемом, а природой: он был не просто поэтом, а поэтом неисправимым. Всегда он ходил в куртке, не завязывал галстука, курил крепкие черные сигары, держался скромно, говорил тихо, и, несмотря на все это, многие, как я, в его присутствии испытывали беспокойство. Думаю, что это происходило от чересчур интенсивной внутренней жизни молчаливого, казалось рассеянного человека.

Вспоминаю последнюю встречу у Анны Зегерс. Это было осенью 1955 года, за несколько месяцев до его смерти. Анна спрашивала: «Кого из писателей реабилитировали после Бабеля?..» Я ей привез старый лубок: Бова-королевич вызвал на поединок Смерть. Брехт попросил перевести текст и насторожился, я почувствовал знакомое мне беспокойство.

Один автор Западной Германии в книге, посвященной Брехту, говорит, будто поэт «хитрил», был «расчетлив» в своих решениях. А хитрость Брехта была хитростью ребенка, и все его «расчеты» — просчетами поэта.

В Москву я вернулся в начале июня, рассказывал о поездке, о Берлине. Савич меня спросил: «Ну как по-твоему, будет война?..» Я ответил: «Ни в коем случае». Еще раз я оказался плохим пророком: две недели спустя началась война в Корее, которая долго грозила стать мировой.

Мы жили на даче возле Нового Иерусалима. Лето было на редкость дождливым, и я почти весь день писал газетные очерки, а по вечерам слушал радио. Хотел сесть за роман, когда позвонили: нужно ехать в Лондон на конференцию мира, вопреки ожиданиям англичане дали визу.

На аэродроме меня встретили английские сторонники мира и секретарь нашего посольства, который отвез меня в гостиницу. Номер был роскошный, с ванной, и я думал, что смогу как следует выспаться. В «Ивнинг ньюс» на первой странице я увидел статейку с заголовком «Почему впустили Илью?». Я считал, что англичане скорее чопорны, чем

фамильярны, и заметка меня озадачила. Ночью меня то и дело будили какие-то крики; в полусне я смутно думал: почему англичане кричат ночью на улице? Раньше такого не было... Утром я узнал от директора гостиницы, что был невольной причиной шума: один из участников фашистской организации Мосли принес портативную трибуну и начал меня проклинать: я организовал войну в Корее, приехал в Англию для подрывной работы и так далее. Поскольку Хартия Вольностей гарантирует свободу слова, полицейские ограждали оратора. Директор гостиницы сказал, что многие постояльцы жаловались и он вынужден попросить меня переехать в другую гостиницу.

В посольстве мне сказали, что летом в Лондоне вообще трудно найти комнату, а теперь какой-то конгресс да еще большой футбольный матч. Присидев полдня на заседании и выступив (то есть убедив убежденных в том, что мир лучше войны), я отправился по указанному адресу. Это была третьеклассная грязная гостиница, меня провели в крохотную чердачную комнату. Я помылся и не успел даже опомниться, как за мною пришли — в Вестминстерском дворце меня ждут депутаты-лейбористы.

Корейская война взволновала всех — люди боялись, что она может перейти в третью мировую войну. Английские газеты уверяли, что военные действия начала Северная Корея. До Кореи далеко, и лейбористы так же мало знали о том, что произошло 25 июня на 38-й параллели, как я, но считали, что коммунисты — зачинщики. Правда, среди лейбористов не было единомыслия, и некоторые депутаты говорили, что, если военные операции и начали войска Северной Кореи, то Ли Сын Ман все же не заслуживает ни уважения, ни поддержки. Однако таких было мало (помню двоих — Э. Хьюза и С. О. Дэвиса). Большинство возмущалось «корейскими сателлитами Москвы». Напоминало все это скорее допрос, чем беседу, и продолжалось до девяти часов вечера.

В Лондоне ужинают рано, и депутаты поели до встречи. Э. Хьюз провёл меня в ресторан парламента, угостил пивом. Когда мы вышли, все рестораны уже были закрыты. Я позвонил в посольство и сказал, что я и английский коммунист, любезно согласившийся быть моим переводчиком, испытываем нестерпимый голод. Мы поехали в посольство, нас угостили рижскими шпротами и крабами «чатка»; это был настоящий пир. Расплата последовала быстро. Когда в час ночи я в такси добрался до гостиницы, мне сказали, что номер мне сдали по ошибке. Туалетные вещи положили без меня в чемодан, который и красовался у швейцара. Я возмущался, но швейцару хотелось спать, и он ничего не отвечал. Пришлось вернуться в посольство, там все спали; дежурный сказал, что я могу лечь на диван, где обычно ожидают приема посетители, но ни постельного белья, ни подушки у него нет.

Утром за мной приехал Айвор Монтэгю, повез на собрание и вдруг неожиданно объявил, что нам пора ехать: назначена моя пресс-конференция. Я ответил, что не могу показаться перед журналистами в измятой рубашке, придется заехать в посольство. Лондон очень большой город, и Монтэгю ответил: «Это невозможно. Лучше купить рубашку». — «Но где я смогу ее надеть?» — «В уборной». Когда мы подъехали к помещению, оказалось, что полтора десятка журналистов уже ждут меня. Монтэгю показал себя умелым полководцем: вместе с двумя сторонниками мира он закрыл путь в уборную и дал мне возможность переодеться.

Должен признаться, что после пресс-конференции мне снова пришлось переменить рубашку: зал был набит журналистами, и вели они себя настолько вызывающе, что меня бросало в пот. Я понимал, что должен быть спокойным для тех немногих, которые действительно интересовались моими ответами, однако это внешнее спокойствие стоило сил. Я бывал на сотнях пресс-конференций, но ничего подобного не ви-

дел. Все время меня прерывали. Один журналист подбежал и крикнул: «Нечего выворачиваться. Отвечайте прямо — «да» или «нет»?»

На Трафальгар-скуэр устроили митинг. Народу пришло много. Ассошиэтед Пресс сообщило, что присутствовало десять тысяч, ТАСС назвал цифру «двадцать», наверно было тысяч пятнадцать. Я оглядел площадь, памятник адмиралу Нельсону, смутился, но быстро взял себя в руки и произнес речь. Сразу после этого пошел сильный дождь, толпа начала редеть. Когда митинг кончился, я закурил, у меня в кармане был советский коробок спичек с фабричной маркой — серп и молот. Незнакомый журналист попросил подарить ему коробочку. На следующий день отчет о моем выступлении был снабжен фотографией: «Спички, которыми Илья собирает поджечь Англию». В другой газете я прочитал: «Илье Эренбургу хочется написать новый роман «Падение Лондона».

Монтэгю нашел комнату в гостинице, где меня не беспокоили, это было великим делом. Вообще Монтэгю много раз меня выручал. Познакомился я с ним в 1948 году на Вроцлавском конгрессе. С тех пор в течение пятнадцати лет я неизменно видел его на всех заседаниях и совещаниях сторонников мира; он не выступал с речами, но работал изо всех сил. Внешне он напоминает не благопристойного джентльмена, а одного из посетителей той «Ротонды», куда я ходил юношей; на нем множество пестрых свитеров и жилетов, которые на заседаниях он постепенно снимает. Биография его еще экзотичнее. Он рос в богатой семье. Его отец был лордом, либералом. Айвор в ранней молодости увлекся Октябрьской революцией, побывал в Москве; потом стал коммунистом. Я как-то с ним бродил по восточным, рабочим кварталам Лондона. Прохожие его узнавали, некоторые начинали беседу — он не раз поддерживал кандидатуру коммунистов в этом районе. В молодости он занимался зоологией и обогатил зоопарк Лондона различными зверьями. Из Ленинграда он повез в Лондон на советском пароходе медвежонок. На третий день медведь лег в каюте Монтэгю и проспал до Лондона. Команда призналась, что медвежонок всем надоел, бродил по судну, гадил, и матросы решили его напоить — отдали ему свою водку. Потом Айвор Монтэгю занялся кино; помогал Эйзенштейну в Мексике. Он продолжает работать над проблемами кинематографии и телевидения. Есть у него еще одно увлечение, о котором нельзя промолчать, — пинг-понг, он председатель всемирного объединения ревнителers этого спорта. Айвор любит искусство; он очень доверчив и вместе с тем упрямя; словом, это человек, который мне всегда казался понятным, хотя рассуждает он путано, а по-французски говорит настолько своеобразно, что французские слова порой кажутся английскими. В 1950 году, когда положение коммунистов в Англии было очень трудным, Монтэгю спокойно беседовал с политическими противниками: его необычность, очевидно, многих обезоруживала.

Один известный английский писатель, который на пресс-конференции не присутствовал, но был в то время настроен против Советского Союза, сравнил меня с «большой немецкой овчаркой» и посоветовал поскорее убраться в Москву. Я не называю этого писателя — мы познакомились с ним позднее, а лет шесть или семь спустя он изменил свое отношение к сторонникам мира, а заодно и ко мне.

Хуже было с выступлением в английском парламенте одного из лейбористов. (Имени его я тоже не называю, я его потом не встречал, не знаю, что он теперь думает, и отношу инцидент, о котором хочу рассказать, к климату «холодной войны».) Сотрудники журнала «Нью стейтсмен» пригласили меня на ленч; там я с ним познакомился. Разговаривали мы долго — три часа, переводил с французского на английский

Монтэю. Разговор шел, разумеется, о мире и войне. Я рассказал об интересной статье во французской газете «Ле монд» и сказал, что ни французский народ, ни английский, видимо, не хотят воевать, настроения простых людей сильно отличаются от речей политиков, да и от того, что пишут в газетах. После этого депутат выступил с речью в Палате общин. Он сказал, что недавно завтракал со мной. Один консерватор его прервал: как может английский депутат сесть за стол с Ильей Эренбургом? Депутат-лейборист ответил, что хотел узнать врага. После чего он заявил, будто я говорил ему, что англичане, как и французы, не способны воевать ни морально, ни физически. Он сравнил меня с Риббентропом, который докладывал Гитлеру, что англичане не окажут никакого сопротивления. Прочитав это, я написал письмо в «Таймс». Написал письмо и Монтэю. Но всякие такого рода опровержения мало кого интересуют, дело было сделано: Эренбург — это Риббентроп, немецкая овчарка, человек, который подготавливает нападение «красных» на Великобританию.

За полгода до этого правая французская газета писала: «Было бы глупым впустить к нам снова Илью Эренбурга. Мы слишком хорошо знаем этого молодчика. В красной России он играет ту же роль, что играл Фридрих Зибург в нацистской Германии, который, объясняясь в любви ко Франции, был квартирмейстером вермахта. Автор «Бури» прокладывает дорогу сталинским легионам. Эренбург во Франции был бы еще одним агентом ГПУ. И каким! Он хорошо знает джунгли Парижа, вхож в различные круги общества, это любимчик эстетов и снобов, он стал бы главным звеном бесконечной цепи шпионажа».

Меня пригласил Английский совет мира — эта организация объединяла дюжину пацифистских движений, лиг, обществ: и квакеров, и толстовцев, и противников воинской повинности. Среди моих собеседников я увидел Зилиакуса, человека, с которым десять лет спустя подружился. Я сразу почувствовал недоверие, даже подозрительность — такое уж было время. Мы обсуждали возможность совместных действий для прекращения войны в Корее. Постепенно мне удалось смягчить неприязнь, разговор начинал принимать благоприятный характер. Испортила дело секретарша английского Комитета сторонников мира. Она подошла ко мне и шепотом спросила: «Может быть, вы устали? Я могу попросить, чтобы вам дали чашку чая...» Настроение собеседников изменилось; они не знали, что речь шла о чашке чая, и начали шептаться между собой: овчарка обернулась волком, на котором чепчик бабушки...

В субботу часов в пять, то есть именно в то время, когда все англичане, богатые и бедные, правые и левые, пьют чай, я подошел к зданию нашего посольства и увидел странную картину: толпа молодых людей, кинооператоры, полиция. Оказалось, за пять минут до того молодые приверженцы Мосли начали швырять камни в посольские окна; полиция тогда не было, но кинооператоры были своевременно предупреждены и засняли демонстрацию народного протеста против «красных», продолжающих агрессию в Корее (так называли газеты швыряние камней в окна). Посол Зарубин показал мне камни. Комнату подмели, убрали осколки стекол. Посол при мне позвонил министру иностранных дел Бевину, который уже отдыхал на даче, попросил о срочном приеме. Потом посол стал диктовать ноту протеста. Все это я видел впервые, и Зарубин, заметив, что я увлечен происшедшим, предложил мне остаться, подождать его возвращения. После беседы с Бевинем он сказал, что министр мялся, разумеется, осудил хулиганов, обещал принять меры и так далее...

Я побывал в Кембридже: Монтэю повез меня к одному из крупнейших физиков — Дираку. Приняли нас хорошо. Я заговорил о Сток-

гольмском воззвании. Дирак сказал, что считает атомную бомбу преступлением, но политикой не занимается. Пришел его сын, подросток, учившийся в колледже, и попросил меня надписать «Падение Парижа». Дирак сказал: «Вот это — новое поколение, он у меня красный...» Я ответил, что для «Дэйли мейл» и сам Дирак «красный» — ведь ему не нравится «холодная война» и он с уважением говорит о Жолио-Кюри. Дирак рассмеялся. (Жолио-Кюри мне как-то рассказывал, что Дирак сделал важное открытие в квантовой механике, когда ему еще не было тридцати лет.) На два или три часа я забыл о «холодной войне», слушая интересного, своеобразного человека. После обеда Дирак осторожно спросил меня, что случилось с его другом Капицей, в газетах сообщали, будто он арестован. Как раз перед моим отъездом мне рассказали, что Капица (чем-то рассердивший Сталина) продолжает работать, и я ответил Диразу, что Капица на свободе, у него лаборатория. Я почувствовал, что Дирак и его жена хотят мне верить, но не решаются. Госпожа Дирак спросила, могу ли я взять несколько мотков шерсти для жены Капицы — она любит вязать. В меня впилась четыре глаза. Я ответил, что охотно передам подарок. Сразу всем нам стало легче. Таково было время, и таковы были человеческие отношения...

В Лондоне я впервые по душам поговорил с Берналом. Он был и во Вроцлаве и в Париже, но там я встречал его только на заседаниях, а в Лондоне он позвал меня к себе. Впоследствии мы часто встречались, порой подолгу беседовали, и я его полюбил. Он с виду похож на классического ученого — все забывает, все теряет, торчат непокорные волосы. На самом деле он все помнит и очень многое его волнует. Черчилль не раз прибегал к его советам во время войны, ему даже специально заказали военную фуражку — у него чересчур большая голова. Однажды он мне рассказал, как ему пришлось в голову открытие, которое он сделал. Это было в тридцатые годы; делегация научных работников Англии приехала в Москву. Уезжали они с центрального аэродрома. Отлет задерживался из-за погоды, лил дождь. Зала для пассажиров не было. Бернал стоял под навесом, и здесь ему пришла в голову идея структуры воды. Он поделился об этом со своим попутчиком физиком Р. Фуллером. В самолете они рассказали об этом друзьям коллегам. Те выслушали и сказали Берналу: «Сейчас же, когда прилетим, запишите это...»

Бернал тратил и тратит много времени, сил на движение за мир.

Я приведу отрывок из письма, написанного профессором Берналом в сентябре 1954 года (как автор письма указывает — в четыре часа утра): «Меня поместили в гостинице излишне роскошной. Мне дали апартаменты, щедро украшенные в хорошем академическом вкусе, с картинами, написанными настоящим маслом, я знаю, что они могли быть еще хуже этого. Чтобы помочь мне уснуть, напротив окна моей комнаты сверкает ярчайший фонарь, а под окном стоянка машин, и водители то заводят моторы, то громко беседуют: если бы я понимал язык, наверно, их разговор развлек бы меня. Для немногих дней, которые я смогу провести в Москве, выработана программа: турне по метро, улица Горького и в воскресенье осмотр архитектуры на сельскохозяйственной выставке... Я в Москве в восьмой раз, в этом городе я знаю десяток умных, интересных людей, и вместо того, чтобы дать мне возможность поговорить с ними, когда на свете столько интересных событий, меня превращают в священную корову...»

Он очень живой человек: все его интересует. В письме, которое я процитировал, он вспоминает строчку Вийона: «От жажды умираю над ручьем». Однажды он мне рассказал о замечательном английском поэте начала XVII века Джоне Донне, стихи которого Хемингуэй взял эпигра-

фом для романа «По ком звонит колокол». В другой раз мы беседовали о Пикассо.

Как-то он приехал ко мне в Новый Иерусалим, мы пошли гулять, Бернал увидел возле одного домика грудку камней, начал их разглядывать, некоторые клал в карман. Люба сказала: «Но это ведь кто-то привез — хотят, наверно, вымостить дорогу»... Бернал выбросил камни, потом снова начал их разглядывать и, виновато озираясь, три или четыре сунул в карман. Когда мы вернулись, он начал разбивать камни, показал мне один с отпечатком морской ракушки и сказал, что возьмет его в Лондон.

Я привез его в окрестности Волоколамска, где на берегу озера сохранился прекрасный монастырь XVI века. Хотя над воротами надпись, что здание находится под охраной государства, никто его не охранял. В башне, где был заточен Василий Шуйский, мы увидели свинью; в храме с осыпающейся росписью сушилось белье. Был холодный, осенний день; машина забуксовала, нам пришлось пройти километр по вязкой глине, обувь то и дело застревала, и Бернал вытаскивал туфлю, поджав одну ногу, как аист. Потом он говорил, что это был чудесный день.

Я старался уйти от убийственного климата «холодной войны», то беседуя с Берналом, то бродя по набережным Темзы и вбирая в себя унылую красоту огромного живого города, то глядя в картинной галерее на пейзажи Тернера, который за полвека до французских импрессионистов начал современную живопись.

В вечерней газете я увидел статью «Когда же Илья уберется восвояси?». Это было в день моего отлета.

Я глядел в оконце самолета — мы летели низко над Лондоном: игрушечные кубики домов, красные точки автобусов, спортивные площадки, парки, машины — макет огромного города. Я вспомнил людей на митинге, улыбку Бернала, который в разговоре то и дело вздыбливает свои и без того вздыбленные волосы, вспомнил и крикуна под окном, журналистов, осколки оконных стекол...

Эта глава вышла чересчур длинной и пестрой, но я хотел рассказать о несуразности «холодной войны» и припомнил некоторых людей, которые тогда меня поразили человечностью, спокойствием, сопротивлением мнению и настроением, окружавшим их. Десять лет спустя в одной из комнат Вестминстерского дворца собралась встреча «Круглого стола»; не только лейбористы, но и консерваторы любезно беседовали с советскими делегатами. Да и многое другое, описанное в этой главе, мне самому теперь кажется далеким прошлым, хотя с тех пор не прошло и пятнадцати лет... Конечно, и с нашей стороны было много ненужного, чересчур резкого, несправедливого по отношению к тому или иному человеку. Но хорошо будет, если некоторые люди Запада задумаются и над своей ответственностью. Мою повесть я назвал «Оттепелью», я начал ее писать в конце 1953 года. Западным газетчикам название понравилось, они умиленно его повторяли, но в 1950 году они делали все, что могли, для усиления крепчайших морозов, и об этом тоже не стоит забывать.

Я рассказал о том исступлении, которое охватило мир в 1950 году. Мне хочется проверить свою собственную ответственность. Конечно, я не мог быть ни спокойным, ни сдержанным в суждениях: я не наблюдал со стороны за «холодной войной», я в ней жил. Что я мог чувствовать, разглядывая номер «Кольерс», посвященный будущей войне против Советского Союза? Описав разрушение советских городов, «Кольерс» рисовал идиллические картины Москвы, оккупированной американцами:

заводы будут проданы или сданы в аренду иностранным предпринимателям, театр Красной Армии переименуют в театр Нового Света, в нем будет идти модная американская комедия «Бездельники и женщины», крупная московская газета начнет печатать на первой полосе мемуары кинозвезды Дженни Джемс «Как я любила и разлюбила в Сараваке». Я отвечал резко и поступать иначе не мог.

Это было в 1949 году, я тогда еще не понимал смятения, которое охватило интеллигенцию Запада, и порой бывал несправедлив. Я прочитал книгу английского философа Бертрана Рассела, в которой он отстаивал создание «всемирного правительства». Эта идея мне и теперь кажется неприемлемой: она привела бы к мировому господству капитализма, но нельзя было представлять Рассела как апологета господствующего класса.

Жалею я и о статье, в которой, защищая Фолкнера, нападал на Сартра, называл его «хлестким, рассудочным, салонным». Я прочитал перед этим его пьесу «Грязные руки» — талантливый памфлет, который показался мне направленным против коммунистов. Почему я назвал Сартра «салонным»? Я тогда его плохо знал, две встречи — перед войной и в 1946 году — носили случайный характер. Во Франции, да и в других странах Запада все повторяли имя Сартра, говорили о нем не только студенты, но и дамы без профессии, без возраста, шебетавшие в различных гостиных и на приемах: «О, Сартр!..» Познакомившись с Сартром, я увидел человека умного, скромного, который тяготился своей славой, называл ее «дурацкой» — он хорошо знал, что многие, говорившие о нем с благоговением или возмущением, не прочитали ни одной из его книг.

В нашу эпоху политика не удел специалистов, а нечто общеобязательное — редко кто может от нее укрыться. Политическая линия Сартра может показаться необъяснимой — столько в ней петель. В 1948 году он считал себя представителем «третьей силы», думал, что находится где-то между пролетариатом и буржуазией, между Советским Союзом и Америкой. Однако «ничьей земли» не оказалось, и «Грязные руки» обернулись в оружие Америки и буржуазии.

В Вене Сартр был звездой: его выпустили на первом заседании, а когда он кончил речь, все встали и долго аплодировали.

С 1952 года по 1956-й Сартр защищал Советский Союз от нападок французских газет, приезжал к нам, давал восторженные интервью, участвовал во Всемирной ассамблее в Хельсинки.

После венгерских событий он публично заявил, что порывает со своими друзьями — советскими писателями, а год спустя мирно беседовал со мной и скорее защищался, чем нападал.

Все это может озадачить, особенно если вспомнить, каким был декабрь 1952 года, когда Сартр решительно отбросил мнимый нейтралитет и повернулся лицом к Советскому Союзу. В объяснение хочу сказать о некоторых свойствах Сартра — подружившись с ним и с Симоной де Бовуар, я многое понял.

Сартр по любви, да и по таланту — писатель, но его творчество и восприятие жизни зачастую зависят от другой стороны его деятельности — от философии. На Венском конгрессе Сартр говорил: «Мысль и политика нашего времени ведут нас к бойне, потому что они абстрактны. Мир рассклеи на две половины, и одна страшится другой. Каждый действует, не зная ни намерений, ни воли соседа, строят предположения, не веря тому, что «другой» говорит, толкуют его слова и занимают позиции, исходя от предположения — так-то поступит противник. Тогда становится возможной только одна позиция, выраженная в тысячелетней глупости «хочешь мира, готовься к войне», а это — триумф абстракции. Люди

становятся абстрактными. Каждый — это «другой», то есть воображаемый враг, которого следует опасаться. В моей стране редко встретишь человека — преобладают наименования, этикетки...»

Наряду со стремлением осмыслить происходящее в Сартре много обостренной чувствительности. Менее всего он наблюдает, он думает, делает выводы, а потом эмоционально воспринимает то, что видит или слышит. Как-то мне привелось быть переводчиком: я его повел к знакомому агроному, человеку одаренному, но любящему пустить пыль в глаза. Я предупредил Сартра: «Это наш Тартарен...» Приведу диалог. Агроном спрашивает: «Интересно от них узнать, сколько дает молока французская корова?» — «Боюсь ответить — я не специалист». — «Это мы понимаем, что они пишут книги. Но, скажем, пятьдесят литров в день дает?» — «Кажется, таких коров выставляют на выставках». — «А я им покажу людей, которые никогда в жизни не были на выставке, но коровы у них дают по пятидесяти литров в день». Сартр, хоть я его и предупреждал, поверил. Агроном потом говорил мне: «Хороший этот француз, такой простой человек!..» В Париже я рассказал Сартру и Симоне о похвалах подмосковного Тартарена. Симона засмеялась: «В общем, он прав — Сартр действительно наивен...» А Сартр стесненно улыбался.

Рассудочность, в которой я пятнадцать лет назад упрекнул Сартра, связана не с отсутствием сердца, напротив, обостренной совестью он напоминает русских писателей второй половины прошлого века, но, будучи философом, он порой думает общими категориями и, ненавидя абстракцию, становится абстрактным. Что касается неожиданности его политических поворотов, то они диктуются его характером: то, что у других может быть названо внутренним монологом, сомнениями, днями или годами молчания, у Сартра сопровождается декларациями, заявлениями в различных интервью — словом, действиями. Когда я это понял, я пожалел о моей статье 1949 года.

Поездки на Запад, о которых я рассказал, помогли мне лучше понять климат «холодной войны»; я увидел, как легко увеличить число врагов, и тон моих статей стал мягче. «Нет на свете вопросов, которые нельзя разрешить соглашением, — писал я в «Правде», — мы никогда не думали и не думаем доказывать силой оружия правоту наших идей... Мы дорожим ценностями любой цивилизации — «восточной» и «западной», «северной» и «южной». Мы предлагаем мир не только нашим друзьям, но и людям, которые нас не любят, — для всех найдется место под солнцем, а кто прав — рассудит будущее». В ноябре 1950 года на Втором Конгрессе сторонников мира я говорил: «Я стою за мир — за мир не только с Америкой Робсона и Фаста, но и за мир с Америкой г. Трумэна и г. Ачесона... Планета одна, однако она довольно вместительная, и на ней могут поместиться сторонники различных социальных систем. Они могут договориться, чтобы никто не ломал двери в чужом доме, ссылаясь на антипатию к идеям хозяина этого дома, и чтобы никто не швырял камни в окна соседа только потому, что сосед думает иначе, разговаривает иначе, живет иначе... Мы должны позаботиться не только о запрете военной пропаганды, но и о создании моральных условий, которые необходимы для мирного сосуществования. Нужно отказаться от развития в подрастающем поколении неуважения и вражды к другим народам, нужно бороться со всеми проявлениями национальной и расовой спеси. Развитие культуры человечества невозможно при изоляции, при искусственных стенах, при несправедливых нападках на культуру и на жизнь других народов... Необходимо изменить климат мира, рассеять взаимное недоверие».

Теперь такие рассуждения — азбучная истина, а в 1950 году наши газеты выбросили из моей речи слова о губительности для культуры

барьеров, о необходимости рассеять взаимное недоверье. Мне оставалось повторять их на различных конференциях, встречах с читателями. (Несколько лет спустя положение изменилось. В «Литературной газете» была напечатана статья одного бывшего монархиста, вернувшегося из Америки. В запале (психологически понятном) он написал, что никакой американской культуры не существует. Я послал в газету письмо — говорил, что в Америке есть своя — и значительная — культура, крупные ученые, замечательные писатели. Хотя редакция и указала, что не согласна со мною, письмо она все же напечатала. Но это было в 1955 году, а не в 1950-м...)

В то время, о котором я рассказываю, я много ездил за границу. В 1950-м после Лондона побывал в Праге, в Копенгагене, Осло, Стокгольме; потом на конгрессе в Варшаве; в 1951-м — сессия Всемирного Совета в Берлине, бюро в Копенгагене и в Хельсинки, снова Скандинавия, сессия в Вене. В воспоминаниях проходят пестрой и вместе с тем монотонной лентой комиссии и подкомиссии, вопросы, которые, увы, все еще не стали историей — гонка вооружений, рождение бундесвера, растущие преграды в экономическом и культурном обмене, ночные заседания, митинги в Копенгагене в парке весной с датчанками в старинных народных костюмах, в Хельсинки на Вокзальной площади, в Вене возле здания парламента. Секретариат Всемирного Совета помещался в Праге; там перед очередным конгрессом мне приходилось оставаться по несколько недель.

Я пытался привлечь к движению различных политических и культурных деятелей; порой бывали удачи, но чаще мне отвечали вежливым отказом. В Копенгагене я познакомился с депутаткой от либеральной партии Элин Аппель. Она возмущалась подготовкой мировой войны, но многое у нас ей было не по душе, кое-что несправедливо, а кое-что справедливо. Я долго с нею беседовал и убедил ее приехать на конгресс в Варшаву. (После этого были выборы, и ее не переизбрали в парламент.) Выступая в Варшаве, Элин Аппель сказала, что с некоторыми предложениями согласна, с другими нет, и просила «представителей стран Востока задуматься над своими ошибками, как я думаю над своими заблуждениями». Два года спустя она выступила на конгрессе в Вене; сказав, что я ей «открыл на многое глаза», со многим в моей речи она не согласилась: «Скажите, вы уверены, Илья Эренбург, что вы и ваши единомышленники не несете на себе хотя бы частицы ответственности за наш страх?..»

В Норвегии группа левых социалистов назначила мне свидание за городом. Денег на такси у меня не было, и я поехал в машине посольства. Шофер не знал окрестностей города. Я вылезал и спрашивал, но никто не понимал ни по-французски, ни по-немецки. Я приехал с двухчасовым опозданием. Однако разговор был благоприятным. (Я рассказывал об этой встрече, потому что несколько лет назад ее участники откололись от правящей партии и образовали новую.)

Бывали положения, когда мне приходилось краснеть. В Стокгольме секретарь шведского Комитета мира Ценнстрем, автор превосходной книги о Пикассо, повел меня к одному из крупнейших врачей — я должен был убедить его подписать Стокгольмское воззвание. Нарядная горничная провела нас в гостиную, где ждали приема пациенты. Почему-то мне пришлось в голову спросить Ценнстрема, знает ли профессор, о чем я собираюсь с ним беседовать. Ценнстрем ответил, что он просто назвал мою фамилию, вероятно, профессор назначил мне час как пациенту. Я бросился к выходу. Горничная пыталась меня остановить: «До вас только двое...» Я постыдно убежал.

Меня попросили показать один документ знаменитому датскому мик-

робиологу Т. Мадсену. Ему тогда было восемьдесят два года. Он меня любезно принял, угостил хересом, потом начал читать доклад, переведенный с корейского языка на китайский, с китайского на русский, а с русского на английский. Прочитав первую страницу, он отдал мне рукопись: «Спрячьте это, молодой человек, и никому не показывайте — это может рассмешить студента-первокурсника...» Он сказал, что сочувствует нашим стремлениям установить мир, был ласков. А я сидел как на иголках и только ночью улыбнулся, вспомнив слова «молодой человек» — мне тогда пошел седьмой десяток и давненько никто меня так не называл.

Секретариат Всемирного Совета находился в Праге. Генеральным секретарем был Жан Лаффит — человек добродушный, который умел помирить спорщиков. Лаффит казался флегматичным, даже ленивым, но на деле был работягой. Его помощниками были китайский поэт Эми Сяо, американский пастор Дарр, бразилец Борсари, итальянский социалист Феноалтеа и П. Р. Гуляев. Гуляев, присмотревшись к делу, показал себя тактичным и умным человеком; он сохранил лучшие черты поколения, которое вошло в жизнь в начале тридцатых годов, не обюрократился, да и не был напуган до смерти, хотя положение его было трудным. Когда Гуляев умер, все поняли, какую роль он играл в движении.

Секретариат помещался в большом доме на берегу Влтавы. Когда я приезжал, мне отводили комнату, и я сидел над папками; работа была кропотливой. Прага в то время выглядела уныло. Иногда меня звал к себе Лаффит, угощал достопримечательным ужином: он родом из Дордони, где люди знают толк в паштетах, козьем сыре и красном вине. В ранней молодости он был кондитером, а жена его, Жоржетт, может потягаться с премированными поварами. Мы не говорили ни о борьбе за мир, ни о литературе, а ели, пили и дурачились.

Иногда в воскресенье я ездил в Добриш — там в Доме писателей жил Жоржи Амаду с женой Зелией и маленьким сынишкой. Жоржи — живой, порывистый человек, такими мы представляем себе людей юга, а в Зелии мягкость и женственность уживаются с подлинным мужеством. Я с ними подружился. Жоржи и сживал в тюрьмах, и дважды был в эмиграции, он легко приспосаблился к трудностям быта. В Добрише он весь день писал, а по вечерам играл в карты с чешским писателем Дрдой. Амаду, худой, подвижный, черноволосый, мог сойти за одесского или марсельского жулика, а грузный, веселый, порой с лукавством Дрда напоминал Швейка. За игрой они ругались по-чешски и по-португальски: «Шулер!», «Мошенник!», «Конокрад!»...

Амаду — коммунист, и в течение двадцати лет занимался будничной политической работой. Он участвовал и в нашем движении. Нет в нем ни крупички честолюбия. На Венский конгресс ему удалось привезти несколько бразильцев различных направлений, и он не захотел выступить: «Пусть говорят они...»

Он начал писать рано, первый его роман вышел в свет, когда автору было двадцать два года. Он прекрасно знает жизнь того края, где вырос — Северной Бразилии, края какао и голода. Я люблю его романы — в них сочетание жестокой правды с поэзией; это не литературная манера, а сущность Амаду — любовь к людям, участливость, человечность. Никогда я не забуду, как в одном из старых романов он описал исход голодающих крестьян и смерть осла Жеремиаса, кормильца семьи. Осел знал, что трава пустыни ядовита, он глодал кору деревьев, колючие кактусы, а потом не выдержал — съел ядовитую траву и печально закричал, прощаясь с жизнью.

Амаду лучше знали за границей, чем у него на родине. В 1954 году на аэродроме в Ресифе, где было невыносимо жарко, слонялся бродячий

фотограф в поисках знатных путешественников. Кто-то посоветовал ему снять меня. Он рассказал мне: «Я три раза фотографировал Жоржи Амаду, но только один раз одна газета взяла у меня фото...» Слава пришла к Жоржи после романа «Габриэлла». Флобер говорил о госпоже Бовари: «Эмма — это я». Некоторые удивлялись — уж очень не похож был холостой скептик с его иронией на ветреную, влюбчивую провинциалку. А Габриэлла — это воистину Амаду, все люди, знающие автора, почувствовали родство между доброй, душевно свободной, послушной и вместе с тем мятежной женщиной и автором.

Из друзей моей молодости мало кто остался — одних убили, другие умерли в своей кровати. Амаду мог бы быть моим сыном, а стал близким другом, я знаю, что на другом конце света есть человек, который не усомнится, не забудет, и это очень много.

Вспоминаю день, когда в Добрише праздновали рождение дочери Жоржи и Зелии; ее назвали, как дочь Пикассо, Паломы (Голубка). Николасу Гильену прислали с Кубы бутылку белого рома. Пабло Неруда унес бутылку и приготовил коктейль. Гильен обиделся, как ребенок: он ведь хотел всех угостить достопримечательностью Кубы. В Гильене вообще много детского. Он любит аплодисменты, медали; слава для него — елка с блестящими звездами и хлопушками. Он долго пробыл в изгнании и неизменно тосковал о Кубе. Как-то мы шли в Париже по бульвару Сен-Мишель. Николас жаловался на свое одиночество. Вдруг две девушки остановились, пристально посмотрели на нас, одна из них попросила Гильена надписать книгу его стихов. Он сразу повеселел и, когда мы расставались, сказал: «Вот у меня оказались читательницы и в Париже!..»

Его стихи необыкновенно музыкальны. Они связаны с песнями кубинских негров и мулатов. Он их замечательно читает; может, ударяя пальцем по крупным ярко-белым зубам, выстукивать мелодии. Революционную борьбу он начал давно, хотя личная судьба его к этому не принуждала — он был сыном сенатора, одаренным поэтом, первую книгу которого похвалил взыскательный Унамуно. Во время гражданской войны Гильен был в Испании. Потом узнал тюрьмы Батисты. Он писал короткие стихи о милой ему родине: «Птица прилетела неживая, прилетела с песенкой печальной. Ах, Куба, тебя я знаю! На крови растут твои пальмы, слезы — вода голубая».

«Холодная война» была в разгаре, и это порой придавало нашей работе романтический характер. Второй конгресс должен был состояться в Шеффилде; однако за два месяца до назначенного срока мы получили из Англии неутешительные вести: по всей видимости, правительство сорвет нашу затею. Мы попросили поляков подготовить помещение; забронировали места в самолетах. Настала хорошо мне памятная ночь: Жолио-Кюри с группой делегатов выехал из Парижа в Лондон, ехал он поездом, а через Ламанш на пароходе. Ночью в Прагу позвонили из Лондона: «Жолио не пустили»... На рассвете мы начали его разыскивать по телефону. Портов много — где же Жолио: в Кале, в Булоне, в Гавре?.. Мадемуазель Булонь (так называют телефонисток) была чрезвычайно любезна, сказала, что постарается найти Жолио-Кюри, и вскоре сообщила, что Жолио в Дюнкерке. Мадемуазель Дюнкерк оказалась не менее приветливой и соединила нас с Жолио — он завтракал в маленьком кафе возле порта. С ним говорил Фарж, потом я. Это было своеобразное заседание — по телефону. Час спустя мы дали в печать сообщение: конгресс переносится в Варшаву.

Сессии Всемирного Совета в те годы собирались часто. Когда выступали Жолио, Фарж, Ненни, Донини, Фадеев, зал бывал переполнен.

Бывали и скучные заседания. Хотелось выступить всем, устраивали ночные заседания, под утро председатель боролся со сном, а оратор патетически восклицал перед пустым залом: «Мы не ослабим нашей бдительности!..»

Участие в Движении сторонников мира многим обошлось дорого: аббаты Булье и Гаджеро лишились духовного звания, некоторые профессора — кафедр, а Изабелла Блюм — места в парламенте: бельгийские социалисты ее исключили из партии. Все свои силы она отдает борьбе за мир. Редко кто из молодых способен, как она, слетать на несколько дней в Мексику, потом сразу отправиться в Индонезию, просидеть неделю на конгрессе, перебегая из одной комиссии в другую, кого-то уговаривая или успокаивая, выполняя любую неприметную работу, чтобы две недели спустя уехать в Японию. Ее отец был пастором, ее сын — коммунист, а она осталась партизанкой.

Пьера Кота я знал давно, мы познакомились в Париже в годы Народного фронта, встречались в Москве, вместе ездили в Тулу к летчикам «Нормандии», и все же присмотрелся я к нему только в то время, о котором рассказываю. Юрист, крупный политический деятель, который десятки лет просидел в парламенте, бывал министром, он по своей формации для меня человек другой стихии — птица для рыбы или рыба для птицы. Однако с ним я чувствовал себя легко, вероятно, потому, что он никогда не был ни охотником, ни рыболовом, любит искусство и, кроме политических установок, знает, что даже единомышленники не похожи друг на друга. Часто мы просиживали ночи над текстом заявления или рекомендации (мало кто потом вспоминал об этих текстах, но, бывало, люди часами спорили о прилагательном, как будто от одного слова зависела судьба человечества). В классических резолюциях часто попадают слова «принимая во внимание». Пьер Кот умеет принять во внимание особенности того или иного человека; эта черта не так уж распространена среди политических деятелей. Он прекрасный оратор, но в его речах никогда нет того, что мы называем красноречьем — он точен, логичен, старается убедить того, с кем спорит. Много лет он был одним из руководителей радикал-социалистической партии, самой пестрой в мире, объединявшей людей различных взглядов, и вместе с тем я редко встречал на Западе настолько дисциплинированного политика. Он спорил, а потом, видя, что не смог убедить других, садился и писал резолюцию, выражавшую точку зрения большинства, причем выражал мнение тех, с кем спорил, убедительнее, чем это сделали бы они сами.

У д'Астье очень длинное имя: Эммануэль д'Астье де ля Вижери. Сам он еще длиннее своего имени — входя в любой зал, я его сразу вижу. Наружность у него старого французского аристократа, вместе с тем он похож на классического Дон-Кихота. Он образцовый дилетант — и в политике и в литературе. Он написал несколько хороших книг — это наполовину воспоминания, наполовину размышления; его книги нравятся, но писатели, хваля их, не забывают, что д'Астье — дилетант. О политиках и говорить нечего: Дон-Кихот в парламенте или в редакции политической газеты — это не просто дилетант, а опасный путаник, за которым не уследишь. Может быть, поэтому в Движении сторонников мира первого периода, где встречались люди разных толков и где энтузиазм перемежался рассуждениями о смысле жизни, а организационная работа самодеятельной дипломатией, д'Астье оказался на своем месте. В кабинете д'Астье я видел портреты его предков; по иронии судьбы все они были министрами внутренних дел различных режимов. Эммануэль не миновал наследственной болезни — его назначили министром внутренних дел в первом правительстве свободной Франции. Во Франции еще находились немцы, и д'Астье правил только Корсикой. Вряд ли он был хорошим

министром, но несколько лет спустя он показал себя хорошим сторонником мира. На каждом заседании бюро или президиума, на каждой сессии Всемирного Совета он говорил мне, что с него хватит бессмысленных дискуссий и ночных заседаний, все мы — догматики, а он не разучился думать, никто из нас его больше не увидит ни в Праге, ни в Вене. Говорил он это почему-то мне, как будто я его завербовал и не отпускаю; подымался в свой номер гостиницы, прочитывал две страницы Монтэня или раскладывал два пасьянса, после чего возвращался на заседание успокоенный и садился за проект очередной резолюции. Он обидчив, как некоторые женщины, однако верен и своим идеям, и друзьям. Характер у него нелегкий, но я дорожу его дружбой — что ни говори, донкихотство в наше время дефицитный товар.

Я не могу сейчас говорить о Движении сторонников мира, как о прошлом: оно продолжается и я в нем по-прежнему участвую. Я говорю о тех годах, когда оно было наиболее бурным, потому что тогда наиболее осязаемой была угроза атомной войны. Конечно, от Кореи далеко и до Лондона и до Нью-Йорка, но военные действия в Корее тревожили весь мир. Эта злосчастная страна была сожжена. Горели города и села, подожженные напалмом. Сначала войска Севера заняли почти всю Корею. Вмешалась Америка, ее солдаты подошли к границе Китая. Тогда вступили в бой китайские дивизии. Многие политические деятели и военные Соединенных Штатов настаивали на применении атомного оружия. Некоторые сенаторы требовали, чтобы атомные бомбы были сброшены на Москву. Любой француз или итальянец знал, что Советский Союз уже обладает ядерным оружием и что его дом, его семья тоже могут быть уничтожены. Борьба за мир становилась делом всех.

Конечно, Движение сторонников мира знало и удачи и неудачи. Стокгольмское воззвание подписывали самые различные люди — Томас Манн и неграмотные жители Гвинеи, бразильские министры и шейхи мусульманских стран, Анри Матисс и квакеры. Окрыленные успехом, мы предложили подписываться под обращением пяти великим державам: Соединенным Штатам, Советскому Союзу, Китаю, Великобритании и Франции — пусть они заключат между собой Пакт мира. Однако для простых людей это было абстрактной формулой — все помнили, сколько пактов о ненападении подписал Гитлер. А людям, разбиравшимся в международном положении, Пакт мира казался утопией — в 1951 году трудно было себе представить Трумэна и Мао Цзэ-дуна за круглым столом. Притом подписи дают один раз — это не ежегодное занятие; лучше не быть эпигонами ни в романах, ни в общественной деятельности. Напротив, требование прекращения военных действий в Корее нашло отклик повсюду.

Почему я отдавал (и отдаю) столько времени работе, которая не диктовалась ни призванием, ни ремеслом? Никто меня не заставлял взяться за это дело, никто не уговаривал его продолжать. Я сам назвался груздем, и ответить почему — трудно. Когда друзья меня спрашивали, будет ли война, я отвечал «нет», такой ответ объяснялся не столько трезвой оценкой происходившего, сколько желанием. Однако часто, проходя по улицам разных городов, я испытывал тревогу. Однажды в Вене мне показалось, что война идет рядом со мной, как я, заглядывает в освещенные окна. Порой я проклинал душные комнаты, где шли нескончаемые споры о третьей фразе седьмого абзаца; причем мне некому было поплакаться в жилетку, приходилось самому справляться с собой. Спор шел между груздем и кузовом, и ясно было, что победит кузов.

Оглядываясь назад, я об этом не жалею: что-то мы делали, что-то сделали. Через тридцать — сорок лет историк, который теперь учится

читать, посвятит Движению сторонников мира, может быть, главу своей книги, а может быть, всего несколько строк. Не мне судить -- я в этом человек пристрастный, следовательно слепой.

24

Мы шумно отпраздновали семидесятипятилетие художника П. П. Кончаловского. Петр Петрович пел испанские песни, танцевал, все это как-то не вязалось с цифрой «75». Мне тогда только что исполнилось шестьдесят, и я часто думал о старости. Конечно, у природы свои законы, тело изнашивается, ветшает; но я встречал не раз молодых стариков и знал старых людей, веселых, дерзких, не растерявших смелости своего утра. Таким был Кончаловский, он меня научил спокойно читать письма молодых читателей, где я часто находил слова «в вашем преклонном возрасте...».

Познакомился я с Кончаловским в двадцатые годы, но по-настоящему его узнал и полюбил много позднее. В годы войны, в послевоенные годы мы часто встречались. Петр Петрович удивительно крепко стоял на земле, это меня притягивало к нему. Я заметил, что устойчивость присутствия либо фанатикам, либо подлинным жизнелюбцам. Воздух эпохи был перенасыщен фанатизмом, а душевного веселья не хватало.

Петр Петрович был человеком богатырского телосложения, и все у него было крупным — движения, чувства, мазки на холсте. Я сказал об его душевном веселье, эти слова могут сбить с толку — он не был ни обязательным шутником, ни тем плакатным бодрячком, который долго считался у нас примером гражданской добродетели. Мне часто приводилось слышать, что он писал, не задумываясь, как светит солнце или как цветет его любимица сирень. А это неверно: Кончаловский был человеком глубокой мысли, он не только работал, он и шутил умно; в жизни он знал не один мед, приспособился и к полыни. Конечно, его было нетрудно огорчить — он обладал чувствительностью художника, но повалить его не удалось, хотя были люди, которые об этом мечтали.

Мы часто с ним говорили о Париже. Петр Петрович там прожил много лет, именно там впервые нашел себя как художника. Когда ему было восемнадцать или девятнадцать лет, он поехал в Париж учиться живописи. Академия Жюльена была чем-то вроде московской гимназии Креймана — ее выбирали молодые художники потому, что там не было муштры, которая изводила всех в Государственной художественной школе; а профессора там, как и повсюду, были эфемерными знаменитостями академического направления. Вспоминая академию Жюльена, Кончаловский смеялся: «Знаете, кто там учился? До меня Боннар, Вийяр, Матисс. Рядом со мной сидел Глез, он был еще мальчиком. А потом там учились Леже, Дерен. Матисс мне рассказывал, что его учитель, кажется это был Бугеро, в свое время знаменитость, сказал ученику: «Это хуже всего, что я видел. Вы никогда не научитесь рисовать. Лучше выберите другую профессию». Меня учил Лоранс, его картины висели в Люксембурге — огромные батальные сцены, у нас он был бы трижды Сталинским лауреатом. Однажды он меня похвалил. Я встревожился и понял, что делаю дрянь. Впрочем, потом, в петербургской школе, я жалел даже о Лорансе...»

Я не чувствовал, что Кончаловский много старше меня, порой даже завидовал его молодости. Однажды он рассказал мне, как увидел впервые современную живопись: «Это были восхитительные «Стога» Клода Монэ. В Москве была выставка французской техники, и там почему-то выставили сотню картин, среди них Монэ. Я обомлел. Сейчас скажу, когда это было... В 1891-м...» Вот тогда-то я про себя усмехнулся: в тот

самый год, когда я родился. А молодым он оставался до конца. Когда ему было под восемьдесят, он не только просиживал над холстом с раннего утра до сумерек, но и проказничал со внуками.

Кончаловский долго не мог найти себя. Он видел холсты своего тестя Сурикова, художественных опекунов своей молодости Серова, Коровина, относился к ним с глубоким уважением, но считал, что эпоха изменилась, изменилось и зрение, он искал свой путь, или, как он любил говорить, «метод». Он увидел Ван-Гога и пришел в такое восхищение, что совершил паломничество в Арль, был счастлив, что может купить краски в лавочке, куда приходил Ван-Гог. Казалось, ничего не могло быть общего между трагическим, иступленным Ван-Гогом и веселым, здоровым, крепким Кончаловским; но до конца своей жизни он любил повторять слова Ван-Гога: «Я постоянно питаюсь природой. Иногда преувеличиваю, изменяю все данные, но никогда не выдумываю картину. Наоборот, я нахожу ее в природе уже готовой, хотя и требующей раскрытия».

Последующим и самым важным для него открытием была живопись Сезанна. Кончаловский настолько был потрясен, что сел за работу, которой никогда ни до того, ни после не занимался: перевел с французского книгу Эмиля Бернара, записавшего высказывания Сезанна о живописи.

Кончаловскому было тридцать четыре года, когда на первой выставке «Бубнового валета» его работы вызвали одобрение одних, издевку других.

Я заглянул в том Большой Советской Энциклопедии, изданный в 1951 году, и нашел там строки, посвященные «бубнововалетцам»: «Типичное проявление крайнего упадка буржуазного искусства эпохи империализма. Выступая врагами идейности и реализма, порывая с высокими традициями искусства прошлого (отсюда вызывающее, крикливое название объединения), «бубнововалетцы» маскировали свои реакционные позиции требованием «новой» формы. Однако их космополитическое «новаторство» сводилось к подражанию П. Сезанну и А. Матиссу».

Я вспоминаю холсты Кончаловского эпохи «Бубнового валета» — натюрморты, мост через Нару, портрет художника Якулова. При чем тут «эпоха империализма»? (Можно, кстати, добавить, что французские империалисты никогда не вдохновлялись живописью Матисса и что Матисс ненавидел французский империализм.) Художники, входившие в группу «Бубновый валет», — Кончаловский, Лентулов, Машков, Рождественский, Куприн, Фальк не уехали после революции за границу, любили народ и для народа работали. Официальная Россия встретила первые выставки «бубнововалетцев» издевками, улюлюканием, а благожелательно к ним относились А. В. Луначарский и молодой Маяковский. Конечно, название «Бубновый валет» довольно бессмысленно, но в те времена были в ходу нелепые наименования. («Дикие» тоже звучит не очень убедительно, что не помешало Матиссу, Марке, Дюфи, Фриезу не только стать большими мастерами, но, объединившись, обновить живопись эпохи.)

Я рассказывал, как, вернувшись в Москву вскоре после революции, пошел на выставку, где увидел холсты «бубнововалетцев» и обрадовался. В Париже я знал о новой русской живописи только по статьям «Утра России» или «Русского слова» и думал, что «бубнововалетцы» подражают французам. Я сразу увидел, что это вздор.

Конечно, Кончаловский, как все «бубнововалетцы», многому научился у Сезанна, но может ли художник XX века пройти мимо живописных открытий этого мастера? Пикассо изумительно выразил национальный испанский гений, но вряд ли он сумел бы это сделать, не будь до него Сезанна. Андрей Рублев первый показал в живописи лирические черты,

светлость, глубину русского характера, а учился Рублев у византийца Феофана Грека. Кончаловский, Лентулов, Машков учились не только у Сезанна, но и у мастеров русского народного искусства. Я хорошо помню вывески в наших дореволюционных городах: парикмахер мылит щеки клиента, турок курит трубку, разрезанные арбузы окружены гроздьями винограда. Кончаловский вспоминал, что натюрморт 1912 года «Хлебы» он написал после того, как увидел вывеску с головами сахара. Он рассказывал также, что, когда после поездки в Испанию стал писать бой быков, думал о старых троичских игрушках.

Кончаловский почитал Сезанна, любил французскую живопись, но творчество его было русским. Когда его холсты выставили в Париже, некоторые критики говорили о «грубости», «стихийности»: они не поняли, что перед ними — выражение иного характера, иной природы, иных традиций.

Петр Петрович не раз с восхищением говорил мне о реализме больших французских мастеров; это может удивить — ведь люди, которые в течение десятилетий его «прорабатывали», делали это во имя реализма. Кончаловский делил живопись на близкую к природе, реальную, и на другую — иллюзорную, где нет органической связи с природой и где часто «фотография служит подспорьем». Он вспоминал, как любители пришли покупать его натюрморт «Хлебы» в 1912 году: «Я повесил шутки ради настоящего калач на нитке, под цвет фона, долго все смотрели, не замечая, что один калач живой, пока я не толкнул его и не раскачал на нитке. Доказательство близости к реальности». Остается добавить, что для ревнителей иллюзорного реализма этот натюрморт эпохи «Бубнового валета» (конечно, без подвешенного калача) остается воплощением «антиреализма».

Говорят, что Кончаловский прожил на редкость счастливую жизнь; это так и не так. Он был удивительно крепким, здоровым, веселым; много ездил по свету, много работал — написал тысячу семьсот холстов; всем интересовался, говорил свободно по-французски, по-итальянски, по-испански, изучил английский язык, чтобы прочесть Шекспира в подлиннике; был у него дом в Буграх, сад с сиренью, гости — он был большим хлебосолом; с женой Ольгой Васильевной жил душа в душу, обожал детей, внучат; ходил на охоту, читал Декарта, дружил с большими художниками — с А. Толстым, с С. Прокофьевым, с Пикассо, с Мейерхольдом; умер в восемьдесят лет и почти до самого конца сохранял бодрость; любил родину, видел, как она растет и духовно мужает. Рассказанная так жизнь Петра Петровича кажется неправдоподобно идиллической. Все в этой идиллии верно, и все же она скорее иллюзорна, нежели реалистична.

Для Кончаловского жизнь была прежде всего искусством; об этом он часто говорил. Когда он поехал в 1925 году в Париж и продал там несколько работ, он накупил красок весом семьдесят килограммов: не мог представить себе дня без палитры и кистей. Вечером, когда нельзя было писать, он рисовал. Вот почему в его биографии самое важное — холсты, путь живописца.

Можно сказать, что и в этом Кончаловскому повезло — достаточно вспомнить мытарства Лентулова, Фалька, Татлина, Древина, Удальцовой. Кончаловский стал академиком; периодически устраивались его персональные выставки. Опять скажу: все это так и не так.

Среда, естественно, влияет на художника или писателя; нужно обладать фанатичным упорством, чтобы не поддаться похвалам и хулам, премиям и проработкам. Я по себе знаю, как порой не осознаешь, что в том-то сдал, тем-то поступился. Бывали периоды, когда Петр Петрович признавался: «Работаю, но прежнего полного удовлетворения нет»...

Он на редкость глубоко понимал живопись. Уж на что был ему далек Пикассо, а Петр Петрович говорил: «Пикассо выше всех» — и мудро объяснял другим, почему Пикассо — великий реалист нашего века.

Вот слова из записной книжки Кончаловского: «Пушкин в письме к брату, Льву Сергеевичу, писал 14 марта 1825 года: «У вас ересь. Говорят, что в стихах — стихи не главное. Что же главное? проза? должно заранее истребить это гонением, кнутом, колыями, песнями на голос «Один сижу в компании»...» И у нас ересь! Говорят, в живописи живопись не главное! Что же главное? Поэтому мне не раз приходилось слышать, что мой главный недостаток — живопись, увлечение живописью, хотя тут же указывалось на жизнеутверждение и на качества, связанные с этим жизнеутверждением. Не ересь ли это? Главное в живописи — живопись, ибо только тогда идея, мысль, сюжет могут воздействовать на зрителя. Только через живопись художник может сообщить свои мысли и чувства зрителю. Такова природа искусства».

Вдохновение часто освобождало Кончаловского от чуждого ему «иллюзорного сходства» (так он говорил). Это видишь и в портрете Мейерхольда, и в некоторых семейных портретах, и во многих натюрмортах, и в удивительно молодом «Полотере», которого Петр Петрович написал в 1946 году. Он оставил много прекрасных холстов, и все же, думая о судьбе большого живописца, я неизменно вспоминаю «еретиков», которых он обличал.

Характер у Петра Петровича был чудесный; он очень редко жаловался, даже с теми, кто ему мешал работать, поддерживал если не добрые, то добропорядочные отношения. Ольга Васильевна держалась с противниками мужа куда откровеннее, говорила: «Я — сибирячка, нужно бы стамеской, а я топором...»

Помню большую юбилейную выставку. Петр Петрович стоял, как всегда, веселый, жал руки, улыбался. Отведя меня в сторону, он рассказал об одном из тогдашних руководителей Союза художников: «Он ведь был за границей — примчался — снял лучшие работы — и «Полотера», и «Буйвола», и ранние «испанские» холсты. А сейчас будет выступать — приветствовать...» Говоря это, Петр Петрович продолжал улыбаться, но я понял, что улыбка порой давалась ему нелегко.

В 1949 году я был в Тамбове; сотрудница музея рассказала мне, что приключилось с натюрмортом Кончаловского, который висел в столовой одного из крупных заводов области. Директор решил, что «безыдейная» сирень недостойна передовиков производства. Прислали большой холст, изображающий сцену из заводской жизни. Неожиданно рабочие протестовали: «Оставьте нам нашу сирень!»...

Вернувшись в Москву, я рассказал об этом Петру Петровичу и увидел в его глазах слезы. Он тихо сказал: «Вот это — награда...»

Можно поставить точку — рассудит история.

В 1951 году мне исполнилось шестьдесят лет. Устроили юбилейный вечер в том самом зале Дома литераторов, где писателей прорабатывали, чествовали и хоронили. Воспоминаний было достаточно.

На вечере председательствовал А. А. Фадеев, с докладом выступил К. А. Федин. Представители различных издательств, журналов, газет, театров читали поздравительные адреса, похожие один на другой: «пламенный трибун», «отточенное перо», «неутомимый борец за мир», «книги, вошедшие в золотой фонд советской литературы»... На хорах толпилась молодежь. Было очень жарко, и дерматиновые папки, которые высились предо мной, скверно пахли. Потом прочитали телеграммы от Всемирного

Совета Мира, от Тувима, Незвала, Неруды, Амаду. В короткой речи, кроме обязательных благодарностей, которые тогда полагались на любом торжестве, я сказал про то, что меня волновало: «Как каждый писатель. Я знавал минуты растерянности, сомнений, молчания. Меня поддерживала русская литература, наши великие и глубоко человеческие предшественники. Можно писать хуже, чем они, — таланты не распределяются ни в каком распределителе — можно писать хуже, чем они, но нельзя думать, чувствовать, терзаться, радоваться хуже, чем они... Я вспоминаю прекрасные слова Белинского о поэте: «Ему принадлежит по праву оправдание благородной человеческой природы, так же как ему же принадлежит по праву преследование ложных и неразумных основ общественности, искажающей человека». Борьтесь против тех ложных основ, о которых говорит Белинский, во имя человеческого достоинства — таков долг писателя, таково его назначение. Он не подбирает протоколы событий, не пишет переложение, не составляет опись существующего, он открывает сокровища человеческого сердца... Мне, как и многим моим современникам, не сразу открылась преемственность и универсальность человеческой культуры. Мы часто читаем историю по главам, не связывая этих глав, а порой география мешает нам как следует присмотреться к истории. Между тем бег с эстафетой продолжается, и огонь Прометея переходит из рук в руки... Человек стареет, быстрее устает, реже загорается. Но для писателя нет старости: он живет неоткрытыми страстями, ненаписанными книгами, он молод до той минуты, когда его оторвет — на этот раз навсегда — от листа бумаги уже не люди, а смерть. Я сказал об этом потому, что мне хочется писать».

Секретариат Союза писателей решил по случаю юбилея издать пять томов моих сочинений. С этим изданием я намучился: почти на каждой странице произведений, много раз до того изданных, искали недозволенное. Случайно у меня сохранилась копия письма, отправленного в высокие инстанции в январе 1953 года, — я искал защиты. Помимо различных изменений в тексте от меня требовали переменить некоторые фамилии в повестях «День второй» и «Не переводя дыхания»: «В обеих книгах, написанных о русском народе, который вместе с другими народами строит заводы и преобразует Север, непомерно много фамилий лиц не коренных национальностей». Следовал список семнадцати фамилий (из двухсот семидесяти шести) в повести «День второй» и девяти фамилий (из ста семидесяти четырех) в «Не переводя дыхания». Я подумал: а что делать с фамилией, которая стоит на титульном листе?

На полученный гонорар мы купили сруб в дачном кооперативе «НИЛ», что означает «наука, искусство, литература». Места не похожи на окрестности Москвы: мой домик расположен на холме с крутым склоном, внизу течет Малая Истра. Это ручеек, но в апреле, когда тают снега, она настолько разливается, что, обладая фантазией, можно назвать ее Нилом, тем паче что наша станция называется Ново-Иерусалим. Звенигородский уезд москвичи когда-то шутя называли «московской Швейцарией». Поселок получил имя от Ново-Иерусалимского монастыря, построенного по указу Никона в XVII веке. Немцы, уходя, взорвали колокольню и сильно разрушили собор; в 1950 году еще валялись на земле цветные изразцы — сплав Флоренции с Персией. Чехов жил в городишке Воскресенске (ныне Истра), работал в земской больнице, писал рассказы и отдыхал под старыми монастырскими деревьями. Я посадил сирень, жасмин, розы. Зимой позвонили из истринского горсовета: «Ваша дача сгорела».

Получив деньги за следующие тома, мы начали ставить новый дом — кирпичный фундамент уцелел. В тесной московской квартире былолюдно, беспокойно, и начиная с 1952 года мы большую часть времени про-

водили в Ново-Иерусалиме. Маленькие липы, которые я раздобыл на лесной даче Тимирязевки у профессора В. П. Тимофеева, повзрослели. Эту книгу я писал у окна; зимою все вокруг бело, а в августе лихорадочно горят цветы короткого северного лета.

Я был правдив, когда на юбилейном вечере сказал, что мне хочется писать. Мне хотелось рассказать о том, что я видел и чувствовал — о горе, сомнениях, надежде. Конец сороковых и начало пятидесятых годов были, кажется, самым трудным временем и для нашей литературы, и для всего советского народа. Люди продолжали ожесточенно работать, отстраивали разрушенные города, строили заводы, прорывали каналы. Никогда народ слабый духом или отчаявшийся не смог бы сделать того, что было сделано после войны. Жилось плохо. Москва или Ленинград казались саратовцам раем, а в Энгельсе с завистью рассказывали о магазинах Саратова. Однако, когда я говорю о том, что время было трудным, я думаю не только, да и не столько о материальных лишениях. Люди, прошедшие от Волги до Шпрее, душевно не мирились с чиновничьей тупостью, иллюзорностью многозначных цифр, знакомыми словами «давайте не будем». Для стороннего наблюдателя казалось, что инициатива, творческая мысль, человеческие отношения скованы льдом, но под этим льдом текла живая вода глубоких чувств, несказанных слов, совести, сознания. Об этой реке мне и хотелось рассказать. А я сидел над романом об американском сенаторе, об интригах газетного агентства «Трансокс», о старости профессора Дюма, о том, как глупый портняжка Маккорн пел: «Говорит она ему: ты целуешь почему? Ты не тот, и я не та. Тру-ту-ту и тра-та-та».

Я упоминал, что в 1917—1918 годы писал скверные стихи; мне тогда не было и тридцати. А «Девятый вал» написан шестидесятилетним человеком. Конечно, я мог бы сослаться на некоторых моих товарищей, которые тоже в те годы написали слабые книги, но писатель отвечает прежде всего за самого себя. Почему я жалею о том, что написал «Девятый вал»? Не потому, что некоторые исторические события описаны неправильно — я судил по тем данным, которые у меня тогда были, это — детали, и не в них дело. Начиная с двадцатых годов критики меня упрекали за то, что мои романы насыщены публицистикой. Они меня не убедили: я искал новую форму романа — не мог отделить судьбу человека от событий, которыми дышал эфемерный газетный лист. Никогда я не призывал других следовать моему примеру: писатели, как и все люди, бывают разными. Я принадлежу к авторам, которые тесно связаны с тем, что мы порой в сердцах называем «злостью дня» и что десять лет спустя иногда оказывается главой истории. «Хулио Хуренито», «День второй», «Падение Парижа», «Буря» рождены событиями, которые можно было в свое время назвать злободневными. Автор не судья своих книг — он часто добавляет к тому, что написано, то, что он хотел написать, и, может быть, упомянутые мною книги слабые, но они были рождены внутренней необходимостью. А почему я в 1950 году сел за «Девятый вал»? Я мог бы ответить: не ради денег, но это было бы отговоркой. Во время войны я не думал написать роман о войне: знал, что это невозможно. В 1950 году «холодная война» была ожесточенной, оставалось прославлять ее или проклинать, разжигать огонь или попытаться его погасить, но осмыслить происходящее, заглянуть в душу противника не мог никто. Статьи, которые я писал, могли быть удачными или плохими, справедливыми или несправедливыми, но я от них не отрекаюсь. А писать роман, да еще толстейший, было глупо. Я это смутно чувствовал, но меня соблазняло другое — показать наших людей. Я утешал себя надеждой, что смогу сказать толику правды.

Помню, я как-то сидел с Савичем, который прочитал написанные

главы, и мы, то усмехаясь, то угрюмо, обсуждали, что делать автору с советскими героями. Если учителя Сомова оклеветали, заклевали, то его сослуживица добьется правды у секретаря обкома. Если Осип столкнулся в Киеве с жестокой действительностью, то его должны тотчас душевно выручить фронтовые друзья. Если Валя наконец поняла, что у нее нет таланта и что в театре ставят скучные, бездушные пьесы, если она дошла до отчаяния, то вовремя неизвестный зритель сердечно поблагодарит ее. Если директор завода бюрократ и не хочет пустить в производство молотилку, сконструированную молодым инженером, то Москва одобрит новатора. Если случаются стихийные бедствия, то люди с ними быстро справляются, а если находит тоска, то ее прогоняет любящая жена или пронцательный друг. Действие моего романа протекает в десяти странах, а советским людям отведено меньше четверти текста, и главы, посвященные им, подслащены. Один из героев «Бури», перешедший в «Девятый вал», Минаев, мечтает написать правдивый роман о войне; в книге приведены короткие записи к задуманной книге, например: «Очень голая у нас любовь, — сказала Вера, — если убьют — ничего, а если выживем — нужно будет что-нибудь придумать»; другие записи о работе, товариществе, жизни. Однако Минаев не смог бы написать в 1951 году задуманную книгу. А я написал плохой роман.

Весной 1951 года я встретился со студентами Литинститута. Я рассказал им о своем понимании природы творчества. («Литературная газета» опубликовала несколько приглашенный текст.) Я припомнил, что Лев Толстой советовал начинающему автору Леониду Андрееву: если писатель задумал книгу, но может ее не написать, то он и не должен ее писать. Эти слова — суровый приговор «Девятому валу»: я мог бы его не написать.

А. А. Фадеев в январе 1953 года прислал мне из больницы длинное письмо о «Девятом вале»; он кое-что критиковал, но говорил, что в целом роман «мошен, гуманистичен, в нем клочкотание народных сил, людской потоп». В то же самое время Арагон поставил «Девятый вал» рядом с «Падением Парижа» и «Бурей». Я все же не поверил добрым отзывам — я уже твердо знал, что совершил одну из самых крупных ошибок писателя. Я взял сейчас книгу в руки, полистал, и мне захотелось промурлыкать песенку американского портного: «Ты не тот и я не та, тру-ту-ту и тра-та-та».

Я недавно проглядел подшивки «Литературной газеты» за 1951—1952 годы. В передовых статьях неизменно повторялось «о невиданном расцвете творчества». Пестрели фотографии многочисленных лауреатов. Но нельзя было предвидеть, на кого обрушится очередная беда. В течение целого месяца ругали украинских писателей: Корнейчук и Василевская провинились, написав либретто к опере, Сосюра опубликовал стихотворение, которое кому-то не понравилось, вспомнили, что в 1945 году у Рыльского были «вредные стихи», вернулись снова к Первомайскому — оказалось, что он одновременно и «космополит», и «буржуазный националист». Другой месяц был посвящен критику Гурвичу, написавшему статью о романе «Далеко от Москвы». А. А. Фадеев и А. А. Сурков признались, что рекомендовали опубликовать статью, которую «Правда» назвала «рецидивом антипатриотических взглядов». Редактор «Нового мира» «полностью признал свою вину». Некоторые статьи напоминали отчеты о судебных разбирательствах; только трудно теперь понять, в чем был состав преступления.

«Литературная газета» печатала некрологи: умерли Вишневский, А. Платонов. Павленко. Потом подоспели юбилеи — Гюго, Гоголя.

Замечательный памятник Гоголю перенесли с бульвара сначала в

Донской монастырь, а потом во двор дома, где он умер. Гоголь сидел печальный, а писателю полагалось быть неизменно бодрым.

Конечно, были и в те неурожайные годы читательские радости: Гроссман написал роман о войне, в котором были прекрасные главы. Вера Панова опубликовала отрывки из новой книги «Времена года», впервые я увидел в литературе послевоенных подростков. Я прочитал «Районные будни» Овечкина, повесть молодого Гранина. Наверно, я пропускаю многое — трудно припомнить, когда попала в руки та или иная книга.

В то время ко мне часто приходил Мартынов. Он разговаривал мало и в жизни бывал незрячим, скажу даже косноязычным. Порой он не замечал людей. Однажды я его познакомил с Пабло Нерудой. Мартынова чилийский поэт изумил как явление природы, а ливни, засуха, таяние снегов, ветер всегда его изумляли. Он написал стихи о Неруде и показал его таким, каким он изображался в газетных статьях — богатырем, мифическим баяном. А Неруда понял Мартынова: «Настоящий поэт — перед его глазами второй мир — искусства...» Мартынова после 1946 года не печатали. Он продолжал писать стихи, вынимал из карманов смятые листочки, читал мне, и каждый раз я дивился его поэтической силе: метеорология становилась эпопеей. А он рассеянно пил чай и отвечал невпопад на вопросы. То были годы расцвета его творчества. В 1955 году Мартынову исполнилось пятьдесят лет. Молодые поэты добились устройства его вечера в Доме литераторов и читали его стихи. Из старых писателей был, кажется, только я. Потом выступили представители литературных кружков московских заводов, железнодорожники. Все они говорили, что переписанные стихи Мартынова помогли им понять современную поэзию. Судьба поэта изменилась: несколько месяцев спустя вышла его книга.

Читали мне стихи и молодые — Винокуров, Межиров, Урин. Я написал в «Смене» о Винокурове — он тогда еще был зеленым юнцом, но в его скромных стихах проступали хорошие, умные строки.

Приходил студент Литинститута Мандель, который после многих мытарств стал поэтом Коржавиным. Он был чрезвычайно сумбурным, порой нелепым, вступал в споры с преподавателями, писал стихи для друзей и для себя. Переписанные стихи попали не туда, куда должны попадать стихи. Манделя вызвали. Он напал на порядочного человека, который посоветовал больше не писать стихов, ни на что не похожих. Вскоре его все же арестовали, но ему снова повезло: его сослали на три года в дальнее сибирское село. Отец Манделя — переплетчик, мать — врач, они псылали сыну толику денег. Поэт читал, думал, писал. Я его увидел возмужавшим; он рассказал, что решил уехать в Караганду, не дожидаясь, что его туда направят, поступил в горный техникум, стихи он продолжает писать, но не хочет зависеть от вкусов редакций; он прочитал мне вступление к поэме — писал, что легких эпох никогда не было, все зависит от человека. Недавно я получил от него первую книгу стихов.

В Москве устроили совещание молодых писателей, мне поручили принять участие в одном из семинаров. Я прочитал десяток рукописей — повести, романы. Почти во всех были удачные страницы, но чувствовалась скованность. Разговаривая с молодыми прозаиками, я увидел, что они знают жизнь, понимают людей; один признался: «Я сам знаю, что плохо... Но что тут делать — трудно писать роман в стол...»

Меня тянуло к новому поколению. В течение двух лет я руководил литературным кружком при Тимирязевской академии. Почти все участники кружка писали стихи. Я не рассчитывал сделать из них поэтов, да это, по-моему, и невозможно. Но можно научить читать стихи, поднять эстетическую культуру, и я старался это выполнить. Мне было интересно

разговаривать с двадцатилетними, почти все они были детьми колхозников или районных агрономов. Однажды меня провожал молоденький студент. Он вдруг спросил: «Почему в журналах не печатают стихов о любви? Мы читаем Лермонтова, Блока, Есенина, Пастернака. А кто теперь пишет так?..» В конце разговора он сказал: «Вот кончу академику: стихи, может быть, и научусь писать, а может быть, нет, но читать стихи буду всегда. Наверно, через пять лет начнут печатать и про любовь...» Год спустя Володя Кокляев утонул в пруду.

В 1950 году ко мне пришел поэт Борис Слуцкий. Я с ним познакомился накануне войны, но потом мы не встречались. Когда я начал писать «Бурю», кто-то принес мне толстую рукопись — заметки офицера, участвовавшего в войне. В рукописи среди интересных наблюдений, выраженных кратко и часто мастерски, я нашел стихи о судьбе советских военнопленных «Кельнская яма». Я решил, что это фольклор, и включил в роман. Автором оказался Слуцкий. Он прочитал мне стихи о лошадях на военном транспорте, потопленном миной: «Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно покуда не пошли. Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли». Я сразу почувствовал, насколько близка мне его поэзия. Потом я попытался ее определить, говорил о народности, ссылаясь на Некрасова. За статью меня отругали. Может быть, я и не сумел выразить того, что хотел. Слуцкий никогда не писал ни о своей любви к женщине, ни о природе — его муза была связисткой на фронте, пахала на корове, таскала камни на стройке. Вскоре после смерти Сталина он прочитал мне: «Эпоха зрелищ кончена, идет эпоха хлеба, и перекур объявлен всем штурмовавшим небо...» Никогда прежде я не думал, что смогу разговаривать с человеком, который на тридцать лет моложе меня, как со своим сверстником; оказалось, что это возможно. Помогло, наверно, и то, что я подружился со Слуцким еще до «перекура».

Чужие стихи помогали мне — поэзия жила (порой, как некогда, устная). Однако та незримая река, о которой я говорил, была куда полноводнее в жизни.

В начале 1950 года меня выбрали депутатом в Совет Национальностей от одного из округов Риги. На предвыборных собраниях говорили по-латышски; девушки подносили мне цветы — белые каллы, будто сделанные из материи, и делали при этом книксен. Избиратели ко мне обращались редко: они жили в столице республики и с претензиями или жалобами шли к местным депутатам. Год спустя меня выбрали в Верховный Совет РСФСР от города Энгельса и прилегающих к нему районов. Тут-то я понял, что пост депутата не синекура.

До войны Энгельс был столицей Автономной республики немцев Поволжья. В городе, в деревнях жили почти исключительно новоселы. Люди не успели приспособиться к новой обстановке: украинцы мерзли зимой, русские проклинали суховей. Я уже говорил, что в те годы страна, за исключением промышленных центров и некоторых областей с техническими культурами, жила, подтянув кушак. Саратов снабжался куда лучше Энгельса, но проехать туда поездом было нелегко: зимой дорога шла через Волгу, летом ходили пароходики, а весной и осенью жители Энгельса с тоской глядели на огни Саратова. Местные власти просили меня добиться перевода Энгельса в лучшую категорию по снабжению. Я пытался, но ничего не вышло. Зато я достал санитарные машины; министр меня принял, может быть из любопытства — как-никак писатель, он говорил о литературе, а я твердо решил не уходить, пока не получу машин. Энгельс — длинный город, тротуаров местами не было, улицы плохо освещались. Я помог раздобыть автобусы. Все это требовало хождения по мукам, то есть по различным министерствам, долгих

бесед, терпения. Помог я и библиотеке; в ней оказалось много редких немецких изданий, а русских книг было мало. Я устроил обмен книгами, это тоже было не просто: требовались разрешения различных центров, подписи людей, к которым трудно было прорваться.

Счастливые не ходят ни к врачам, ни к депутатам. В воскресенье ко мне на прием записывались сотни обездоленных — один доказывал, что он с семьей не может больше жить на восьми квадратных метрах; другой жаловался, что его отца неправильно осудили; третьему не давали работы по специальности. Я добился у прокурора пересмотра одного дела (десятки других моих просьб лежали без движения), раздобыл протез для военного инвалида, купил в Стокгольме лекарство для женщины, которое, по ее словам, спасло ее сынишку, добывал книги, семена. Все это было «малыми делами», но на час мне становилось легче, да и чувствовал я себя связанным с будничной жизнью тысяч людей.

Принимал я в горисполкоме, и приходившие говорили шепотом, часто просили не называть своих обидчиков: «Вы-то уедете, а они на мне выместят»... Несколько лет спустя жизнь изменилась. Я стал депутатом Даугавпилса, по-русски Двинска, города, разрушенного во время войны, где ютились люди различных национальностей, где тысячи женщин мечтали о трудоустройстве, где построили пединститут с чрезмерно роскошной лестницей, но предоставить жилплощадь профессорам не смогли. Там избиратели, проходя ко мне, бурно протестовали, не впускали в мою комнату сотрудников горсовета, говорили все и во весь голос. Но это было в 1955-м, а я рассказываю про 1952-й...

Я ездил по степи Заволжья, в селах меня засыпали просьбами, претензиями. В одном колхозе говорили, что им вырыли артезианские колодцы, деньги взяли, а воды нет; в другом жаловались — не могут достать строительный материал, а школа помещается в хате, где живут люди; в третьем молодежь возмущалась: «Из Энгельса обещали, что пришлют театр, а приехали три актера, исполняли отрывки из пьесы, да и пьеса скучная — звеньевая знает, как сеять, а председатель упирается. Это мы сами понимаем. Мы хотим, чтобы приехал настоящий театр». Один добавил: «Пусть привезут «Гамлета». Я в Саратове глядел, это такая диалектика, что целый месяц думал...»

В одном колхозе меня оставили ужинать, дали глазунью, брагу. Председательница сказала: «Вот вы помогите нам решить, мы с нею несколько вечеров проспорили...» «Она» оказалась бухгалтером и она говорила: «По-моему, Сергей правильно поступил, что не взял в Москву Мадо. Я сюда приехала из-под Гжатска. Кажется, чего тут — страна та же, язык понятный, и то не могу себя унять, ночью вспомню избу — немец сжег — и реву, как дура... А привези французенку — ей и поговорить не с кем, иссохнет...» Председательница, энергичная женщина с властным лицом, возражала: «Человеку нужно помечтать. Иногда проснешься — что-то приснилось хорошее, и злота берет: почему нельзя сон с собой взять, с ним и в поле легче...»

Росло сознание людей. В степи в сельской школе малыши читали: «А он, мятежный, просит бури...» Они входили в жизнь с мечтой. Теперь им по двадцати лет, и, глядя на нашу думающую, требовательную, порой шумливую молодежь, я вспоминаю русого первоклассника, который декламировал Лермонтова. Наверно, у него спина чесалась — прорастали крылья. Школьницы седьмого класса ездили в Саратов, ходили в музей, думали о судьбе Чернышевского; одна рассказала мне: «Я в Саратове познакомилась с девочкой, она мне дала переписать стихи Есенина. Жеребенка жалко...»

Однажды в Энгельсе ко мне пришел человек лет пятидесяти, весь воскресный день он просидел в приемной, дожидаясь, когда придет его

черед. Я попросил его сесть, но он стоя кричал: «Подумайте — на такой город, как Энгельс, всего пятнадцать!..» Я успел одуреть от сотни посетителей, спрашивал «чего», гадал — коек в одной из больниц, торговых точек? Наконец он объяснил. В связи с юбилеем Гюго Гослит объявил подписку на собрание его сочинений. Великий французский писатель не отличался лаконизмом, жил долго и написал много. Кому в Энгельсе может понадобится собрание его сочинений? Да их и не поместишь в комнате. А посетитель негодовал: «Люди собрались с вечера, и вот, извольте видеть, пятнадцать на весь город!..» Я обрадовался, что сразу могу удовлетворить просьбу хотя бы одного избирателя — как член юбилейного комитета, я имею право подписаться, буду посылать книги ему... Он покачал головой: «Мне не нужно — я был третьим, подписался. Я вам про город говорю. Обидно: Энгельс, большой город — и вдруг пятнадцать!..»

В другой раз пришел молодой рабочий, лицо у него было еще по-детски припухшее, он стеснялся, сбивчиво рассказал, что его послали на ремонт в Дом инвалидов, там при нем старая женщина рассказывала, что ей прописали специальные очки, а ей говорят: «Ничего, без очков обойдешься», она сорок два года проработала учительницей: «Вы подумайте, товарищ писатель, скольким она глаза открыла, а теперь и почитать не может. Я так считаю, что это безусловная несправедливость». В руках у него была книга, я спросил, что он читает; он еще больше застеснялся: «Я знал, что вас долго придется ждать...» Оказалось — учебник алгебры.

Нет, не зря сорок два года проработала учительница, не зря трудились и преподаватели, и библиотекари, и работники музеев, и актеры, и лекторы, и писатели. Народ думал, учился, рос. Маленький провинциальный город, бараки, деревни, занесенные снегом, покосившиеся домишки — все это казалось бездоленным и спящим, а жизнь бурлила, и если «Литературная газета» приукрашивала эту жизнь, одновременно обедняя ее, то в действительности люди жили хуже, но были крепче, духовно богаче, чем герои пьес, награждаемых премиями всех трех степеней.

Я увлекался садоводством, огородничеством. Посадил два конских каштана — один погиб, другой вырос и теперь весной цветет, как будто он в Киеве или в Париже. Я много сеял, это хорошее занятие: с книгой все неясно, а здесь посеешь мельчайшие семена, покроешь ящик стеклом — и две недели спустя покажутся зеленые точки, потом их нужно распикировать, это кропотливое занятие, и оно успокаивает. нельзя при этом думать об очередных неприятностях, нужно быть очень внимательным, оберегать сеянцы от болезней, от паразитов, и тогда они обязательно цветут.

Иной читатель удивится: почему я после рассказа о людях Энгельса вдруг перешел на чудачества пожилого любителя растений? Не случайно. Многие за границей, да и некоторые юноши у нас не понимают, что жизнь народа продолжалась, не могла прерваться. Народ пережил много дурного, но он бодрствовал, чувствовал, строил. Подмосковный сад зимой кажется умершим, но в стволах или только в корнях происходят незримые процессы, подготовляющие весеннее цветение. Все это легко понять потом, а в 1951 году я часто доходил до отчаяния.

(Окончание следует)



ХЕСУС ЛОПЕС ПАЧЕКО

★

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

С испанского

В Испании состоялся судебный процесс по делу молодых писателей, обвиняемых в нелегальной противоправительственной деятельности. Среди подсудимых был известный испанский поэт и романист Хесус Лопес Пачеко. Книга «Я кладу руку на Испанию» (1961) находится в списке трех тысяч книг, запрещенных в Испании цензурой, и издана в Италии.

Ниже мы печатаем несколько стихотворений из этой книги.

1

Кладу руку на Испанию,
на горящую мою!
Вместе с ней в огне горю.
В лихорадке ожидания
— выздоровей! — говорю.

2

Как ты живешь, моя страна —
Страна такого солнца —
С такую ночью в сердце?

3

Мне многого не надо —
хоть раз проснуться мне бы —
И вдруг увидеть чистым
Над родиною небо!

4

Не сняв рубахи, не могу писать.
Мои стихи пусть ходят без рубах,
Пусть ходят просто в коже человека.

Я должен голым чувствовать себя,
Чтоб не одеждой, а самим собой
На радости и боли наткаться.

Когда пишу — все догола снимаю
С души. И этой голою душой
Дышу, и говорю, и в крик кричу.

Не сняв рубахи, не могу писать.

5

Старого обмана
С глаз содрал бельмо,
Сердце, как ребенок,
Видит жизнь само.
Черной кровью ночи
И трясиной дня
Жизнь однообразно
В сердце бьет меня.
Но а все же будет
День иной!
Верьте в это, люди,
Вслед за мной!

6

Замолчать? Наоборот!
Завоплю я прямо сердцем,
Если мне растопчут рот.
Видя, как живет народ,
Я б подох от боли, если б
Жил, воды набравши в рот!

Вольный перевод **Константина Симонова.**



ВЛАДИМИР РУДНЫЙ

★

МАЯК КАЛЛБОДА

И наконец-то осуществилось: сегодня пойдем на Каллбоду. Впервые я услышал это название от Александра Ивановича Маринеско — возле маяка Каллбода его подводная лодка «Малютка» 14 августа 1942 года потопила транспорт. Еще тогда, уточняя по лоции путь «Малютки» Маринеско, я записал на страничке фронтового дневника: «Маяк Порккалан Каллбода (59°52' северной широты, 24°18' восточной долготы) установлен на скале, лежащей на мели Порккалан Каллбода. Вид маяка: башня с восьмигранным фонарем на углу двухэтажного бетонного жилого дома. Высота маяка 20,4 метра; высота огня 21,4 метра от уровня моря». Скала, на которой стоит маяк, повествовала лоция, находится в северо-западной части скалистой мели, имеющей подводную и надводную длину в одну милю и ширину в полмили. Мель окружена банками и бурунами. Скала возвышается над морем всего на 2,4 метра...

В войну маяк был в водах противника, да и вообще маяки не светили. Кроме камней, вокруг которых вскипала вода, подводных банок и не ограждаемых знаками мелей, на подходах к Каллбоду надо было преодолеть четыре линии плотных минных полей. Писать о том, как балтийская «Малютка» их форсировала, подстерегла там фашистский караван, произвела торпедный залп и, потопив военное судно, успешно скрылась от преследования, не дозволялось; в печати нельзя было даже упоминать о существовании «М-96», или «Малютки» Маринеско. Так что запись о Каллбоду особого интереса в то время для меня не представляла, и вскоре она затерялась среди всяких иных записей времен войны. Но когда в сорок четвертом году Финляндия вышла из войны, карту нового арендного района как приложение к договору двух правительств напечатали центральные газеты, Порккала-Удд временно стал нашей зарубежной военной базой, и снова вспомнилась Каллбода. Мимо нее, когда кончилась война, прошел международный фарватер, Каллбода зажгла огни для мореплавателей всех стран. Туда, в Каллбоду, тянуло, но не случалось повода пойти. И только в пятьдесят четвертом году, уже в штатском костюме, вооруженный блокнотами, фотоаппаратом и специальным пропуском в зарубежный гарнизон, я отправился на «ПОК-44» из Таллина «на ту сторону».

«ПОК» — это посыльный корабль, перестроенный из рыбацкого судна, с трубой камбуза на носу и с запасом дров для камбуза на корме, с мачтой для парусов, но без парусов — их за ненадобностью сдали на склады, потому что суденышко стало военным и подняло военно-морской флаг. Команды всего девять человек, четверо через месяц должны были демобилизоваться, и хотя их мысли были уже там, на родине, они боль-

ше других на катере были озабочены судьбой «юнга Юры». Пока мы болтались в Таллине, ожидая разрешения на выход в море, я только и слышал про этого «юнга Юру», который вот уже третьи сутки гоняет по Порккала-Удду без присмотра, и даже «сам Бургаров» ему не указ. А ему бы сейчас за книжками сидеть — в сентябре поступать в шестой класс. Матери у парня нет, отец — алкоголик, вот и сбежал Юра к морякам, пригрелся в команде и лето плавал на катере. Пристроить бы его в школу юнг или в нахимовское определить, но зачем же парню предопределять судьбу. Время не военное и не сиротское, пусть лучше идет, как все, и, когда настанет срок, выберет себе дорогу сам. А если сорвется и потеряет год? Как тогда?..

В запас уходили самые степенные, оставалась молодежь, птенцы; уходящие к ним придирались — мало, мол, тепла к юнге. Наверно, кое-кто в команде считал, что мальчишку все же надо вернуть к отцу. А может быть, и не было таких черствых.

Когда мы вышли из гавани, рулевой Глотов, тоже из демобилизуемых, повертел длинной шеей и сказал, кого-то передразнивая:

— Бабушка, ох я тебя съем... Знаете, что это такое?.. Первые слова, которые услышал Юрка по радио, когда я его в каюту завел. Темно там было. Я его спрятал от вас, товарищ лейтенант. А трансляцию не вырубил. И сразу голос в темноте. Да еще чтец, подлюга, натуральный. Из народных, что ли... Ну, малый и заплакал...

Лейтенант Алексей Шилов, командир корабля, семь лет прослуживший до своего лейтенантства матросом, сказал:

— Никого ты от меня не прятал, Глотов, не дуди. Я тебя всю службу насквозь видел. Разгильдяй. Ждет тебя твой Юрка на пирсе. Что ты, что он — пройдохи...

Рулевой не отрывался от горизонта, но, очевидно, ему мешали на носу пассажиры — лейтенант-летчик с женой и дочкой. Дочка играла с ободранной куклой, рулевой хмурился и ворчал...

Мы долго пересекали Финский залив, потому что ход у катера небольшой. Светило солнце, дул холодный, осенний ветер. Шли встречные корабли. Обгоняли попутные.

Поворотный буй означал, что мы уже вышли на международный фарватер. Длинными галсами по нему сновали тральщики-стотонники, и это напоминало про знаменитый «суп с клецками» — прозвище, набившее оскомину, но точное для вод залива, начиненных в войну десятками тысяч всевозможных мин. Хотя залив чистили уже много лет и фарватер давно был проверен и открыт, но корабли Балтфлота продолжали контрольное траление. Навстречу полз пузатый иностранец, — флага я не разобрал; позади него тоже шел тральщик, только короткими галсами, словно проверяя тралом след: за этот фарватер отвечаем мы и страховка в таком деле не вредна.

Замаячила впереди пограничная вежа, потом показалась и черно-белая башня маяка на острове Рёншер, а слева по курсу — красная точка. Скала. Это уже арендный район Порккала-Удд, который в таллинском порту обычно именовали «той стороной».

Я не сразу разглядел в море темную скалу с багровым наростом на ней. Разглядев, навел бинокль и понял: на скале тоже маяк, только ближе Рёншера. Лейтенант Шилов, усмехаясь, сказал:

— Каллбода. Порккальская тюрьма.

Так я снова услышал это название.

Конечно, не тюрьма. Просто трудное, а может быть, гиблое место. Но от него невозможно оторвать глаз.

— Жутко и романтично, — сказал я. — Скала, вода, дом с башней.

— Романтично? — повторил лейтенант Шилов. — А вы бы махнули туда, а?.. Зимой торосы до верхнего этажа. Не сразу найдешь. Тоска. Была у них собака. Боцман. Волкодав. Утопилась в полынье.

Я молчал. Мы шли медленнее, лавируя в шхерах, мимо горбатых островков с сигнальными вышками над сосняком и обломков скал, оседланных терпеливыми рыболовами. Лейтенант Шилов, наверно, жалел, что походя меня обидел. Он снова заговорил:

— Генка Кондратьев, лейтенант, тоже твердил: романтично. Условия, говорит, там подходящие для работы над собой. Можно, говорит, экстерном протаранить на штурмана. Симочка ему поперек горла стала — вот он и подался на скалу. Пока насчет диплома не слышно. А фитили за всякие ЧП огребают. — Лейтенант Шилов искоса посмотрел на меня, будто ожидая вопроса, ухмыльнулся и продолжал: — Симочку не знаете?.. Оторвались от флота. Всей Балтике осточертела, не только Генке Кондратьеву...

Тут крылась какая-то шутка, а мне было лень шутить. Я промолчал.

Так мы молча стояли в рубке «ПОК-44» до бухты Ботвик, где нас на причале действительно ждал юнга Юра. Он пробежал к голове причала и на пределе видимости замельтешил руками, не просто замалхал — з а с е м а ф о р и л. Рулевой Глотов вытянул шею и взглянул на лейтенанта быстро и умоляюще, но лейтенант Шилов и не подумал его подменять.

— Не дуди. Потерпи.

На бак выскочил кто-то другой из команды и стал писать флажками юнге Юре ответ...

В Порккала-Удде меня ждали чудеса, которые ныне, спустя годы, перестали быть чудесами; район этот давно возвращен Финляндии, и базы уже не существует, но тогда все было окружено само собою разумеющейся тайной, исключавшей запись в блокноте и фотографирование: смотри, удивляйся, молчи. Я смотрел лишь на то, что мне показывали, и ездил туда, куда приглашали. Но в памяти многое осталось: гигантские ярко-красные автоцистерны, подобные тем, что ныне заправляют реактивные лайнеры где-либо в Шереметьеве; рельсовые пути, уходящие от самого прибора в глубь скалы, в сводчатый, освещенный цепочкой лампочек долгий коридор; подземные, вернее подскальные, залы электростанции; да и сам причал в Ботвике, где рулевой Глотов тискал своего юнгу Юру, причал, к которому нами была подведена специальная ветка железной дороги, тоже был сооружением любопытным — год спустя именно это сооружение вызвало такой восторг у финского адмирала из «отдела мореходства в министерстве торговли и промышленности», что он не выдержал этикета, отделился от дипломатической группы своих более стойких коллег-наследников, принявших от нас базу, и побежал в голову причала под возгласы: «На месте море, на месте, господин адмирал»...

Много солдатского и матросского труда было во все это вложено, и хоть краем глаза, но я видел этот труд: видел, как строили причалы порой по колено в воде; видел, как ставили на островах дома и вышки, на верхотуру которых тут же приглашали, чтобы взглянуть в оптический прибор; видел, как бурили гранит, отслаивали плиты и складывали из них брустверы там, где нужно было их складывать; видел работу солдат-строителей и работу матросов, строящих для себя; никто, конечно, не выпячивал перед приезжим своей работы, служба есть служба, а если и заговаривали о ее тяжести, то обязательно с иронией и по поводу какого-либо смешного происшествия.

Рассказали мне на острове Бюландет про одного хитреца, которому

осточертела сырость на болоте при строительстве аэродрома, и он стал выпрашивать путевку за путевкой на гарнизонную гауптвахту; отсидит положенное, вьется вокруг начальника гауптвахты с цигаркой в зубах, пока тому не надоест, тот нагнется, шепнет ему: «Десять суток хватит?» — «Хватит», — снисходительно бросит филон и довольный возвращается на свое плацкартное место. А потом, говорят, обнаглел до того, что стал приставать к самому Бургарову, который, как уже известно, только юнге Юре не указ; подскочит к нему, гаркнет в лицо: «Здоров, Бургар» — и «полная катушка» обеспечена...

Я был на стадионе в воскресный день, когда две команды — с бронекатеров и с тральщиков — состязались в футбол. На флоте вообще обожают спорт, а в Порккала-Удде почитали особенно, потому что именно в этой базе служил сам Владимир Куц, матросом служил на батарее, и бегать он начал тут по скальным дорогам с поручениями своего командира, обгоняя автобусы и всякий прочий транспорт. На стадионе все было, как на всех стадионах: «Судью на мыло!», «Сапожники!» Но было и свое, местное: «Давай, давай, зятек!» — это о правом нападающем, который когда-то начинал неплохим моряком, но вот породнился с одним из начальников и вышел «зятьком» на спортивный небосклон; он был местный «кумир на полтора часа»: игру «зятька» ценили, но ревностных и верных болельщиков он не приобрел. Состязание шло с переменным успехом, страсти накалялись, но вдруг всех болельщиков сдуло с самодельных трибун: точно так исчезали с палубы одного балтийского корабля все до единого матросы, когда по ней шагал грозный, всему флоту известный старпом. Игра продолжалась, но на трибунах был только один болельщик, машина которого притормозила возле стадиона: сам Бургаров.

Матросы везде и всюду любят судачить о комендантах и всегда склонны к преувеличению, а тут о чем бы ни шел разговор — о книгах, о кинофильмах, о виденном на войне, где бы ни происходили встречи — на островах, на батареях, на катерах, даже на рыбалке, когда я запутал друзьям с бронекатеров все нитки их спиннингов, — всякий раз я слышал одно и то же: «Напишите комедию о Бургарове». Даже заглавие придумали: «Принципиальный Бургаров»; даже сюжет подсказывали под рокот и общий смех: историю о том, как комендант был коварно «испытан на принципиальность». Он запретил женщинам базы появляться в районе станции Киркконумми — административном центре базы — без паспортов и поставил на бойком перекрестке против магазина своего помощника с патрульными; помощник, человек неглупый, вместе с другими нарушительницами перехватил и жену самого коменданта, продержал ее «до выяснения личности» на гауптвахте и после разбора остальных подобных дел и «принятия по ним решений» доложил самому, что некая, мол, особа «выдает себя за вашу супругу»; пришлось коменданту отправить на гауптвахту и собственную жену. За всеми этими рассказами, помимо традиционных матросских преувеличений, чувствовалось ущемленное личное достоинство. Уж слишком усердствовал порккала-уддский комендант, а база окружена водами залива и регулярно перепахиваемой и боронуемой контрольно-следовой полосой на суше, уволиться хоть на денек с этих скал некуда, комендант, конечно, по справедливости говоря, не главноуговаривающий и не классная дама, но надо же и сочувствие иметь...

Так путешествовал я по материке, бухтам и островам Порккала-Удда, записывая всякие сюжеты, происшествия, истории и острые придумки, вроде таких, как «Гадкий утенок» — название, присвоенное матросами столовой «Белый лебедь» после запрета там спиртного. Глотнул романтики досыта. Но Каллбода не давала покоя.

— Чего вы там не видели? Скала как скала... На Рыбачьем в войну снисовцы жили в орлиных гнездах...

О Каллбоде говорили то с уважением, то с усмешкой, то с предостережением, а то и со злостью.

Кинемеханик в клубе сказал, что командировка на эту скалу — самое распроклятое дело: пойдешь на один сеанс, а пропадешь на неделю. Конечно, накормят, даже напоить могут, только курить не дадут — нет у них курева. А потом начнут крутить лучшие произведения отечественной кинопромышленности задом наперед. Кому за это от политотдела фитили получать — кинемеханику. Ну их к дьяволу, лучше туда не ходить...

В поликлинике на станции Киркконумми милая женщина — врач-стоматолог, лейтенант медицинской службы, утверждала, будто на скале собрались одни ловеласы. Ребята, в общем, хорошие, благодаря им она оморячилась, но ухо надо держать востро.

Один мрачный дядя уверял, что там народ отпетый, спекулируют на трудностях. Генерал им благоволит. А они этим пользуются. Подводят людей, добросовестно исполняющих свои обязанности. Вот он — человек дисциплинированный. Приказано провести инвентаризацию литературы. Не тут придумано, не тут отменять. Забрал книги для переучета. А они нажаловались генералу. Оставили, мол, их без культурной пищи на неделю-две. Можно подумать, что там заняты не службой, а изучением художественной литературы. Генерал, конечно, за них горой. Накостылял. За что?..

Все это лишь разжигало стремление попасть на скалу. Туда требовался особый пропуск и особая оказия. Я ждал в тридцать первой каюте на борту «Софии», читая то «Дорогу на океан», отчего становилось грустно, то «Роб-Роя» — это уже полегче, хотя полагалось бы проштудировать обзоры внутривнутриполитического состояния страны, возле столицы которой мы жили, и переводы статей из финских газет.

Уже не впервые я попадал к границам Финляндии — этой сложной страны, где были и Маннергейм, и шюцкору, и всякие «лотты», но где люди нам не враги, люди-труженики, которых пытались напугать огромным и сильным соседом; приезжал туда в те годы и Генри Форд, приходили американские эсминцы — зачем-то носили наши недавние союзники цветы на могилу Маннергейма; но, в общем-то, и Генри Форд, и поклонники шюцкора вряд ли могли помешать тому, что газеты называли «потеплением», взаимным потеплением, — мы с наслаждением читали в те дни книгу Лассилы, переведенную Михаилом Зощенко, и по другим книгам узнавали заново страну, с которой недавно воевали, — гарнизон-то обучался отражать нападение, если оно случится, не из этой страны, а с более дальних меридианов.

«София», на которой я жил, была морским общежитием вроде гостиницы на плаву. Мне сказали, что это бывшая немецкая плавучая тюрьма. Старожилы утверждали, будто в цистернах «Софии» когда-то нашли трупы, скелеты, кости — словом, прошлое у нее мрачное. Но сейчас это была удобная посуда с регулярно действующими душевыми отсеками, правда, снабженными необычайно хитрой конструкции замками — наверно, наследие гестаповцев. Замки такие, что вполне свободно можешь раздеться, пойти под душ и оказаться в западне. Так оно и случилось зимой с одним командиром звена бронекатеров: зашелкнулся гестаповский замок и командиру пришлось вылезать через иллюминатор на мороз; но вылезти он не смог — протиснулся по поясу, примерз к кольцу, пришлось его, чтобы не простыл, до пояса одеть, потом вырезать из переборки вместе с кольцом иллюминатора и лишь

после этого с помощью мыла и двух дюжих матросов освободить окончательно.

Вот на этой-то «Софин», развлекаемый по вечерам анекдотами, я ждал и дождался наконец разрешения идти на Каллбоду. С вечера из штаба предупредили, что за мной утром заедет машина, доставит в бухточку Хилу, где в мое распоряжение выделен рейдовый катер.

Я встал рано. Легкий туман рассеялся вместе с рассветом, и очки даже не успели запотеть. С утра над фиордами стояло высокое небо. Было трудно смотреть на море — под холодным осенним солнцем оно стало ослепительно светлым и дымным.

За мной приехал майор с голубыми просветами на погонах. Он сказал, что ему тоже нужно в бухту Хила и, если я не возражаю, он, проводив меня до Каллбоды, пойдет на том же катере в другие точки.

Тряский «козел» запылил по каким-то извилистым просекам, ныряя в лощинку, взлетая на проросшие сосной и можжевельником скалы, открывая взору кусок затененного кривыми и жилистыми деревьями спокойного озера и снова погружая нас в лесную полумглу, в настоей хвои и грибов, мгновенно поглощающий бензиновую вонь.

Бухта Хила появилась внезапно за резким поворотом. Шофер осторожно скатил машину со скалы к самой воде, мимо заброшенного сарая чужой архитектуры, к крутой горе березовых дров, будто мы прибыли на лесопристань за Кемью, там тоже среди скал складывают поленицы.

Причал на сваях вылезал из недр скалы. У причала колыхалось судно с мачтой, как в рыбацких гаванях. Это был тоже посыльный катер, штатный в военно-морских силах, но размером поменьше того, на котором я шел из Таллина. Потому он и назывался рейдовым. На него снесли ящики, штабелем лежавшие возле сарая, и сотни две кирпича. По дровам на корме, по многоведерным бочкам с огурцами, расставленным вдоль бортов и похожим на бочонки глубинных бомб, можно было догадаться, что катерок этот — трудяга, кормилец дальних постов, такой, как мои любимцы военных времен — черные угольщики, тихоходные перевозчики мин, водолеи, доставляющие пресную воду туда, где нет и не может быть колодца, — в войну их уважали, а в мирные времена прочтут про них на большом корабле и скажут: «Не о том флоте пишете, дорогой товарищ. Не на то нацеливаете»...

Я прыгнул на борт рейдового катера и громко спросил:

— Где тут начальство?

— Там, — белобрысый матросик испуганно показал вниз, в маленькую кают-компанию, куда прошел мой спутник майор.

Я рассмеялся:

— Я не про то начальство. Вы командир корабля?

— Старшина рейдового катера 1709 старший матрос Павел Канев! — доложил он, смущаясь. — Разрешите отваливать?..

Он быстро побегал на бак, отдал носовой, вернулся в рубку, нажал стартер, запустил мотор, отработал назад и вывел катерок из бухты.

Испросив у старшины «РК-1709» разрешения, я зашел в рубку. Канев покраснел и сосредоточился.

Он ловко вел катер в шхерах. Оказывается, в судовождении он не новичок, хотя всего-то ему, дай бог, двадцать лет. Вырос в области Коми, в селении Шельяур, между Печорой и Нарьян-Маром, в Сыктывкаре прошел четыре курса техникума, но госэкзамена не одолел, и его забрали на срочную службу во флот. Хорошая служба. Ходи на катерке туда-назад — всюду тебе рады. А если ветрено и штормит — жди штиля в бухте у причала. Можно и почитать, и кое-какими науками позаниматься, чтобы не пропали годы техникума зря. Есть надежда после

демобилизации вернуться на родину, походить по северным рекам рулевым, а там можно и штурманский диплом выхлопотать.

Больше ничего выжать из этого парня я не смог, потому что мы вышли из фиорда и ему пришлось подворачивать то к одному, то к другому островку, разгружая бочки с огурцами и дрова для постов и батарей. Мы отдалялись от материка, и на море становилось свежее, хотя по-прежнему светило солнце.

У Рёншера лагом стояли пограничные катера и матросы в черных бушлатах поверх парусиновой робы тихо занимались каждый своим делом на выскобленных до седины палубах.

С высокого берега бежал к воде главный старшина, начальник маяка, он кричал Каневу:

— Опять бочку с огурцами солеными приволок? Куда ж я ее дену? У меня прежняя передай.

— Значит, плохо соленные, товарищ Киселев,— солидно произнес Канев.— Досолить надо.

— Какое там досолить. Все пересолено. Рассол разбавляем водой. Ты что сегодня, Паша, такой дутый да важный?

— Берите, берите, товарищ Киселев.— Канев едва заметной гримасой показал на меня.— Распишитесь. Мы торопимся. А вот еще почта.

— С этого бы и начинал, Паша,— уже более сдержанно произнес главный старшина, косясь на непонятого ему штатского.

Выскочили две девушки на огороженную площадку метеостанции, остановились возле игрушечных домиков, похожих на ульи. Вышла следом третья деваха, рослая, крупная. Низким голосом она крикнула:

— Привет Зубастикку передай.

Канев сквозь зубы проворчал: «Лошадь», но кивнул ей и тут же мне объяснил, извиняясь:

— То есть Конькова, я хотел сказать. Сама себя так величает по телефону. Синоптик она. За нее Колю Красиля отсюда на Каллбоду списали.

Мы пошли дальше. С пограничных катеров, с берега нас провожали любопытные взгляды. Редки тут приезжие, да еще в очках, в шляпе, которую приходилось цепко держать на ветру. Миновали еще один остров с причалами, стайкой пограничных катеров и каменными постройками на каменной земле. Я услышал название, и что-то тревожное шевельнулось в памяти...

— Мякилуото. Сорок первый год. Тяжелые походы из Таллина в Кронштадт и из Кронштадта назад к устью Финского залива. И всегда это зловещее имя: Мякилуото. Остров, на котором стояла сильная, далеко достающая батарея. Проскочил Мякилуото — порядок. Идешь на траверзе — берегись крупных фугасов, которыми враг погонит тебя на минное поле. Какая-то там есть могила давней поры — то ли времен Крымской войны, то ли от более поздних сражений, могила англичанина Мак-Эллиота, вряд ли приходившего в чужие воды с добром. Может быть, с этой могилой связано имя зловещего острова? Уж больно схожи звучания имен острова и англичанина, на нем погребенного. Кто знает, возможно, оно и так, я потом видел на острове и намогильную плиту, и руины старинных бастионов, и другую могилу — капитана Белова, убитого шюцкоровцами уже после выхода Финляндии из войны. Но сейчас я предчувствовал иное: после этого глыбистого гранита откроется Каллбода.

Мы застопорили ход на траверзе скалы. Она не выглядела такой темной, как издалека. Только строения на ней темные. Канев якоря не отдал, потому что долго тут болтаться ему не резон. Погода меняется

резко и мгновенно, сумел подойти — сумей вовремя и уйти; а то ведь было, что у одного нашего катера возле Каллбоды скис мотор, катер выбросило на камни, команду сумели снять на маяк, оттуда она смотрела на свой гибнущий корабль, лишенная возможности его спасти; да и на самом здании маяка есть память еще от финнов — гранитная доска с вырубленными в ней поломанным якорем и именами погибших на банках Каллбоды моряков.

Канев не глушил мотора, то отработывая назад, то вперед. А мы разглядывали подробности Каллбоды.

Можно было вообразить ее дредноутом с могучей подводной частью и выступающими из воды надстройками. Вот и боевая рубка над каменной палубой, и ходовой мостик, и мачта, и силуэт кормовой орудийной башни; даже люлька с маляром, освежающим кистью стены здания, напоминает о корабле, только борт корабля окрашивают в шаровый цвет, а не темно-красный. Можно было назвать окрашенный суриком старинный дом замком, мрачным и таинственным.

На катере все притихли, вглядываясь в этот замок, в маляра, о котором Канев мне тихо сообщил, что это и есть тот самый Коля Красиль, не фамилия, а прозвище по ремеслу, а Зубастик он потому, что все зубы стальные: сверзился когда-то с высоты. Потом мы увидели матросов, вынырнувших с веслами на плече из нутра замка. Они шагали к каменному гроту, похожему на орудийную башню.

Над гротом торчал невысокий, но сильный причальный столб, а рядом — сравнительно тонкая жердь ветряка. Две стрелы, как на корабле, поддерживали на талях голубоватую шлюпку. Матросы подошли к ней, спустили ее на воду, уселись на банки, вставили весла в уключины и дружно оттолкнулись от каменного борта. Шлюпка шла к нам. На крыше грота осталась другая, она лежала, склонясь набок, старая и негодная.

Хотя волна и поигрывала нашим корабликом, но море вокруг выглядело спокойным. Зато Каллбода вся была в бурунах. Пена вскипала не только возле ее каменных бортов, но и над предполагаемыми подводными рифами. Казалось, этот дредноут быстрым ходом куда-то плывет.

Шлюпка подошла к катеру, на борт поднялся молоденький, невысокого роста, светленький лейтенант, козырнув, он сразу же направился на корму, где лежала гряда свежего молодого березняка. Мне она казалась маскировкой. Лейтенант смело подошел к веткам, нагнулся, вдохнул, выпрямился, по-детски улыбнулся нам и кивнул издалека, взял охапку веток и сам передал ее на шлюпку.

Ветки быстро перегрузили, обнажив пустую корму, а в шлюпке все матросы старались держаться к этим веткам поближе.

Это были свежие веники для Каллбоды, нарубленные Павлом Каневым в Хиле. Сегодня суббота, банный день, вот Канев и прихватил на маяк веников; я вспомнил финскую поговорку, сообщенную мне на маерике офицером Корху, переводчиком штаба базы: «Баня — финский врач». Мы находились на территории, арендованной у Финляндии. Но где тут на скале баня?..

Лейтенант распорядился, чтобы на шлюпку взяли бочку с огурцами и почту, и подошел к нам. Это был тот самый Генка Кондратьев — мне так и хотелось сразу спросить его и про штурманский диплом, и про зловещую Симочку. Ему еще не исполнилось двадцати четырех. Люди в шлюпке выглядели постарше своего командира, но, судя по всему, слушались его беспрекословно.

Лейтенант, оказывается, предполагал сегодня уйти на денек-другой в Ботвик, к одной учительнице математики — она охотно помогает ему готовиться к экзаменам. Не только ему, она добровольно занимается со

многими. Отзывчивый человек. Хорошая женщина. Жена одного офицера. Словом, придется перенести урок. Нет, нет, все в порядке, она предупреждена. Лейтенант должен остаться на маяке, чтобы принять гостя.

— Кино не привезли? — спросил Кондратьев у Канева.

— Его теперь к вам не вытащишь, — сказал Канев. — Обиделся.

— Конечно, надо было предупредить, — согласился Кондратьев. —

Ребята знали, что шторм. Нарочно затягивали харч. А ты ушел.

— А что ж мне, на камни садиться? — сказал Канев. — Вы там «Калиновую рощу» крутите, а меня тут на банки сносит. Того и гляди накроешься. Фокусничать не надо было. Ему выговор за это.

— Да, не надо было, — согласился Кондратьев.

Вскоре шлюпка вернулась за нами. Не совсем удачно я прыгнул вниз, нога неловко соскользнула с сиденья, но среди гребцов нашелся парень в роговых очках, он улыбнулся мне по-своему, словно успокаивая, и мне действительно полегчало.

Мы вошли в узенький, чуть шире шлюпки, заливчик в расщелине скалы, туда, где горбом торчал на ней грот и где над нами сразу нависла снасть шлюпочных талей. Все сошли на гранит, омываемый гаснувшей волной. Шлюпку подняли и закрепили на месте.

Нам навстречу выбежала черная собачонка, незначительная и суетливая, обрадованная редкой возможностью потявкать на пришельца. Матрос в очках цыкнул на нее, дал пинка, потом жалеючи взял на руки и объяснил, что бывали на маяке собаки и посolidнее. Только в каждом животном важна не порода, а душа.

Пока матросы и лейтенант возились с грузами и шлюпкой, я осматривался по сторонам, пытаюсь одновременно заговорить с очкастым парнем, очевидно, приставленным ко мне в качестве экскурсовода. Он снял очки явно за ненадобностью, спрятал их, улыбаясь одними глазами, доложил, что его зовут редким, но вполне современным именем Атом при обыкновенной фамилии Морозихин. А собачонку кличут Боцманом. Но на это имя она не откликается, потому что ей такое имя не к лицу. Значит, она не так глупа, раз ей совестно носить чужое и почтенное прозвище. Я поторопился сообщить, что про Боцмана уже слышал, знаю, что он утопился в полынье, не выдержав тяжелой жизни на скале.

Атом Морозихин возмутился. Клевета. Боцмана доконала не тяжелая жизнь, а одиночество. Если бы люди его вовремя поняли, они раздобыли бы ему подругу. А то, что болтают про трудную зиму и собачье самоубийство, — глупости. Зимы здесь все трудные хотя бы потому, что не хватает тридцати тонн пресной воды, завозимой с осени. На большее количество нет емкостей, а Грозе Гаек Алексею Семянчикову одному нужно не меньше тонны на месяц. «Гроза гаек» он потому, что, если уж Семянчиков гайку затянет, надо ее не отвертывать, а сшибать зубилом. Из-за него приходится уже в марте вытапливать воду из морского льда. Но собаке воды хватало. Да и не могла она от жажды настолько поглупеть, чтобы отказаться от жизни. Собака была умная. Люди выносили — и собака выносила. Вот Морозихин зимовал второй раз. Товарищ лейтенант служит третью зиму; Гроза Гаек, он же Факир Погоды, — это он киномеханика подвел — четвертую зиму отбаранил, слава аллаху, собирается в родную Калугу, так что есть надежда, что в эту зиму тридцати тонн воды Каллбоду хватит. Вот хуже жажды одиночество. Даже собака не может вытерпеть. Люди хоть летом, но иногда получают увольнение на материк — в клуб или на танцы. А собак, как известно, не увольняют. Потому и довели.

Атом Морозихин разглагольствовал явно «на публику», я заметил, что лейтенант сурово на него поглядывает и жестами напоминает, что у матроса на скале есть и другие обязанности. Подхватив весла, он

убежал наконец к маяку и скрылся в какой-то темной нише, ведущей внутрь толстостенного дома.

Кондратьев широким жестом пригласил меня в тот же дом:

— Прошу по адмиральскому трапу наверх.

К наружной стене каменного здания прилепилась крутая железная лестница с ограждением. Это и был адмиральский трап, ведущий сразу на второй этаж. А ниша, в которой скрылись Атом и все остальные гребцы, звалась шхерным проходом.

Потом я узнал, что это путь в здание через подвал, мимо тесной бани, продовольственного склада и камбуза. Там, в шхерном проходе, низко, когда идешь, надо беречь голову и ошупывать стены. Весь остаток дня и вечера я вдыхал потом запах леса, который поднимался вверх из этого подвала; туда то и дело сбегал кто-нибудь из матросов и возвращался довольный, даже посвежевший, прихватив ветку-другую; я тоже спустился в шхерный проход и, жадничая, тоже вдыхал березовый дух, словно уже испытывал по нему тоску — ветки холмом лежали на жестком парусе, они были еще пышные и свежие, и каждому не терпелось к ним прикоснуться до того, как они помертвеют и станут грудой хвоста...

Но все это потом. А пока мы поднялись с Кондратьевым на железную площадку перед дубовой дверью в стене.

Когда мы шли морем, я ветра не чувствовал. А тут, на высоте, дул ветер, и Кондратьев сказал, что здесь никогда не бывает тишины. Даже в штиль. Каллбода открыта всем ветрам, и море всегда бьется о скалы. Ветер слышен и за толстыми стенами в кубрике, только шум дизеля способен его заглушить, да и то если не штормит; дизеля включают под вечер, когда начинают работать специальные радиометрические системы.

Катер Павла Канева поспешил уйти. Темнело. И я почувствовал тоску, глядя с адмиральского трапа на уходящее суденышко. Я пришел сюда, чтобы пожить среди матросов Каллбоды, но, очевидно, чувство разлуки с берегом неодолимо для человеческого сердца, как бы ты ни был подготовлен к нему сознанием.

Вместе с темнотой на Каллбоду наступало море. Остовая банка уже скрылась под водой, и волны приближались к гроту, над которым висела шлюпка, и к шхерному проходу. Кондратьев тронул меня за плечо и напомнил, что надо войти в маяк.

Поначалу шло общее знакомство. Меня водили, показывали, ко мне приглядывались. Мы спустились с Кондратьевым в шхерный проход, и, кроме березовых веток, я увидел там пылающий в плите огонь, чаны с вскипающей водой и огромную жестяную миску шипящего варева. Я знал, что ужин уже кончился, и догадался, что это варево предназначено для гостя. Оно еще не было готово, и мы вернулись на второй этаж.

Постепенно я познакомился с личным составом Каллбоды. Конечно, как всегда, прежде всего узнаешь тех, о ком окружающие могут рассказать что-либо забавное или кто сам остер на язык и склонен забавлять себя шуточками над новичком; среди своих такой остряк уже не пользуется успехом, подобно актерам, которым лень обновлять репертуар, а новичку можно прокрутить и старую пластинку. Таким был мой первый покровитель и собачий психолог Атом, общение с которым никак не удавалось возобновить: лейтенант загнал его куда-то на чердак, где находилось, как я потом узнал, нечто таинственное, выкатываемое по ночам на рельсах из ниши на площадку и посылающее в эфир невидимые тепловые лучи. Это был теплопеленгатор — по нынешнему времени

сооружение устарелое, а тогда еще маг, о котором я услышал впервые за десять лет до этого на полуострове Среднем у Федора Мефодьевича Поночевского, — там, на правофланговой береговой батарее над Варангер-фиордом, я знал, что рядом действует некая ТПС и даже передает на КП батареи координаты морских целей, глазу не видимых, но ею ощущаемых; я знал, что эта ТПС — шибко секретная штука, сам командир батареи не видел станцию в действии, но ей нужны определенные, заданные условия для успеха, а на войне их не закажешь, и потому — тепло теплом, а стереотруба и батарейный заяц надежнее: был на батарее заяц, который поднимал уши, предсказывая налет вражеской авиации, он ни разу службу ПВО не подвел. И вот снова ТПС, управляемая Атомом Морозихиным. — она следит за движением на фарватере.

Ее презирал только один человек, понимавший, что в технике устареваает, — это был дежурный радиометрист Виктор Корягин.

В просторной комнате с огромным окном на море на длинном канцелярском столе стояли локаторные аппараты с экранами и бегающими по кругу лучами-искателями. Перед аппаратами лежали планшеты карт, покрытые целдулоидом и освещенные двадцатичетырехвольтовой лампочкой под абажуром. В центре карты был отмечен точкой маяк, на котором мы находились, к этой точке, как к оси, была прикреплена градуированная линейка, которую радиометрист мог легко двигать по кругу. Все, что отражал на светящемся экране луч локатора, радиометрист мгновенно и точно повторял и проверял линейкой на карте — брал точные координаты. Экран и карта совпадали с ночным полем зрения поста. Любая шлюпка, любая посуда, попав в наблюдаемый район, тотчас отражалась на экране — это цель, о которой радиометрист немедленно извещал связанные с локаторным постом службы; его дело найти и не упустить цель, а там, кому положено, проверят, кто идет по фарватеру, не свернет ли тайно или по заблуждению в наши воды, надо ли выйти на перехват и доставить нарушителя в досмотровую бухту или можно просто предупредить и вернуть на международный фарватер — на то и существует морская пограничная охрана, катера которой стоят лагом у Рёншера и Маккилуото. Все это обстоятельно объяснил мне Виктор Корягин, дежурный радиометрист, на попечении которого оставил гостя Кондратьев — он снова побежал вниз отдать какие-то распоряжения, потому что приближался шторм.

Я выглянул в окно — стало совсем темно, не было видно, на чем стоит маяк. Может быть, скалу уже затопила волна — дойдет ли она до плиты, где жарятся макароны, до огня, проникает ли море так глубоко в дом, туда, где баня и продсклад.

Словно угадав ход моих мыслей, Корягин стал рассказывать про солдата из базовой самодеятельности, который тоже остался тут ночевать, но постеснялся спросить, где галюн, вышел на скалу поближе к морю, пристроился там в расчете, что волна смывает со скал все, а волна набежала покруче да смысла самого солдата. Так что пришлось Корягину разыскивать его в море с помощью локатора. А чего бы проще — не стесняться и по-житейски спросить матросов... Это был прозрачный намек, но я не стал ни о чем расспрашивать, полагаясь на собственную сообразительность. Тем более что море уже поглотило всю сушу у подножья маячного дома и площадка адмиральского трапа нависала над самой высокой волной...

Очевидно, не только Атом Морозихин был склонен в этот вечер ввести меня разом в атмосферу жизни маяка, ошеломить наповал, чтобы погом, если я выстою, ко всяким страхам не возвращаться. Корягин сказал, что представители — актеры и другие пришлые люди — на скале не задерживаются. Приходят только в тихую погоду, по-быстрому инст-

руктируют, разносят, спешат в течение часа-двух выдать все, что в ином месте растягивается на несколько суток, и поскорее возвращаются на борт катера или другого судна. Больше двух часов катера не ждут. Ночующих не бывает. Из-за непогоды тут можно застрять на неделю и на две. Два-три балла — не шторм, но на Каллбоде все — стихия. Прокиснешь тут на одних макаронах с мясом.

Балтика, как известно, сурова и беспокойна, полный штиль бывает только летом. Во всем, конечно, свои минусы и плюсы. Хорошо, когда солнышко и можно уволиться на осыхающую остовую банку, даже подзагореть там. Но долгий штиль вреден. Гигиенически. Море — оно свое дело знает... А уж про осень, то есть про то время, когда мы ведем столь милую беседу, говорить не приходится.

Даже не понятно, как проскочил сегодня к скале рейдовый катерок и как это удалось шлюпке сделать к нему два рейса. На шлюпке тут вообще лучше не ходить. Однажды пошли в кино на Маккилуото. Рискнули. Назад шли — шторм. Сносит за пределы базы. Заблудились. Был переполох на весь Порккала-Удд. С островов дали пятнадцать ракет. Но к скале вернулись. Мокрые, полна шлюпка воды, а дошли.

А то еще был случай, когда лейтенант в первый день своего назначения отправился на международный фарватер под парусом. Корягин дежурил. Их куда-то в сторону занесло — попали на экран локатора. Раз радиометрист zasek — обязан доложить вверх. Подвел, конечно. Но служба прежде всего. Расследование: кто, да что, да почему вышел в море. Звонки, переговоры, запросы. Лейтенант давно вернулся, уже парус уложили в шхерный проход. А переговоры все продолжались. Как обмен нотами между государствами. По первому разу — внушение. А могло быть...

А вот зимой по льду пешком двадцать пять километров надо идти до берега через торосы в десять метров высотой. Только один раз повезло — затерло большую льдину на траверзе Каллбоды, неделю играли в футбол. Это еще когда был жив Боцман. Уж он по этой льдине гонял! За тюленем гонялся. Бросится за ним, а тот в полынью. Вот этот-то тюлень, наверно, и попутал Боцмана... Так я услышал третий вариант о Боцмане.

Пришел старшина мотористов Рыхлевский, харьковчанин с усиками. Он попросил у Корягина свой аккордеон.

— Опять зубы заболели? — спросил Корягин с издевкой.

— Тебе, наверно, писем сегодня нет, потому ты такой разговорчивый, — сказал Рыхлевский, взял аккордеон и унес в дизельный отсек.

Корягин сказал, что это его друг и он на него не в обиде. Писем сегодня Корягину нет, но и Рыхлевский вряд ли получил то письмо, которое хотел бы получить. С некоторых пор его мучает «зубная боль», и он просится у лейтенанта на берег к стоматологу. Но лейтенант знает, что это за боль, и увольнительной не дает. Я, конечно, расспросил, что это за боль, и узнал, на что намекала мне в базовой поликлинике милая женщина — врач-стоматолог.

У Рыхлевского однажды действительно заболел зуб, и, несмотря на шторм, к скале отправили врача. Вышел корабль посolidнее — буксир, способный успешно справиться с волной. На буксире — бормашина и зубной врач, лейтенант медицинской службы. Она оморачивалась впервые. С риском для жизни маячники выгребли к буксиру. Они торопились, волна ежеминутно грозила разбить драгоценную шлюпку о борт корабля. Но женщина-врач не хотела прыгать в шлюпку. «Вы меня утопите!» — кричала она, плача, цепляясь за поручни и леера, боясь расстаться с палубой буксира. Пришлось матросам запеленать ее в брезент и вслед за бормашинной бросить в шлюпку. Ее доставили на скалу сухую,

но без чувств. В тепле она быстро пришла в себя, поправила рыжеватые волосы и так просто улыбнулась, что у всех матросов вдруг смертельно заболели зубы. Рыхлевского она излечила, но ненадолго. Болезнь превратилась в хроническую...

Напрасно я тревожился за шхерный проход, плиту и макароны. Оказалось, что там есть барьерчик в двух метрах от плиты, он обозначает предельную отметку наводнений, и кухонный огонь почти застрахован от случайностей. Передо мной поставили полную жестяную миску, вероятно, предназначенную на ужин для целого отделения.

А потом пришел Кондратьев, и мы поднялись с ним вверх, и еще вверх, и еще — там начиналась железная лестница, она привела нас в тесную, но светлую радиорубку, к матросу Борису Андрееву. К этой рубке мы прошли через шпалеры свежего, еще не просохшего белья, постиранного, разумеется, мужскими руками.

Андреев нас не заметил: он продолжал с кем-то телефонный разговор. Кондратьев дал мне знак, я остановился не дыша. Андреев разговаривал с девушкой. А девушка находилась на другом конце радиотелефонной связи — в Ленинграде.

Мы вышли из рубки, и Кондратьев тут же раскрыл тайну Андреева, о которой знал, конечно, весь личный состав маяка.

Флотом в то время командовал однофамилец радиста, только не матрос, конечно, а адмирал. А у матроса Андреева в Ленинграде осталась подруга. То, что он не был больше года на берегу Порккала-Удда, не так огорчало матроса, как долгое молчание его ленинградской подруги. И однажды он решился на служебное нарушение — вызвал с маяка Таллин. Таллин ответил и быстро соединил его с Ленинградом. В Ленинграде он нарвался на какую-то сварливую девицу на узле связи — она не пожелала его соединять ночью с городской телефонной сетью, а вместо этого без предупреждения соединила с оперативным дежурным. Тот спросонья спросил строго: «Кто говорит?» Матрос растерялся и ответил кратко: «Андреев». — «Есть, есть, товарищ Андреев. Что угодно?» — «Прошу соединить с городом». — «Номерок?» Андреев назвал номер, его соединили, он услышал среди ночи голос своей подруги, та никак толком не могла понять, откуда он звонит и почему так сухо и невнятно разговаривает. А Андреев опасался, что, заговори он нежнее, на линии догадаются и разъединят. Он и не подумал, что никто не позволит себе адмирала подслушивать. С тех пор он иногда вызывал Ленинград, неизменно пользовался у вахтенных телефонисток успехом, хотя ни разу не назвал себя адмиралом Андреевым, а говорил просто — Андреев, и это было чистой правдой. А может быть, телефонистки слышали, о чем разговаривали эти двое, разделенные сотнями миль и воинским долгом, и потому сознательно шли ему навстречу, потому что ни одна девушка не может остаться равнодушной и черствой к чужой разлуке и чужой любви.

Мы снова затопали по железным ступеням и вышли на самую вершину маяка, в стеклянный фонарь. Цветные фильтры выше человеческого роста и громадные цилиндрические линзы окружали маячный огонь — горелки, питаемые ацетиленом. Снаружи вилась тучей мошкара. Кондратьев сказал, что весной мошкара затмевает свет и с ней придется вести борьбу. Каждое утро маячник Виктор Козлов и его помощник протирают линзы замшей и спиртом, снимая налипший жирный слой.

Всегда на маяках соседствуют две службы — маячная, зажигающая огонь, и СНиС — наблюдения и связи, ныне именуемая иначе: технического и визуального наблюдения. Так что Козлов, хоть и подчиненный лейтенанту Кондратьеву как «старшему в гарнизоне», был в какой-то

степени автономным начальником. К нему на Каллбоде такое было отношение, как в иных местах к медикам: он лицо, ответственное за спирт. Баллоны с ацетиленом внизу, в каменном гроте под шлюпкой, тащить их вверх одному нелегко. Но Козлов тащит. Скопидом.

Вокруг фонаря кольцом шел зыбкий мостик из сварных труб, пристроенный после войны. Менять внешний вид маяков нельзя. Но все равно из-за войны все лощи пришлось переписывать и перепечатывать заново, потому что многие маяки были разрушены, поэтому смогли пристроить и мостик.

Мы вышли на него и увидели яркие огни Хельсинки. Днем в ясную погоду виден и остров Нарген под Таллином. Шел по международному фарватеру большой пароход. Козлов сказал, что это «Баторий» с борцами за мир из разных стран. Навстречу ему чинно, не сворачивая с пути, полз буксир с баржей.

Козлов сказал, что порядок на морских путях нужен всем. Вот о маяках — договариваются всегда и всюду, в чьих бы руках ни находился огонь. Он горит и должен гореть от сумерек до рассвета. Иначе нельзя плавать.

Выйдя из фонаря на лестницу, мы некоторое время задержались напротив площадочки с рельсами, перед нишей, подобной слуховому окну на чердаках. Это — ТПС. Оттуда донесся щенячий визг, тотчас заглушенный, будто псу заткнули пасть рукой. Кондратьев сказал:

— Наш Атом — невыносимый человек. Служит неплохо, но все время устраивает фокусы...

Я ждал разъяснений, но он больше ничего не добавил, и я понял, что ему не хочется входить в подробности: щенячий визг на боевом посту — нарушение, и если гость не расслышал его, то не стоит на этом фиксировать внимание...

Мы спустились вниз, и Кондратьев уступил мне свою каютку — закуток в радиолокационной рубке. В каютке было темно, она без окна, фанерная перегородка и скрипучая дверца отделяли ее от остального помещения. И хорошо, что темно, потому что во всех остальных помещениях окна, в какую бы сторону они ни глядели, выходили на море и спать с непривычки было беспокойно. Я проспал допоздна и вышел на свет божий, смущенный тем, что нарушил флотское расписание. На меня был заявлен «расход» — накормили так же сытно, как и накануне. Я твердо решил войти в ритм местной жизни и в дальнейшем не опаздывать. Но это удалось сделать не сразу, потому что ложились спать мы поздно, днем матросов расспрашивал я, а по вечерам они требовали рассказов, бесед, воспоминаний. Беседчиков тут ценили, хотя относились к ним строго и требовательно.

Однажды я проснулся, услышав за дверью рубки, в операторской, сердитый голос Корягина.

— Ты человек или Бобиков? — кричал он на кого-то. — Я тебя спрашиваю! Как можно городить такую чушь!..

После обеда я осторожно спросил Корягина:

— На кого вы чуть свет кричали?

— Да на нашего гитариста-аккордеониста, на харьковчанина. Хороший парень, но враль невероятный. Что Атом, что он. Спросите его, как он живет дома, в гражданской жизни. Начнет хвастать: пианино у нас, сестра играет Бетховена, по вечерам собирается харьковская интеллигенция... Я ездил в отпуск, ночевал у него: не то что пианино, койку негде поставить...

— Ну, это не самое страшное вранье. А как вы его называли — Бобик, что ли?

— Бобиков.— Корягин смутился.— Пропагандист тут один есть. Ну, конечно, офицер. Наше дело матросское. Судить о нем не берусь. Одного не понимаю: как можно его держать в пропагандистах. Подхода нет к людям. Все у него расписано по схеме. Сам-то курсы кончал. Четыре класса, а потом курсы. А у нас даже Гроза Гаек, губастый наш, и тот сёмь классов одолел. Вот к нам приходит доктор Стрелков — настоящий пропагандист. Придет — мы его не столько про болезни спрашиваем, сколько про международное положение. Замечательно рассказывает. Хоть и не его это служебное дело. А этот,— Корягин вспомнил и рассмеялся: — «Товарищ Эйзенхауэр»... Это Бобиков так с ходу отмолил. С тех пор его так и зовут на маяке: «Товарищ Эйзенхауэр»... А он хитрый. Видит, что у доктора хорошо получается, всегда норовит к нам с доктором пожаловать. Сначала скажет вступительно: «Итак, товарищи, сегодня мы поговорим о послевоенном положении в США. Кризис послевоенной экономики, товарищи, неотвратно приближается. Вот, значит, товарищ доктор сегодня вам про этот кризис и расскажет». И дает доктору слово. Выходит, вроде проводит он, Бобиков. А доктора привлекает как актив. А потом, в конце, сам, конечно, «подводит итоги», бабки подбивает. На материке докладывает: «Провел беседу с матросами Каллбоды. Очень даже активно прошла беседа. Кроме меня, выступил наш доктор...» Ребята к его приходу всегда придумывают какое-нибудь словечко попонятнее, иностранное, из международных обозрений, и требуют объяснения. А он запишет в книжечку и обещает: «Хорошо, этот вопрос я проясню в базе...»

— При чем все-таки ваш друг? Что у него общего с Бобиковым?..

— А-а, это я по делу,— рассмеялся Корягин.— Он ночью стоял вахту, доложил, будто видел самолет. У меня локатор. Точная техника. Будь самолет — аппаратура не пропустит. Я ему объясняю: ты принял за самолет падающую звезду. А он долдонит свое. Хорошо, лейтенант не спал, тоже звезду видел, не дал поднять панику на весь гарнизон. Ну, а у дружка моего самолубие вспалилось. Уперся, как Бобиков...

Погода все дни была мрачной, корабли шли мимо маяка и вдали от него. Кроме вахт, заняться было нечем. Один только матрос, которого прозвали Красилем, продолжал свое дело и в непогоду: море не доставало до его люльки. Он красил дотемна. А потом и он присоединился к общим забавам — домино, шахматы, заезженные пластинки на заезженном патефоне, беседы с приезжим, уже выжатым до предела, и песни под гитару или аккордеон Валентина Рыхлевского. Была, конечно, и своя песня — песня Каллбоды, которую приятным баритоном исполнял именно матрос-красиль; слушая его, я вспомнил о привете синоптика с Рёншера — такие голоса девушкам любви. В этой песне, как во всех самодеятельных сочинениях, исполняемых на другие, уже известные мотивы, были и волны, омывающие гранит, и раскаты прибоя, и чайки, и приветливый «трехцветный огонь маяка», но в той атмосфере, в которой мы жили в эти штормовые дни, песня казалась мне верхом поэтического мастерства и романтизма. И я был рад, когда на обороте фотографии, изображающей Каллбоду, солист Коля, «пострадавший за любовь», от имени всех обитателей маяка написал и подарил мне ее текст.

Иногда я выглядывал за дубовую дверь в наружной стене на открытую всем ветрам площадку адмиральского трапа, нависшую над морем, штурмующим наш замок. Обычно площадка была пуста, на ней не задерживались. Но однажды днем я застал там Атома за древним, уже забытым было мною детским занятием: Атом швырял в море камушек за камушком, стараясь пустить камушки по поверхности и подальше. Он смутился, увидев меня, но тут же овладел собой и, достав из кармана бушлата пригоршню гальки, предложил ее мне, как предлагают семечки.

Я сел рядом и тоже стал бросать камушки, но они тонули. А его камушки скакали по убегающей от подножья волне. К нам присоединился Рыхлевский: тоскливее других поглядывающий на море. Не только из-за милого стоматолога на станции Киркконумми. Настал уже его час прощания с Каллбодой и военной службой, а уйти нельзя. Вышел к нам и кок, которого уважительно называли Иваном Ивановичем; когда на маяке крутили фильм, кок смотрел картину вместе со всеми, хотя это происходило перед ужином; на камбузе его подменял парторг из района визуального и технического наблюдения, специально приходивший для этого на том же корабле на Каллбоду. У кока на всех наружных площадках вокруг здания стояли ящики с землей, привезенной с материка. На площадке адмиральского трапа рос в ящике зеленый лук. Кок проверил посевы и остался с нами — стало тесно, но теплее. Атом уже не швырял камушки, потому что кок не любил, когда «пугают рыбу». Это его слабость: рыбы кругом много, на всех постах ее ловят и жарят, а на Каллбоде нет — глубоко, с адмиральского трапа не половишь, да и не идет она сюда... Мы помусолили уже не раз переговоренное, потом я вспомнил и спросил, почему это на Каллбодe никто не предложил мне написать комедию о Бургарове.

— Не актуально, — отрезал Рыхлевский. — Дальше той банки не увольняемся и потому не вступаем в личный контакт с комендатурой.

— Посмотрим, что ты, милый, запоешь, когда отправишься с чемоданчиком и своим аккордеончиком на станцию Киркконумми, — сказал Атом. — Не случилось бы контакта в последний день твоей доблестной службы. Да еще при свидетельницах...

— Любишь ты, Морозихин, портить людям настроение, — сердито произнес Иван Иванович. — Лучше бы присмотрел за своей шавкой, чтоб не сверзилась с чердака.

— Застрахована. — Атом рассмеялся. — Разрешили бы, Иван Иванович, погреться ей на камбузе?..

— Хватит, что ты сам от собачьего духа никак не проветришься, — сказал Иван Иванович, встал и ушел.

Атом еще пуше рассмеялся и объяснил, что кок не может ему простить запрещения ставить ящички с посевами на площадке перед нишей. А там же — такая техника. Недопустимо. Атом замолотил что-то про памятную для кока встречу все с тем же Бургаровым на пороге «Гадкого утенка», когда это заведение еще называлось «Белым лебедем», и стал уверять, что именно по вине кока там был введен сухой закон, а самого, мол, виновника отправили на Каллбоду выращивать витамины в ящиках. Потом он позлословил о каком-то матросе, который словчил на целых две недели уволиться на материк — аппендицит вырезать: у всех есть аппендиксы, а у него, видите ли, воспалился... Он явно тянул Рыхлевского на спор, но тот надулся и молчал.

Наконец Рыхлевский заговорил про свое: адреса вот у демобилизуемых взяли давно — значит, все в порядке, а оказии все нет; барахлишка накопилось много, одних музыкальных инструментов три штуки, будет трудно при свежей погоде грузиться, но музыка в его семье — первое дело, поскольку дома рояль, Бетховен, харьковская интеллигенция — словом, все, что я уже слышал от его друга... Тяжело ждать после стольких лет службы этого последнего дня.

Но море уже успокаивалось, хотя волна опала не сразу.

Вечером, когда все небо покрылось звездами и за окном локаторной мы снова увидели обнаженную скалу, Кондратьев сказал:

— Хотите пройти под парусом? Вообще-то не положено. Воды нейтральные, пограничники требуют оповещать их заранее. Но если начнем

запрашивать — в лучшем случае волынка на всю ночь. А так побродим, далеко не уйдем и вернемся...

Ему не хотелось быть многословным, но хотелось меня убедить. Он догадывался, что я уже предупрежден о его шлюпочных увлечениях. Он вдруг сказал, что летом шлюпка Каллбоды на соревнованиях брала призы. Но чтобы остаться в спортивной форме, надо тренироваться. А какая же тренировка, если на каждый выход в море нужно получить разрешение? И вообще: Каллбоде положены повозка и лошадь, а не шлюпка. Да, да, это точно: подразделению на острове или на материке полагается выезд. По штатному расписанию. Даже зернофураж запланирован. А шлюпка — не кобыла, шлюпка — роскошь. Она, конечно, есть. Но в то же время она вне штата. Она, как выражается Бобиков, не д о о ф о р м л е н а. Не проведена по инстанциям до верха. И на нее смотрят сквозь пальцы. Был случай. Чужая яхта нарушила границу. Нарушители тут выработали несложную тактику: чуть что — ускользают на международный фарватер, катера не успевают догонять их. И тут пограничники не поспевали. А в море в ту ночь, конечно, болталась шлюпка Каллбоды. Под парусом, на самоволке. Увидели удирающую яхту — конечно, пошли наперехват. Пограничники очень за это благодарили. Сказали, что по всем статьям положено шлюпочников наградить. Но потом где-то спохватились: а почему, собственно, шлюпка очутилась в море? Самоволка!.. Так что — ни награды, ни влета: за самоволку полагалось наказать, но кто-то мудро определил, что одно покрывает другое...

Корягин у радиолокатора безучастно слушал наш разговор, но когда лейтенант кончил меня агитировать и повторил приглашение, Корягин оторвался от экрана и пристально на меня посмотрел. Я согласился и, кажется, обрадовал его этим.

Мы вышли на «банку Зырянова». В лодиях нет такого названия, но я уже знал его происхождение.

Зырянов и лейтенант всю зиму купались в проруби. Характер у них сходный, оба взбалмошные. Другие парились в бане, а эти — в прорубь. Подвяжет Зырянов веревку к камню на банке и с банки — в воду. Зырянов — парень заводной, он служил юнгой на крейсере «Макаров», стоит ему сказать: «Что твой «Макаров» — галоша», — он два часа не успокоится. Потому шторм, не шторм — лезет в воду. Однажды в баню прибежал Шевляков, маячник, помощник Козлова; он кричит: «Зырянов тонет!» Выскочили шестеро — лейтенант и команда шлюпки, все голые; столкнули шлюпку, а волна штормовая. Невозможно идти. Зырянов торчит на дальней банке: туда доплыл, обратно не может. Сидит, держится за камень, волна дернет его, смоем — он еле выгребает назад. А банку ту уже заливают. Ему кричат: «Прыгай!» А он не может заставить себя разжать ладони. Наконец волна подхватила его, швырнула вверх за банку — столб воды, увенчанный задницей, — картина! Протянули ему весло и на буксире вытащили к гроту. Он тут еще заупрямился. Сам, говорит, встану, сам вылезу. Встал и упал. Окоченел. Еле отогрели в бане. Конечно, холодной водой. Так и осталось за банкой прозвище — «зыряновская»...

Мы пошли шестером, меня включили в шлюпочный расчет, дали на пиджак бушлат, а на голову чью-то бескозырку — она была мала мне, пришлось завязать ленточки под подбородком. Поставили фок, подняли кливер на носу; тихо, в темноте вышли в море. Мне тоже дали что-то подержать. Все время рвались шкоты и фок почти вырывался из рук, но Кондратьев был деликатен и молча меня поправлял. А на носу Атом возился с молодым матросом, новичком, который не мог справиться с кливером, упуская повороты на галсах. Так что не один я оказался лопухом. Кондратьев командовал вполголоса, отрывисто, словно боялся, что в

базе могут услышать и опять ему попадет. Поскрипывало дерево. Ветер хлопал полотном. Со свистом уходила за корму вода — никогда не думал, что движение под парусом такое быстрое. Все было таинственно и торжественно. От стука дизелей Рыхлевского и особенно от таракхенья одноцилиндрового мотора, которым заряжали аккумуляторы, когда бездействовал ветряк, все эти дни трещала голова, и напрасно я глушил боль таблетками с Большой земли. А тут сразу стало легко.

Маяк переписывался с каким-то кораблем. Атом сказал:

— Наш МГУ взял позывные у эскадренного тральца, идущего в Порккала.

МГУ — это, конечно, было для меня, москвича: маяк действительно ночью казался высотным зданием на море, как МГУ на Ленинских горах.

Мы вернулись к скале, и я испытал чувство такое же, как когда-то после ночных полетов на бомбежку Тамани. Мы уже были друзьями — как с тем экипажем. Мы шли с Кондратьевым по скале, взявшись за руки, и он рассказывал о своих надеждах и обидах, о том, как хочется ему стать штурманом и как трудно сломать странное отношение к Каллбоду. Все норовят списать сюда за проступки. А Кондратьев не хочет брать штрафных. Не из предвзятости, а из принципа. Это честь служить в таком трудном месте, а не наказание. Ребятам обидно, когда сюда присылают «на исправление». Да и сам Кондратьев пришел по своей воле. Надоело быть начальником клуба. Какой же он моряк — начальник клуба. «Калиновую рошу» крутить. Или «Антон Иванович сердится». Ума не надо — крутить днем и ночью одну и ту же ленту про Антона Ивановича и Симочку, которых уже ненавидит весь флот...

Какое счастье, что я не спросил его про Симочку. А ведь подмывало...

Утром я проснулся от луча солнца, проникшего сквозь скрипучую фанерную дверь в каютку. Я нашарил возле себя очки. Нашел трусы. Не было только моего костюма, на который все эти дни матросы поглядывали, как на адмиральскую форму. Не было ни рубахи, ни галстука, даже шляпа, столь не подходящая для этого моего путешествия, куда-то исчезла, словно ветер наконец подхватил ее и унес в море. Странно. Я отлично помнил, что всю одежду сложил на табуретку, а поверх нее положил очки.

Я выскочил в рубку, озаренную полным утренним светом. Локатор был выключен. Оператора возле него не было. Я выглянул в окно.

Скала перед зданием и остовая «банка Зырянова», куда уходили на увольнение, как на пляж, выступили из опавшего моря и уже обсохли на ветру. На скале, в затылок, стояли полуголые матросы в одних трусах. Чуть впереди, в моем костюме, в рубашке, повязанный галстуком, в моих штиблетах и в моей шляпе красовался радист Андреев. Костюм едва сходил на его мощной груди, но был натянут на среднюю пуговицу. Перед ним пританцовывал лейтенант Кондратьев, наводя на фокус фотоаппарат и тщательно выбирая ракурс. Потом Андреев отошел в сторону, снял мой пиджак, мои брюки, мой галстук, рубаху, штиблеты, остался в трусах и шляпе и нехотя передал одежду радиометристу Корягину. Тот потонул в моем костюме, но тоже застегнул его на среднюю пуговицу, предварительно затянув на шее галстук, вывязанный раз и навсегда. Потом Корягина сменил харьковчанин — примерно моего роста. Но за харьковчанином в очереди стоял калужанин — Гроза Гаек, он же Факир Погоды. Хорошо, если он будет фотографироваться в пиджаке нараспашку.

Дальше я наблюдать не мог: в рубку возвращался Корягин, я поспешил в каютку, лег в постель и зажмурился.

Время тянулось бесконечно. я мысленно отсчитывал секунды и минуты, необходимые каждому из стоящих на скале в затылок матросов,

чтобы растерзать мой вольный мундир. Я набавлял еще минуты на фотографические усилия лейтенанта, на перезарядку кассеты. Прошла, казалось, вечность, наконец осторожно, со скрипом приоткрылась дверца, и кто-то сложил на табурете мои штатские доспехи. Для приличия я еще полежал, отсчитывая до двухсот. Потом встал, оделся и вышел.

Корягин сидел у выключенного экрана, предельно сосредоточенный. Но я видел, что он спиной чувствует каждое мое движение. Я прошел вниз на камбуз, где на меня снова был заявлен «расход». На этот раз я не считал себя нарушителем флотского распорядка.

Кок Иван Иванович, успевший за дни шторма снять урожай из всех ящиков и завершить новую посевную, надел вдруг фартук, он готовил салат — все поняли, что ожидается приход начальства.

Тысяча дел возникла у матросов Каллбоды с приходом очередного корабля оттуда, уйма забот. Спустился с высоты своей «автономный начальник» Виктор Козлов и покатил к гроту пустые синие баллоны — тотчас на звон из шхерного прохода выскочила черная собачонка, затыкала, мчась то за баллонами вдогонку, то перед ними, пока на нее не цыкнул Атом Морозихин; оберегая собачонку от беды, он взял ее на руки и унес в здание: лейтенант Кондратьев не желал, чтобы она тявкала и мелькала перед начальством. Атом снова вышел на скалу, поглядел вверх на маляра, спешившего до прихода катера довершить окраску, и, ни к кому не обращаясь, но так, чтобы слышал лейтенант, сказал:

— За такую работу на Рёншере гражданские мастера взяли десять тысяч рублей. Матрос, конечно, на это не претендует. Но хоть бы увольнением поощрили. Даже не на материк, а на соседний островок...

Кондратьев поджал губы, взглянул на Атома так, что тот понял: пора снаряжать шлюпку.

И снова из шхерного прохода вышли матросы с веслами на плече. Они шагали к каменному наросту, похожему на орудийную башню; над гротом заскрипели блоки изогнутых стрел, матросы расправили снасть и быстро спустили шлюпку на воду.

Атом Морозихин надел очки и сел на руль. Козлов погрузил свои пустые баллоны, тоже прыгнул в шлюпку и занял место загребного. На рейде уже болтался катер, только не Павла Канева, а другой, поболе ростом; шлюпка пошла к нему за прибывшими начальниками. Пока катер будет разгружаться, начальники должны успеть справиться все свои дела.

Первым рейсом шлюпка доставила пассажиров, и только Козлов успел прихватить кое-какой груз — не баллоны, а пузатую бутылку, опечатанную сургучом, с чистойшей, играющей на солнце прозрачной жидкостью. Он переждал, пока пройдут начальники, потом торжественно пронес эту бутылку в здание. Вторым рейсом Козлов доставил свои синие баллоны, тут же перенесенные им в грот. Без чьей-либо помощи.

Выгрузили еще одну бочку с огурцами — веников на сей раз не было. Не было и почты, кроме двух экземпляров «Блокнота агитатора» и еще какого-то тонкого журнальчика.

Рыхлевский извелся: он давно простился, сложил возле шлюпки весь свой оркестр — гитару, мандолину, аккордеон — и даже твердо определил, какой выберет путь на Большую землю. Можно уйти морем через Таллин, можно уехать железной дорогой в Ленинград через станцию Киркконумми.

Рыхлевский избрал этот путь. Как говорил Атом, «мимо поликлиники».

А тут выяснилось, что катер доставил масло для дизелей, и Рыхлевскому напоследок пришлось заняться разгрузкой масла вместе с преем-

ником. молодым мотористом, новичком. Корягин им помогал. Когда новичок, откатывая бочку с маслом, отходил в сторону, Корягин и Рыхлевский, шипя, о чем-то спорили и ругались, и я опять услышал: «Ты человек или Бобиков?»... Да еще новичок-моторист, все время с восторгом глазевший на музыкальные инструменты, желая угодить заслуженному старшему товарищу, сказал:

— Весело, наверно, было ребятам служить с вами...

Рыхлевский, укладывая свое имущество в шлюпку, внезапно сунул этому новичку-мотористу свой аккордеон. Тот растерялся; выходит, выпросил. Но его оттиснул в сторону Корягин. Он сказал Рыхлевскому:

— Не волнуйся. Приеду — доставлю в сохранности.

Рыхлевский махнул рукой. Они обнялись, и шлюпка пошла к рейдовому катеру.

Мы удалялись от маяка. Рыхлевский сидел, привалясь позади рубки, и сумрачно смотрел на окрашенный суриком замок, в котором провел столько лет. Я подумал: «Неужели ему жалко аккордеон? Или расставанье тяжелое...» Рыхлевский сказал:

— Понимаете, ведь можно как человека подозвать: товарищ матрос, ко мне. А то, подумайте. Стоит он на перекрестке — его не обойти. Идет человек, может быть, не один, может быть, с девушкой — ему все равно. Пальчиком, пальчиком манит... Унизительно...

Ну вот, он тоже заговорил о Бургарове. Добился Атом Морозихин, сделал свое черное дело.

...А через несколько дней я шел мимо Каллбоды на стотоннике на траление. На мостике стояли три офицера: командир, чем-то очень похожий на Генку Кондратьева; штурман, несколько самоуверенный, любящий похвастать морской эрудицией и бросающий мне в блокнот эдакие фразы: «Стокгольм? Хороший городок. Впрочем, город — дело второе. Главное, знать вход»; и лейтенант-химик, всех нас замучивший своей наукой. Пока мы стояли у пирса, неистовый лейтенант-химик Янковский таскал меня по вечерам на берег, объяснял устройство дымгранаты и швырял ее в море, поднимая на ноги всех вахтенных; возвращаясь в каюту, он не давал мне спать, бубня про конструкцию атомного двигателя да еще про девушку в Ленинграде, которая только тем и хороша, что тоже химичка. А когда мы вышли в море, он затеял учения и заставил меня надеть на штатский костюм костюм резиновый с сапогами и герметичным шлемом, предварительно растолковав, какие бывают от химии ожоги. И вот муки эти позади, мы шли мимо Каллбоды молча и стараясь не глядеть на нашего мучителя. После перенесенного я все же чувствовал себя на ступень выше и в заговоре с остальными мучениками на мостике, которым тоже отныне атомная радиация нипочем. Но тут меня одолел зуд, так и подмывало утереть химику нос и показать, что я, штатский, кое-что повидал помимо химии и причастен даже к Каллбоду. Увидев людей на осушающей банке возле Каллбоды, я сказал, рассчитывая, что химик услышит:

— Банка Зырянова.

— Ничего подобного, — быстро ответил химик. — Остовая банка.

— Нет, банка Зырянова!

— Вы ошибаетесь, — вмешался штурман Малеев. — Таких банок на Балтике нет. Есть Макарова. Есть Лазарева. Игнатьева, Иродова, Козакевича, Кузнецова, могу по алфавиту, могу по фарватерам, как вам угодно. Но банки Зырянова нет.

Я объяснил штурману, изучающему входы и выходы различных портов Балтики, что банка Зырянова все же существует. Имени матроса Георгия Зырянова.

— Уж не с «Адмирала Макарова» ли эта знаменитость? — спросил Малеев, очевидно, служивший раньше на этом крейсере.

Я подтвердил, что именно с крейсера «Адмирал Макаров».

— Тогда я понимаю вашу шутку, — успокоился штурман Малеев. — Его списали с крейсера за водобоязнь. И отовсюду списывали. Плохой матрос. Плавать не умеет. Значит, докатился до Каллбоды.

— Почему докатился?!

— Дальше ехать некуда. — Малеев рассмеялся. — Там плавать категорически запрещено. Вот ему и уют.

Спорить с ним я не стал.

* * *

На Балтику меня тянет едва ли не каждый год. Позапрошлым летом, идя ночью на корабле из Кронштадта, я торчал на мостике, донимая вахтенного офицера просьбой предупредить меня, когда откроется Каллбода. Он не совсем понимал моего интереса — маяк не наш, он несколько в стороне от нашего курса, — но просьбу мою выполнил. Когда справа возник белый проблесковый огонь, он тихо сказал: «Вижу Каллбоду». Я тоже увидел в ночи ее характерные проблески: свет, интервал, свет, интервал, свет, большой интервал... Маяк принадлежит другой стране, но режим огня тот же. Это дало толчок воображению, мне показалось, что я вижу скалу, дом, грот, ветряк, шхерный проход и даже огонь на камбузе. Конечно, камбуз могли перенести в иное место, но все, что снаружи, наверняка осталось так, как было. Только что толку в воображении, если не знаешь живущих на маяке людей, говорящих на другом языке.



МАРИНА ЦВЕТАЕВА

★

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ*

Наследие Марины Ивановны Цветаевой (1892—1941) все более становится — в том лучшем, что ею создано,— достоянием любителей поэзии.

Публикуемые ниже стихотворения М. Цветаевой не вошли ни в один из ее сборников, в том числе и в последнее советское издание «Избранного» (М. Гослитиздат, 1961). В этих стихах, написанных М. Цветаевой в годы эмиграции, привлекает их резкая антибуржуазная и антимеркантильная направленность, звучит любовь к русской земле и родной речи, к Пушкину, который всегда был для нее светочем поэзии.

ШКОЛА СТИХА

Глыбами лбу
Лавры похвал.
Петь не могу!
— Будешь! — Пропал

(На толокно
Переводи!),
Как молоко,
Звук — из груди.

Пусто, суха:
В полную веснь
Чувство сука.
— Старая песнь!

Брось, не морочь!
— Лучше мне впредь
Камень толочь.
— Тут-то и петь!

Нáзло врагу.
— Коли двух строк
Свесть не могу!
— Кто тогда мог?!

— Чтó я, снегирь,
Чтoб день-деньской
Петь? — Не моги,
Пташка, а пой!

* Подбор и подготовка текстов В. Швейцер.

— Пытка! — Терпи.
 — Скошенный луг —
 Глотка. — Хрипи:
 Тоже ведь — звук!

— Львов, а не жен
 Дело. — Детей:
 Распотрошен
 Пел же — Орфей!

— Так и в гробу?
 — И под доской.

.

— Петь не могу!
 — Это воспой!

Медон, июнь 1928 г.

ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ К ПУШКИНУ»

1

Бич жандармов, бог студентов,
 Желчь мужей, услада жен,
 Пушкин — в роли монумента,
 Гостя каменного — он,

Скалозубый, нагловзорый
 Пушкин — в роли Командора?

Критик — ноя, нытик — вторя:
 «Где же пушкинское (взрыд)
 Чувство меры?» Чувство — моря
 Позабыли — о гранит

Бьющегося? Тот, соленый,
 Пушкин — в роли лексикона?

Две ноги свои — погреться
 Вытянувший и на стол
 Вспрыгнувший при самодержце,
 Африканский самовол —

Наших прадедов умора —
 Пушкин — в роли гувернера?

Черного не перекрасить
 В белого — неисправим!
 Недурен российский классик,
 Небо Африки — своим

Звавший, невское — проклятым!
 Пушкин — в роли русопята?

К пушкинскому юбилею
Тоже речь произнесем:
Всех румяней и смуглее
До сих пор на свете всём, —

Всех живучей и живее!
Пушкин — в роли мавзолея?

Уши лопнули от вопля:
«Перед Пушкиным во фронт!»
А куда девали пёкло
Губ, куда девали — бунт

Пушкинский? Уст окаянство?
Пушкин — в меру пушкиньянца?

Что вы делаете, карлы,
Этот, голубей олив,
Самый вольный, самый крайний
Лоб — навеки заклеим

Низостию двуединой
Золота и середины?

«Пушкин — тога, Пушкин — схи́ма,
Пушкин — мера, Пушкин — грань...»
Пушкин, Пушкин, Пушкин — имя
Благородное — как брань
Площадную — попугай!

— Пушкин? — Очень испугали!

(1931 г.)

2

СТАНОК

Вся его наука —
Мошь. Светло — гляжу:
Пушкинскую руку
Жму, а не лижу.

Прадеду — товарка:
В той же мастерской!
Каждая помарка —
Как своей рукой.

Вольному — под стопки?
Мне, в котле чудес
Сём — открытой скобки
Ведающей — вес,

Мнящейся описки —
Смысл. Короче — всё.
Ибо нету сыска
Пуще, чем родство!

Пелось как — поется
И поныне — так.
Знаем, как «дается»!
От тебя, «пустяк»,

Знаем — как потелось!
От тебя, мазок,
Знаю — как хотелось
В лес — на бал — в возок...

И как — спать хотелось!
Над цветком любви
Знаю, как скрипелось
Негрскими зубьями!

Перья на востроты —
Знаю, как чинил!
Пальцы не просохли
От его чернил.

А зато — меж талых
Свеч, картежных сеч,
Знаю — как стрясалось!
От зеркал, от плеч

Голых, от бокалов,
Битых на полу, —
Знаю, как бежалось
К голому столу!

В битву без злодейства:
Самого — с самим!
— Пушкиным не бейте!
Ибо бью вас — им!

(1931 г.)

КУСТ

I

Что нужно кусту от меня?
Не речи ж! Не доли собачьей
Моей человечьей, кляня
Которую — голову прячу
В него же (седей день от дня!)
Сей моши, и плещи, и гуще —
Что нужно кусту — от меня?
Имущему — от неимущей?

А нужно! Иначе б не шел
Мне в очи, и в мысли, и в уши.
Не нужно б — тогда бы не цвел
Мне прямо в разверстую душу,
Что только кустом не пуста:

Окном моих всех захолустий.
 Что́, полная чаша куста,
 Находишь на сем — месте пусе?
 Эолова арфа куста!

Чего не видал (на ветвях
 Твоих — хоть бы лист одинаков!)
 В моих преткновения пнях,
 Сплошных препинания знаках?
 Чего не слышал (на ветвях
 Молва не рождается в муках!)
 В моих преткновения пнях,
 Сплошных препинания звуках?

Да вот и сейчас, словарю
 Предавши бессмертную силу,
 Да разве я то говорю,
 Что знала, пока не раскрыла
 Рта, знала еще на черте
 Губ, той — за которой осколки...
 И снова во всей полноте
 Знать буду, как только умолкну.

II

А мне от куста — не шуми
 Минуточку, мир человеческий!
 А мне от куста — тишины:
 Той, между молчаньем и речью.
 Той, можешь — ничем, можешь — всем
 Назвать: глубока, неизбывна.
 Невнятности! Наших поэм
 Посмертных — невнятицы дивной.

Невнятицы старых садов,
 Невнятицы музыки новой,
 Невнятицы первых слогов,
 Невнятицы Фауста Второго.

Той — до всего, после всего.
 Гул множеств, идущих на форум.
 Ну — шума ушного того,
 Все соединилось в которм.
 Как будто бы все кувшины
 Востока — на знойное всхолмье.
 Такой от куста — тишины,
 Полнее не выразишь: полной.

(1934 г.)

* * *

За то, что некогда, юн и смел,
 Не дал мне заживо сгнить меж тел
 Бездушных, замертво пасть меж стен —
 Не дам тебе умереть совсем!

За то, что за руку, свеж и чист,
 На волю вывел, весенний лист
 Вязанками приносил мне в дом!
 Не дам тебе порости быльем.

За то, что первых моих седин
 Сыновней гордостью встретил — чин,
 Ребятней гордостью встретил — страх —
 Не дам тебе поседеть в сердцах!

[1935 г.]

ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ САТИРЫ «КРЫСОЛОВ»¹

ГОРОД ГАММЕЛЬН

(Глава первая)

Стар и давен город Гаммельн,
 Словом скромн, делом строг,
 Верен в малом, верен в главном:
 Гаммельн — славный городок.

В ночь, как быть должно комете,
 Спал без просыпу и сплошь.
 Прочно строен, чисто метен,
 До умильности похож.

— Не подойду и на выстрел! —
 На своего бургомистра.

В городе Гаммельне дешево шить:
 Только один покрой в нем.
 В городе Гаммельне дешево жить
 И помирать спокойно.

Гривенник — туша, пятак — кувшин
 Сливки, полушка — твóрог.
 В городе Гаммельне, знай, один
 Только товар и дорог:

Грех.
 (Спросим дедов:
 Дорог: редок.)

Ни распоясавшихся невест,
 Ни должников, — и кроме
 Пива — ни жажды в сердцах. На вес
 Золота или крови —

Грех. Полстолетия (пятьдесят
 Лет) на одной постели

¹ В основу поэмы положена известная легенда о Крысолове, превращенная Цветаевой в злую сатиру на бюргерство.

Благополучно проспавши, спят
Дальше. «Вдвоем потели,

Вместе истлели». Тюфяк, трава —
Разница какова?

(Бог упаси меня даже пять
Лет на одной перине
Спать! Лучше моську наймусь купать!)
Души господь их принял.

И озаренье: а вдруг у них
Не было таковых?

Руки — чтоб гривну взимать с гроша,
Ноги — должок не додан.
Но вразумите, к чему — душа?
Не глубоко ль негодный

— Как жардиньерка — гамак — кларнет —
В нашем быту — предмет?

В городе Гаммельне — отпиши —
Ни одного кларнета.
В городе Гаммельне — *ни души*,
Но уж телá за это!

Плотные, прочные. Столб, коль дюж,
Дюжины стоит душ.

А приосанится — георгин,
Ниц! Преклонись, Георгий!

Города Гаммельна гражданин —
Это выходит гордо.

Не забывай, школяры: «Узреть
Гаммельн — и умереть!»

Juri и Rührei и Rühr uns nicht
An (в словаре: не тронь нас!) —
Смесь. А глаза почему у них
В землю? Во-первых — скромность

И... бережливость: воззрися — ан
Пуговица к штанам!

Здесь остановка, читатель. Лжешь,
Автор! Очки втираешь!
В сем Эльдорадо когда ж и кто ж
Пуговицы теряет?

— Нищие. Те, что, от грязи сгнив,
В спальни заносят тиф, —

Пришлые. Скоропечатня бед,
Счастья бесплатный номер.
В Гаммельне собственных нищих нет.
Был, было, раз — да помер.

Тощее ж тело вдали от тел
Сытых зарыть велел

Пастор, — и правильно: не простак
Пастор, — не всем «осанна!».
Сытые тощему не простят
Ни лоскута, ни штанной

Пуговицы, чтобы знал-де всяк:
Пуговка — не пустяк!

(Маленькая диверсия в сторону пуговицы.)

Пуговицею весь склад и быт
Держатся. Трезв — застегнут.
Пуговица! Праадамов стыд!
Мод и свобод исподних —

Смерть. Обывателю ты — что чуб
Бульбе и Будде — пуп.

С пуговицею — все право в прах,
В грязь. Не теряй, беспутный,
Пуговицы! Праадамов крах
Только тобой искуплен,

Фиговая! Ибо что же лист
Фиговый («Mensch wo bist?»)¹ —

Как не прообраз ее? («Bin nackt,
Наг, — потому робею») —
Как не зачаток, не первый шаг...
Пуговица — в идее!

Пуговицы же (внемли, живот
Голой!) — идея вот:

Для отличения Шатуна
Чад — от овец господних:
Божье застегнуто чадо на
Всё, — а козел расстегнут —

Весь! Коли с ангелами в родстве
Муж, — застегнись на всё!

Не привиденьями ли в ночи
— Целый Бедлам вакантный! —
Нищие, гении, рифмачи,
Шуманы, музыканты,

Каторжники...

Коли взять на вес:

¹ Человек, где ты? (нем.)

Без головы, чем без

Пуговицы! — Санкюлот! Босяк!
От Пугача — к Сен-Жюсту?!
Если уж пуговица — пустяк,
Что ж, господа, не пусто?

Для государства она — что грунт
Древу и чреву — фунт

Стерлингов. А оборвется — голь!
Бунт! Погребá разносят!
Возвеселися же, мать, коль
Пуговицею — носик:

Знак добронравия. (Мой же росс
Явственно горбонос —

В нас.)

Дальше от пуговичных пустот,
Муза! От истин куцых!
От революции не спасет —
Пуговица. Да рвутся ж —

Всё! Коли с демонами в родстве —
Бард,— расстегнись на всё!

*(Здесь кончается ода пуговице и
Возобновляется повествование.)*

Город грядок —
Гаммельн, нравов
добрых, складов
полных,— Рай.

Город...

Божья радость —
Гаммельн, здравых —
город, правых —
город...

Рай-город¹, пай-город, всяк свой пай берет, —
Зай-город, загодя закупай-город.

Без загадок —
город,— гладок:
Благость. Навык —
город,— Рай

город...

Божья заводь —
Гаммельн, гадов —

¹ Ударение, как: Миргород, Белгород и пр. (Прим. автора.)

Бесу, сладок —
Богу...

Рай-город, пай-город, Шмидтов-Майеров
Царь-город, старшему уступай-город.

Без пожаров —
город, благодать —
город, Авель —
город, — Рай —
город...

Кто не хладен
и не жарок,
прямо в Гаммельн
поез —

жай-город, рай-город, горностаи-город,
бай-город, вовремя засыпай-город.

Первый обход!
Первый обход!
С миром сношенья прерваны!
Спущен ли пес? Впущен ли кот?
Предупрежденье первое.

Су — дари, выпрягайте слуг!
Тру — бочку вытрясай, досуг!
Труд, покидай верстак:
«Morgen ist auch ein Tag»¹.

Без десяти!
Без десяти!
Уши законопатить
Ватой. Учебники отнести
В парту! Будильник — на пять.

Ла — вочник, оставляй мелок.
Бюр — герша, оставляй чулок
И оправляй тюфяк:
«Morgen ist auch ein Tag».

Десять часов!
Десять часов!
Больше ни междометья!
Вложен ли ключ? Вдёт ли засов?
Предупрежденье третье.

Би — блию закрывай, отец!
Бюр — герша, надевай чепец,
Муж, надевай колпак, —
«Morgen ist auch ein...»

— Спят
Гаммельнцы...

¹ Завтра тоже будет день (нем.).

СНЫ

(Глава вторая)

В других городах,
В моих (через край-город)
Мужья видят дев
Морских, жены — Байронов,

Младенцы — чертей,
Служанки — наездников...
А ну-ка, Морфей,
Что — гаммельнцам грезится

Безгрешным,— а ну?
— Востры — да не дюже!
Муж видит жену,
Жена видит мужа,

Младенец — сосок,
Краса толстошекая —
Отцовский носок,
Который заштопала.

Повар пробует,
Обер требует.
Всё как следует,
Всё как следует.

Вдоль спицы петля —
Так все у них плавно!
Павл видит Петра,
А Петр видит Павла,

Конечно,— внучат
Дед (точку — прозаик),
Служанка — очаг
И добрых хозяев.

Каспар — заповедь,
Пастор — проповедь.
Не без проку ведь
Спать — не плохо ведь?

Пуды колбасы
Колбасник (со шпеком),
Суд видит весы,
Весы же — аптекарь,

Наставнику — трость,
Плод дел его швейных —
Шведу. Псу же — кость?
Ошиблись: ошейник!

Стряпка — шипаное,
Прачка — плисовое.

Как по писаному!
 Как по писаному!

— А сам бургомистр?
 — Что вяже — то в дрёме.
 Раз он бургомистр,
 Так что ж ему, кроме

Как бургеров зреть,
 Вассалов своих?
 А сам бургомистр —
 Своих крепостных.

Дело слаженное,
 Платье сложенное —
 По положенному!
 По положенному!

(Лишь тон мой игрив:
Есть доброе — в старом!)
 А впрочем, чтоб рифм
 Не стаптывать даром,—

Пройдем, пока спит,
 В чертог его (строек
 Царь!), прочно стоит
 И нашего стоит

Внимания...

Замка не взломав,
 Ковра не закапав —
 В богатых домах
 Что первое? Запах.

Предельный, как вкус,
 Нешадный, как тора,
 Бесстыдный, как флюс
 На роже актера.

Вся плоть вещества —
 (Счета в переплете
 Шагреневом!), вся
 Вещественность плоти

В нем: гниль до хрящей.
 С проказой не шутят!
 Не сущность вещей —
 Вещественность сути:

Букет ее — всей!
 Есть запахи — хлещут!
 Не сущность вещей:
Существенность вещи.

Не сущность вещей,
— О! И не дневала! —
Гнилых овощей —
— Так пахнут подвалы —
Ему предпочту.

Дух сытости дивный!
Есть смрад чистоты.
Весь смрад чистоты в нем!

Не запах, а звук:
Мошны громогласной
Звук. Замшею рук
По бархату красных

Перил — а по мне
Смердит изобилье! —
Довольством — вполне.
А если и пылью —

Не нашей — с весной
Свезут, так уж што ж нам?
Не нищей: сквозной,
А бархатной — штофной —

Портьерной. Красот
Собранием, скопом
Красот и чистот,
А если и по́том —

Добротным, с клеймом
Палаты пробирной,
Не нашим (козлом),
А банковским, жирным.

Жилетным: не дам.

По самое небо
— О Ненависть! — храм
Стоглавый тебе бы —

За всех и за вся.

Засова не сняв,
Замка не затронув
(Заметил? Что в снах
Засовы не стонут,

Замки не гремят.
Врата без затвора —
Сон. Дома — без врат.
Всё — тени, всё — вору

В снах.)

Сто — невест тебе.
Всё — с запястьями!

Без — ответственно.
Бес — препятственно.

Се — час жениха!
За кражи! За взломы!
Пустить петуха
В семейные дома!

В двухспальных толстух,
В мужей без измены.
Тот красен петух —
Как стяги — как стены

В *иных* городах...
Замка не затронув,
Посмотрим, как здрав
В добротных хоробах
Своих — бургомистр.

Домовит, румянист —
Баю-бай, бургомистр.

Завершенная седмица —
Бургомистрово чело.
Что же мнится? Что же снится
Бургомистру? Ни — че — го.

Ничего (как с жир-горы
Пот-то!), то есть: бургеры.

Спи, жирна, спи, верна,
Бургомистрша, жена

Бургомистрова: синица,
Переполившая зоб.
Что же мнится? Что же снится
Бургомистрше? (Хорошо б,

Из перин-то вырвавши...)
...Бургеры, ей — бургерши.

Спи-усни, им не верь,
Бургомистрова дщерь.

Соломонова пшеница —
Косы, реки быстрые.
Что же мнится? Что же снится
Дочке бургомистровой?

Запахи, шепоты...
Всё — и еще что-то!

Вшеноры — Париж,
март — ноябрь 1925 г.



МАРГАРИТА АЛИГЕР

★

ЧИЛИЙСКОЕ ЛЕТО*

Новый год начался

На закате во вторник, 1 января нового, 1963 года мы выехали из Вальпараисо назад в Сант-Яго.

Позади был огромный свободный летний день, — мы провели его на большом городском пляже, прощаясь с Тихим океаном, которого мы, очевидно, уже не увидим.

И вот мы оставляем отель «Прат» и Вальпараисо, и вот в обратном направлении начинает разматываться та же плавная горная дорога, которую мы проделали не далее как позавчерашним утром. Неужели это было только позавчера?

Дорога на этот раз кажется еще лучше: закат, предвечерний свет, сумерки. На крутых витках дороги становится видна движущаяся вслед за нами цепочка огней — это множество машин возвращается с побережья в столицу. Кончился новогодний праздник, начинаются новогодние будни.

На другое утро мне удастся побродить одной по городу. Будничный Сант-Яго совсем не похож на тот праздничный город, в который мы приехали. Даже торговые ряды и пассажи стали куда тише и спокойнее, словно река, переполненная весенними водами, клокочущая и беснующаяся, затопляющая все вокруг, наконец успокоилась и вошла в свои обычные берега. Объявлено множество «ликвидасьенов» — дешевых распродаж залежавшихся товаров.

Город живет сосредоточенной деловой жизнью. Очень высокий курс доллара — об этом нам сказал с утра хозяин гостиницы дон Хосе, — и час от часу курс все подымается, и это неуловимо сказывается на всей деловой и торговой жизни города множеством прихотливых движений финансовой и коммерческой его сущности. Я это ощущаю, но не понимаю — не моего ума это дело. Знаю только, что, когда мы приехали, один доллар стоил два эскудо и четыреста песо. Сейчас доллар стоит уже на двести песо больше. Вскоре после нашего отъезда курс повысился до трех эскудо. Это означает автоматическое повышение цен и соответственное снижение зарплаты, пенсий.

Торговые улицы, отдаляясь от центра, меняют свой суматошный облик, становятся покойнее, одухотвореннее и в конце концов упираются в зеленый холм Санта-Лючия. В этой более спокойной части города много книжных магазинов, ярких, привлекательных витрин, перед которыми приятно задержаться.

Мы побывали однажды в Сант-Яго в коммунистической книжной лавке, и хозяин ее показал нам советские книги на испанском языке.

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

Это все больше наши издания: несколько книг Шолохова, Горький, Фурманов, Федин, Фадеев, Борис Полевой, какой-то неизвестный мне писатель Егоров, М. Ильин, который здесь популярнее других. Эти издания очень небогаты и непривлекательны и ни в какое сравнение не идут с роскошными томами североамериканских и западноевропейских новинок. Я уже не говорю об испанских классиках и о ярких, похожих на игрушки или на конфеты, комиксах и бестселлерах. На этом мы тоже теряем и затрудняем себе возможность контакта с людьми, сближения с ними.

Сегодня друзья прислали мне несколько относительно свежих номеров советских газет. Я, кажется, целую вечность не видела советских газет. Здорово же они отличаются от здешних многочисленных, толстых, многостраничных. Всем отличаются — и форматом, и объемом, и внешним характером, не говоря уже о содержании. Здесь газет много, и они такие толстые, что трудно понять, чем их набивают издатели. В отеле «Крийон» я каждое утро слышала характерный шелест — это под дверь номера подползал свежий выпуск газеты «Эль Меркурио», цена его потом включалась в стоимость номера. Не знаю, кто больше на этом наживался: хозяин отеля или хозяин газеты.

Многие чилийские газеты обычно открываются огромными сенсационными шапками и фотографиями: «Муж убил жену и двух ее любимых!», «Женщина убила инженера!» Все это обыкновенно иллюстрируется весьма обстоятельно и живописно. Иногда приходится ограничиваться более скромными сообщениями: «Девять человек отравились сосисками» или что-нибудь в этом роде. Однажды в какой-то газете я прочитала огромными буквами набранное сообщение о том, что американцы нашли вирус рака. Когда я взволнованно заговорила об этом с первыми же посетившими нас друзьями, они остались безучастны и в ответ на мое недоумение объяснили мне, что такие сообщения появляются время от времени в газетах и не означают решительно ничего, кроме того, что сегодня нет никаких сенсационных событий. Даже сосисками никто не отравился.

Обедаем мы сегодня у поэтессы Делии Домингес. Она должна была уехать к себе на юг, в Осорно, но задержалась, чтобы повидать нас. Делия живет в центре Сант-Яго, в прекрасном огромном доме, в большой, удобной квартире. К обеду собралось женское общество, уже знакомое нам. Адриана — хирург, другая Адриана, работающая на телевидении, и писательница Марта Хара. Это хорошая писательница-новеллистка, скромная и усталая женщина. Она рассказывает о полном беззаконии в области авторского права. За книгу своих рассказов, которой была присуждена премия, она получила от издательства две тысячи песо, то есть два эскудо, то есть меньше одного доллара. Издатель уверял ее, что книга не распродается, но она ее найти в продаже не могла. Ее друзья утверждали, что издатель выпустил по меньшей мере три издания, но до ее сведения он этого не доводил и ни копейки ей не заплатил. Но ведь это, очевидно, можно было бы доказать? Не следовало ли ей обратиться в суд? Разумеется, следовало, но это стоило бы много денег и все равно выиграл бы издатель, который не стеснен в средствах, нанял бы хорошего адвоката и не остановился бы перед расходами. Марта Хара говорит, что будет участвовать в телевизионной беседе с нами — беседа эта назначена на восьмое, — и мы уславливаемся о том, чтобы поговорить на эту тему во время этой беседы. Может быть, это поможет ей.

Когда состоялась эта телевизионная передача, Марта Хара в ней не участвовала. Может быть, это было случайностью, никак не связанной с нашим разговором, но факт остается фактом: нам не удалось

осуществить свое намерение помочь Марте Хара и заодно, может быть, и другим чилийским писателям, беспомощным и не защищенным твердым законом об авторском праве.

Много говорим о войне, о ее постоянном присутствии в жизни нашего общества. Женщины слушают напряженно, каждой клеткой, каждой долей своего сознания. Когда я говорю о том, что они должны быть счастливы, что не воевали, мне резко и взволнованно возражает Адрианахирург:

— Что за счастье быть самым забытым уголком земли?!

Разве они ощущают это? Разве земные центры не передвигаются вместе с человеком? В моем сердце прошла великая мировая трещина... — писал Генрих Гейне. А меня в детстве, помнится, очень удивляло, что разные знаменательные события происходили, оказывается, не в нашем городе. Он мне казался центром мира. За окном гремит город Сант-Яго, гремит так, будто он и есть центр мира, и, наверное, люди, чья жизнь проходит тут, могут считать самыми забытыми уголками земли все, что далеко отсюда. Или это не так? Как тогда? Как вообще ощущает себя в мире гражданин такой страны, как Чили, к примеру? Как вообще ощущает себя гражданин, полноценный и активный человек, не великой и не огромной державы? Нам это трудно, может быть, даже невозможно понять — мы всю свою жизнь находимся в центре мира и его общественного внимания.

Иногда мы в своих ощущениях такого рода доходим до абсурда. Один чилийский писатель, гость Москвы, рассказывал мне о том, как девушка, гид «Интуриста», спросила у него: «Как вы можете жить в такой маленькой стране, как Чили?» — «И что же вы ей ответили?» — спросила я от смущения тоже довольно по-дурацки. «В этом диалоге важнее вопрос, чем ответ», — сказал мой собеседник.

А один советский писатель, посетив Халдора Лакснесса, этого вдохновенного певца маленькой и своеобразной Исландии, в его доме, стоящем в скалах, не нашел ничего лучше, чем спросить: «Как вы можете жить в такой мрачной и убогой природе?»

В гостинице нас ждали двое: редактор газеты «Эль Сигло» Хосе Мигель Варас и поэт Никанор Парра, о котором мы уже были наслышаны. Этот человек внешне ничем, собственно, не примечательный, но как-то странно и сразу заинтересовывающий и притягивающий, может быть, талантом или его собственным интересом к нам, который почти физически ощущим.

Да, это именно так. В этом человеке, наверное, любое чувство, которым он сейчас охвачен, достигает такого напряжения, такой концентрации, что становится почти физической силой, которая невольно передается и вам. Так было на этот раз с его интересом к нам, первым советским людям в его жизни. Человек, очевидно, острого ума и мгновенных реакций, он поразительно умеет спрашивать и слушать ответы на свой вопрос. Это ко многому обязывает. Вы чувствуете, что не можете болтать, что должны быть ответственны за каждое свое слово, и одновременно это чрезвычайно помогает, заставляет собраться и сосредоточиться.

Никанору Парре случалось читать в американской печати о наших молодых поэтах. Верно ли сравнение их с так называемыми «сердитыми молодыми людьми»? Отвечаю, что в некоторой мере это сравнение допустимо, но нуждается, однако, в серьезных поправках: «сердитые молодые люди» современной английской литературы сердиты на все на свете; именно в этом отношении и в неприятии реально существующей действительности и заключается весь пафос их существования. наших молодых поэтов, и не только молодых, многое отличается от английских

«сердитых», — гнев их вызывает все то, что идет вразрез с тем, что они любят.

— А что они любят?

То, что любим мы все: жизнь, родину, людей, правду, советский строй: как и все, они хотят, чтобы жизнь была как можно полнее и ярче, как можно богаче новым, как можно свободнее от старого. Хотят, чтобы люди были как можно сильнее и красивее душевно, сильнее и красивее новой силой, новой душевной красотой свободных людей свободного мира. Ненавидят все, что этому мешает, что тянет назад, и на это обрушивают свой гнев, пафос своей поэзии.

Он слушает и как-то странно притихает. Соглашается или нет? Или просто задумывается?

Парра говорит об осознанной необходимости сделать поэзию политическим разговором по существу, сохранив истинно поэтическую форму, о задаче перехода от «я» к «мы». Что я думаю по поводу его соображений? Думаю, что они очень серьезны и устремлены в главном направлении, очевидно, общем для истинной, большой, гражданской, всечеловеческой поэзии. Некоторые из этих задач решены уже нашей советской поэзией. Это естественно, так же как естественно то, что они неизбежно, рано или поздно, встанут перед каждым серьезным современным поэтом.

Он преподаватель теоретической механики в университете Сант-Яго. Ну что ж, это многое объясняет в строе его мышления.

— Да, да, — охотно соглашается он. — Я больше думаю головой, чем сердцем.

Вот это-то мне как раз и не кажется, думаю я про себя, но вслух не высказываю. Я уже смутно чувствую, но еще не могу высказать то, о чем я написала выше: эмоциональную концентрацию этого человека. Я отчетливо ощутила это позже и очень скоро — мы и виделись-то с ним только на протяжении двух дней, — когда прочла его стихи в английском переводе, и совсем уже убедилась в этом, когда начала их переводить на русский. Каждое его стихотворение так же напряжено до предела, как он сам, такой же сгусток чувства — горечи, душевной боли, иронии, страсти, возмущения, восторга, — как и он сам.

Никанор Парра приглашает нас на завтра к себе обедать. Он живет в пригороде, в предгорьях Кордильер. Там хорошо, очень хорошо, куда лучше, чем в Сант-Яго. Он придет за нами завтра в час дня. Они с Варасом прощаются и уходят, хотя им, по-моему, не хочется прощаться и уходить. И мне не хочется, чтобы они уходили. Куда они идут? Что они будут делать? Как они живут?

Я столько раз слышала имя Парры, в наших разговорах о поэзии так часто звучали его строки, его мысли о поэзии, высказанные в его стихотворном «Манифесте», что мне, естественно, было интересно встретиться с ним и побывать в его доме.

Он построил дом за пределами города, в предгорьях Кордильер, в предместье, которое называется красивым именем Ла Рейна. Дом стоит на небольшом плато, на склоне, поросшем лесом и довольно круто спускающемся к дороге. Похоже на крымские местечки где-то по верхней дороге из Ялты в Алупку или в Симеиз. Сам по себе дом более чем скромнен — вероятно, щитовой и стандартный, нечто вроде наших финских домиков, невысокие темноватые комнаты, обставленные с почти спартанской простотой — никаких изысков, только самое необходимое. Много книг, много интересных картин, написанных сестрой хозяйина дома Виолетой Парра. Она известная исполнительница чилийских народных песен и вот, оказывается, еще и своеобразная художница.

Видимо, этот дом много значит в судьбе его хозяина. Видимо, он любит его и гордится им. Может быть, он обретает тут какой-то душев-

ный покой, которого ему не хватает настолько явно, что это могут почувствовать даже посторонние. Может быть, он еще только надеется обрести его тут и начать жить так, чтобы это больше устраивало его самого, больше удовлетворяло, чем до сих пор. Дай ему бог, чтобы это случилось!

Среди книг несколько антологий мировой современной поэзии, куда включены стихи Никанора Парры; из советских поэтов — Маяковский, Пастернак, Заболоцкий... Какой-то отрывок из Олеси...

Парра вдруг резко спрашивает:

— Вы живете в Москве?

— В Москве.

— А что вы там делаете?

— Ну, как что делаю? Живу, работаю.

— Где вы работаете?

— Дома, пишу.

— И нигде не служите?

— Нигде не служу.

Крайнее изумление, по-моему, у него даже вырывается нечто вроде испанских ругательств.

— И вам удается заработать на жизнь?

— Разумеется. Но я работаю много, и не только стихи пишу, но и много перевожу, иногда пишу статьи...

— Сколько статей вы должны написать в месяц для того, чтобы прожить?

— Я их пишу только тогда, когда хочу что-то сказать, когда у меня есть в этом душевная потребность.

Он спрашивает так же в упор, как вчера, и так же слушает мои ответы как нечто бесконечно важное для него и почти потрясен смыслом этих ответов.

Он подарил мне несколько своих книг и один сборничек, переведенный на английский язык, выпущенный в Сан-Франциско. Одна из наиболее известных его книг называется «*Poemas y antipoemas*»; американцы перевели и издали тринадцать вещей из этой книги, без всяких колебаний назвав свой сборник «*Antipoemas*». По какому признаку они их отбирали, трудно понять, — автор не указывает, что он считает «поэмами», а что «антипоэмами», и в этом есть глубокий внутренний полемический смысл. «Поэмы и антипоэмы» — я уверена, что в данном случае «и» является не разделительным, а соединительным союзом. Каждая вещь в сути своей — стихи и антистихи, и тут есть над чем задуматься. Но американцы задумываться не стали — зачем и о чем, когда это так эффектно и завлекательно звучит: «*Antipoemas*» — то есть «Антистихи». Это все мне стало ясно позднее, когда мне удалось прочитать сперва английский сборник, а потом с помощью друзей и в подлиннике то, что пишет Никанор Парра.

Чилийская поэзия богата славными именами и своеобразными голосами; глубоконациональная и «чилийская», она, однако, являясь поэзией испанского языка, смыкается с испанской поэзией, богата ее глубокими и великолепными традициями. В этих великих традициях ее огромная сила, но традиции иногда становятся традиционностью, которая сковывает, и для того, чтобы нарушить ее, нужна тоже немалая сила. Парра дерзнул на это в своих «*Poemas y antipoemas*», и это произвело на любителей поэзии ошеломляющее впечатление. Оказывается, можно говорить стихами и делать поэзией самые простые жизненные переживания и впечатления, можно говорить просто, даже грубо, быть безжалостным ко всему на свете и прежде всего к самому себе, можно уйти от всякой метафизики, избегать и высмеивать всяческие поэтиче-

ские красоты, и в этом заключена огромная, глубоко впечатляющая сила воздействия.

Ему сорок восемь лет, он преподаватель университета, поэт, которого уже знают и переводят в мире, а всего-то у него вышло пять книг. А у меня двадцать или около того, чуть больше или чуть меньше. Почти неловко это произносить — очень уж нескромно звучит. Но ведь это естественно: наша страна огромна, и у нас так много читающей публики... Я, кажется, почти оправдываюсь. И странное ощущение — словно все это как-то и когда-то уже со мной было. Где? Когда? И внезапно отчетливая и яркая вспышка памяти.

Как-то одна редакция поручила мне связаться с Николаем Заболоцким и взять у него стихи для опубликования. В силу роковых обстоятельств, затянувшихся, пожалуй, слишком надолго, его в ту пору почти не печатали, зарабатывал он на жизнь своими прекрасными переводами, редко-редко публикуя одно-два стихотворения, за которыми, однако, всегда ощущалась потрясающая сила. Следовало положить этому конец, показать людям, что у нас есть Заболоцкий и что он за величина.

Я позвонила Николаю Алексеевичу — он был нездоров — и попросила разрешения приехать к нему.

Была поздняя осень, холодный и угрюмый день. Заболоцкий жил на Беговой улице, в первом этаже небольшого дома, и мне почему-то с невероятной отчетливостью запомнился облетевший куст в крошечном палисаднике за окном, у которого мы сидели. Он был облеплен воровьями, этот куст, — Заболоцкие их кормили и привадили.

Николай Алексеевич был, как всегда, очень сдержан и немногословен. Он ни на что не сетовал, ни на кого не обижался, не возлагал особых надежд на желание напечатать его побольше и позначительней. Почему-то положил на стол три небольшие книжки. Это было все, что у него вышло к тому времени за всю его жизнь. Я взяла в руки эти три тонких сборничка и, наверное, покраснела, потому что помню, как меня бросило в жар. Я представила себе те монбланы книг, которые могли бы воздвигнуть передо мною некоторые другие поэты. Я была в этот миг почти рада, что у меня вышло куда меньше книг, чем у иных моих ровесников... Но тоже, однако, гораздо больше, чем три сборничка... В горле у меня стоял комок стыда, досады, почти физической боли от этой бессмысленной несправедливости.

Неопубликованные стихи Заболоцкого были отлично перепечатаны на отличной бумаге, сшиты вместе и переплетены, словно конторская книга. Он листал ее, выбирал стихи и показывал мне. Я чувствовала, что он очень скован, выбирает не самое главное, не самое дорогое. И меня не покидало чувство, хорошо знакомое грибникам: с этого места нельзя уходить, нипочем нельзя уходить, — здесь пахнет грибами, пахнет белыми... Я попросила разрешения самой полистать тетрадь. И вот тогда-то я нашла «Журавлей», «Скворца», «Некрасивую девочку», «Прохожего». Большинство из этих стихотворений в скором времени было напечатано, и Заболоцкий предстал перед читателями в своей истинной сущности и огромности. И его начали широко печатать журналы, и книгу его Гослитиздат включил в план и выпустил довольно скоро. И это сразу же изменило общий уровень поэзии, повысило требования, просто зачеркнуло некоторые имена... Меня никогда не покидает ощущение стыда перед большим поэтом, чья судьба сложилась так горько и несправедливо. Я рада, что в последние годы его судьба резко изменилась к лучшему. Иные достойные не дожили до этого. Но подумать только. едва как-то выровнялась судьба поэта, едва в ней все стало относительно нормально, как начались болезни, и горести, и потрясения совсем уж другого, житейского, душевного характера... Бедные люди,

как они умеют отравлять жизнь друг другу и самим себе. «Да простит тебе бог, можжевелевый куст!»..

Был и напряженный момент в общем разговоре: один из гостей, острый и умный человек, очевидно, близкий друг Парры, очень высоко оценивающий его как поэта, видимо, с несколько ревнивым чувством относится к тем настроениям, которыми охвачен сейчас этот поэт, к тем изменениям, которые совершаются в нем и в его отношении к своему делу, к своему участию в жизни, к целому ряду новых явлений и обстоятельств, привлекающих сейчас его внимание и интерес. Очевидно, этого гостя чем-то раздражает и выражение «социалистический реализм», которое Парра несколько раз употребил. В какой-то момент друг его не сдержался и позволил себе высказаться несколько критически-пренебрежительно по поводу того, так ли уж верен курс на этот самый социалистический реализм, что это тоже не есть панацея и что он, Парра, дескать, говорит о своем стремлении прийти к этому так настойчиво потому, что хочет поехать в Советский Союз и старается произвести на нас соответствующее впечатление... Реакция Парры была мгновенна, как всегда, но это была реакция на самое главное, абсолютно игнорирующая личный упрек — грубый, несправедливый, неприятный. Это было мелко и не стоило затраты сил, и суть была не в этом.

— А куда мне идти? — почти кричал Никанор Парра. — С кем мне быть? Если это не выход, то, значит, выхода вообще нет. В этом ты хочешь меня убедить?

И снова позднее, читая стихи, я поняла в полной мере, какой это был крик души, какая за этим стояла боль, какой долгий спор с жизнью, с ее бессмыслицей и обреченностью, которыми перенасыщены трудные и горькие стихи этого поэта. И какая была в этом крике, в этом вопросе к самому себе сила надежды, желание надеяться, устремление к выходу из долгого и мрачного заточения, в котором пребывал дух этого талантливого человека.

Сесар Годой предается своим московским воспоминаниям: операция, больница, санаторий... Все это, разумеется, в веселом, в обычном его шутилом тоне.

— Когда это было?

— В пятьдесят первом. Двенадцать лет тому назад.

И снова Парра впиается в меня вопросом:

— А вы где были в это время?

— Я? В Москве...

Но это еще не ответ — в памяти возникает время с множеством подробностей и ассоциаций. Он это чувствует, его внимание не ослабевает; он не спрашивает словами, спрашивает всем своим существом, напряженным, как тетива лука, и я понимаю, чего он ждет. Он хочет знать, о чем я вспоминаю и о чем я думаю в связи с этим незначительным, на первый взгляд, вопросом.

— Это было трудное время, сложное время...

Он молчит, ни на миг не отвлекаясь и не выпуская меня из власти своего внимания, своего интереса. Молчит, думает, старается понять. И наконец как разрядка этого напряжения:

— Нуэстро профессоре Сталин?

Наш учитель Сталин? Как ответить на этот вопрос? Как объяснить ему, что все неизмеримо сложнее? Он молчит и не настаивает на ответе. Значит ли это, что он и сам многое понимает?

Я при каком-то повороте разговора разрушаю его крепость — желание внушить окружающим, что он больше думает головой, чем сердцем. Знаем мы эту позицию! Она иногда здорово выручает. Иногда, когда особенно горит и болит сердце. Знаем! Самим доводилось.

— Я разоблачен,— довольно быстро сдается хозяин дома.

Мне очень хочется познакомить его с нашими астрономами и их очень хочется еще разок повидать. Мы уславливаемся, что после сегодняшней конференции в университете поедем в обсерваторию Серра-Калан. Скорее бы она кончилась, эта конференция. Я, разумеется, волнуясь и нервничаю. Товарищи успокаивают меня:

— О чем бы вы ни говорили, все будет для нас интересно, потому что мы ничего о вас не знаем.

В переполненном зале университета приятно было находить взглядом знакомые лица: Абрахам Уррутия, школьный учитель, отец нашей частой спутницы Пракседас... Художница Делия дель Карриль. Поэт Урисар... И даже вдруг Алисия Саморано из Вальпараисо. На кого же покинута маленькая Ла Химена? А в первом ряду сидит старик со старомодной седой эспаньолкой. Какое у него интересное и значительное лицо. Кто это?

И вот пока я буду рассказывать чилийцам о советской литературе, что приходится делать очень популярно и в общих чертах, ибо они решительно ничего о ней не знают, в это время позвольте мне рассказать вам о том, кто он такой, этот заинтересовавший меня старик с эспаньолкой, который сидит в первом ряду и слушает меня удивительно заинтересованно и сосредоточенно.

Он слушал так, потому что понимал русский язык и не зависел от перевода. Это был профессор Липшуц, Алехандро Липшуц, Александр Аронович Липшуц, о котором мне говорили еще в Москве. Не так давно он побывал в Москве на онкологическом конгрессе как онколог с мировым именем. Однако онкология только одна из сторон его многообразной деятельности в области физиологии, антропологии и социальных наук. Александр Липшуц уроженец Латвии, учился он в Геттингене, работал с крупнейшими немецкими учеными и возглавлял кафедру физиологии университета в Дерпте (нынче город Тарту в Эстонии). В 1926 году он был приглашен в Чили для основания кафедры физиологии в университетском городе Консепсьон. Так начался американский этап его научной жизни. Он организовал Институт физиологии в Консепсьоне, образовал общество биологии, имеющее свой бюллетень, и через несколько лет по приезде в Чили принял чилийское подданство, став «чилийцем по желанию, по сердцу, по собственному решению», как сказал один сенатор, приветствуя доктора Липшуца на торжественном заседании в сенате Сант-Яго, посвященном восьмидесятилетию этого большого ученого. «28 августа 1963 года профессору Липшуцу исполнилось восемьдесят лет жизни и абсолютной духовной молодости». Так выразился другой оратор, приветствовавший профессора Липшуца на сессии университета, посвященной его чествованию.

Социальные науки были, по его собственным словам, первой любовью молодого ученого. В Чили он вернулся к ним, занимаясь туземными и расовыми проблемами, посвятив им ряд работ и книг и курс лекций об индейцах Огненной Земли, которые дают исключительно ясное социально-экономическое объяснение расизма. В статье «Туземное движение и культурная американская перестройка» Липшуц с глубоким волнением, с полным пониманием американских проблем говорит и думает о будущем индейцев в Америке. Он верит в это будущее и научно и социально обосновывает эту веру.

В 1930 году профессор Липшуц выпустил книгу «Почему мы умирем?». Он не считает ее научной работой, это скорее была серьезная популяризация. Книга имела большой успех и переводилась на многие языки. В одной Германии до Гитлера она выдержала семнадцать изда-

ний. Всю свою последующую жизнь профессор Липшуц посвятил тому, чтобы объяснить, почему и зачем мы живем, чтобы показать, как надо и как стоит жить. Жизнь его — образец вдохновенного труда, вечного труда, труда, неизбежно заслуживающего благодарность людей, которым он посвящен. Чествование Липшуца в день его восьмидесятилетия — яркое свидетельство этого.

«В нашей стране, где очень многие считают для себя возможным быть революционерами смолоду, становясь буржуа к сорока годам, особенно поражает зрелище того, как человек к своим восьмидесяти годам сохраняет верность своему молодому мировоззрению», — сказал сенатор Луис Корвалан, генеральный секретарь компартии Чили, открывший сессию сената восторженной речью в честь юбиляра, которого большинство приветствующих именует мудрецом.

Последняя работа профессора Липшуца — книга «Расовая проблема в завоевании Америки и смешение рас». Он считает ее своим завещанием и так формулирует свою главную идею: «Я хочу, чтобы мы все были непобедимы. Все люди».

Я была от души рада пожать руку этому человеку. И так приятно было сказать ему несколько слов по-русски и передать поклоны из Москвы, где у него много друзей и есть даже родня. И он тоже помог мне своими добрыми словами, которые так важны после всякого публичного выступления. Я старалась рассказать о главном, быть как можно живее и доходчивее. Удалось ли это мне? Это вечное щемящее чувство недовольства собой, когда все уже сказано и ничего нельзя изменить или исправить!

Долгая толкотня сперва в помещении, потом на улице; люди не хотят расходиться, что-то связало, собрало их вместе. Долго и бестолково прощаемся, и наконец, как было условлено, я уезжаю с Паррой к астрономам. С нами еще несколько человек — всем им интересны советские ученые и их дом-обсерватория.

Долгий путь, уже однажды проделанный: Проведенсия, Апокинда, Лас Кондас... потом холм Серра-Калан. Я устала, и мне сейчас очень хочется побыть с людьми, особенно со своими, — одной остаться было бы трудно. Только бы застать астрономов, Зверева... И вот мы у цели. Но ворота, ведущие на территорию обсерватории, оказываются закрытыми. Нас ведь не ждут, и сейчас, вероятно, уже часов десять. Что делать? Неужели возвращаться ни с чем? Это невозможно!

Обыкновенные ворота, железные, довольно высокие и кое-где оплетенные проволокой... Ничего не поделаешь, другого выхода нет. Я заявляю, что перелезу через ворота, и, не раздумывая, приступаю к осуществлению своего дерзкого замысла. Мне сопутствует длинноногий Энрике Бельо, генеральный секретарь Союза писателей. По-моему, Никанор Парра опять тихо ругается по моему адресу. Ну и черт с ним. Мы с Энрике Бельо благополучно перелезаем через ворота, я даже получаю его одобрение: «Una poetissa atletica!»

Идем по дороге в гору — это не близко, не меньше километра, — добираемся до дома, где живут «астрономос русос». В глубине дома неяркий свет — видимо, они уже если не спят, то собираются спать. Стучимся в дверь, и нам открывает ее Митрофан Степанович Зверев, очень домашний, в халате. Он ужасно рад, он зажигает все лампы, он вытаскивает откуда-то сверху — наверное, из постелей — своих молодых друзей. Это пара, муж и жена, и молодой астроном, которого я раньше не знала; отправляется отмыкать ворота и принимать гостей. Бедина нет, он на наблюдении. В ожидании их я замечаю новости: добрую половину гостиной занял рояль, его не было, когда я была здесь впервые, а когда мы познакомились на ужине у Хуаны Флорес, было много толков

о том, что Митрофан Степанович хочет взять напрокат рояль — скучно без музыки. Стало быть, сказано — сделано!

А потом был чудесный вечер. Зверев играл нам раннего Скрябина, чилийцы пили остатки московской водки, а я — «коло де моно», что означает «обезьяний хвост». Это местный напиток, который мне до сих пор не случалось попробовать: какая-то странная смесь кофе с водкой и чем-то еще. Астрономам кто-то подарил его на Новый год. Потом мы все вместе пили крепкий грузинский чай и ходили смотреть, как Владимир Сидорович Бедин и чилиец Караско ведут наблюдения. И снова глядели на созвездия южного неба и на второе, перевернутое небо у наших ног — на ночной Сант-Яго. Неужели я никогда в жизни не увижу этого снова?

Прощаемся с астрономами уже поздней ночью. Вероятно, совсем прощаемся. Завтра утром мы уезжаем на юг, вернемся, очевидно, на один день. Вряд ли удастся встретиться еще раз. Будьте счастливы, дорогие друзья! Я буду часто вспоминать о вас. Или нет: я не буду забывать о вас, не смогу забыть.

Оказывается, и с Паррой надо уже прощаться насовсем: он через два дня уезжает принимать экзамены в Вальдивию и не вернется до нашего отъезда. Но он мечтает о поездке в Москву и ждет приглашения. Ну что ж, до встречи в Москве. Хорошо бы!

И она состоялась, эта встреча. В октябре 1963 года Парра приехал в Москву как гость Союза писателей и провел у нас больше пяти месяцев. Мы много общались с ним, много работали вместе, много ходили и ездили. Я много узнала об этом человеке и о жизни его. При всем своем интересе к его поэтической позиции, я почувствовала искусственность и временность некоторых его творческих установок, которые, по-моему, непременно будут им побеждены и отброшены. Я поняла, сколь различны пути развития чилийской поэзии и русской поэзии и как нелепо и ни к чему все время сравнивать их, хотя от этого трудно удержаться. Я узнала, как несладко и нерадостно сложилась личная жизнь этого яркого и нелегкого человека, и, может быть, даже в некоторой степени поняла, почему она так сложилась. Но уж об этом стоило бы писать в романе, а не в этих записках.

Парра считает себя истым чилийцем, но когда я пыталась узнать у него, что это значит быть истым чилийцем, он затруднился с прямым ответом и рассказал мне вместо этого, как ответил один писатель на вопрос о том, что такое роман: «Роман — это книга, на которой написано «роман». Ну что ж!

Вглядываясь в него, я пыталась ответить на интересующий меня вопрос о самоощущении гражданина маленькой и зависимой страны. Неизмеримо ясней и материальней, чем из множества прочитанных книг, я поняла и почувствовала, что это значит — галантливая личность, родившаяся, выросшая и сформировавшаяся в условиях маленького и глубоко зависимого капиталистического государства. Но самое, пожалуй, окончательное заключение, к которому я пришла, в конце концов сводится к следующему: в маленьких и зависимых государствах, так же, впрочем, как и в огромных и независимых, люди бывают разные.

Поездка на юг

Четвертого января нового, 1963 года ранним утром мы выехали на юг. Так как на утренний автобус не удалось достать билеты, а на поезд — вчера вечером — мы в связи с нашей конференцией не успевали, нас везет в своей машине молодая женщина по имени Мария. Машина не велика и не могуча — какая-то разновидность очень популярного

здесь «фольксвагена», — что же до водителя, то Мария только три месяца как научилась водить машину и весьма не тверда в этом искусстве. Поэтому сопровождающий нас молодой писатель Армандо Касиголи наблюдает за дорогой и дает руководящие указания. Мария им покорно подчиняется, и все идет благополучно.

Бесконечно долго выезжаем из Сант-Яго. Улица Сан-Диего никак не кончается, словно бы она решила протянуться по всей стране. Если Чили самая длинная страна на свете, то Сан-Диего, безусловно, самая длинная улица на свете. Наконец мы все-таки вырываемся из города.

Едем равниной; где-то слева и справа вдалеке возникают горы, но никаких особенных красот и эффектов покуда нет — обыкновенная земля, еще одна ее дорога.

Через пять часов езды благополучно прибываем в город Талька и заезжаем в дом родственников Армандо Касиголи. Хозяин дома, разумеется, врач, жена его, еще молодая женщина, хоть и мать четверых взрослых детей, общественная деятельница, работает, как она нам доверительно сообщила, в партии, выдвинута кандидатом в депутаты муниципалитета.

Завтра в семье большое торжество: выдают замуж дочку, молодую девушку, мою соседку за обедом. Она кончила курсы английского языка, жених ее — студент-архитектор, учится в Сант-Яго. Девушка очень мила, охотно рассказывает мне о городе и его жизни. Талька — сельскохозяйственный районный центр — город внешне малоинтересный. Свадьбы в смысле церковном у них не будет, зарегистрируются в мэрии. Подвенечного платья у нее нет, так, новое платьице. Жить будут отдельно, своим домом. Ее старшая сестра уже замужем, а младшие братья учатся — один студент-медик, второй еще школьник. Сестра очень сокрушается, что братья ленивы, — в ней уже просыпается будущая учительница английского языка.

После обеда привезшая нас Мария прощается с нами; ей надо возвращаться в Сант-Яго. Дальше мы поедем автобусом. Самые жаркие часы дня мы благоразумно провели в прохладном доме доктора, отдохнули и набрались сил и выехали в конце дня, часов в пять, когда жара, по всем законам, уже скоро должна была кончиться.

Ах, какая это была поездка! Автобус удобный, большой, надежный. Пассажиров много, несколько больших чилийских семей с огромным количеством детей. Дети вели себя спокойно, только очень много пили «рефреско» — прохладительные напитки, которые сменный шофер в белой куртке разносит и откупоривает для желающих. Дети, как все дети во всем мире, — желающие. Сидишь высоко и видишь все вокруг. Чудесно! Дорога ослепительно красива, никакого сравнения с ее первой, утренней, частью. Леса густые и разнообразные, очень много могучих хвойных деревьев, зеленые речки, удивительные долины, целые озера цветов — лиловых и розовых, высоких и огромных. Все краски усилены закатом — я больше всего люблю дороги на закате. Я сидела одна, ни с кем не разговаривала, абсолютно растворялась в окружающем меня мире и была почти счастлива.

Жаль было, когда стемнело и дороги не стало видно. Но и во мраке было заметно, что природа становилась все значительнее, леса — все могучее, все плотнее обступали дорогу. Переезжали какую-то большую реку. Даже во мраке все было прекрасно и волнующе.

В Консепсьон приехали в одиннадцатом часу. Сверх всяких ожиданий нас встречают многолюдно — рукопожатия, поцелуи, восторженные взгляды.

— Вы первые живые советские люди, которых я вижу в жизни, — говорит с придыханием какой-то юноша, идя с нами рядом.

Среди встречающих несколько пожилых людей; нам их представляют: это — ученый, это — известный писатель, еще какие-то серьезные, солидные люди. А мы с дороги, растерянные, никак не ожидавшие, что в столь позднее время кто-нибудь может знать о нашем приезде, ждать нас ночью на остановке автобуса...

Нас забирает в свою машину какой-то *professore* — то есть попросту учитель, и везет к себе на квартиру. Там мы и переночуем. Наших возражений он не слушает, да у нас и сил на них нет. Вкусный ужин и славные люди — жена, тоже учительница, и милая толстушка дочка, студентка-микробиолог. Эти люди ждали нас, готовились к этому, им хочется пообщаться с нами, и, превозмoгая дорожную усталость, мы долго и оживленно беседуем.

Под утро мне снился страшный сон, будто мы на обратном пути из Чили почему-то не сходим с самолета в Бразилии, как нам это положено по маршруту нашей командировки. Мы и сами — во сне — не можем ни понять, ни объяснить, почему это так случилось, но это непоправимо, и мучительно жаль, и обидно... Я была так рада проснуться в квартире учителя Маркоса Рамиреса в городе Концепсьон и испытала истинное блаженство, когда поняла, что все это мне только снилось и что Бразилия еще впереди.

Маркос Рамирес повез нас по городу. Нас сопровождает молодая женщина, одна из встречавших нас вчера. Ее зовут Вероника, она актриса, драматург, преподавательница драматического искусства — у них тут есть такой самодеятельный театрик. У нее несколько эксцентрический вид: светлые волосы распущены по плечам, на шее висит огромный языческий амулет, но в общении она приятна, естественна и интересна.

Едва выйдя из дома, мы встречаем Хулио Эскамеса, того молодого художника, с которым познакомил нас Неруда, когда мы обедали у него в Сант-Яго, и он немедленно тоже отправляется с нами, показывать нам город.

Славный город, покойный, зеленый, невысокий; даже деловой и торговый центр с неизбежными большими зданиями не нарушает это впечатление. Зеленый район университета, расположенного в парке.

Крытый рынок в центре города. Здесь уже гораздо ошутимее близость индейцев — их много в рыночной толпе, они продают национальную керамику из черной чилианской глины, изделия из коры копиуэ. Чилийцы очень любят дерево копиуэ. Его цветы — огромные алые колокольчики — эмблема Чили.

Потом мы едем на лагуну, переезжаем большую судоходную реку Био-Био — это ее я вчера видела в темноте, по ее имени называется и провинция.

Стельмах, выехавший на юг на два дня раньше нас с Колчиной, уехал накануне вечером в Темуко. Вероника рассказывает, что вчера он целый день провел на шахте в Лоте, вечером после всех встреч в рыбацком поселке улучил минуту поудить рыбу и был взволнован тем, что никак не может вытащить удочку, считая, что поймал очень большую рыбу, в то время как он всего только зацепил и порвал рыбацью сеть. Но ему не стали этого объяснять, не хотели его огорчать.

Очень просто, как о чем-то будничном и неизбежном, рассказывает Вероника о землетрясениях и моретрясениях, время от времени вторгающихся в их жизнь. Эту жизнь, однако, снова восстанавливают, отстраивают, продолжают и не уходят с родных мест.

— Мы всегда живем, зная, что в любой момент можем погибнуть, но мы верим в жизнь и стараемся сделать все, чтобы она была лучше.

Что-то в этом есть пронзительно трогательное: собственно говоря, это ничем не отличается от жизни всего прочего человечества во всем мире — ему неизбежно и ежеминутно что-нибудь грозит, если не землетрясение и не моретрясение, то войны или другие стихийные бедствия. Я уж не говорю о страшных болезнях. Меня во всяком случае землетрясения сближают с чилийцами. Поначалу я чувствовала, что мы чем-то отдалены друг от друга, что-то отсутствует в их жизни бесконечно важное для того, чтобы нам вполне понимать друг друга. Потом я догадалась, что это война, которую они никоим образом не пережили, в отличие от большей части населения земного шара. Когда я это поняла, мне стало легче с ними общаться, я стала говорить с ними о войне и о ее значении в жизни нашего общества, где почти нет семьи, не пострадавшей от войны, и они живо и умно воспринимали меня и горячо откликались на это, в отличие от некоторых других невовавших народов, изо всех сил отталкивающих войну от себя, защищающихся от нее слоем жира и не желающих впускать ее в свою душу, в свое сознание. Я имею в виду, к примеру, Швецию, но могу, однако, объяснить такую разницу отношения. От Чили война была так далеко, что она почти не реальна, и чилийцы могут горячо и заинтересованно слушать о ней и понимать людей, переживших ее. Самозащита Швеции по-человечески понятна: война была рядом, вокруг; шведы были окружены ею, и она могла в любой момент вломиться в их жизнь, в их дома. Они боятся ее неизмеримо больше, чем далекое Чили, и это можно понять. А может быть, это происходит еще и потому, что жизнь чилийца и без войны лишена благополучия: помимо тяжелой извечной народной нужды, в этой жизни всегда присутствует драматизм в виде постоянной угрозы землетрясений, и как только я поняла это, мне стало еще проще разговаривать и общаться с этими людьми, они стали мне еще понятнее и ближе.

Во время обеда приходили знакомиться с нами разные люди, все сожалели о том, что мы так спешим, и мне уже тоже не хотелось уезжать отсюда, но изменить это было невозможно. Мы уезжаем после обеда, нас везет известный хирург Хусто Ульоа с женой в собственном роскошном «кадиллаке». Мы от души благодарим семью Рамиреса за гостеприимство, прощаемся и уезжаем в Темуко. По пути еще только одна остановка: художник Хулио Эскамес завозит нас в большую городскую аптеку посмотреть его стенную живопись. Посетить его ателье у нас, к сожалению, уже нет возможности. Полотном художнику служили три стены очень большого и светлого помещения, вся четвертая стена — огромное окно. Сюжет его картины — история медицины в Чили. Она начинается с того, что индианки собирают в лесах целебные травы, потом католические монахи трут в ступках и готовят в своих кельях лекарства, потом им на смену приходит современная медицина со шприцем и микроскопом. Мне очень нравится ясность и свет красок, подкупающая своим простодушием манера, за которой стоит большое мастерство и удивительная душевная ясность и чистота. Как жаль, что мы не смогли посмотреть другие его работы! Как жаль уезжать из города Консепсьон! Как жаль, что мы должны спешить. Почему мы должны спешить? Куда мы должны спешить? Ах, это сожаление, сопутствующее мне всю жизнь!

Хусто Ульоа — наш искренний и убежденный друг — провел несколько месяцев на практике в Москве, изучал постановку медицинского дела в наших крупнейших хирургических институтах — имени Склифосовского и у Вишневского. Свои весьма восторженные впечатления он изложил в книге, уже изданной в Чили. — он потом подарил ее Колчиной. Но главное, он отправил сына изучать медицину в Советский Союз. Дарио Ульоа учится на медицинском факультете Университета дружбы наро-

дов; может быть, будущим летом он приедет на каникулы домой, мать очень соскучилась. Это что же, единственный сын? Нет, это младший, есть еще старший, но тот — очевидно, это большой вопрос в семье, — тот не захотел учиться, женился и занимается сельским хозяйством. Мать говорит об этом неохотно и с горечью. Это хорошенькая, очевидно избалованная, очень изнеженная и ухоженная женщина — трудно представить, что у нее взрослые дети. Впрочем, чилийки рано выходят замуж и рано начинают рожать. Муж ее — плотный, крепкий, сильный человек; ему, пожалуй, нет еще пятидесяти; наверное, отличный хирург с талантливыми и сильными руками. Разумеется, я потом в Москве отыскала их сына Дарио, он приходил ко мне; сейчас еще хрупкий юноша, наверное, будет таким же крепышом, как отец.

Вообще все эти доктора и адвокаты на нашем пути — наиболее состоятельный слой интеллигенции, — очевидно, играют немалую роль и составляют главную опору прогрессивных сил страны. Нам они оказались отличными друзьями. Мы проехали по Чили, передаваемые с рук на руки — всюду они есть и всюду они были нам рады и от души помогали нам и любили нас. Учителя живут труднее — наш сегодняшний радушный хозяин Маркос Рамирес, к. примеру. Оба работают, муж и жена, скромный дом, достаток средний, и на старость ведь надо что-то отложить; и как еще сложится судьба их премоилой дочки?

Кока-колу мы уже где-то пили, в каком-то кабачке под скалой, теперь хозяева предлагают выпить чаю — самое время. Мы останавливаемся в живописном месте у шумного водопада, где какой-то ловкий хозяин догадался построить отель и ресторан. Все вокруг колоритно и многообразно — рядом с могучей пальмой растет тоненькая березка. Однако в пути мы находимся уже часа три, а никаким Темуко еще и не пахнет. Ну что ж, поехали дальше!

По пути нам часто встречаются лесоразработки — это основная промышленность этих мест. Лес сплавляется по речкам, зеленеющим в зарослях. Очень много ежевики вдоль дорог.

Проехали перевал, спускаемся крутой дорогой, любуемся самым высоким железнодорожным мостом в мире — по нему, словно напоказ, специально для нас, над пропастью проходит поезд.

Я вспомню его, этот поезд, вспомню через год, в зимней Москве, когда буду переводить нерудовскую «Оду поездам Юга»:

...И ползет, ползет, ползет все выше,
на крутой высокий виадук,
словно поднимаясь по гитаре,
и поет, достигнув равновесья,
синевы литейной мастерской.
Он свистит, вибрируя высоко,
этот поезд окончанья света,
он свистит, как будто бы прощаясь,
собираясь рухнуть, оторваться
в никуда, совсем с земного шара,
с крайних круч,
с последних островов
Поезд,
сотрясающийся поезд,
поезд в гору,
поезд на фронтьеру!
Я с тобою,
я спешу в Ренайко,
поезд, поезд, подожди меня!

Дорога местами очень плохая: ремонт, объезд, пылища. Это замедляет темп нашего движения, и никаким Темуко еще и не пахнет. Пахнет, наоборот, гарью — мы проезжаем места, где часто бушуют грозные лесные пожары, видим еще дымящиеся участки леса.

Темнеет быстро, как обычно в горах, почти сразу наступает ночь. Все это начинает нас беспокоить, но водитель машины спокоен и невозмутим, словно продолжая приятную послеобеденную прогулку. Иногда он, пожалуй, начинает вести себя несколько странно: там, где указатель показывает влево или вправо, он почему-то едет прямо, объясняя это тем, что дорога прямо лучше, а иногда и ничем этого не объясняя. Может быть, стоит уже вправду забеспокоиться — что же все это значит и чем все это кончится? — но я, как всегда в дороге, нахожусь в блаженном состоянии покоя, и наш водитель внушает мне глубокое доверие. Я бы даже под нож к нему легла, так что ж тут беспокоиться по поводу Темуко! Будет нам и Темуко, раз он ведет машину, ему видней.

И в самом деле, мы все-таки в конце концов приехали в Темуко. Уже совсем поздно, народу на улицах мало, одни только влюбленные парочки. Ничего не остается, кроме того, чтобы, улучив минуту, когда они перестают целоваться, спрашивать у них, как проехать по нужному адресу.

Наконец находим улицу и дом, доктор уходит, оставив нас в машине, и долго не возвращается. Наверное, нас уже не ждали и возникли непредвиденные сложности. Меня заботит сейчас только одно: как бы нам исхитриться так, чтобы остановиться в гостинице, а не в частном доме, никого не беспокоить в столь позднее время, никого не затруднять хлопотами о нас, никому не говорить несчетные «*Muchas gracias!*» — «*Большое спасибо!*» — на это уже нет сил. Так и получилось. Было уже слишком поздно для того, чтобы вламываться в частные дома, и благодаря этому мы через несколько минут обосновываемся в отличном номере первоклассного отеля.

Под утро прошел сильный дождь. Было чудесно слушать сквозь сон его шум после душного Сант-Яго. Было даже чуточку страшно: а вдруг это только снится? Ни свет ни заря, как мне показалось сквозь сон, а на самом деле не раньше семи часов нас разбудил телефонный звонок наших передовых частей. Они сейчас собираются уезжать дальше на юг — здесь они за вчерашний день уже все успели осмотреть — и вернуться, очевидно, поздно.

Перед отъездом они зашли к нам и привели двух товарищей — молодого адвоката Нельо и мапуче Висенте, которым поручено свезти нас в индейские поселения.

Темуко — приятный город, со своим колоритом, который начинается с погоды. Это юг, то есть для здешних мест север, и здесь куда прохладнее. Город с утра после дождя, словно вымытый, облачный мягкий денек, напоминающий нашу Прибалтику, много уютных улочек, зелени, цветов. В этом городе издавна живет много немцев, и это чувствуется в архитектуре коттеджей, в характере садилов и дворилов.

Когда мы, выехав из города, начали встречать по дороге мапуче в национальных костюмах, хозяева машины проявляли бурное оживление. Может быть, они делали это ради нас, чтобы привлечь наше внимание, но в присутствии Висенте что-то в этом меня смущало.

Висенте вполне цивилизованный человек, он свободно говорит по-испански и немного по-английски. На нем хороший костюм, и внешне он похож на чукчу или марийца.

Да простят меня специалисты — я, может быть, допускаю сейчас грубейшую ошибку, но все-таки не могу умолчать об этом впечатлении,

об этом сходстве. Есть немало общего и в укладе жизни индейцев с укладом жизни некоторых наших северных малых народностей. Если это не вполне можно сказать об индейских племенах Южной Америки, то уж насчет индейцев североамериканских это, безусловно, так. На Дальнем Востоке, к примеру, живет племя тазов, селящееся по течению реки Таз. Оно вело до недавнего времени кочевой образ жизни, охотясь и рыбака, трудно преодолевая нелегкие условия дальневосточной зимы. Мне рассказывал о них Александр Фадеев — его книга «Последний из удэге» в первоначальном замысле должна была называться «Последний из тазов». Я вспомнила о них недавно, читая книгу Джона Теннера «Тридцать лет жизни среди индейцев». Индейские племена, в которых вырос автор книги, жили точно так же.

Эта интереснейшая книга, написанная сыном миссионера, который был в десятилетнем возрасте похищен индейцами, вырос у них и прожил с ними тридцать лет, недавно впервые вышла у нас в стране целиком. Но в отрывках она печаталась на русском языке более ста лет тому назад, когда впервые была опубликована в Штатах. И печатал эти отрывки со своими комментариями не кто иной, как Пушкин у себя в «Современнике».

Пушкин! Из России его времени он ухитрялся видеть весь мир, интересовался всем на свете, делал все интересное достоянием своей культуры, своего языка. Думаю, проживи он еще хотя бы лет двадцать пять—тридцать, и русская литература совершила бы за этот срок колоссальный рывок вперед. И литература, и язык, и история... Ах, уж эти роковые двадцать пять—тридцать лет, их всегда не хватает, когда речь идет о великих жизнях.

Висенте двадцать восемь лет. Он работает в партии и живет в Темуко. Своей семьи у него еще нет, а отец с матерью живут в одном из индейских поселений.

На выезде из города стоит бронзовая скульптура араукана, целящегося из лука. Это архитектурная деталь всех городков юга Чили, как памятники Жанне д'Арк во всех французских городках вокруг Орлеана. В некоторых городках есть еще памятники Алонсо де Эрсилья-и-Суньиго, автору знаменитой «Арауканы» — поэмы, которую с равным основанием можно считать эпосом, воспевающим мощь испанских завоевателей, — таково было намерение поэта-воина — и эпосом, воспевающим мужество и непобедимость гордого и независимого племени индейцев — арауканов, — так это получилось, ибо чуткая душа поэта не смогла не воздать должного восхищения отваге и благородству арауканов.

Арауканы считаются единственным индейским племенем, которое испанцы так и не смогли полностью и до конца покорить, с которым они вынуждены были считаться и уживаться. Мапуче — последнее арауканское племя, сохранившееся в Чили, достаточно истощенное, обедневшее и вымирающее, но все-таки существующее и заставляющее с собой считаться. Индейская проблема в Чили — одна из насущных и важнейших проблем, и демократические силы страны занимаются ею повседневно и горячо. Собственно, при ближайшем рассмотрении индейская проблема мало чем отличается от общей проблематики жизни народа Чили. Нужды индейцев и нужды чилийцев похожи, у них одна нужда и одна беда — безземелье. Название племени «мапуче» означает в переводе — «люди земли», и вот эти-то «люди земли», в сущности, гибнут оттого, что они почти лишены земли, так же, как, впрочем, «люди земли» не чисто индейского происхождения, то есть все чилийские крестьяне. Между прочим, Висенте, привезя нас в самое отдаленное от Темуко индейское поселение, привел нас почему-то в очень бедный дом, однако

не индейский. Было ли это случайностью, хотел ли он что-то этим подчеркнуть, или это просто для него не имеет уже особенного значения — в любом случае это характерно.

Земельная проблема, в частности, проблема индейского владения землей — одна из старейших и первейших проблем в экономике колониальных владений Испании, оставленная ею в наследство и завоевавшей независимость Латинской Америке. Это проблема, стоящая всегда и не решенная до сих пор. С самого начала испанского владычества, существо которого заключалось именно в захвате земель, принадлежавших индейцам, королевское законодательство пыталось оградить права индейцев на землю — на их собственную землю. Вряд ли кому-нибудь придет в голову рассматривать это как акт некоего проявления гуманизма, — за этим стояла жгучая боязнь роста крупного землевладения, ведущего к неограниченной власти конкистадоров в американских колониях, неизбежно ослабляющего позиции королевского правительства в Латинской Америке. Во все времена находились фигуры, которые ратовали за права индейцев и пытались эти права уберечь и защитить, подобно Бартоломе де Лас Касас (1511 год), который приобрел в истории имя «защитника индейцев». Такие фигуры встречались в разных общественных сферах этих нескольких веков, но тем не менее воз и ныне там, и проблема, решаемая в разных аспектах во все века и на всех этапах и этапах общественной жизни, никогда не была решена радикально и все временные и половинчатые решения в лучшем случае только на время создавали видимость облегчения. Да и создавали ли?

В наше время бедные «люди земли», доведенные до отчаяния, снова начали борьбу за землю, на этот раз изыскав для этой борьбы вполне конкретные формы. Прежде всего мапуче доказали свое законное право на определенные земельные пространства. Им пришлось доказывать это право — им, родившимся на этой земле еще задолго до того, как о ней узнала Испания. Но что уж забираться в глубины истории, сегодня любой школьник знает, что за рекой Био-Био, к югу начинаются древние арауканские владения, которые испанцам никогда так и не удалось захватить. Эти земли за знаменитой и донныне существующей как термин «фронтьерой» («границей») были присоединены к Чилийской республике только в конце XIX века, когда обе стороны, выдохшиеся после нескольких веков кровопролитной борьбы, нашли все-таки путь к «мирному сосуществованию». Однако это древнее право потребовало новых доказательств. И такие доказательства, разумеется, без труда нашлись. Мапуче разрыли старые кладбища, расположенные на этой земле, и доказали по характеру захоронений, что кладбища эти индейские. Дело в том, что, когда умирает мапуче, считается, что он возвращается в Аргентину, откуда некогда пришло это племя, и что живые должны помочь ему вернуться туда. Поэтому умершего мапуче обычно хоронят вместе с конем и со всем скарбом, необходимым для того, чтобы совершить это нелегкое путешествие. Подтвердив таким образом свое исконное право хотя бы на часть этих земель, мапуче захватили их и обратились в правительство с просьбой закрепить их за ними. Ну, а дальше все развивалось уже по известной нам на примере «грибных поселков» схеме. В дело вступили все те же живые и вездесущие общественные силы, которые уже ни в чем и нигде и никому не удастся игнорировать. Они подняли голос по всей стране, в прогрессивной печати и во всех возможных общественных учреждениях, вызвали к жизни общественное мнение самых широких слоев населения. И правительство оказалось вынужденным поддержать просьбу мапуче, горячо подхваченную всей страной.

Наши чилийские друзья очень гордятся и дорожат этой победой, и их можно понять. По правде говоря, и мне она показалась чем-то чрезвычайно значительным и лучезарным, пока я слышала о ней издали, и я готова была возвести ее в разряд одного из знаменательнейших завоеваний демократических сил Чили, пока я не увидела воочию, что такое жизнь мапуче и после одержанной победы.

Индийские поселения называются «*сотипа*» — это слово означает вовсе не коммуны, а всего только общины. Люди живут отдельно и далеко друг от друга — деревень в нашем смысле слова у мапуче вообще нет. В понятие «*сотипа*» вкладывается то, что люди, принадлежащие к данному поселению, в некоторых случаях общими силами помогают тому, кто в этом нуждается: построить дом, скажем, или похоронить кого-нибудь из близких. И ничего больше. Среди мапуче тоже есть более богатые и более бедные. Мы были в доме (индейский дом называется «*ру́ка*» — это нечто среднее между шалашом и юртой, сплетенной из толстой и темной соломы, обмазанной глиной), где живет одинокая пожилая женщина с дочкой семнадцати лет и внучкой от кого-то еще из ее детей. Они издольщики, арендуют полтора гектара земли у более богатых мапуче. Страшная, извечная нужда. Старуха, по просьбе наших спутников, надевает свои серебряные индейские украшения и с гордостью сообщает, что ее однажды снимали для кино. Страшно жаль семнадцатилетнюю девушку: уж очень все в ее жизни убого в этот один раз в жизни переживаемый возраст. У меня как на грех нет ничего, что бы ей подарить. Яркий платочек или брошка были бы для нее большой радостью. Судорожно шарю в сумке, нашарила значок с портретом космонавта Андрияна Николаева, отдаю его девушке и объясняю, что это знаменитый летчик, что он летал высоко-высоко в небо и вокруг Земли, пусть она носит значок и пусть ей встретится жених, такой же смелый и красивый, как этот летчик. Девушка, смущаясь и удивляясь, прикалывает значок к груди и озадаченно слушает незнакомые и, наверное, непонятные слова: «летчик»... «летал вокруг всей Земли»... а может быть, и не верит нам. Но, может быть, и верит и будет думать и помнить об этом. Пусть думает. Пусть думает побольше о разных неизвестных ей вещах. Это очень важно — заставить думать таких, как она. Я бы рада была, если бы это мне удалось.

В другом доме, где много детишек, нам рассказали, что в поселении есть иезуитская школа — мы проезжали мимо нее — и что там сейчас детям стали давать бесплатные завтраки. Наши спутники объясняют нам, что иезуитская школа очень оживилась и развила бешеную деятельность в противовес активной работе коммунистов среди мапуче. Дело в том, что нынешний вождь мапуче, увлеченный поддержкой и помощью, не так давно вступил в коммунистическую партию.

Мы проезжаем поселение по имени Робле Куаче, что означает «одинокий дуб». Огромный старый дуб действительно стоит одиноко у дороги. Висенте ведет нас в школу, где он учился.

Одноэтажное, унылое и запущенное кирпичное строение с открытой галерейкой. Наверно, оно выглядит не так уныло, когда в нем идет жизнь, но сейчас каникулы, нет детей, их голосов, их оживления, и ветхость школьного здания особенно очевидна. Висенте разыскивает учительницу, свою учительницу, пожилую чилийку, с давно знакомым, добрым усталым лицом. Она встречает нас приветливо, но ни мы, гости, ни каникулы, ничто уже, очевидно, не может ее освободить от вечных ее забот. Она настолько знакома мне, что мне кажется, будто я и впрямь давно ее знаю. Может быть, она попросту очень типична, очень похожа на знакомых мне учительниц, на моих учительниц? Разумеется, но все-таки дело не в этом. Откуда-то я знаю ее, именно ее, и знание это бли-

же, недавнее... Может быть, это памятник, который я три недели назад видела в Парке Прадо в Монтевидео? В этом городе много памятников людям труда: есть памятники Пахарю, Рабочему, Докеру, есть и памятник Учительнице — весьма условная фигура молодой женщины без ног, они закрыты каменными складками ниспадающей до полу юбки. Скульптура неинтересная — топорный модерн начала века, — но благородный смысл ее глубоко трогает. И все-таки, нет, не в памятнике дело.

Я знаю эту женщину, именно ее, крепкую и выносливую, несчастливую и победительную, со всем грузом ее судьбы. Она жила в этих же краях, в таком же ветхом и невеселом школьном доме, вечно озабоченная множеством нужд своей большой семьи. Она сама рассказала мне все про себя, про свою судьбу, про свою любовь, про свое горе, про свою душу. Рассказала в стихах, горьких и гордых, трепетных и сильных. Она писала эти стихи, когда правила тетрадки, когда ходила между партами во время урока, слушая ответы учеников. Она писала их, как жила, с той только разницей, что в жизни ее звали Люсила Годой, а стихи писала Габриела Мистраль.

Молодые свои годы школьная учительница Люсила Годой проводила в самых глухих местах — наверное, более глухих, чем индейское поселение Робле Куаче, в пятнадцати километрах от Темуко. Ведь только тогда, когда она стала уже широко известным поэтом, не только в Чили, но и далеко за пределами своей страны, где ее заслуженно считают первым чилийским поэтом, только тогда о ней вспомнило начальство и в виде повышения назначило ее начальницей школы в городке Пунта-Аренас, на берегу Магелланова пролива, на крайнем юге страны. Дальнейшим ее продвижением было назначение сюда, в Темуко, где ее путь пересекся с началом дороги другого будущего поэта, школьника Нафтали Рикардо Рейеса, нынешнего Пабло Неруды. Она всегда была учительницей, возводя это звание в самую высокую степень. Достаточно прочитать «Молитву учительницы», одну из лучших вещей ее первой книги.

«Дай мне единственную любовь — к моей школе; пусть даже ожог красоты не сможет похитить у школы мою единственную привязанность».

«Дай мне стать матерью больше, чем сами матери, чтобы любить и защищать, как они, то, что не плоть от плоти моей».

Вся судьба этой женщины в этой мольбе, и мы знаем, что ее не делает счастливее то яркое и славное, что с ней еще случится, и ничего, ни успех, ни мировое признание не изменят ее сущности.

«Сделай меня сильной, несмотря на мою женскую беспомощность, беспомощность бедной женщины»... «Дай мне простоту и дай мне глубину; избавь мой ежедневный урок от сложности и пустоты»... «Дай мне оторвать глаза от ран на собственной груди, когда я вхожу в школу по утрам. Сядь за свой рабочий стол, я отброшу мои мелкие материальные заботы, мои ничтожные ежечасные страдания».

Стоя на неприбранной галерейке школы в Робле Куаче, я не могу не повторять строки: «Сделай так, чтобы мою кирпичную школу я превратила в школу духа. Пусть порыв моего энтузиазма, как пламя, согреет ее бедные классы, ее пустые коридоры. Пусть мое сердце будет лучшей колонной и моя добрая воля — более чистым золотом, чем колонны и золото богатых школ»¹. Это молитва или заклинание?

Бедная сестра Люсилы Годой, что стоит сейчас рядом с нами, работает в своей школе около тридцати лет. Ее не ждет впереди ни всемирная слава первого поэта Латинской Америки, награжденного Нобелев-

¹ Перевод О. Савича.

ской премией, ни далекие путешествия и встречи, которые сделали жизнь Габриелы Мистраль ярче, не сделал ее счастливее: ничего, никаких перемен,— помог бы кто-нибудь устранить все насущные недостатки и неполадки. У нее есть только эта старая школа, эта молитва, радость оттого, что ей удастся подчас свершить самой то, о чем молит она бога. Вот и Висенте, ее ученик, всегда был хорошим мальчиком, и она всегда говорила, что из него получится толк. Висенте ласково глядит на нее добрыми и благодарными умными глазами.

По дороге в открытом поле нам навстречу скачет верхом индианка, за спиной у нее сидит девочка лет четырнадцати, тоже в национальном костюме, с длинными прямыми черными волосами и подстриженной челкой. Это зрелище пронзает душу чем-то странным и давно знакомым — что это, дочь Монтесумы или еще что-то более смутное? Вообще тут на каждом шагу пронзает душу это странное чувство чего-то давно пережитого и все-таки не позабытого, какого-то древнего сверхвоспоминания, которое томит своим присутствием и невозстановимостью. Это именно то, чего мне недоставало в грохочущем и суматошном Сант-Яго.

Индейцы в Латинской Америке, на своей родной земле... Еще одна пылающая страница истории. Еще один саднящий шрам на совести человечества.

В Монтевидео я видела трагический памятник. По пути из города к Серре, к старой крепости, откуда, в сущности, начался город, у самой обочины современного шоссе сидят на земле, у примитивного очага, четыре мрачные фигуры, погруженные в тяжелое раздумье. Мужчины курят свои длинные трубки, у женщины на руках ребенок. Это памятник последним четверым уругвайским индейцам, которые еще в прошлом веке были проданы на Всемирную выставку в Париж, где и умерли в тоске по родине. На этом, считается, и кончились индейцы в Уругвае. Так сказал нам наш друг, художник Анельо Эрнандес, показывая этот памятник. Но достаточно приглядеться к нему самому, к чертам его лица, ко всему облику его голенастой четырнадцатилетней дочери Моряны, которая сопутствовала нам, и станет ясно, что это заблуждение. Нельзя истребить, уничтожить, стереть с лица земли целый народ, существовавший веками. Это невозможно. Даже в истории последних четырех индейцев есть на это намек — ребенок на руках у женщины. Легенда говорит о том, что он остался жив и что судьба его неизвестна.

В Чили все обстоит совершенно иначе, чем в Уругвае, где индейцы истреблены до основания. Тут не только донны существуют индейские племена, но и собственно чилийский народ, по свидетельству даже и буржуазных историков, энергичный и здоровый чилийский народ возник из скрещения испанцев с индейцами-арауканами. Чилийская культура, чилийское искусство и литература очень тяготеют к индейскому прошлому, бережно хранят индейские связи.

Есть непреодолимая притягательность в драматизме судьбы вымирающего народа. Энгельс, его чудесная книга «Происхождение семьи, частной собственности и государства» высветила яркой вспышкой глубокой аналитической мысли бережно хранимые в душе молодого Фадеева юношеские впечатления — он побывал на Дальнем Востоке в удэгейских поселениях, живущих в условиях едва ли не первобытного коммунизма. Это был первый непосредственный толчок, центроостремительная сила, которая стала собирать воедино эти яркие, но смутные впечатления в один грандиозный замысел. Так родилась идея книги, заглавие которой подсказал молодому писателю с детства любимый «Последний из могикан» Фенимора Купера.

Исток романа — это встреча одного из героев книги в годы гражданской войны на Дальнем Востоке с удэгейским племенем, существующим вроде бы вне истории всего человечества, вроде бы в его далеком прошлом. Фадеева глубоко волновала и вдохновляла мысль о том, что в дальнем прошлом человечества, в укладе первобытного коммунизма, заложено, в сущности, зерно его великого будущего. Эта поэтическая мысль пронизывает его книгу. Гражданская война на Дальнем Востоке, русская революция, те, кто ее совершали и утверждали, партизаны, молодая интеллигенция, выходцы из буржуазной среды, сучанские шахтеры и хунхузы, удэгейцы, китайцы, корейцы, корейские коммунисты, их знаменитая связь с русскими коммунистами, с лучшими людьми большевистской партии, такими, как Петр Сурков и Алеша Маленький, — вот многочисленные герои этого великолепного реалистического полотна. Огромной силы картина революционной борьбы на Дальнем Востоке охватывала все стороны жизни, все социальные слои родного автору края — края его чудесной юности — это, в сущности, роман о судьбах всего человечества на разных этапах его развития.

Замысел, видимо, был так удачно найден, так органичен и естествен, что в него свободно стали вливаться все новые и новые струи, линии, темы. Все дорогое и важное, все, что хранилось в памяти и в душе, — все это, оказывается, могло вспомниться в этом романе. Люди, встречи, жизненные впечатления и раздумья сами по себе, без всяких усилий входили в сюжет, делая его лишь основательней и значительней. Обо всем можно было рассказать и задуматься в книге «Последний из удэге». Роман все разрастался, сюжет его наполнялся все новыми и новыми линиями и образами, композиция все усложнялась. Это было не легко и не просто, но это были трудности, увлекающие и обнадеживающие художника, вселяющие в сердце веру в себя и в свою работу. И автор был счастлив, что возник в нем этот замысел; был, в сущности, влюблен в него, носил его в себе, берег его как нечто драгоценное. Он задумал эту книгу в юности, начал работу над ней в молодости, жил в ней и с ней долгие годы, мужал, и рос, и старел с ней, и, работая и размышляя над этой книгой, возвращался к юности своей, и был счастлив этим.

Он вообще работал медленно, Фадеев, писал трудно и долго, но с этой книгой все было особенно и по-особенному сложно. Жизнь все время мешала ему, отвлекала и словно уводила его от этой работы. Ему приходилось часто прерывать и надолго откладывать ее. Сперва это раздражало и огорчало его, потом он к этому почти привык и приноровился и даже превратил в одну из тех утех, которые так нужны человеку в пути: вот я сделаю то-то и то-то и тогда сяду за «Удэге». Так он год за годом говорил себе, утешал себя, и эта перспектива всегда ему светила и вселяла в него надежду.

Написав и опубликовав первые части романа, он надолго вынужден был отвлечься от этой работы и от письменного стола вообще. Его захлестнула общественная деятельность, работа в Союзе писателей. Он надеялся, верил, хотел сделать в этой сфере своей жизни как можно больше хорошего — он очень любил советскую литературу, знал ее огромные возможности, верил в то, что их можно развить, поддержать, уберечь, надеялся, что сумеет это сделать. И действительно, он много сделал, не жалея себя, своего времени, своих сил.

Так прошло года два, и в Фадееве затосковал писатель. Весной сорок первого года он взял творческий отпуск на несколько месяцев для того, чтобы вернуться к работе. Писатель, берущий творческий отпуск для того, чтобы писать, — это, пожалуй, характерно только для нашей действительности.

Он уехал на дачу, с удовольствием достал и развернул все папки, тетради, записные книжки — все, что было связано с «Последним из удэге», с радостью встретился с милыми ему героями, и работа пошла сразу, свободно, весело, легко, как никогда. Он с ходу написал начало пятой книги романа, те несколько глав, которые теперь известны: детство, юность и любовь заглавного героя, удэгейского юноши Масенды. На этих блистательных по сжатости и силе чувства страницах явственно предчувствуется конец «внеисторического» существования удэгейцев и увлекательное будущее Масенды, человека XX века, который неизбежно примет участие в его великих событиях. И так ему хорошо работалось, так далеко виделось, так широко думалось, что он чувствовал, что напишет книгу одним дыханием. Настолько уж он выносил ее, что знает, как писать каждую главу, каждую страницу. С такими ощущениями он поднялся в свою рабочую комнату в воскресное утро прохладного еще июня и сел к столу, полный радости от желания работать. И в это утро началась война. На другой день Фадеев уже совмещал работу в Союзе писателей с работой в «Правде», и все пошло совсем в другом ключе, совсем в другом ритме.

В первые военные годы, среди своих сложных обязанностей и обстоятельств, он всегда помнил и думал об «Удэге», охотно читал друзьям вдохновенные главы пятой книги, мечтал о том времени, когда вернется к этой работе. Это стало для него почти что символом мира и счастья. Ему так и не удалось добраться до этого мира и счастья.

«Последний из удэге» так и остался недописанным. Я уже никогда не смогу подробно — как он любил — рассказать ему, как вспомнилась мне эта книга на другом полушарии, на далекой арауканской земле, на обратном пути из индейских поселений в город Темуко.

Вернувшись в город, мы прощаемся с нашими любезными спутниками, супругами Ульоа, — они должны возвращаться в Консепсьон.

Мы побывали и у более богатых мапуче. Выехав под вечер в другую сторону от Темуко, проехав километров пятнадцать, оставили машину на шоссе и пошли пешком по проселку, по тропинке в овсе. Кое-где в поле растут кусты, редкие купы деревьев. Какой-то дом в стороне, одинокий дом в поле, оттуда гремит собачий лай... Нет, мы идем мимо и дальше. Довольно сложно, с помощью кольев, положенных здесь, очевидно, именно для этого, переправились через болото и очутились на поле, с которого уже было видно что-то человеческое жилье. Вот и собаки залаяли, почуяв чужих, и навстречу нам по дороге идет старая индианка в темной шали с каймой, в традиционных серебряных украшениях, с лицом приветливым и мудрым, снова таинственно знакомым с детства. Это Мадре Франсиска, говорит Нельо, а старуха приветствует нас и заводит в большую темную рúку. Тут две ее дочери и маленький внучек. Молодые женщины одеты более современно, но у младшей большие глаза.

— Она и вся-то больная, — жалуется старуха.

Рúка большая, просторная, прибранная. Посредине высится очаг. Здесь не живут, не спят, только готовят пищу, едят. Спят во второй, соседней, рúке. Пока мы беседуем о том о сем, слышно, как, постукивая копытцами, возвращаются на ночь овцы. Вокруг нас в полумраке все шевелится, шуршит, потрескивает и попискивает — это устраиваются на ночлег в соломе куры с цыплятами-подростками.

Нас заводят во вторую рúку. Там стоит огромная железная кровать, на ней в тряпье уже кто-то копошится. Появляется один из сыновей старухи — очень заинтересованно и приветливо здоровается с нами: он уже какой-то общестественный деятель в местных масштабах. Еще какой-то парень загоняет скотину.

У этой семьи двенадцать гектаров земли, два быка и две коровы, пятнадцать овец, много птицы. Это уже благосостояние в сравнении с жизнью окружающих, но все-таки — нужда и болезни. Эти люди могли бы быть богатыми, но не получается, потому что нет машин, нет удобрений, не хватает денег для их приобретения. Все дорого, и земля обрабатывается плохо, урожаи невысокие, еле сводят концы с концами.

Мы уходим в глубоких сумерках. Темнеет быстро и густо, и, чтобы избежать трудного перехода через болото, наши спутники ведут нас в обход, более долгим путем, зато посуху. Хозяйский сын провожает нас, выводит на дорогу и прощается. И вот мы идем во мраке летней ночи тропинкой вдоль оросительной канавы. Вода в этой канаве принадлежит местному латифундисту — помещику, индейцы не имеют права пользоваться ею. Свежо — я в шерстяной кофточке, кажется, впервые за всю поездку. Ночное поле чирикает, посвистывает, стрекочет, живет. Странными пронзительными голосами кричат ночные птицы — трейле. Это самодеятельные сторожа: они начинают кричать, услышав чьи-нибудь шаги. Мы тоже вдруг услышали шаги — какой-то человек шел нам навстречу тем же окольным, ночным путем. Странно было встретить человека на этой глухой тропинке, человека, идущего в другую сторону, идущего к себе домой или еще куда-нибудь. Он перекинулся несколькими словами с нашими спутниками — наверное, в свою очередь удивился и спросил: кто это, кого это занесло ночью на полевую тропинку? Это меня занесло сюда, прохожий. Но он уже идет дальше, этот мапуче или, может быть, чилиец. Летают светлячки, очень крупные и яркие.

— Это души убитых, — говорит Висенте.

Убитых или умерших? Можно, вероятно, и так перевести это слово. Когда убитых? Где умерших? Не все ли равно. Здравствуйтесь, души убитых и умерших, я рада, что вы здесь, со мной. Я только до сих пор думала, что никто, кроме меня, вас не видит и о вас не знает. Ну что ж, пусть и другие вас увидят этой странной ночью.

Это был долгий путь в темноте, путь, надышанный полевыми ароматами. Путь, озаренный яркими созвездиями и еще более яркими душами умерших. Путь, наполненный многозвучной музыкой полевой ночи: самозабвенным треском кузнечиков, посвистом сусликов и летучих мышей, голосами ночных птиц, шелестом ночных кустов и деревьев, ясным, торопливым говорком воды в канаве, воды, которая принадлежит помещику, которой не смеют пользоваться другие люди. Было что-то в этой ночи, в этом пути пронзительно человеческое, берущее за сердце, не требующее перевода, понятное до глубины души... Мне стало почти жаль, когда тропинка наконец вывела нас на большую дорогу и мы вышли на шоссе и наткнулись на свою машину, одиноко стоявшую у обочины. Ну что ж, поехали в город Темуко!

На каком-то витке дороги фары нашей машины вырывают из мрака понуро бредущую тощую лошадь. Поперек седла лежит человек.

— Пьяный, — говорит Висенте.

— Пьяный мапуче, — говорит Нельо.

Не надо ли помочь ему? Нет, лошадь доведет его до дому, ей не привыкать стать. Сжимается сердце. Господи, как наглядна жизнь! В самый последний миг она словно хочет заставить меня убедиться воочию в правильности того, что я не раз слыхала: арауканов не смогли победить в веках испанские завоеватели своим огнем и оружием, их одолели столетия нужды, страшные болезни, которых они прежде не знали, и водка, спирт, которых они тоже прежде не знали. Именно это и привело их к вымиранию. Я видела это сама. Впрочем, не будем спешить с выводами: рядом со мной в машине сидит Висенте — трезвый, здоровый и чистый, знающий испанский и английский, друг Нельо и других славных людей.

Было очень странно, почти невероятно, после того земного и древнего, с чем я вдруг так близко соприкоснулась в темном поле, очутиться через полчаса в городе и в доме Нельо. Был воскресный вечер, и в доме было много гостей — молодых друзей молодых хозяев дома. Было много музыки, танцы, песни под гитару. Одна девушка чудесно спела песенку на стихи Никанора Парры (музыка его сестры Виолеты, исполнительницы народных песен) о кувшине и фляге, которые влюбились друг в друга. Мне с ходу перевели прелестный текст, и я потом по памяти сделала перевод.

Мне нравятся эти молодые люди, они внушают доверие, они интересны мне: хотелось бы побольше узнать о них, поближе узнать их. Вот эти двое — жених и невеста, он медик, она учительница, надеются пожениться в марте, если удастся подкопить денег, — это не так легко. Для них все нелегко, для этих славных молодых людей, они живут трудно и небогато, эта молодая чилийская трудовая интеллигенция, они живут нелегкой и наполненной жизнью, отдают много сил и дум тем, кто живет еще труднее и горше, верят в лучшее будущее, и стараются помочь ему наступить быстрее, и охотно собираются в праздничный вечер повидать друзей, поплясать и попеть в уже налаженном и относительно благополучном доме молодого адвоката-коммуниста в городе Темуко за фронтьерой.

Последняя глава

Поезд,
о разведчик одинокий,
возвратишься ты в ангар Сант-Яго,
в этот улей человеческой власти;
посреди вагонов без лица,
может быть, уснешь печальной ночью
сном без аромата и без снега,
без корней, без островов дождливых,
вечно ожидающих тебя.

Ну, а я,
и среди океана
поездов,
и в небе паровозов
я тебя бы все-таки узнал
по приметам этой дальней дали,
по сырým травинкам на колесах,
по особенному трепетанью
сердца, пересекшего фронтьеру
и постигшего непостижимость
ароматной синевы дождей.

Это Неруда, последние строки «Оды поездкам Юга». Вот на одном из из этих поездов мы и уезжаем из Темуко назад в Сант-Яго.

Поезд довольно обшарпанный. Ехать нам около двенадцати часов. За это время можно долететь самолетом от Москвы до Владивостока, но это последняя поездка по Чили и предпоследний день в Чили. Надо это понять в полной мере и прожить этот день в поезде достаточно полноценно.

Я рада, что хотя бы из окна поезда увижу при дневном освещении ту часть пути, которую мы проехали на машине ночью, эту древнюю индейскую землю. Край лесов. Лесные заросли, горные хребты. Лесная промышленность Чили сосредоточивается именно в этом районе. Сотни

тысяч рабочих трудятся на восьмистых лесопильных заводах. Огромные штабеля бревен и светлые, зыбкие холмы стружки — это почти неотъемлемая часть пейзажа вдоль железной дороги. Железнодорожные станции — поселки или маленькие городки, деревянные домики, окруженные яблоневыми садами, тополями и березами, которые делают их очень знакомыми нам... На одной такой станции в семье чилийского железнодорожника родился Пабло Неруда.

Много эвкалипта, много сосны. Кое-где лесной пейзаж нарушается небольшим хуторком, полем созревшей пшеницы, тележкой, запряженной быками, которая тащится по проселку... И снова лес и лесные зеленые реки, причудливо вьющиеся в непроходимых зарослях шиповника и ежевики.

Опять дивный закат над какой-то большой рекой. Впрочем, это, наверное, Био-Био... У меня уже есть знакомые реки в Чили. А уж сколько у меня тут знакомых людей, судеб, домов...

Я бывала очень внимательна ко всем мелочам и подробностям жизни этих домов, — да простят меня их добрые хозяева. Это было вызвано единственным желанием как можно больше понять, что же у нас общего и что разное, и кто из нас счастливей и богаче и почему.

Чили — это богатая земля и бедная страна. Ее естественные богатства — селитра, медь, золото, уран — приносят богатство не ей. Но бедность не мешает ее талантливости, а иногда, наоборот, подчеркивает ее. В один из первых вечеров мы смотрели «Собаку на сене» Лопе де Вега в Университетском театре Сант-Яго. Было наслаждением слушать испанский классический стих. Театр существует на средства университета — университет Сант-Яго, пожалуй, самая мощная культурная сила страны, — но средства эти, разумеется, скудны, так что постановка была очень небогата. Костюмы сделаны из бумаги, но сделаны очень изобретательно и с огромным вкусом. Театры, по моему глубокому убеждению, должны быть бедными. Излишек средств портит вкус и убивает выдумку и изобретательность.

Я рада, что можно посидеть и подумать. Завтра этой возможности никак не будет, а послезавтра утром мы улетаем. Улетаем из Чили. Совсем улетаем. Неужели я больше никогда сюда не вернусь? Никогда не увижу этих эвкалиптовых лесов, этих зеленых лесных речек, этой бедной и гордой арауканской земли?

Поздней ночью мы вернулись в Сант-Яго, в свой отель «Виктория». В последний раз мы возвращаемся в отель «Виктория»... Неужели мы никогда больше сюда не вернемся, никогда больше не увидим респектабельного дон Хосе? Это хозяин отеля, занятая личность! Дон Хосе, с которым у нас с первого дня установились дружеские отношения, охотно рассказал мне обстоятельства своей жизни. Кстати, он свободно владеет тремя европейскими языками и каждое утро, когда мы встречались, непременно несколько кокетливо спрашивал меня:

— Простите, я забыл, на каком языке мы с вами разговариваем?

Он испанец, и в свое время отец, желая уберечь сына от военной службы, избавить его от двухлетнего заточения в казарму, отправил его из Испании загодя. Хитрый план удался только наполовину. Избегнув испанской военной службы, молодой дон Хосе какими-то судьбами очутился в марокканской армии и провел свои два года в марокканской казарме. Как он после этого попал в Чили и стал владельцем отеля «Виктория», дон Хосе не рассказывал, но зато мы знали, что он председатель филателистического общества Чили. И он охотно показывал мне свою весьма примечательную коллекцию марок, посвященных освоению космоса. Надо сказать, что коллекция поразительная, марки собраны редчайшие, а ведь это главным образом советские марки. На мой роб-

кий вопрос, не надо ли ему прислать из Москвы какие-нибудь наши марки, он снисходительно и самодовольно ответил, что таких редких экземпляров, какие есть у него, нет, наверное, у самых крупных советских филателистов. Это звучит загадочно и многозначительно.

Накануне отъезда мы узнали о нем некоторые интересные подробности. Оказалось, что дон Хосе приехал в Сант-Яго как монах и здесь уже впоследствии вернулся к светскому облику. Поговаривают вдобавок, будто бы он масон и даже глава масонской ложи. Ай да дон Хосе!

Мы были рады увидеть вновь нашего друга Балтасара Кастро. Да, да, он простил нас и приехал прощаться с нами после нашего выступления на телевидении. Но это было позже, поздним вечером, а до этого был еще огромный и крошечный последний день.

Прощаемся мы с друзьями у Сесара Годой. В тесную квартирку набилось множество народу, и было так сердечно, что только где-то во втором часу ночи мы наконец-то собрались домой. С нами долго и шумно прощаются хозяева дома, остальные долго и шумно провожают нас в гостиницу и снова долго и шумно прощаются. Кого-то мы завтра увидим, кого-то нет, трудно уже разобраться, что к чему. Надо укладывать вещи — тоже задача нелегкая, и ни минуты свободной для этого раньше не было.

На аэродроме много народу. Разумеется, Рубен Асокор, Сесар Годой, Хуана Флорес, доктор Миранда... Неужели я никогда больше не увижу этих людей? Впрочем, там, на аэродроме, среди рукопожатий, добрых слов, улыбок, глаз, среди множества формальностей и подробностей мне некогда было подумать об этом.

Забавная деталь: во время последнего выполнения последних формальностей с нашими паспортами, в чем нам помогает все тот же Балтасар Кастро, из окошка высовывается вежливый чиновник и сокрушенно сообщает, что в паспорте Стельмаха что-то недоотмечено или переотмечено — одним словом, какой-то непорядок. Балтасар Кастро немедленно включается в выяснение вопроса, и все мигом улаживается. Сенатор объясняет нам, что эта проволочка была явно притянута за уши и выдрана из пальца только для того, чтобы он, сенатор, о чем-то попросил данного чиновника, дав тем самым последнему возможность в каком-нибудь своем случае обратиться с просьбой к сенатору.

Все прощаются с нами у выхода на летное поле. Неужели я никогда больше не приземлюсь на этом аэродроме?

Мы летим. Вот и снежные вмятины Кордильер. Неужели я никогда больше их не увижу?

Какая-то странная теплота подкатывает к горлу и глазам. Чили... Опять в этом имени начинает звенеть что-то бесконечно далекое и недостижимое. Мы провели в этой стране три недели и повидали ее всю — от сената до индейской руки. Увидеть за три недели больше невозможно. И все-таки мы увидели очень мало, увидели только, сколь это своеобразная, ни на что не похожая страна; увидели, как она достойна пристального внимания, сколько интересного можно бы рассказать о ней людям. И только что я стала разбираться, что к чему и кто — кто, только что я начала кое-что понимать, что-то любить, как вот уже надо уезжать... Так это всегда и бывает. Так и жизнь проходит, кончаясь в тот момент, когда человек начинает наконец что-то понимать.

Самолет садится в Буэнос-Айресе. В траве вдоль взлетной дорожки пасутся стреноженные кони. По радио объявляют, что температура воздуха двадцать градусов. Когда мы выходим из самолета, мне почти прохладно — ведь в Сант-Яго было свыше тридцати.

Я бы хотела прожить в Чили долгий срок и написать об этой стране

книгу — я думаю, я сумела бы, уж очень многое до глубины души пронзает меня тут. Мне симпатичны люди, которые тут живут и действуют, строй их мыслей, направление их усилий. Мне только горько было видеть воочию, что большие общественные победы, которые одерживаются с таким напряжением и трудом, неизбежно разбиваются и дробятся об утес существующего положения вещей. И можно ли, собственно, достичь большего и рассчитывать на большее, скажем, в части земельного переустройства, если считать незыблемым латифундизм? Вот то-то и оно! Впрочем, я, кажется, вторгаюсь в запретные зоны.

Может быть — вероятней всего, — я никогда не напишу эту книгу. Может быть, не смогу — для этого нужно много объективных условий, вовсе от меня не зависящих. Может быть, не сумею, — я ведь никогда еще этого не пробовала. Но несколько глав из нее я, наверное, все-таки напишу, не смогу не написать, хотя бы для того, чтоб продлить для себя и утвердить в себе все, что я видела и чувствовала там.

Монтевидео. Нас почему-то не выпускают из самолета. С балкона аэровокзала какие-то люди кому-то машут. В этом городе у меня много знакомых, милых мне людей, я могу вспомнить их лица, представить себе их город, их дома и что они сейчас делают. Это хорошие люди, живые и эмоциональные, полные юмора, полные душевных сил, лишенные равнодушия и безразличия к жизни. Разве не свидетельство этому то, что привело меня в этот город крошечной страны другого полушария — юбилей Рафаэля Альберти, который отмечался не в Аргентине, где постоянно живет поэт, а в Монтевидео? Задуматься о судьбе этого прекрасного испанского поэта, столь трагически потерявшего родину, вынужденного жить на чужбине, у которого на склоне лет ничего не осталось, кроме его великого родного языка, доброго имени и чистой совести; задуматься об этой судьбе и не потужить о ней пассивно, а устроить поэту большой праздник — это могли сделать только великодушные, умные люди. И то, что им это удалось, что они сумели это сделать, означает, что это сильные люди, которые многого могут добиться, многое могут совершить. Подумать только, что все это было так недавно — ведь только месяц тому назад я прилетела на этот юбилей в Монтевидео и провела там первую неделю в Латинской Америке. Сколько, однако, событий и впечатлений уместилось в этот короткий срок!

И кто это выдумал, будто бы человек живет только одну жизнь? Я лично в течение этой своей одной уже несколько раз жила, умирала, и снова рождалась, и снова жила. Вот и сейчас я прожила еще одну жизнь, жизнь в Чили, три недели в Чили. Только три недели? Нет, целые три недели!

Путешествия — они обладают волшебным свойством, они удивительно удлиняют жизнь, — в этом искусстве ничто не может с ними сравниться. Сейчас, на склоне жизни, когда все больше теряешь близких и дорогих и самых нужных людей, что, собственно, нам осталось, какие радости? Не очень-то их много. Работа, хорошие люди — дружба, хорошие книги и музыка и вот путешествия... Не так уж и мало однако!

Постояли всего двадцать минут и полетели дальше. Скоро будет Сан-Паулу. Вероятно, внизу уже Бразилия, где-то там течет Амазонка, греются на солнце крокодилы, ползают анаконды... Удивительно реальное представление о Бразилии! Где это у Толстого: первую половину пути человек думает о том, что осталось позади, а вторую о том, что ждет его впереди.

Неужели я никогда больше не увижу Чили?

ПУБЛИЦИСТИКА

ГЕНРИХ ВОЛКОВ

★

ЧЕЛОВЕК И БУДУЩЕЕ НАУКИ

На могучем древе науки, так буйно разросшемся в нашу эпоху, появились ныне молодые побеги совершенно новой, необычной ветви. Необычной потому, что необычен самый предмет этой науки, хотя он вовсе не был обнаружен внезапно для человечества, подобно, например, предмету квантовой физики. Он был известен столько же, сколько существует сама наука, потому что именно она и есть этот предмет. Развитие науки достигло ныне такого уровня, что появилась необходимость в науке о науке, или, как ее еще называют, — в мета-науке.

Потребность в самоанализе науки вызвана не только ее гигантским ростом, а и колоссальным усилением ее роли в жизни общества. Начавшаяся автоматизация производства, его химизация, биологизация, «космизация», применение ядерной энергии — это такие заявки современной науки, которые свидетельствуют о ее все возрастающем влиянии на жизнь общества. Современная наука не только несет человечеству Прометеев огонь познания, но становится все более важным фактором практического преобразования мира.

Еще в двадцатых годах Бертран Рассел в статье «Икар или будущее науки», сравнивая науку с Дедалом, научившим летать своего сына и тем погубившим его, спрашивал, не постигнет ли современное общество, устремившееся к истине на крыльях науки, участь Икара?

Многие ученые пытаются сейчас ответить на этот и другие вопросы. Возникла «социология науки», исследующая роль науки в обществе. Появляются новые социологические теории «научной революции», «духовной революции», «интеллектуальной революции». Даже политические партии спешат обновить свои программы тезисами о «научной революции». Гарольд Вильсон значительную часть доклада на 62-й конференции лейбористской партии, проходившей в 1963 году в Скарборо, посвятил проблемам научной революции.

Социологические проблемы науки, несомненно, заслуживают глубокого рассмотрения, потому что науке больше, чем какой-либо иной сфере человеческой деятельности, надлежит определять лицо будущего.

Ныне тот, кто хочет знать, какие принципиальные изменения произойдут в жизни человеческого общества в ближайшие годы и десятилетия, обращается к современной науке и технике, пытается постичь закономерности, внутреннюю логику развития и характер тех экономических и политических последствий, которые могут быть вызваны революционными изменениями в технике и великими открытиями в науке.

СЛУЖАНКА ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ЕГО МАТЬ?

Швейцарский инженер Густав Эйхельберг в книге «Человек и техника» остроумно сравнил развитие человеческого общества с марафонским бегом на шестьдесят километров. Каждый километр этой дистанции он приравняет к десяти тысячам лет. Большая часть пути человечества пролегла через роци

и девственные леса, проходила в первозданной обстановке. И лишь только на пятьдесят восьмом — пятьдесят девятом километре появляются первые признаки цивилизации: примитивное оружие первобытного человека, пещерные рисунки. На последнем километре дистанции встречаются первые земледельцы. За триста метров до финиша бегуны вступают на дорогу, покрытую каменными плитами, которая ведет их мимо египетских пирамид и древнеримских укреплений. За сто метров до финиша на пути бегунов появляются средневековые городские строения, они слышат крики сжигаемых на кострах инквизиции.

Но вот остается всего пятьдесят метров. «Здесь,— пишет Г. Эйхельберг,— стоит человек, умными и понимающими глазами следящий за кроссом. Это Леонардо да Винчи».

До финиша, до наших дней,— только десять метров. Начало этого отрезка пути еще освещают факелы и тусклое мерцание масляных ламп, но уже на последних пяти метрах происходит ошеломляющее чудо: электрический свет заливают дорогу, повозки сменяются автомобилями, слышен шум самолетов и появляется грибовидное облако атомного взрыва над Хиросимой! Пораженных бегунов ослепляют юпитеры, их окружают фото-, кино-, радио-, телерепортеры...

Картина, нарисованная Эйхельбергом, зримо представляет невероятное, почти фантастическое ускорение темпов общественного развития.

Последние десять метров, на протяжении которых произошло, пожалуй, больше изменений, чем за весь предшествующий долгий путь развития человеческого общества,— это последние сто лет. Именно в эту пору два основных потока человеческой деятельности — труд производственный и труд научный — устремились навстречу друг другу и, соединившись, ринулись вперед. В этом — одна из основных причин столь мощного ускорения темпов общественного развития в последнее столетие.

Если ранее в борьбе с природой человек мог рассчитывать главным образом лишь на свои физические силы, то впоследствии благодаря соединению науки с производством он получил возможность использовать в этой борьбе познанные закономерности самой природы, сумел заставить служить себе силы природы, потенциальные возможности которых безграничны.

Развитие науки и техники в прошедшие сто лет шло столь стремительно и такими неожиданными скачками, что даже самые дальновидные из тех, кто брал на себя смелость делать технические прогнозы, не раз попадали впросак.

Герберт Уэллс в начале века в книге «Предвидения о воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль» полагал, что только около 1950 года могут появиться летательные аппараты тяжелее воздуха, которые можно будет применять в военных целях. Уэллс считал это предсказание чрезвычайно смелым и опасался, что оно вызовет упреки в фантастичности. Но всего несколько лет спустя после того, как это предположение было высказано, аппараты тяжелее воздуха успешно применялись в условиях войны.

Английский ученый Д. Б. Холден, вдоволь поиздевавшись над недалевидным своим современником Честертоном, полагавшим, что кабриолетам предстоит существовать еще сто лет, заявил в начале двадцатых годов: «Лично я думаю, что через четырехста лет вопрос о добычании энергии будет разрешаться в Англии примерно следующим образом: страна будет покрыта рядами металлических ветряков, которые станут приводить в движение электрические моторы, а те в свою очередь будут снабжать током высокого напряжения большие электрические магистральи». Мог ли Холден тогда предполагать, что уже в середине XX века энергия атомного ядра будет давать электрический ток? Ведь и Уэллс и Холден в своих прогнозах исходили из темпов, которыми наука двигалась вперед в то время, не предполагая постоянного их ускорения.

А закономерность ускорения темпов научного развития подметил еще Ф. Энгельс. «...наука движется,— писал он,— вперед пропорционально массе знаний, унаследованных ею от предшествующего поколения. следовательно, при самых обыкновенных условиях она... растет в геометрической прогрессии».

То, что Эйхельберг выразил в образной форме, Энгельс за столетие до него сформулировал в виде четкой закономерности.

Постоянно ускоряющиеся темпы развития науки подтверждают и данные современных исследований. Джон Бернал установил, что в 1896 году во всем мире было каких-нибудь пятьдесят тысяч человек, которые поддерживали традиции науки, и лишь не более пятнадцати тысяч из них своей непосредственной научно-исследовательской деятельностью обеспечивали прогресс познания. К середине пятидесятых годов число людей, активно занимающихся научными исследованиями, составило уже по меньшей мере четыреста тысяч человек. Ныне же общее число научных работников приближается к двум миллионам человек. Средства, расходуемые на науку, возросли в четыреста раз. Однако в сравнении с другими сферами жизнедеятельности человека наука занимает еще крайне скромное положение. В такой высокоразвитой стране, как Англия, только примерно десять процентов всей рабочей силы занято решением технических задач и неизмеримо меньшее число людей — всего около половины процента — трудится в области научного исследования. Но такое соотношение вряд ли сохранится долго.

Тенденция современного развития такова, что число людей, занятых в сфере материального производства и распределения, будет сокращаться и соответственно будет увеличиваться число занятых в сферах обслуживания и науки. Со временем автоматика сможет заменить труд людей и в области обслуживания, включая даже процесс обучения. Автоматике путь закрыт лишь в сферу собственно творческой деятельности — и интеллектуальной и эмоциональной.

По подсчетам ученых — Пьера Оже, Джона Бернала, — средства на научные исследования в индустриальных странах удваиваются каждые десять лет. Это означает, что сфера науки развивается такими темпами, как никакая другая область человеческой деятельности. Любопытно, что наиболее высокие темпы роста числа ученых — в Советском Союзе. По данным ЮНЕСКО, в капиталистических странах Европы за последние пятьдесят лет число ученых удваивалось каждые пятнадцать лет, в США — каждые десять лет, а в СССР — каждые семь лет.

Подсчитано, что за прошедшие пятнадцать лет количество научных открытий и достижений равно тому, которое было получено за всю предшествующую историю науки. Из этого советский исследователь Г. М. Добров делает вывод, что за те шестнадцать лет, которые остались до завершения программы коммунистического строительства, намеченной XXII съездом, советской науке предстоит сделать куда больше, чем было сделано ею за все предшествующие годы!

Ускоряющиеся темпы развития науки подсказывают и такой не менее любопытный вывод: ежели нынешние темпы сохранятся, то через двести пятьдесят лет в науке будет занято все население земного шара! Вывод на первый взгляд абсурдный. Однако только на первый взгляд.

Да, в науке будет занято все население в том смысле, что в будущем любая деятельность в любой области общественного производства будет обязательно связана с мыслительной, духовной деятельностью. Разумеется, не каждый станет ученым в современном, узкопрофессиональном смысле этого слова, но каждый сможет так или иначе обслуживать сферу науки. Академику Н. Н. Семенову, например, будущее науки представляется в виде повсеместно существующих народных лабораторий, где население предается свободным научным изысканиям.

Конечно, формы участия широких кругов населения в научной деятельности будут самыми различными и неограниченными. Но общая тенденция такова: наука претендует на положение господствующей, если не всеобъемлющей сферы человеческой деятельности.

Эта уже сейчас явно проступающая тенденция требует пересмотра некоторых представлений. Например, представления о том, что непосредственное производство материальных благ будет всегда главенствующим и определяющим фактором по отношению к науке. Дело обычно представляют так: материальное про-

изводство дает «социальный заказ» науке, а последняя послушно его исполняет. По отношению к прошлому подобная схема выглядит по меньшей мере предельно упрощенной, а по отношению к будущему — просто неверной.

Соотношение между материальным и духовным производством претерпевает ныне принципиальное изменение. Наука, по образному выражению академика Н. Н. Семенова, из служанки производства превращается в мать производства.

И это не просто образ: сращение науки с производством достигло теперь такой степени, что не только наука вторгается непосредственно на предприятия посредством заводских лабораторий и научно образованного персонала, но и само производство вторгается в сферу науки, становясь ее экспериментальной базой. Научно-исследовательские центры оснащены уже не просто приборами, а целыми производственными установками и машинами. Возникла особая и все растущая отрасль техники — техника науки.

Трудно сказать, что из себя представляет, скажем, подмосковная Дубна: производство с научными целями или научный центр со своим собственным производством. Скорее последнее. «Мне пришлось быть в СССР и принимать активное и ответственное участие в разработке ядерной техники, начиная с ядерных исследований и кончая получением непосредственных технических результатов. Там я увидел и понял, пришел к абсолютному убеждению — убеждению, основывающемуся на опыте, — что чистое исследование само по себе хотя и необходимая, но недостаточная часть науки. И наоборот, я усвоил при этом и другое: современная техника сама по себе — это необходимая, но также еще недостаточная часть науки. Лишь исследование плюс техника составляют вместе науку», — вот к какому выводу пришел П. А. Тиссен, видный ученый ГДР.

Несомненно, современные крупнейшие научно-исследовательские центры вроде Дубны — это уже прообраз того соединения науки и техники в масштабах всего общества, которое будет типично для не столь уж отдаленного будущего.

Если же заглянуть подальше (а такое даже весьма далеко «заглядывание», иначе говоря — мысленное развитие уже существующих тенденций, необходимо не только в фантастической литературе, но и в самой науке для правильной ориентации), то мы увидим, что, став полностью автоматическим, полностью техническим, исключаяющим непосредственный людской труд, собственно материальное производство перестанет быть производством в том смысле, в каком мы этот термин непременно связываем с непосредственной деятельностью людей. Ибо производство без людей — такой же терминологический абсурд, как общества без производства. Общественное производство грядущего будет складываться из духовной по преимуществу деятельности людей, занятых главным образом в сфере науки, и из автоматически действующей системы технических устройств, которая займет место современных заводов и фабрик.

Существует довольно широко распространенный предрассудок относительно техники будущего, основанный на привычном представлении о прошлом производства. Как остроумно заметил однажды Герберт Уэллс, перед каждым паровозом бежит тень замененной им лошади. Как в мире людей мертвые нередко «преследуют живых», так и в мире техники старые технические формы довлеют над поисками нового.

Тень прошлого падает и на будущее. Фантасты, например, любят изображать производство будущего как те же конвейеры и агрегаты, за которыми трудятся и которыми управляют механические копии человека — роботы. Именно так его изображает автор интересных по психологическому рисунку рассказов «Я — робот» американский фантаст и ученый А. Азимов. Слепок с современного, а вернее сказать, со вчерашнего производства. очевидно, столь же мало похож на технику будущего, как пушечное ядро, в котором устремились на Луну brave герои Жюль Верна, на космические корабли.

Автоматизированные заводы и фабрики будущего фантасты и социологи рисуют непременно в виде «светлых, просторных корпусов», где «много зелени и солнца». Но полностью автоматизированное производство будущего скорее все-

го будет представлять нечто совсем иное — ведь свет, простор и зелень нужны рабочим и совершенно ни к чему кибернетическим устройствам.

Не естественнее ли предположить другое: чтобы не загрязнять атмосферу и не загромождать планету, человечество перенесет автоматическое производство материальных благ под землю (а может быть, и под воду), а зеленью и солнцем будет вдоволь наслаждаться на ее поверхности?

Но если материальное производство ожидает перспектива превращения в полностью техническую систему, то не ясно ли, что такая техническая система не может играть той ведущей роли в жизни общества, которую играло материальное производство? Ведь в противном случае не человек господствует над роботами, а роботы над человеком. Вот почему решающая роль в жизни общества перейдет к научному производству. Именно здесь прежде всего и будут реализовываться творческие возможности человечества.

Как ни парадоксально это звучит, но научное производство включит в себя автоматическое производство материальных благ. Наука ведь всегда включала в свою сферу определенную часть техники — научную технику: различные приборы, средства наблюдения и эксперимента. Научное производство всегда включало известную часть материального производства — экспериментальное производство.

Уже в наши дни лаборатории, которые непрерывно разрастаются и оснащаются подчас более мощной техникой, чем производственные предприятия, становятся неотъемлемой частью институтов и университетов. Следующий шаг — мы станем его свидетелями — перемещение лабораторий непосредственно на заводы. В то же время многие заводы целиком переходят на службу науке, становясь экспериментальными заводами.

Само производство уже не может развиваться по старинке — от одного более или менее случайного изобретения и новшества к другому. Оно постоянно испытывает революционизирующее воздействие новых научных идей и вынуждено постоянно применять их практические разработки, в корне меняющие методы производства и технологию, вводящие новые конструкционные материалы и новые технические формы. Даже земледелие ныне превращается в «применение науки о материальном обмене веществ» (Н. Маркс). Такое производство по существу представляет гигантскую Лабораторию Науки.

Отношения ученого и рабочего — это, в сущности, отношения между теоретиком и исполнителем эксперимента (если под экспериментом понимать вообще материальное производство): ученый вскрывает в природе новые формы и отношения, рабочий эти новые формы и отношения реализует в производительном труде. Если на место ученого и рабочего поставить ученого и лаборанта-экспериментатора, то сущность дела мало изменится, однако здесь уже ни у кого не вызовет сомнения ведущая роль творческой деятельности ученого по отношению к исполнительной роли лаборанта.

Итак, в наши дни все отчетливее прокладывает себе путь тенденция, которую пророчески отмечал еще К. Маркс: непосредственный процесс производства становится «экспериментальной наукой, материально-творческой и предметно-воплощающейся наукой».

Некоторые наши социологи, однако, видят в постановке вопроса о происходящем коренном изменении во взаимоотношениях науки и техники, научного производства и материального производства чуть ли не отказ от материализма. В наиболее категорической форме эта точка зрения выражена в книге Г. В. Осипова «Техника и общественный прогресс». «...Наука, — заявляет он, — не может быть главной силой развития техники, так как само развитие науки определяется общими потребностями технического прогресса. Техника ставит перед наукой новые задачи, которые наука разрешает... Признание науки главной движущей силой развития техники, а посредством нее и общества с неизбежностью ведет к идеалистической точке зрения, согласно которой источником научного прогресса явля-

ются или ученые и их идеи, или божественное первоначало, дающее якобы первый толчок науке».

Беда, конечно, не в императивности авторского стиля. Безапелляционные установки Г. В. Осипова не выдерживают апелляции к фактам и логике.

В самом деле, определяется ли развитие науки исключительно «общими потребностями технического прогресса»? Всегда ли отношения между наукой и техникой уподобляются отношениям между тем, кто ставит задачи, и тем, кто их разрешает? Если так, то нужно сдать в архив марксистское положение об относительной самостоятельности развития идей и знаний как форм общественного сознания.

Но будем конкретными. Было ли, скажем, появление геометрии Лобачевского, рождение теории относительности, квантовой теории, открытие антимира, да и множество других великих завоеваний человеческого гения решением задач, поставленных техникой? Трудно ответить на этот вопрос утвердительно, не рискуя впасть в вулгаризаторство. Зато с полной определенностью можно утверждать, что каждое из этих открытий дало мощный толчок техническому прогрессу.

Было бы, разумеется, упрощенчеством полагать, что техника вообще не оказывает воздействия на науку. Здесь происходит диалектическое взаимодействие, не терпящее ущербной однобокости и не укладывающееся в схематические рамки жесткой причинно-следственной связи.

В общем плане — и это азбучная истина марксизма — развитие науки, как и развитие техники, определяется потребностями общественной практики (а не потребностями технического прогресса!). Но разве научная деятельность ныне — не одна из форм общественной практики?

Наука с превращением в непосредственную производительную силу не представляет только «чистого разума», «чистой теории». Помимо теоретических исследований, наука охватывает исследования прикладные и научно-технические разработки. Она неизбежно включает в свою сферу экспериментально-практическую проверку новых идей и гипотез. А отсюда следует, что науку уже нельзя целиком относить только к формам общественного сознания. Она давно переросла эти рамки, став орудием практического преобразования мира, фактором общественной практики.

Но раз научная деятельность — своеобразная форма общественной практики, которая существует наряду с деятельностью в сфере материального производства, то уж вовсе несообразно рассматривать соотношение между этими сферами как соотношение идеального и материального. Это так же нелепо, как, скажем, усматривать идеализм в том факте, что в труде современных рабочих начинают преобладать умственные функции!

Великий социальный провидец Карл Маркс еще в середине прошлого века сумел разглядеть ту тенденцию общественного развития, в силу которой наука и научный труд выдвигаются в центр всей жизни общества.

«...Непосредственный труд и его количество, как определяющий принцип производства — создания потребительных стоимостей, — писал К. Маркс в «Очерках критики политической экономии», — ...сокращается количественно до незначительной пропорции, а качественно превращается, правда, в необходимый, но подчиненный момент по сравнению с всеобщим научным трудом, с технологическим применением естественных наук...» (подчеркнуто мною. — Г. В.).

В наше время сама действительность производит поразительные метаморфозы с устоявшимися понятиями и социальными категориями. Сложная диалектичность этих превращений требует от философов, социологов, экономистов глубокой диалектичности мышления.

Это не только вопрос теории, но и вопрос практики. Намечающееся изменение в соотношении между материальным и научным производством, между наукой и техникой выдвигает ряд практических проблем, от решения которых зависит успех созидательной деятельности нашего народа.

Ежели наука становится доминирующим фактором социального прогресса, то, следовательно, именно сфера науки должна развиваться ныне особенно быстрыми темпами. Создание материально-технической базы коммунизма, дальнейшее совершенствование производства материальных благ — это наша программная задача. Но темпы экономического строительства упираются ныне в темпы развития науки, зависят от нее.

Чтобы прогресс производства продолжался по восходящей линии, развитие науки должно опережать развитие техники — вот требование, выдвигаемое логикой научно-технической революции.

«ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ» НАУКИ

С возникновением машинного производства буржуа начал с удивлением обнаруживать, что наука, которую он через призму своего кошелька привык издавна третировать, которую он называл «никчемным» занятием, «пустоцветом», паразитирующим за счет тех, «кто делает дело», превращается в дерево, несущее «золотые яблоки». Он начал понимать, что ученые — эти «яйцеголовые» и «длинноволосые», которых он презирал за то, что они «не от мира сего», — могут быть полезны ему не в меньшей степени, чем рабочие.

Это с полной очевидностью обнаружилось в нашем столетии, когда научно-исследовательские лаборатории стали «главным цехом» на промышленных предприятиях, а наука получила звание «великой прародительницы экономического роста», что вовсе не было преувеличением.

Теперь в ходу новый термин — «промышленность открытий». Им обычно обозначается вся научно-исследовательская деятельность учреждений, для которых исследования и разработки составляют основной бизнес. Журнал «Мэгэзин оф Уолл-стрит» в начале 1959 года писал, что, будучи выделена в отдельную отрасль, научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа заняла бы по размеру затрат шестое или седьмое место в американской промышленности.

Таковыми темпами не развивается ни одна отрасль народного хозяйства. И — добавим — ни одна отрасль промышленности не приносит таких прибылей, как «промышленность открытий». По данным журнала «Уорлд сайенс ревью», промышленность США в течение двадцати пяти лет получала от двадцати до пятидесяти долларов прибыли на каждый доллар, вложенный в научные исследования, а по другим данным эта сумма достигает шестидесяти долларов.

Еще не так давно слово «исследование», по признанию одного бригадного генерала США, считалось «неприличным словом в военной промышленности». Ныне слово «наука» для предпринимателей звучит примерно так, как некогда звучало слово «Клондайк». Их охватила «золотая лихорадка» научных исследований. Россыпи научных открытий оказались куда богаче знаменитых золотых россыпей Клондайка.

Научное знание становится в мире «частной инициативы» всего лишь выгодным товаром. Эта точка зрения откровенно выражена Д. Тримблом — вице-президентом научно-исследовательской корпорации «РИАС». «Мы считаем, — заявил Д. Тримбл, — что знание само по себе должно быть продажным товаром. Такой продукт был бы самым прогрессивным, какой только можно себе представить, поскольку он — скорее абстрактен, чем реален. Если наша компания намеревается действовать в наиболее прогрессивных областях, какие мы сможем найти, тогда в один прекрасный день нам следует быть готовыми сбывать на рынке знание. Продукция, выпускаемая «РИАС», предназначена служить скорее самоцелью, нежели всего лишь источником информации для будущего бизнеса в производственной области... «РИАС» — корпорация, извлекающая прибыль, а продукт, который мы продаем, — это знание».

Научное знание — действительно весьма своеобразный товар на капиталистическом рынке. Экономический эффект, который дает обществу реализация

научной идеи, совершенно несоизмерим с теми жалкими затратами, которые были сделаны для ее производства. В самом деле, пусть попробует кто-нибудь соизмерить затраты на изобретение паровой машины Уатта и полезный эффект этого открытия для человечества! Даже самая совершенная электронно-счетная машина не справится с такой задачей.

Наука представляет столь необычный товар в силу того, что научные идеи не умирают и не выбрасываются на свалку подобно устаревшему техническому оборудованию. Они будут продолжать свою службу и через сто, двести, тысячу лет, как песчинки и кирпичики в фундаменте грандиозного научного здания.

Предпринимателю не нужно оплачивать прошлые знания, хотя он и использует их в своем производстве. Они достаются ему бесплатно, подобно силам природы. Он выжимает с их помощью максимум прибыли, не увеличивая издержек производства. В машинах, оборудовании, в методах технологического процесса воплощен духовный труд многих поколений ученых. Их имена, возможно, давно уже забыты, но их труд по-прежнему продолжает служить людям.

Научный труд — речь идет, разумеется, о подлинной науке — это бессмертный труд. Не сделать бизнес на бессмертии для бизнесмена — смерти подобно.

Новые научные идеи, как и прошлое знание, предприниматель предпочитает получать бесплатно. В самом деле, кто согласится платить за товар, который, будучи раз произведен, становится неограниченно доступным каждому? А именно таким своеобразным товаром и есть продукт научного творчества.

Однако ждать, пока соседняя фирма первой реализует новое научное изобретение и получит миллионные прибыли, бизнесмен тоже не может. Как сострил руководитель одной из американских фирм Н. Такер, научное исследование подобно азартной игре, в которой более рискованно, нежели заниматься исследованием, не заниматься им.

Золотая середина, к которой, естественно, стремится в этой ситуации бизнесмен, оказывается золотой за счет интересов науки. Последняя попадает в незавидное положение уличной певички, которую все с удовольствием слушают, но которой почти никто не хочет платить...

Но ведь как будто бы говорят об обратном те десятки миллиардов долларов, которые расходуются в США на финансирование науки? Оказывается, нет. Потому что, во-первых, львиную долю всех расходов на науку составляют расходы в военных целях. Удельный вес военного сектора в правительственных расходах на исследования и разработки составляет 87,5 процента. Во-вторых, и государство, и частные лица финансируют главным образом прикладные исследования и разработки, то есть исследования, направленные не на производство нового знания, а на практическое приложение уже имеющегося. Что касается фундаментального теоретического исследования, которое и представляет собственно науку, то оно получает жалкие крохи. Журнал «Форчун» свидетельствовал, что министерство обороны США выделило в 1958 году на фундаментальные исследования менее одной тридцатой части всех ассигнований на науку, а именно пятьдесят миллионов долларов. Это примерно та самая сумма, которую США затратили в 1957 году для искусственного поддержания цен на сухое молоко!

Бизнесмены охотно собирают плоды с теоретического древа науки, но не желают его поливать и подкармливать. В результате положение с теоретическими исследованиями начинает принимать катастрофический характер. Высказываются резонные опасения, что в условиях такой «финансовой засухи» наука не сможет нормально плодоносить.

Опасения эти не лишены основания. По данным американских экономистов — Д. Кизера, Д. Гринуолда и Р. Улина, — расходы на теоретические исследования, вместо того чтобы возрастать, относительно все более и более сокращаются.

Объясняется это тем, что потребности развития науки приходят в неприемлимое противоречие с экономическими законами капитализма. Бизнесмен вкладывает средства в научное исследование только в

том случае, если он убежден, что они окупятся в ближайшие годы и доставят прибыль, соответствующую закону средней нормы прибыли. Но характер теоретических исследований таков, что между разработкой научной идеи и ее практической реализацией в широких масштабах лежит более или менее длительный период времени.

В переводе на язык бизнесмена это означает, что в течение ряда лет он должен жертвовать долей своих прибылей, увеличивать издержки производства, ничего не получая взамен. Это означает ставить под угрозу финансовое здоровье своей фирмы. А ради чего? Если бы бизнесмену было точно известно, что через определенный — пусть долгий — срок его жертвы окупятся с лихвой, тогда риск был бы оправдан. Но он этого не знает. Не знают этого и сами ученые, которых он финансирует. Наука — это то же путешествие в неизвестное. Это всегда — если говорить о «чистой теории» — задача с двумя и более неизвестными.

Вряд ли в сороковых годах, приступая к решению проблемы управления радиолокационными установками, Норберт Винер мог предполагать, что из решения этой частной задачи вырастет через несколько лет новая наука, которой суждено будет определять лицо века!

Финансируя исследовательскую группу, предприниматель поэтому никак не может отделаться от чувства, что он покупает кота в мешке. Он ничем не гарантирован, что его деньги вообще не окажутся выброшенными на ветер, так как далеко не всегда ученым удается найти достаточно эффективный путь к решению поставленной задачи.

Чем больше исследование приближается к «чистой теории», тем больше становятся неопределенность и риск. И, следовательно, с тем меньшей охотой и меньшими суммами бизнесмен склонен заниматься их финансированием.

Недаром фундаментальные исследования в США называют «золушкой американской науки», которая до сих пор не может найти своего «принца» среди слишком расчетливых и лишенных фантазии бизнесменов.

Фундаментальные исследования — это не просто часть научных исследований вообще. Известный английский физик Дж. Дж. Томсон как-то очень точно заметил, что если изобретение ведет к реформам в производстве, то открытия в области «чистой теории» ведут к революциям. Развивать прикладное исследование за счет ущемления теоретических — это значит уподобляться тому незадачливому строителю, который ведет отделочные работы в здании за счет ассигнований на его фундамент. И тем не менее иначе капитализм поступать не может — такова его природа, таковы законы его развития, основанные на стоимости. К тому же люди, от которых зависит финансирование американской науки и в государственном аппарате, и в частных фирмах, имеют подчас средневековое представление о теоретических исследованиях. Печально знаменитым стало изречение бывшего министра обороны США Ч. Вильсона: «Фундаментальное исследование — это когда вы не знаете, что делаете».

Среди самих американских ученых в связи со всем этим распространяется убеждение, что в науке происходит «невидимый кризис».

Царящие ныне дух наживы и конкурентная борьба, которые в некоторой степени способствуют развитию материального производства в капиталистическом обществе, все более обнаруживают свое полное несоответствие с духовным производством, тормозят развитие науки. Капиталистическое производство подчиняет научную мысль своим законам, делает из нее товар, противостоящий другой мысли, другой научной идее как товару. В результате — конкуренция и антагонизм идей.

На практике это означает, что каждая фирма стремится собственными силами решить ту или иную научно-техническую проблему и раньше своих конкурентов. Отсюда дублирование работы, распыление средств и научных кадров.

Там, где сконцентрированные усилия, возможные в условиях планового народного хозяйства, привели бы к решению научной проблемы в течение нескольких месяцев, требуются годы на параллельные исследования самостоятельных

групп, каждая из которых работает на свой страх и риск, подчас ломаясь в открытую дверь уже кем-то давно найденных, но засекреченных решений. Система патентов, лицензий, авторских прав позволяет фирме распоряжаться своей научной продукцией бесконтрольно. Она властна заморозить внедрение открытия на десятилетия, если это ей выгодно. «Дженерал моторс», например, считает «коммерчески ценными» менее одного процента своих патентов. Остальное лежит под спудом. Основная масса патентов на некоторые виды синтетических смол в США была выдана в начале тридцатых годов, а их производство было налажено лишь в конце пятидесятых годов. Нейлон изобретен в 1932 году, а его коммерческое производство налажено только в 1946—1947 годах.

Конкурирующие фирмы тратят миллионы долларов на «научный шпионаж» и контршпионаж. Американская фирма «Проктэр энд Гэмбл» украла секрет производства нового сорта мыла у «Леве́р бразерс». Компания «Чарльз Пфайзер» «позаимствовала» секрет производства антибиотика тетрациклина из лабораторных тайников «Ледерли лэбораториз». Западногерманская компания «Фон Кохорн» похитила секреты производства нейлона у американской монополии «Дюпон де Немур». И так далее.

Капиталистический мир ныне наряду с двумя застарелыми язвами, исподволь разрушающими социальный организм — хронической недогрузкой рабочей силы (безработицей) и хронической недогрузкой основного капитала, — приобрел третью: хроническое недоиспользование научно-технических знаний. Профессор экономики Гарвардского университета В. Леонтьев считает, что «в эпоху, когда экономический прогресс в такой большой мере зависит от научно-исследовательской работы, хроническое недоиспользование технических знаний может в конце концов оказать еще более вредное воздействие на темп экономического роста, чем омертвление капитала или безработица».

Но духовное производство по самой своей природе — это производство общественное. Его продукт в куда большей степени, чем продукты материального производства, — результат не столько единичного труда, сколько итог всей предшествующей деятельности общества. Это итог творческой аккумуляции, переработки, переосмысления того, что было создано гением всего человечества. Маркс, говоря о XVIII веке, заметил, что история техники могла бы показать, как мало то или иное изобретение принадлежит тому или иному отдельному лицу. С еще большим правом эту мысль следует отнести к научным открытиям. «Соавторами» каждой крупной научной идеи выступают обычно чуть ли не все предшествующие ученые в этой области и многие из современников.

И если потребителем продукции материального производства, скажем партии холодильников, выступают определенные лица, которые получают их в свое частное пользование, то потребитель продукции духовного производства в конечном счете — все человечество. Кто бы ни был автор новой научной идеи, какой бы частной компании ни принадлежало юридически право на владение ею, рано или поздно обладателем этой идеи становится все общество, все получают право на ее потребление. Всеобщий способ присвоения вытекает отнюдь не из политико-экономической организации общества. Это требование самой природы духовного производства.

Общественный характер духовного производства, всеобщий способ присвоения его продуктов противоречат экономическим законам капиталистического общества и находятся в полном соответствии с социально-экономическими законами коммунистического общества.

Научный труд, например, вообще не может быть измерен с помощью закона стоимости. Здесь эта ограниченная мерка неприменима, хотя предприниматель и не располагает иным мериллом. Он вынужден «взвешивать» продукт скотобойни и научного творчества на одних весах, применять к ним один известный ему критерий общественно необходимого рабочего времени. Но как можно, не рискуя

впасть в карикатурную ситуацию, измерять ценность докторской диссертации или книги количеством затраченного на них общественно необходимого времени?

Кто и как, во-первых, может определить это общественно необходимое время? Ведь научное производство — это не массовое производство, его продукт всегда единичен и неповторим в своей специфичности.

Труд ученого не поддается регламентации временем. Процесс научного поиска не втиснешь в рамки рабочего дня. Специфика интеллектуальной деятельности в отличие от физического труда заключается также в том, что границы ее практически очертить невозможно. Рабочий перестает трудиться в тот момент, когда он выходит с завода, ученый же продолжает сознательно или подсознательно работу над решением увлекшей его проблемы и за обедом, и в театре, и даже во сне. Труд ученого — это во многих отношениях прообраз коммунистического труда, ибо он протекает не по законам рабочего, а по законам свободного времени. Научное творчество — это творчество коллектива, в котором процесс труда каждого индивидуален.

Кто и как может измерить это, пусть даже индивидуальное, время, необходимое для выработки научной идеи? Не охватывает ли это время всей предшествующей жизни ученого, начиная от постижения первого слова? Ведь общественная ценность научной идеи не идет ни в какое сравнение с теми индивидуальными затратами времени и усилий, которые потребовались для ее рождения. «Совершенно невозможно измерить ценность идей», — приходит к выводу видный американский экономист Леонард Силк в книге «Научная революция». И он прав. В стоимостных формах ценность идей действительно измерить нельзя, ибо это формы, неадекватные самой природе духовного производства.

«Потребность в большем количестве людей, обладающих знаниями, уже стала очевидной во всех сферах американской жизни», — считает Силк. Но как раз эту потребность и не способно удовлетворить капиталистическое общество в нужных масштабах. Сами буржуазные идеологи вынуждены признавать с горечью и тревогой нехватку квалифицированных рабочих, техников, инженеров, ученых. Поэтому в капиталистическом обществе и возникает противоречие между уровнем развития техники и уровнем развития трудящегося населения.

То, что мы уже достигли значительного преимущества в области образования самых широких народных масс, служит надежнейшей гарантией дальнейших успехов в области науки, а следовательно, и гарантией победы в экономическом соревновании с наиболее «богатыми» капиталистическими странами.

Даже для наших идейных противников все очевиднее становятся преимущества социальной системы, при которой прогрессу науки открываются широкие возможности.

«Ключом к проблеме науки, — как справедливо считает американский физик, профессор Колумбийского университета доктор П. Куш, — является создание социального климата, в котором она может процветать». Социальный климат капитализма для процветания науки, по горькому признанию многих западных ученых, явно губителен.

Несколько лет назад «Нью-Йорк таймс» провела сравнительный анализ уровня развития науки в США и СССР. Авторы итоговой статьи взяли интервью у многих американских ученых, побывавших в последнее время в СССР. Они пришли к выводу, что в Советском Союзе образование и научные достижения оцениваются гораздо выше и оплачиваются гораздо лучше, чем в Соединенных Штатах, что, в общем (исключение составляют главным образом некоторые области биологии), наука в Советском Союзе развивается гораздо быстрее, чем в Соединенных Штатах.

С начала шестидесятых годов в выходящих на Западе статьях и книгах, где проводится сравнительный анализ развития науки, уже прямо говорится об отставании американской науки.

И это весьма знаменательно: именно та сфера общественной деятельности,

которой надлежит занимать все большее место в жизни общества, которой принадлежит будущее, именно она выявляет вполне определенную противоречивость с экономическими отношениями капиталистического общества.

КАКОГО ЧЕЛОВЕКА СОЗДАЕТ НАУКА?

Образ ученого-чудака, глухого ко всему, что не касается его узкой специальности, стал банальным комическим персонажем. Выражение «профессорская ученость» обычно употребляют с оттенком снисходительности и издевки. Над узколюбными приват-доцентами и ограниченными катедер-профессорами издевались в свое время и Фридрих Энгельс и Владимир Ильич Ленин.

«Человек, который познает все лучше и лучше все более и более узкую область, так что в конце концов он знает все... о ничем», — заметил как-то об ученом-специалисте Бернард Шоу. Портрет подобного «ученого дикаря», невежественного в отношении всего, что не входит в круг его познаний, нарисовал буржуазный философ Ортега-и-Гассет. Это, по мысли философа, представляет серьезную опасность, так как предполагается, что такой ученый — «невежда не в обычном понимании, а невежда со всей амбицией образованного человека».

Подобного человека создавала наука в XIX и начале XX века, наука эпохи увлечения частностями, эпохи собирания фактов. Речь, разумеется, идет здесь не о гигантах научной мысли, а о «среднем человеке» науки, не о тех, кто делал науку, а о тех, кого «делала» эта наука. Если фабричное производство уродовало рабочих физически, превращая их тело в односторонне развитый орган машины, то научное производство создавало интеллектуальных уродов — людей с гипертрофированным развитием одной узкой умственной способности.

Юношу XIX века карьера ученого обычно не прельщала, он не хотел быть похожим на своего профессора — книжного червя, уловителя фактов и фактиков, единственным достоинством и единственной способностью которого была способность к запоминанию и скудословие.

Юноши середины XX века мечтают о трудной профессии ученого. Наука стала областью романтики и мечты, заманчивой страной неизведанных тайн, трудных дорог и фантастических находок. На тропах науки путника могут ждать и самые тяжелые разочарования, и мучения, и слава. Наука дает в руки человечеству ни с чем не сравнимое могущество.

Об этой стороне дела хорошо и остроумно сказал Бертран Рассел в лекции о воздействии науки на общество: «...Сила молитвы имела общепризнанные границы: было бы богохульством просить слишком много. А власть науки, по мнению некоторых людей, не знает границ. Нам говорили, что вера может сдвинуть горы, но никто не верил в это. Теперь нам говорят, что атомная бомба может сдвинуть горы, и все верят этому».

Если же иметь в виду еще и вполне обоснованную претензию науки занять главенствующее положение в производительной деятельности общества, то понятно животрепещущее значение вопросов: какого человека создает наука сегодня? Какого человека она будет создавать завтра? Каким будет научный труд?

Революции в науке — если брать науку в целом, как социальное явление — идут по двум основным направлениям: с одной стороны — ломаются барьеры между наукой и производством, с другой стороны — уничтожаются пропасти и «ничейные земли» между областями научного знания. Развитие первой тенденции мы уже рассмотрели. Вторая — имеет столь же большое значение.

Науку мы ныне и не представляем себе иначе, как состоящую из множества областей знания, каждая из которых имеет свой строго очерченный предмет, свою историю и свои специфические закономерности. Природа, подобно средневековому королевству, оказалась поделенной на удельные княжества суверенных наук. Но в действительности природа представляет единое целое, она ничего не хочет знать о том, как ученые поделили ее между собой. И она часто мстит им за столь произвольное деление.

Это уже ощутимо сказывается. Новые науки возникают как связующие звенья между прежними областями знания, новые проблемы решаются на стыках наук.

Но парадоксально! Новые области знания, призванные восполнить недостаток специализированного подхода, приводят к дальнейшей специализации и дифференциации науки. Прежние обширные области знания дробятся на отрасли, разделы, каждый из которых претендует на самостоятельность. По данным американского историка науки Д. Прайса, специализация удваивается примерно каждые десять лет. И наука пока не знает иного пути к объединению разрозненных знаний, как посредством дальнейшего их дробления. Но это дробление уже не разъединяющее, а объединяющее, ибо каждая новая дробная отрасль ликвидирует существовавший разрыв между двумя, тремя и более науками, наводит, так сказать, мосты между ними.

Уже сейчас границы наук условны. Сам предмет исследования, в котором физические явления не существуют отдельно от химических, биологических и так далее, требует от ученого знания смежных наук, умения пользоваться их методикой. Подобно тому как новая автоматическая техника кладет конец использованию человека в качестве части технического механизма и требует от него развитых интеллектуальных способностей, так и наука самой логикой своего дальнейшего развития требует не узких специалистов избранной ими микрообласти, она требует людей с широким кругозором, опирающихся в изучаемой проблематике на знание закономерностей и методов других наук, умеющих широко мыслить, способных к универсальному охвату действительности для решения частных вопросов.

Такой универсализм ничего общего не имеет с дилетантизмом «энциклопедической образованности». Энциклопедическая образованность — это та же фактологическая «ученость», но направленная не вглубь, а вширь. Это знание обо всем понемногу. Старый принцип, выдвинутый еще древними греками — знать все о немногом и немного обо всем, — считавшийся золотым правилом научного творчества, есть лишь уравновешивающая «золотая середина» между дилетантизмом и узкой специализацией. Применительно к будущему (и в известной мере уже к настоящему) научного творчества правило это следовало бы перефразировать следующим образом: *знать о сущности всего, чтобы познать новую сущность.*

Такой универсализм не абстрактный идеал и благое пожелание. Это объективная необходимость, диктуемая самим развитием науки, идущей к знанию, единому, неделимому, всеохватывающему, к знанию, все области которого так же органически переплетены между собой и слиты, как в частице живой материи переплетены и слиты механические, физические, химические, биологические, психические и тому подобные процессы. Ученый, который имеет дело с такой частицей и хочет найти разгадку ее еще не раскрытых тайн, не может быть ни только биологом, ни только физиком, химиком, физиологом, психологом, математиком. Он должен быть и тем, и другим, и десятком вместе. Ибо искомая тайна частицы может лежать на самых неожиданных стыках между далеко отстоящими друга от друга науками.

К решению, например, проблемы раковых заболеваний ученые и экспериментаторы сейчас идут различными путями: применяются методы химического, физического, биологического, нервно-психического воздействия. Комплексного подхода, с изучением не только химико-биологических процессов в клетках, но и воздействия социальных факторов, требует для своего решения проблема наследственности. И подобным же образом обстоит дело с любой крупной научной проблемой.

Сейчас необходимость сочетать знание частных с универсальным охватом приводит к тому, что для решения того или иного научного вопроса создают «мозговые центры», которые объединяют ученых самых различных специаль-

ностей — от физиков, химиков, техников до экономистов, антропологов и философов.

По решению Президиума АН СССР и в нашей стране создаются научные коллективы для комплексной разработки, например, проблем высшей нервной деятельности и психологии. В эти коллективы входят клиницисты, морфологи, психологи, кибернетики, математики, специалисты по радиоэлектронике.

В современной науке вообще резко возрастает процент коллективных работ. Подсчитано, что если в начале века только восемнадцать процентов всех печатных работ принадлежало коллективам авторов (от двух и более), то в наше время эта цифра поднялась до шестидесяти семи процентов.

Но простое соединение труда ученых различного профиля не может дать хороших результатов. Если физик понятия не имеет об антропологии, а антрополог ничего не смыслит в физике, им трудно вести совместные исследования и находить общий язык. Это будет объединение по принципу — лебедь, рак и щука, и оно не сдвинет науку с места. Необходимо, чтобы каждый из этих ученых обладал более или менее развитой способностью к широкому охвату действительности.

Но как практически реализовать требование универсальности? Возможно ли при нынешнем гигантском объеме знаний одному человеку охватить все? Ежегодно в мире публикуется почти три миллиона журнальных статей, до двадцати тысяч каталогов и около пятидесяти тысяч книг. Даже в «своей» области ученому трудно следить за нарастающей лавиной литературы. Подсчитано, что сейчас ученому для того, чтобы написать десять оригинальных работ, необходимо ознакомиться со ста тысячами чужих книг и статей. Трудно быть даже узким специалистом, где уж тут до широкого, а тем более универсального охвата!

Есть ли выход из этого тупика? Оказывается, есть. Выход создает сама наука прежде всего тем, что «сталкивает лбами» исследователей из, казалось бы, самых отдаленных областей. Законы химии, например, выводятся сейчас, по словам Филиппа Франка, из различных областей физики, термодинамики и квантовой механики. Поэтому физик ныне гораздо легче может изучить и понять химию и точно так же химик — изучить физику. В свою очередь и химик, и физик, и социолог, и экономист находят общий язык, пользуясь математическими методами исследования.

Наука, утверждал Маркс, только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой. Ныне математизация науки стала путем к ее интеграции.

Наука создает также и технические средства в помощь ученому. Его труд до сих пор в смысле технической оснащенности мог быть сравнен с ручным трудом первобытного человека. Вся предшествующая история человечества создавала технику, облегчающую физические усилия, и только теперь появляются первые орудия умственного труда. Те счетно-вычислительные гиганты, которыми мы сейчас так гордимся как чудом электронной техники, очевидно, будут названы нашими далекими потомками «каменными топорами» науки. Во всяком случае не подлежит сомнению, что человечество только сейчас вступает в эпоху технизации умственного труда. Эта эпоха даст миру своих Ползуновых и Уаттов, открытия которых позволят многократно умножить эффективность умственных усилий.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что в научном труде так же много нетворческих, механически однообразных процессов, как и в труде физическом.

Как показывают расчеты, собственный процесс научного творчества занимает ныне пять — десять процентов рабочего времени ученого, а большая часть этого времени пока используется непроизводительно: на поиск нужного материала в огромном количестве литературы, на переводы иностранных источников, составление библиографии, на конспектирование, математические подсчеты, на сбор и систематизацию фактов, на пересказывание уже известных положений в целях полноты картины или в порядке ссылок на авторитеты, на техническое оформление своих мыслей (процесс писания или печатание на машинке, редактирование,

считка), на выполнение массы технических нетворческих функций во время подготовки и проведения экспериментов, лабораторных испытаний, составление отчетов, чертежей, графиков и так далее. Вот здесь обширное поле деятельности для кибернетической техники.

Можно представить себе, например, кибернетический «индикатор научности». Каждая новая статья, книга, диссертация, прежде чем она будет опубликована и займет свое место в ряду научной продукции, пройдет через этот индикатор, как в современных цехах-автоматах каждая новая деталь проходит через электронный браковщик. Индикатор, в «памяти» которого будет записана вся история науки, все итоги научного творчества человечества, быстро сможет определить, содержится ли в научном труде новая информация, сделан ли шаг вперед по сравнению с тем, что уже выработано всем предшествующим развитием человеческой мысли. Если работа пересказывает и повторяет уже некогда открытое, она будет забракована.

Миллионы страниц текста и тысячи тонн бумаги, которые тратятся ныне на изложение и пережевывание давно известного, на цитаты из давно изданных книг, будут таким образом сэкономлены. Но гораздо важнее то, что вместе с этим будет сэкономлено время как читателей, так и самих авторов.

Острая потребность в такого рода аппаратуре давно назрела. Американские фирмы, например, в ряде случаев считают экономически более выгодным полностью финансировать изобретение, чем установить, не было ли оно уже кем-либо сделано.

Можно реально представить и электронное досье. Ученому будущего, пожелавшему ознакомиться с материалами по какой-либо интересующей его проблеме, не придется неделями рыться в каталогах библиотек, читать и конспектировать сотни объемистых монографий и кипы журнальных статей. Он получит «интеллектуальные сливки» из всей этой массы литературы — чистое знание — в систематизированном и удобном для усвоения виде. А сколько времени и сил сберегут человечеству электронные секретари, переводчики, редакторы, машинистки!

Это повлечет за собой изменение самого характера научного труда. Ученый будет стремиться не к запоминанию фактов, сбору их и систематизации — к его услугам всегда будет гораздо более совершенная машинная память, — а к обладанию методами обобщения и анализа новых данных, методами и путями познания.

Изменится и характер обучения. Тогда упор будет делаться на постижение и усвоение принципов науки, закономерностей познания, методов, применяемых в различных областях знания. На пути к универсализации будущих ученых нередко видят неразрешимые трудности. М. М. Карпов, например, в книге «Основные закономерности развития естествознания» подсчитывает, что для получения образования по пяти научным специальностям потребуется пройти по меньшей мере двадцать лет университетского курса. «Одним словом, получить пять высших образований в коммунистическом обществе будет так же трудно, как сейчас, а может быть, даже еще труднее». К тому же «вопреки распространенному мнению люди при коммунизме сами не пожелают часто менять свои специальности, не говоря уже о том, что возможность этого будет сильно ограничена уровнем знаний и умений».

Нетрудно видеть, что к будущему М. М. Карпов подходит с меркой сегодняшнего дня. Зачем представлять себе «универсалов» непременно в виде людей с пятью университетскими значками на груди? Универсализация вовсе не заключается в смене различных специальностей, как это иногда рисуют: утром человек изучает физику, после обеда становится философом, а перед сном занимается биологией. Ученые и в самом деле не пожелают такой «смены». Не вернее ли предположить, что развитие науки потребует от людей будущего при решении каждой проблемы знания и физики, и философии, и биологии? Тем более что это предположение опирается на факты сегодняшней действительности.

Общеобразовательная школа стоит перед проблемой: как справиться с постоянно расширяющимся кругом научных знаний? Наиболее простой выход — это

специализировать обучение на какой-либо одной отрасли науки. Академик Я. Б. Зельдович, например, предлагает увеличить курс атомной физики в школе до восьмидесяти часов. В Новосибирске уже существует школа с физико-математическим профилем. В Москве открыта школа, готовящая будущих химиков. Но простейшее решение не есть наиболее правильное. Не нанесет ли столь ранняя специализация несправимого вреда духовным основам человеческой личности? Сможет ли человек, с ранних лет изучающий главным образом физику и математику, стать действительно талантливым физиком и математиком? Будет ли он обладать той широтой научного кругозора, без которого немислимо сейчас новое слово в науке? И не отразится ли пренебрежение гуманитарными науками на нравственных качествах личности?

Правы, на наш взгляд, те, кто специализации и интенсификации образования противопоставляет третий выход — рационализацию системы и методов обучения. Школы и вузы — это кузницы будущего науки, и они должны ориентироваться не на сегодняшний, а на завтрашний уровень развития науки, готовить людей, способных мыслить универсально, работать над стыковыми проблемами науки.

Ученым будущего не придется по двадцати лет сидеть на университетской скамье, прежде чем они смогут начать самостоятельные исследования, как того опасается М. М. Карпов. Такое представление об обучении и труде как о процессах, разорванных во времени, исходит также из прошлого, когда обучение понималось как простое напоминание уже готовых результатов человеческого познания. В будущем же обществе такое обучение просто немислимо.

Как творческий труд всегда является для ученого одновременно и обучением, которое никогда не кончается, так и обучение есть по природе своей результат созидательной деятельности. Наиболее эффективно обучение происходит в процессе поиска, в процессе решения той или иной практической либо теоретической задачи.

Спросите студента любого нашего вуза, какие часы своих занятий он считает наиболее плодотворными в смысле усвоения знаний? Он назовет семинарские занятия, практикумы, лабораторные работы, участие в исследованиях. Наименее плодотворными оказываются лекционные часы, когда студент лишь пассивно воспринимает знания, когда он — объект, а не субъект обучения, когда не он действует и познает, а ему вдалбливают знания.

Оба — и студент и лектор — осуществляют здесь по преимуществу механические умственные функции: студент — как запоминающее устройство, лектор — в качестве носителя готовой информации. Техническая аппаратура, с успехом заменяющая лекторов, очень хорошо выявляет этот механический характер лекционного обучения.

Конечно, и лекцию можно превратить в увлекательную и напряженную работу мысли, в совместный с аудиторией поиск решений, а не в изложение бесспорных выводов. Такие лекции всегда пользуются большим успехом. Не о них речь.

Нужны ли в условиях чрезвычайно перегруженной программы обучения обязательные лекционные курсы, повторяющие то, что изложено в учебниках? Не есть ли это потеря времени и средств? И что еще хуже — не отучает ли самостоятельно мыслить такая система преподавания, воспитывая привычку некритично усваивать готовые решения?

А раз так, то не следует ли с большей последовательностью проводить принцип обучения в самом процессе творческой деятельности?

Академик Н. Н. Семенов предлагает, например, общеобразовательные курсы заканчивать на пятом семестре обучения. Основным же методом образования сделать путь самостоятельной научно-исследовательской работы и самообразования. Этот метод обучения Н. Н. Семенов представляет примерно следующим образом. Студент вместе с преподавателем определяет нерешенную научную проблему, которая могла бы его захватить, и начинает искать пути ее решения. Он неизбежно должен будет изучить для этого большое количество литературы как

специальной, так и по смежным дисциплинам, ему потребуется знание иностранных языков для ознакомления с зарубежной литературой. Он вынужден будет вникать в различные методы исследования, изучать логический, философский, математический аппарат этой методики. Наконец ему придется создавать свои установки и приборы, а для этого совершенствовать технические и экспериментальные навыки и знания. В ходе анализа получаемых результатов ему, возможно, понадобятся сложные расчеты, и он должен будет познакомиться с электронно-счетными машинами и способами программирования. На последних этапах своего исследования студенту захочется осознать место своего частного научного поиска в области развития науки или техники, что побудит его более подробно ознакомиться с современным состоянием науки и техники.

В ряде естественных, химических, например, институтов подобный метод обучения уже практикуется. Но он вполне возможен и на гуманитарных факультетах. В процессе конкретно-социального исследования, например, которое студент будет проводить на предприятии или в колхозе, он ознакомится и с конкретной экономикой социалистического производства, и с социологическими закономерностями. Он захочет понять отличие социальных процессов у нас от аналогичных процессов в капиталистических странах. Ему понадобится знание математических и статистических методов и т. д.

Главное же заключается в том, что при такой системе выпускник вуза будет обладать умением творчески мыслить, широкими познаниями и умением их практически реализовать. От того, насколько эффективно построено образование сегодня, зависит уровень науки завтра. А от этого уровня в свою очередь зависят темпы нашего экономического строительства.

Универсальность ученого будущего отнюдь не исчерпывается широким охватом областей знаний. Это универсализм не только рационального, но и эмоционального плана.

Иногда опасаются — не приведет ли расширение сферы науки, возрастание ее роли в жизни общества к господству сухого умозрения? Не погасит ли «царство логики» эмоциональную насыщенность человеческой жизни, чувственной ее прелести?

Для таких опасений есть основания. Вот одно из любопытнейших свидетельств — печальное признание великого естествоиспытателя Ч. Дарвина, сделанное им в своей автобиографии: «...я с огромным наслаждением читал Шекспира, особенно его исторические драмы... Но вот уже много лет, как я не могу заставить себя прочитать ни одной стихотворной строки... я почти потерял также вкус к живописи и музыке...»

Кажется, что мой ум стал какой-то машиной, которая перемалывает большие собрания фактов в общие законы, но я не в состоянии понять, почему это должно привести к атрофии одной только той части моего мозга, от которой зависят высшие эстетические вкусы. Полагаю, что человека с умом, более высоко организованным или лучше устроенным, чем мой ум, такая беда не постигла бы, и если бы мне пришлось вновь пережить свою жизнь, я установил бы для себя правило читать какое-то количество стихов и слушать какое-то количество музыки по крайней мере раз в неделю; может быть, путем такого постоянного упражнения мне удалось бы сохранить активность тех частей моего мозга, которые теперь атрофировались. Утрата этих вкусов равносильна утрате счастья и, может быть, вредно отражается на умственных способностях, а еще вероятнее — на нравственных качествах, так как ослабляет эмоциональную сторону нашей природы».

Дарвин был излишне строг к себе. Образность и вдохновенность его «Происхождения видов» отнюдь не свидетельствуют об атрофии эмоциональных способностей. Однако в его признании звучит горечь человека, болезненно чувствующего ненормальность, ущербность однобокого профессионального развития.

Эта однобокость — заключается ли она в узкой специальности или в сухом рационализме — равным образом достойна сожаления. И дело не меняется от того, что логика развития производства и науки дает объяснение этой однобокости

и в известной мере оправдывает ее. Ныне та же логика развития материального и духовного производства требует не частичного, а цельного человека.

В прошлом веке Эдгар По писал:

Наука! Ты дочь Древних Времен,
Изменяющая все вещи своим пронизательным взором.
Зачем ты так мучишь сердце поэта.
Хищник, чьи крылья — банальные реальности?

В XIX веке, когда наука занималась главным образом собиранием фактов, этот упрек, быть может, и имел какое-то основание. Но у современной науки крыльями служат отнюдь не «банальные реальности». Воображение, фантазия — ее крылья, так же как и крылья искусства. Поэзии предстоит еще потягаться с наукой в умении поражать воображение. Открытие теории относительности, волновой природы вещества, антимира — это такие творения науки, которые кажутся более фантастичными, чем самые потрясающие художественные вымыслы.

Разум вовсе не конкурент чувству, и наука отнюдь не противостоит искусству. Мысль человеческая всегда имеет в своей основе эмоции, это всегда чувственная мысль. И в этом, между прочим, отличие ее от самых совершенных «мыслящих» машин.

Анализ путей научного мышления показывает, что область чувственного, подсознательного играет не вспомогательную, а нередко решающую роль в процессе поисков нового.

Луи де Бройль, открывший и сформулировавший мало согласующуюся с представлениями «здорового смысла» волновую природу вещества, отметил поразительное противоречие научного творчества. В статье «Роль любопытства, игр, воображения и интуиции в научном исследовании» он говорит, что наука, рациональная в своей основе и методах, осуществляет свои наиболее замечательные завоевания «лишь путем опасных внезапных скачков ума», когда появляются способности, освобожденные от оков строгого рассуждения, способности, которые называют воображением, интуицией, остроумием.

В самом деле, простой, строгий ход формально логического рассуждения от посылок к выводам может привести к разработке, систематизации, обобщению прежнего знания, но никогда не приведет к принципиально новому знанию, не откроет перед ученым неведомых троп науки.

Смелость Эйнштейна, опрокинувшего канонизированное ньютоновское представление о мире, предполагает смелость воображения, предполагает разрыв привычного круга представлений, «иррациональный» скачок мысли. Здесь сфера подсознательного и чувственного, эмоциональная культура ученого играет огромную роль. «В научном мышлении, — писал Эйнштейн, — всегда присутствует элемент поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка требуют однородного мыслительного процесса».

Современная физика, несмотря на те парадоксы мысли, которыми она уже располагает, требует, по признанию многих видных физиков, новых «сумасшедших» теорий. Но для этого важно, чтобы ассоциация и представления ученого были гибкими, чтобы игра его воображения позволяла выйти за пределы «банальной реальности» и преодолеть теоретические предрассудки, связанные с прежними теориями, позволяла бороться со смертельной для ученого болезнью — окаменелостью мысли.

Вот почему так дорог был Эйнштейну Достоевский с его развитым миром подсознательного, с его безудержной игрой воображения, с его стремлением ставить своих героев в парадоксальные психологические ситуации. Достоевский, по признанию Эйнштейна, дал ему больше, чем любой мыслитель.

Искусство воспитывает воображение ученого. Игра воображения движет научную мысль. Луи де Бройль, который назвал науку дочерью удивления и любопытства, писал:

«Воображение, позволяющее нам представить себе сразу часть физического

мира в виде наглядной картины, выявляющей некоторые ее детали, интуиция, неожиданно раскрывающая нам в каком-то внутреннем прозрении, не имеющем ничего общего с тяжеловесным силлогизмом, глубины реальности, являются возможностями, органически присущими человеческому уму». Именно они позволяют «осуществить великие завоевания мысли», лежат «в основе всех истинных достижений науки».

Эмоциональная сторона в деятельности ученых, к сожалению, мало изучена и, видимо, поэтому меньше обращает на себя внимание, оставаясь «закулисным дирижером» творческого процесса. Однако путь к раскрытию тайны творческого процесса лежит именно через эту сферу.

Здесь открываются самые неожиданные пути. П. Дирак, один из создателей теории антимира, рассказывает, что уравнение Шредингера было сформулировано при попытке найти наиболее красивое обобщение идей де Бройля, не следуя строго за экспериментальным изучением предмета. «По-видимому,— заключает Дирак,— для достижения успеха наиболее важным является требование красоты уравнений, а также обладание правильной интуицией... Весьма возможно, что следующий шаг в развитии физики произойдет именно по этому направлению: сначала найдут уравнения, а затем потребуются несколько лет развития науки, чтобы найти лежащие за ними физические идеи».

«Иррационализм» мечты, полет вдохновения, смелость фантазии, неповторимая прелесть образной, остроумной, красивой и вместе с тем не во всем логичной и грамматически точной живой человеческой мысли—это то, что составляет искру научного творчества, то, что останется привилегией человека при самом высоком развитии кибернетической техники.

А кибернетическая техника, взяв на себя унылое однообразие стандартных мыслительных функций, неизбежный схематизм всякого формализованного мышления, скуку строго отработанных логико-математических операций, возьмет вместе с тем себе на откуп и суконно-казенную форму выражения мысли, оставив человеку область нестандартного, область нехоженых троп науки, еще не найденных методов, область вечного «мучения» человеческой мысли.

В той степени, в какой труд будущего будет становиться все более творческим, в той же степени он будет приобретать все более явную эмоциональную окраску.

Это, разумеется, не означает, что не будет существовать различия между деятельностью научной и художественной. Но между ними исчезнет стена. Мир будущего будет Миром Науки в такой же мере, как и Миром Искусства.

Внутри самой науки также исчезнут перегородки. Это будет единая наука, предмет которой можно сформулировать так: человек и природа. Ее основной целью и назначением будет проблема человека. Эта проблема становится в центре самой логикой развития науки. И механика, и физика, и химия, и биология, и физиология, и психология, как и производные от них науки,— все они имеют отношение к человеку как самой высокоорганизованной материи. Иначе говоря, нет такой науки, нет такой научной теории, предметом которой не был бы человек: от атомных частиц его организма до социальных систем и их взаимоотношений.

«Впоследствии,— писал К. Маркс, имея в виду коммунистическое общество,— естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет одна наука».



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Л. АЗАДОВСКАЯ

★

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФАЛЬСИФИКАЦИИ

Толчком к этой работе послужило небольшое примечание. Подготавливая к изданию сборник писем покойных сибиряков и сибиреведов к М. К. Азадовскому¹, я должна была прокомментировать следующее место в письме А. Н. Турунова — библиотекаря, искусствоведа, историка революционного движения в Сибири: «Недавно я видел небольшую прелюбопытную брошюрку: «Письма М. Горького к В. И. Анучину»!!! Самарканд, изд. Педагогич. Института, 1941. Там 23 письма, публикуемые по копиям, снятым с подлинных В. И. Анучиным. Удивительные письма! Неужели они были когда-либо действительно написаны? Вы читали? Какого мнения? Первой его подобного типа же работки, вышедшей в 1941 г., что-то теперь не нахожу ни в алфавитном каталоге Кн. Палаты, ни в каталогах Ленинской библиотеки. Она исчезла бесследно! Но старик не унимается»² (письмо от 5 апреля 1946 года).

Василий Иванович Анучин — в последний период своей жизни профессор Самаркандского педагогического института — известен как сибирский этнограф, краевед и литератор. Но самую широкую популярность доставили ему указанные выше «Письма» Горького, а также его воспоминания о встрече с Лениным в 1897 году, многократно использовавшиеся в изданиях самого различного назначения на протяжении последних двадцати пяти лет.

Письмо А. Н. Турунова затрагивало слишком важный вопрос, чтобы можно было пройти мимо него. Мне пришлось просмотреть ряд газет и журналов, а также архивные материалы. В результате у меня, как и у А. Н. Турунова, возникли сильные сомнения в подлинности многих писем Горького к В. И. Анучину. Их я и выношу на суд общественности.

* * *

«Брошюрка», о которой говорит А. Н. Турунов, называется «Труды Самаркандского государственного педагогического института им. А. М. Горького, т. II, вып. 3. Письма М. Горького к В. И. Анучину. Самарканд. 1941» (подписана к печати 6 февраля 1941 года). В ней двадцать семь страниц. Публикации писем предшествует статья доцента этого же института П. В. Вилькошевского «Письма А. М. Горького к В. И. Анучину». После предисловия следуют сами письма в количестве двадцати трех:

- № 1 — от 4 ноября 1903 года.
- № 2 — от 27 декабря 1903 года.
- № 3 — от 7 февраля 1904 года.
- № 4 — записка без даты.
- № 5 — от 14 октября 1908 года.
- № 6 — от 7 июня 1909 года.
- № 7 — без даты, по конверту — 1910 год.
- № 8 — от декабря 1910 года.
- № 9 — от 16 марта 1911 года.
- № 10 — без даты. На конверте — 8 мая 1912 года.

¹ Сборник находится в рукописи.

² А. Н. Турунов имеет в виду следующую статью: В. Анучин. «Встреча» — «Литературный современник», № 1, 1940, стр. 5—10.

- № 11 — от 2 июня 1912 года.
 № 12 — без даты, получено 21 июня 1912 года.
 № 13 — от 10 июля 1912 года.
 № 14 — от 19 сентября/2 октября н. с. 1912 года.
 № 15 — от 4 октября 1912 года.
 № 16 — от 12 октября 1912 года.
 № 17 — от 16 октября 1912 года.
 № 18 — от 4 ноября 1912 года.
 № 19 — от 19 февраля 1913 года.
 № 20 — от 7 марта 1913 года.
 № 21 — от 19 мая 1913 года.
 № 22 — без даты, получено 17 мая 1914 года.
 № 23 — от 14 июня 1914 года.

После следуют небольшие примечания, автором их названа С. Ф. Анучина (жена В. И. Анучина). Упомянуть о них следует, так как по существу своему они являются прямым и непосредственным дополнением к письмам, а кроме того, на протяжении последующих двадцати четырех лет они не подвергались никакой проверке, механически перепечатываясь из одного издания в другое.

Вслед за самаркандской публикацией те же самые письма Горького были напечатаны в «Сибирских огнях»¹ с незначительными изменениями. Редактор «Сибирских огней» С. Кожевников еще до выхода номера дал о них информацию корреспонденту «Правды»². Небольшую заметку А. Коптелова «Письма А. М. Горького в Сибирь» напечатала и «Литературная газета»³.

Наступившая война не дала возможности прозвучать каким-либо откликом на эти две публикации. Только в 1946 году происходит «второе рождение» этих «писем». Они входят в большую литературу благодаря книге «М. Горький. Письма в Сибирь. 1903—1936. Составители С. Кожевников и А. Коптелов» (Новосибирск, 1946; переиздана в Красноярске в 1948 году и в Иркутске в 1949 году). В 1950 году в Новосибирске появляется издание «М. Горький и сибирские писатели. Сборник воспоминаний», а в 1961 году там же выходит еще более расширенное издание под названием «Горький и Сибирь. Письма, воспоминания». Здесь опять напечатаны двадцать три письма Горького и впервые опубликованы пять писем Анучина к писателю.

Пятнадцать писем Горького к Анучину включены и в тридцатитомное собрание сочинений писателя (т. 28—29). В извлечениях эти письма вошли и в сборник «В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы» (Издательство Академии наук СССР. М. 1958; изд. 2-е. М. 1961).

Таким образом, за последние годы, начиная с 1941-го, письма Горького к Анучину выдержали восемь изданий. В этом смысле с Анучиным не может сравниться никто из корреспондентов Горького.

* * *

Предисловие к самаркандской публикации заканчивается сообщением, что «письма печатаются по копиям, снятым с оригиналов В. И. Анучиным»⁴. Естественно, что меня прежде всего заинтересовала документальная достоверность материала. Ведь, вероятно же, сохранились подлинники?

Я обратилась в Архив А. М. Горького, где собраны все материалы, связанные с писателем. В папке, содержащей письма Горького к Анучину, находится двадцать шесть горьковских писем. Из них Анучиным было опубликовано двадцать три письма, три же до сих пор не опубликованы. Во всей этой коллекции всего лишь восемь писем не вызывают ни малейшего сомнения в их документальной достоверности. Три письма — от 12 октября 1912 года (по самаркандскому изданию № 16), письмо без даты (по самаркандскому изданию № 22) и от 5 марта 1928 года (в самаркандском издании нет) — являются рукописными автографами Горького. Подлинность

¹ «Сибирские огни», № 1, 1941 (подписаны к печати 31 марта 1941 года).

² «Правда», 1 января 1941 года.

³ «Литературная газета», 9 февраля 1941 года.

⁴ Самаркандское издание принято нами за основное, поскольку оно является первым и, кроме того, вышедшим при жизни Анучина.

их несомненна. В Архив А. М. Горького они поступили из Государственного литературного музея, куда были переданы самим Анучиным. Пять писем — письмо без даты, полученное 21 июня 1912 года (№ 12), от 19 сентября/2 октября н. с. 1912 года (№ 14), от 16 октября 1912 года (№ 17) и два письма, которых нет в самаркандском издании, от 8 ноября 1912 года и от июля — августа 1913 года — представляют собой копии, отпечатанные на принадлежащей Горькому машинке. Такие машинописи приравниваются к подлинным рукописям Горького ввиду их достоверности. В Архив А. М. Горького они поступили из личного архива писателя после его смерти.

Все остальные письма представляют собой машинописные копии неизвестного происхождения. В Архив А. М. Горького они поступили из редакции журнала «Литературный современник» (Ленинград). К сожалению, мы не располагаем документами, помогающими установить, как эти письма попали в «Литературный современник» и в силу каких причин редакция журнала воздержалась от их опубликования: весь архив «Литературного современника» погиб в Ленинграде во время блокады.

Таким образом, уже из предварительного знакомства стало видно, что несомненно подлинными являются лишь восемь писем Горького к Анучину (пять опубликованных и три неопубликованных), и все эти письма относятся к 1912—1914 годам. Остальные же восемнадцать писем не имеют оригиналов, и, следовательно, их подлинность документально не подтверждена. Попутно заметим, что Архив А. М. Горького в поисках оригиналов писем Алексея Максимовича предпринимал поиски по всему Советскому Союзу и запрашивал все сибирские музеи и архивы, но безрезультатно.

Чтобы лучше понять характер этой переписки, я после писем Горького к Анучину взяла папку с письмами Анучина к Горькому, также хранящимися в Архиве А. М. Горького, куда они поступили из его личного архива.

В этой папке хранятся двадцать писем Анучина к Горькому, охватывающих период с 23 мая 1911 года по апрель 1935 года, причем двенадцать из них относятся к 1911—1914 годам и связаны главным образом с изданием «Сибирского сборника» и участием писателей-сибиряков в «Современнике».

Следует подчеркнуть, что все имеющиеся в наличии подлинные письма Горького по их содержанию, преобладающему в них деловому тону, а также по датировке представляют собой конкретные ответы на те или иные анучинские письма, отклики на его обращения. И наоборот, почти все горьковские письма, подлинность которых документально не зафиксирована (исключением здесь — что будет показано ниже — является только одно письмо от 8 мая 1912 года № 10 по самаркандской публикации), никак не связаны — ни по содержанию, ни по датировке — ни с одним из двадцати сохранившихся анучинских писем.

Но обращение к анучинским письмам, помимо выше указанных наблюдений, позволило мне сделать «открытие», буквально ошеломившее меня. Это открытие связано с одним из писем Анучина к Горькому. Вот текст этого собственноручного анучинского письма, хранящегося в Архиве А. М. Горького (КГ—П. 5—4—1) и поступившего туда из личного архива писателя:

«СПб. 23 мая 1911 г.

Глубокоуважаемый Алексей Максимович.

Извините, но я решил послать Вам мою книжку. Может быть, Вам как-нибудь случится ее прочесть. Суть, конечно, не в этом. Я задумал послать для сборника «Знания» рассказ — так вот предварительно шлю визитную карточку — вероятно, Вам не приходилось слышать моего имени.

Желаю доброго здоровья.

В. Анучин.

Василий Иван. Анучин.

СПб. Канонерская, 21, кв. 19».

Весь тон этого письма — серьезный и почтительный, тон, естественный при обращении писателя малоизвестного к писателю знаменитому, — свидетельствует о том, что Анучин делает здесь первый шаг на пути письменного общения с Горьким. Характер и содержание письма никак не согласуются с доверительным и дружеским тоном горьковских писем, якобы адресованных им уже ранее Анучину. Если поверить этим письмам,

Горький не только хорошо знает «дорогого Василия Ивановича», но находится в курсе всех его работ — даже самых малых, замыслов — самых грандиозных.

Письмом Анучина от 23 мая 1911 года аннулируется буквально половина всего собрания горьковских «писем» (очевидно, что кавычки теперь необходимы) — девять писем, датированных между 4 ноября 1903 года и 16 марта 1911 года. Совершенно бесспорно, что они не могли быть написаны и отправлены к человеку, фамилию которого Горький узнал только после 23 мая 1911 года.

Публикуя в 1961 году в сборнике «Горький и Сибирь» пять писем В. Анучина, С. Кожевников и А. Коптелов снабдили их следующим примечанием: «Ранние письма В. И. Анучина к Алексею Максимовичу разыскать не удалось». Но из содержания первого письма В. Анучина совершенно ясно, что и искать-то, собственно, ничего не приходится.

Понятно, что все это заставило меня вновь вернуться к рассмотрению писем Горького к Анучину, особенно тех, которые имеются только в анучинских копиях. Интересно было проанализировать их содержание по существу. И тут я сразу натолкнулась на такое количество странностей, несообразностей и несовпадений с реальными фактами, что приходится только удивляться, как же это не было замечено раньше.

Приведу некоторые, наиболее разительные примеры.

Вот, например, письмо № 4. Оно представляет «записку без даты» настолько важную, что мы приведем ее полностью:

«Мой дорогой Василий Иванович! Сейчас из Биржовки узнал, что подлые опричники Вас тяжело избili и изувечили. Мое сердце с Вами. Я верю, что здесь начало конца кровавого царя. Грядут события, которые вознаградят Вас за ссылки и муки. Привет от друзей. Всегда Ваш А. Пешков».

В самаркандском издании примечание к письму разъясняет, что «речь идет о событиях 9 января в Петербурге», и отсылает нас к газете «Биржевые ведомости».

Действительно, в вечернем выпуске «Биржевых ведомостей» 20 января 1905 года мы читаем: «Случай с проф. В. И. Анучиным. 9-го января ординарный академик, профессор В. И. Анучин, при переходе от одного подъезда в здании академии наук в другой был, по словам «Наших дней», остановлен, повален на землю и подвергнут физическому воздействию. При престарелом возрасте В. И. Анучина дело могло бы кончиться очень плохо для него, если бы своевременно не вмешался старик, сторож академии».

Вероятно, именно на это сообщение и опирался автор примечаний к письмам (напомним, что это была жена В. Анучина). Мы не возражали бы против званий «ординарный академик» и «профессор», видя в этом простительное преувеличение, но согласиться с «престарелым возрастом» невозможно, ибо В. И. Анучину в этот момент было всего двадцать девять лет. И действительно, не прошло и недели, как последовало опровержение: «Избиению подвергся не академик Д. Н. Анучин, а В. И. Анучин, который работает в этнографическом музее академии наук, подготавливаясь к дальнейшей экспедиции в Сибирь...»¹.

Думается, что если данные газетной заметки от 20 января удивили нас, то не меньше они должны были удивить и Горького, который не мог же не знать, что его корреспондент, первые шаги которого на литературном поприще он недавно отметил, не является ни академиком, ни профессором.

Еще большее недоумение вызывает следующее обстоятельство. С 12 января 1905 года Горький находился в заключении в Петропавловской крепости. Лишь «25 января М. Горькому была выдана бумага «со счетом листов» и другие письменные принадлежности, и Горький принялся за работу». С 25 января по 12 февраля Горький написал пьесу «Дети солнца»². Что же касается чтения, то известны все книги, которые ему доставлялись родными через департамент полиции — художественные, научные, самоучители французского и немецкого языков и многое другое³. Но нигде нет упомин-

¹ «Наши дни», 17 января 1905 года.

² Д. Гоголь. Максим Горький в Петропавловской крепости. «Каторга и ссылка», кн 8—9 (93—84), 1932, стр. 14—15; «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. 1, 1958, стр. 511, 514.

³ Там же, стр. 513—515.

нения о том, чтобы Горькому в одиночную камеру доставлялись все свежие номера газет.

И главное — неужели в письме, посланном из Петропавловской крепости, Горький мог открыто писать о «начале конца кровавого царя»? И неужели именно с избением Анучина Горький связывал «начало конца» монархии? Чтобы поверить в достоверность этого письма, надо сделать по меньшей мере два невероятных предположения: что газета «Биржевые ведомости» могла попасть в одиночную камеру Петропавловской крепости и что из стен этой крепости могло выйти такое письмо политического заключенного.

Аналогичные несообразности имеются и в других письмах. Так, например, письмо от 14 октября 1908 года (№ 5) начинается со слов:

«Уважаемый Василий Иванович!

Ваше письмо порадовало меня. Как тяжело было прочитать в газетах о Вашей ужасной смерти в Туруханском крае и как радостно было узнать потом, что Вы и на этот раз уцелели».

Здесь речь идет о следующем эпизоде из биографии Анучина. В ряде газет — столичных и провинциальных — в июле—августе 1910 года¹ появился некролог о смерти «молодого, подававшего надежды» сибирского этнографа В. Анучина в дебрях Туруханского края. Вслед за этим последовали повторные сообщения, запросы и наконец опровержение самого В. Анучина, также перепечатанное многими газетами.

Но дело-то в том, что весь этот шум с некрологом и опровержением происходил — повторяем — в июле 1910 года, а письмо Горького об «ужасной смерти» датировано... 14 октября 1908 года.

Счет хронологических несовпадений множится. Так, в письме от 7 февраля 1904 года (№ 3) Горький пишет:

«Уважаемый Василий Иванович!

Очень благодарен. Получил Ваши легенды и словарь. Спасибо. Вы так богаты фольклорным материалом, что я Вам завидую...»

Из примечания узнаем, что под «легендами» Горький разумеет книгу В. Анучина «Сибирские легенды. Вечный скиталец. Такмак». (издательство О. Н. Поповой. 1904). Но на этой брошюрке с легендами стоит дата цензурного разрешения: «Дозволено цензурой. Спб. 7 августа 1904 г.». Случай поистине легендарный — Горький благодарит за присланные легенды ровно за полгода до их выхода в свет.

Словарь, о котором здесь говорится, представляет собой статью В. Анучина «Материалы к областному словарю сибирского наречия», напечатанную в «Известиях Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества» (т. I, вып. 6, 1904). На обложке читаем: «Выпущен 15 августа 1904 года», а Горький опять-таки опережает событие на полгода.

В письме от 7 июня 1909 года (№ 6) Горький сообщает Анучину:

«Один из моих корреспондентов прислал мне вырезку своей рецензии на Ваши легенды. Может быть, Вы ее не знаете, так вот выдерну частицу: «Идейный сюжет, яркая, сочная обрисовка действующих лиц и замечательная красота изложения, — красота, от которой веет свободным духом минувших веков, веет диким простором и первобытным величием Сибири».

Можно было не беспокоиться — В. Анучин прекрасно знал эту рецензию. Именно ее он неоднократно помещал в виде рекламы на обложке своих брошюрок. Рецензия эта принадлежит известному сибирскому поэту и писателю Г. А. Вяткину и была опубликована во втором номере журнала «Сибирский наблюдатель» за 1903 год. Вяткин действительно был корреспондентом Горького и, теоретически говоря, мог прислать Алексею Максимовичу вырезку своей рецензии. Однако переписка Вяткина с Горьким началась только в 1912 году², то есть ровно через три года после упомянутого «письма» Горького и через девять лет после опубликования рецензии.

¹ «Утро России», 30 июля 1910 года; «Петербургские ведомости», 8 августа 1910 года; «Речь», 9 августа 1910 года и 15 августа 1910 года; «Сибирская жизнь», 8 августа 1910 года, 10 августа 1910 года, 13 августа 1910 года, 24 августа 1910 года.

² Г. Вяткин. М. Горький и писатели-сибиряки (Из личных встреч и писем), «Сибирские огни», № 2, 1928, стр. 126.

Посмотрим еще одно письмо (датированное по конверту 1910 годом, № 7). Восторженный Горький не устает сердечно благодарить Анучина и восхищаться его произведениями:

«Уважаемый Василий Иванович!

За присланные книжки сердечно благодарю. Очень рад сказать Вам, что в новых вещах Вы являетесь серьезнее и проще,— пожалуйста, не обижайтесь за эти замечания!

В наше гяжкое время серьезность отношения к теме и к себе со стороны авторов, простота и ясность языка — не часто встречаются. Все учат, а никто не учится».

Примечание не сообщает, о каких книжках Анучина здесь идет речь. Попробуем разобраться самостоятельно, что мог послать Анучин Горькому из своих беллетристических работ. Судя по предыдущим «письмам» Горького, Анучин посылал в дар и получил от него горячую благодарность за следующие работы: рассказ «Уважили» («Образование», № 10, 1903), повесть «По горам и лесам» (Спб. 1903) и «Сибирские легенды. Вечный скиталец. Такмак» (Спб. 1904). Почему-то автор не счел нужным послать Горькому самую свою крупную вещь — «Рассказы сибиряка» (Спб. 1900) и «Сибирские сказки» (вып. 1. Тюмень. 1903). Но ведь их никак не назовешь «новыми вещами»! Какие же книжки мог он еще послать писателю? Какие «новые вещи» вышли у Анучина после 1904 года? А — ничего. Единственная его новая книга (и то сравнительно новая, так как туда включены старые легенды «Такмак» и «Вечный скиталец») — это «Сказания» (издательство О. Н. Поповой. 1905), но за эту книгу Горький будет благодарить автора позднее, в письме от 16 марта 1911 года (№ 9). Приходится призадуматься, что это за мифические книжки, которые не оставили следов ни в одном библиотечном каталоге и ни в одном библиографическом справочнике?

Следующий абзац письма гласит:

«Рассказ Ваш пошлите сюда на имя В. С. Миролюбова. Это, как Вы, м. б., знаете, бывший издатель и редактор «Журнала для всех», а теперь он редактирует сборники «Знания».

«Сюда» — то есть на Капри, в Италию», — разъясняет комментатор. Но в 1910 году Миролюбова не было на Капри, он приехал туда 4 марта 1911 года и только 12—13 марта 1911 года в результате совещания с К. П. Пятницким, И. Д. Сытыным, И. П. Ладыжниковым В. С. Миролюбов был введен в «Знание» третьим редактором¹.

В письме от 4 октября 1912 года (№ 15) содержится очередная благодарность Горького за очередные труды В. Анучина:

«Вашу антропологическую работу и дедовщину я получил. Большое спасибо, но первая для меня слишком учена, да и ревнив я: лучше бы Вы роман написали. Вот дедовщину люблю. Собрать ее нужно — прекрасное начинание!»

Что такое «дедовщина»? В «Живой старине» за 1908 год (вып. 1, стр. 84—91), на которую указывает примечание, находим следующую публикацию: «Дедовщина в Сибири (Енисейская губ.)» — и далее следует шестнадцать строк введения за подписью В. Анучина и тринадцать старинных песен, о которых сказано, что они записаны учителем Ив. Тыжновым в деревне Кондратьевой, Пинчугской волости, Енисейского уезда в 1905 году. Вот и все. Значит, эту более чем скромную публикацию народных песен Горький торжественно называет «прекрасным начинанием»? И это после колоссальной работы Гильфердинга, Барсова, Рыбникова, Афанасьева и других собирателей русского народного творчества, труды которых Горький, как известно, прекрасно знал и ценил? Что-то маловероятно...

«Антропологическую работу» примечание расшифровывает так: «В. И. Анучин. «Енисейские остяки». Труды Антропологического отдела общества любителей естествознания». На самом же деле книга эта называется несколько иначе: «Енисейские остяки. По наблюдениям и измерениям В. И. Анучина, обработанным Н. А. Синельниковым. Под ред. проф. Д. Н. Анучина. М. 1911» («Известия императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии...», т. СХХIV. Труды Антропологического отдела, т. XXVIII, вып. 1).

Неточность примечания в заглавии работы не случайна. Дело в том, что публи-

¹ «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. 2, 1958, стр. 188, 191.

кации этой работы предшествовала несколько конфузная история. Собранные В. И. Анучиным антропометрические материалы не вполне удовлетворили Русский комитет по изучению Средней и Восточной Азии, который его командировал. Они были предложены для научной обработки другому сотруднику, Н. А. Синельникову, и напечатаны с большим предисловием академика Д. Н. Анучина. В этом предисловии, говоря, что поручение по сбору материалов В. И. Анучин в общем выполнил, знаменитый этнограф и однофамилец нашего героя (неоднократно страдавший от рокового сходства фамилий) отмечал в то же время очень много существенных недостатков в деятельности собирателя. Так, «не обладая антропологической подготовкой», он неверно снял некоторые размеры, многие описания его «возбуждают сомнения», а его определение типов «способно вызвать критическое отношение».

Трудно себе представить, что эта работа с предисловием, компрометирующим В. И. Анучина как собирателя и исследователя, могла быть послана им Горькому, который в предыдущих письмах якобы так высоко оценивал его научную деятельность.

Письмо от 19 февраля 1913 года (№ 19) всецело посвящено «Сибирскому сборнику». Сборник под таким названием действительно предполагался к изданию в 1912—1913 годах. В его редакционный комитет входили В. Анучин, Г. Вяткин, Вс. Крутовский, В. Шишков. Была и договоренность с Горьким, что сборник будет издан «Знанием», а Алексей Максимович возьмет на себя общее руководство. Об этом сборнике Горький действительно писал Анучину в подлинных письмах: одном, полученном адресатом 21 июня 1912 года (№ 12), и другом, от 19 сентября/2 октября 1912 года (№ 14).

Но посмотрим повнимательнее на опубликованное Анучиным письмо Горького. Написано оно в приподнятых тонах:

«Дорогой Василий Иванович!

Ура! Получил первые материалы для сборника и немедленно прочитал. Сразу два новых автора! Рассказ Гл. Байкалова очень хорош. Несомненно, автор с большим будущим, несомненно! Пожалуйста, напишите возможно подробно — кто такой ваш Байкалов и передайте ему мой привет.

Свежи и сочны алтайские этюды Бахметьева, хороши. Сообщите подробности и о Бахметьеве, он тоже далеко пойдет — далеко!»

Итак, в феврале 1913 года Горький получил от Анучина первые материалы для сборника и познакомился с двумя новыми для себя авторами — Гл. Байкаловым и Бахметьевым. Относительно первого в примечаниях сказано: «Гл. Байкалов — псевдоним Ф. В. Гладкова, в то время начинающего писателя. Он дал для «Сибирского сборника» рассказ «Трое в одной землянке», из быта каторжан».

Рассказ «Три в одной землянке» действительно был у Горького. Рукопись этого рассказа и сейчас хранится в Архиве А. М. Горького с собственноручной правкой Алексея Максимовича. Но там фамилия автора указана — Ф. Гладков. Почему в письме Горького автором этого рассказа назван Гл. Байкалов, не совсем понятно. Есть, правда, еще одна редакция рукописи этого рассказа, которая хранится в личном фонде В. Анучина (ЦГАЛИ, фонд 14, опись 1, № 42). Там автором рассказа значится Гл. Байкалов, но и там в конце рукописи есть расшифровка псевдонима и даже адрес Ф. Гладкова.

И уж совсем непонятно, почему Ф. Гладков был для М. Горького «новым автором». Ведь переписка их началась еще в 1901 (!) году. Почти все, что писал и печатал Гладков, он направлял Горькому. Не исключена возможность, что и рассказ «Три в одной землянке» был известен Горькому ранее. Ведь впервые он был напечатан — с эпиграфом из Горького (!) — еще в 1905 году в газете «Забайкалье» (2, 4, 5 и 9 февраля).

Лучшим же опровержением горьковских восторгов по поводу прочитанных материалов служат письма самого Анучина к Горькому. Так, 28 февраля (13 марта) 1913 года Анучин пишет из Томска: «Наш «Сибирский сборник» движется вперед, получено много материалов, в скором времени Вам доставлять начнут» (Разрядка здесь и далее моя. — Л. А.). Затем 20 июля 1913 года: «Мы кончаем работы по «Сибирскому сборнику», на днях начну высылать Вам рукописи.

Начинание проходит со внешним успехом...» 5 декабря 1913 года он спрашивает писателя: «Удалось ли Вам прочитать что-либо из присланного мною для «Сибирского сборника»? И наконец 6 апреля 1914 года жалуетя: «...совестно мне докучать Вам, знаю, что совершенно не до нас, но и авторы меня принялись донимать вплотную, желают знать и судьбу «Сборника» вообще и каждый своей рукописи в частности. Пытают именно меня, потому что я отсылал Вам рукописи. Не откажите, ради всех богов, напишите что-нибудь».

И наконец совершенно удивительной в свете «горьковского» письма выглядит заметка самого редакционного комитета «Сибирского сборника», опубликованная 9 мая 1913 года на страницах «Сибирской жизни», где говорится, что «большинство рукописей уже прочитано и рассортировано; одобренные будут пересланы члену ред. комитета М. Горькому, которому принадлежит решающий голос». Извещение это подписано всеми членами редакционного комитета — Г. Вяткиным, Вс. М. Крутовским, Вяч. Шишковым, В. Анучиным.

Значит, ни в мае, ни в июле 1913 года Горькому еще ничего не послано. И ни в декабре 1913 года, ни в апреле 1914 года от Горького не получено еще никаких откликов. Как же согласовать с этим «письмо» Горького от февраля 1913 года, переполненное восхищением полученным и прочтенным материалом?..¹

И так почти в каждом письме — недостоверные даты, не совпадающие с реальным положением вещей вопросы или утверждения вроде, например, такого восклицания в письме от 7 марта 1913 года (№ 20): «Где Гребенщиков? Почему не пишет?» Достаточно посмотреть в Архиве А. М. Горького переписку Г. Д. Гребенщикова — известного сибирского писателя — с Алексеем Максимовичем, чтобы убедиться, что именно в это время Горький получил несколько писем от Гребенщикова, редактировавшего тогда газету в Барнауле (см. хотя бы письма Гребенщикова от 23 января 1913 года и от 27 февраля²). Так что адресовать Анучину, находящемуся к тому же в Томске, вопрос «Где Гребенщиков? Почему не пишет?» со стороны Горького было бы по меньшей мере странно.

Такой же характер носит и восклицание Горького в письме от 10 июля 1912 года (№ 13): «А я и не знал, что бунтарь-протопоп в Сибири проповедовал. Где мне об этом прочитать? Какие у вас, сибиряков, бунтовские корневища длинные!!» Решительно неправдоподобно, что о пребывании протопопа Аввакума («бунтаря-протопопа») в Сибири Горький узнал лишь от Анучина. Алексей Максимович очень любил «Житие протопопа Аввакума» и еще в 1909 году в статье «Разрушение личности» привел знаменитый диалог Аввакума с женой, Настасьей Марковной, во время их пешеходного возвращения из забайкальской ссылки.

Кроме фактических и иных несообразностей, во многих письмах настораживает их стилистическая недостоверность. Вот начало письма от 16 марта 1911 года (№ 9):

«Уважаемый Василий Иванович!

Получил обе книги. И ваши «Сказания», и пьесу Измайлова. Благодарю за неослабное внимание (Разрядка здесь и далее моя.— Л. А.). Два-три рассказа и очерки Измайлова я читал — кошмарное впечатление. Правда, жизнь наших несчастных рабочих сплошной кошмар, но у Измайлова получается так тоскливо, так нудно, ни малейшего просвета, нет даже вспышек гнева. Так нельзя! Несомненно он хорошо знает быт рабочих, но его рассказы будут интересны и в будущем, когда рабочие займут иное положение, что-то вроде мемуаров, назидательных для потомства».

«Неослабное внимание», «кошмарное впечатление», «сплошной кошмар», «наши несчастные рабочие», «рассказы будут интересны... что-то вроде мемуаров» — неужели это лексика и синтаксис Горького?

А завершается письмо таким пассажем:

¹ Вопрос о несостоявшемся издании «Сибирского сборника» никогда еще не разбирался ни одним исследователем. Все просмотренные мною материалы (архивные и печатные) требуют освещения вопроса в специальной статье, так как на сегодня он предельно затемнен авторами, излагавшими его в интерпретации Анучина.

² Архив А. М. Горького. КГ — П. 21 — 18 — 8; 21 — 18 — 10.

«Уайльда о лжи и о критиках я тоже прочитал. По-моему, парень просто б у з и т, чтоб растряссти своих сонных англишменов».

Оскар Уайльд... бузит? И это тоже из словаря Горького, да еще 1911 года? Стоит ли напоминать, что слово «бузит» в русском разговорном языке появилось только после революции (см. А. Селищев. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917—1926 гг.). «Работник просвещения». М. 1928, стр. 192)? И стоит ли напоминать, как относился к этому слову Горький? ¹

А про Репина Горький говорит якобы таким слогом: «Когда в ближайшее время соберетесь в Пенатах, скажите спич и заверьте Илью Ефимовича, что мы, каприйцы, любим и чтим его и ждем многих славных работ!» (письмо от декабря 1910 года, № 8). Кстати сказать, никаких свидетельств, хотя бы отдаленных, о знакомстве Анучина с И. Е. Репиным и о посещении им Пенатов нет, хотя нами рассмотрено множество материалов, посвященных этому периоду жизни художника.

Письмо, датированное 19 мая 1913 года (№ 21), представляющее собой перечень восточных философов, сведения о которых Горький требует у Анучина, апокрифично. Тут потревожены тени и великого Конфуция, и индийского философа Нагарджуна, и абиссинского мыслителя Зара-Якоб. Тут же идет речь о задуманном Анучиным романе («Написать же роман, взяв фоном социально-мессианские ожидания Азии — это превосходная мысль!» — пишет якобы Горький). Говорится о том, что сибирским писателям с «бытовизмом» надо кончать, а потом неожиданно о том, что «передвижники сыграли большую роль в истории русской культуры, но их роль давно закончилась, теперь иные методы нужны». А в середине письма есть фраза, на которой следует задержаться: «Читали ли Вы доклад Б. Кроче на последнем философском конгрессе? Непременно надо по этому поводу дать большую статью с основательным разбором, а до сих пор ничего нет». К ней есть примечание: «Бенедетто Кроче. Итальянский философ, неогегельянец. На 3-м международном философском конгрессе в Гейдельберге в 1908 году прочитал доклад «Чистая интуиция и лирический характер искусства».

Да, 3-й международный философский конгресс действительно состоялся в 1908 году и Кроче читал там упомянутый доклад. Но почему в 1913 году Горький пишет об этом как о новинке (а в письмах 1908, 1909 годов и т. д. ничего об этом не говорит)? Может быть, это ошибка примечания и Горький, говоря о «последнем философском конгрессе», имел в виду 4-й, состоявшийся 6—11 апреля 1911 года в Болонье, где Кроче выступил с речью об эстетических исканиях современности? Но и в этом случае недоумение не рассеивается. Горькому, жившему на Капри, доклад Кроче могли прочитать из итальянских источников его близкие. А как мог Анучин «читать» его? На русский язык выступления итальянского философа еще не были переведены. Остается сделать только одно предположение: Анучин настолько блестяще владел итальянским языком, что мог не только читать философские работы, но и давать их «основательные разборы». Следов такого знания иностранных языков во всех материалах, связанных с Анучиным, мне найти не удалось.

Последнее письмо, от 14 июня 1914 года (№ 23), повествует о том большом впечатлении, которое произвел на Горького напечатанный в Томске в «Сибирской жизни» (18, 21 и 22 мая 1914 года) рассказ Анучина «Страшный доктор. Психологический этюд».

Очевидно, следует допустить, что сибирская газета уже через три недели попадает в руки Горького, который в это время (май — июнь 1914 года) живет в Финляндии в маленькой деревушке близ Мустаяк, куда он вряд ли выписывает русские провинциальные периодические издания. Этот факт смутил уже не только меня. Это бросилось в глаза даже С. Кожевникову и А. Коптелову, однако их гипотеза, что, «по всей видимости, этот рассказ ранее предназначался для «Сибирского сборника» и был про-

¹ «С величайшим огорчением приходится указать, что в стране, которая так успешно — в общем — выходит на высшую ступень культуры, язык речевой обогатился такими нелепыми словечками и поговорками, как, например, «мура», «буза», «вольныть», «шамать», «дать пять», «на большой палец с присыпкой», «на ять» и т. д. и т. п...» И далее Горький поясняет: «...буза — опьяняющий напиток» (А. М. Горький. Собр. соч., т. 27, стр. 169—170).

читан Алексеем Максимовичем в рукописи»¹, вряд ли бы могла возникнуть, если бы авторы внимательнее прочли включенную ими в сборник «Горький и Сибирь» статью Арт. Ершова «Пометки на полях рукописи». В этой статье мы читаем: «Только в декабре 1913 года я получил от В. Анучина письмо, в котором он сообщал: «Выпуск сборника задержался серьезной болезнью Горького, которому мною пересланы все одобренные рукописи. Ответа жду со дня на день и сам волнуюсь больше всех авторов, хотя лично для сборника ничего не дал»².

Наибольшую сложность для анализа представляет письмо от 27 декабря 1903 года (№ 2). В нем Горький, выражая свой безудержный восторг детской повестью В. Анучина «По горам и лесам», далее проявляет озабоченность творческой судьбой своего корреспондента.

«Ваша тема для трагедии,— говорится в письме, а в примечании сообщается, что «речь идет о трагедии «Красноярский бунт», которую автор закончил уже при советской власти»,— конечно, хороша. Огромное социальное значение, но как быть? Ведь цензура подло Вас обкорнает, живого места не оставит. А потом, откровенно говоря, меня смущает Ваша порывистость — рассказы, повесть для детей, социальная трагедия, научные работы! Искать себя нужно, это несомненно, но не слишком ли Вы разбрасываетесь? Пишите лучше большую повесть или роман — я не сомневаюсь в успехе, но драматическое произведение требует особого умения, специального подхода. Извините за непрошенный совет, но я бы отложил трагедию, и особенно на такую страшную тему, до лучших времен, до которых мы с Вами, надеюсь, доживем. Хотя чертовски интересно. Выходит, что вы, сибиряки, опередили и стрельцов и Пугачева — исконные бунтовщики! А все-таки лучше отложите, подробно поговорим при личном свидании».

Взятые в разрядку слова из этого пассажа процитированы Анучиным в его письме к Горькому от апреля 1935 года³. Посылая Алексею Максимовичу рукопись посвященной ему трагедии «Красноярский бунт», Анучин в сопроводительном письме вспоминает, что он давно, еще «при самодержавном режиме», сообщал Горькому о замысле «Красноярского бунта» и что Горький тогда ответил ему следующими словами — и далее в письме идут выделенные нами строки.

Как будто здесь-то уж придется признать, что письмо Горького от 1903 года является подлинным: ведь трудно себе представить, что человек решится процитировать Горькому — как его собственные — слова, им никогда не сказанные. Но и тут (не считая главного аргумента — первого письма Анучина от 23 мая 1911 года) есть обстоятельства, которые позволяют допустить это почти невероятное предположение. Во-первых, весь характер письма: неумеренный восторг, тревога за «разбрасывающегося» автора, явно излишняя при скудости его реальной продукции; во-вторых, странная фраза: «поговорим при личном свидании», фраза, предполагающая, что личное знакомство обоих корреспондентов уже состоялось, хотя даже по анучинским данным (в упомянутой в начале статьи П. Вилькошевского) их личное знакомство отнесено «к весне 1905 г.» (подробнее этот вопрос мы рассмотрим ниже); в-третьих — странное совпадение рассуждений Горького о «Красноярском бунте» с рассуждениями самого Анучина об этой же трагедии в письме к художнику В. И. Сурикову от 14 октября 1901 года. В этом письме Анучин писал:

«Дорогой Василий Иванович. Напраслины Ваши подозрения, и нашего с Вами Красноярска я не разлюбил, и писать «Красноярский бунт» не раздумал, только вот обстоятельства сложились — некуда хуже! План трагедии остался все тот же, он материалом диктуется. А вот набросал первое действие и окончательно убедился, что труд будет напрасным, так как ни в какие цензурные рамки пьеса не войдет: слишком она бунтарская. Смягчить — и невозможно, да и не хочу. Придется, как я и говорил уже

¹ «Горький и Сибирь. Письма, воспоминания». Новосибирск, 1961, стр. 84.

² Там же, стр. 456.

³ Архив А. М. Горького. КГ — П. 3 — 4 — 20.

Вам, отложить эту работу до лучших времен, а если они наступят не скоро, напишу трагедию под старость для посмертного издания,— пусть наши внуки радуются»¹.

Конечно, совпадение идей — вещь вполне возможная. Но в данном случае придется допустить, что Горький в письме к Анучину в декабре 1903 года повторил не только идеи, но и лексику самого Анучина («бунтовщики», «цензура», «отложить до лучших времен»), те самые, что Анучин адресовал Сурикову в октябре 1901 года.

Таким образом, и письмо Горького Анучину от 27 декабря 1903 года представляется мне неправдоподобным. Что же касается цитаты из него в письме, посланном Анучиным Горькому в 1935 году, то она — на фоне всего остального — кажется не столь уж удивительной: нетрудно было психологически рассчитать, что Горький в 1935 году не вспомнит и не сможет проверить подлинность своих слов, тем более что дата их написания предусмотрительно скрыта за выражением: «давно... при самодержавном режиме».

Мы рассмотрели, таким образом, четырнадцать из восемнадцати горьковских писем, не имеющих документальной достоверности. Громадное количество неточностей, несуразностей, несовпадений делает их не просто сомнительными, но абсолютно недостоверными. Такой же характер носят и три не разобранных нами здесь (разбор их потребовал бы слишком много места) письма — от 4 ноября 1903 года (№ 1), от 2 июня 1912 года (№ 11) и от 4 ноября 1912 года (№ 18).

Лишь письмо № 10 от 8 мая 1912 года резко выделяется из всех восемнадцати не имеющих подлинника писем. Во-первых, оно является ответом Горького на письмо Анучина от 7 апреля 1912 года, в котором тот интересовался замыслами Алексея Максимовича об издании журнала; во-вторых, есть письмо Анучина к Горькому от 24 мая 1912 года, которое является ответом на данное горьковское письмо, и наконец в его содержании, в фактическом материале нет ничего неточного, не совпадающего с реальным положением дел. Тон письма очень деловой. На основании всего этого можно с достаточной степенью вероятности предположить, что данное письмо, хотя и опубликовано по документально недостоверной копии, подлинное.

Суммируя эти наблюдения и соображения, я могу сказать, что из двадцати трех опубликованных Анучиным писем Горького все без исключения письма, охватывающие время с 4 ноября 1903 года по 16 марта 1911 года, решительно недостоверны.

Начиная с 1912 года письма недостоверные чередуются с письмами, не вызывающими сомнений (письма от 8 мая 1912 года № 10; от 21 июня 1912 года № 12; от 19 сентября/2 октября 1912 года № 14; от 12 октября 1912 года № 16; от 16 октября 1912 года № 17; от 17 мая 1914 года № 22).

В итоге можно смело утверждать, что Горький не мог быть автором следующих семнадцати писем:

- № 1 от 4 ноября 1903 года.
- № 2 от 27 декабря 1903 года.
- № 3 от 7 февраля 1904 года.
- № 4 — записка без даты.
- № 5 от 14 октября 1908 года.
- № 6 от 7 июня 1909 года.
- № 7 без даты, по конверту 1910 года.
- № 8 от декабря 1910 года.
- № 9 от 16 марта 1911 года.
- № 11 от 2 июня 1912 года.
- № 13 от 10 июля 1912 года.
- № 15 от 4 октября 1912 года.
- № 18 от 4 ноября 1912 года.
- № 19 от 19 февраля 1913 года.
- № 20 от 7 марта 1913 года.
- № 21 от 19 мая 1913 года.
- № 23 от 14 июня 1914 года.

¹ ЦГАЛИ, фонд 879, опись 1, № 1, л. 1—2

Все эти письма — приходится называть вещи своими именами — были подделаны Анучиным.

При этом подделка Анучина сложная, запутанная — именно потому, что в какой-то мере она опирается на подлинный, безусловный материал. Отсеять эти зерна от плевел и составляло цель предпринятого нами исследования.

* * *

Для полноты картины необходимо остановиться и на истории личного знакомства Анучина с Горьким.

Как мы уже упоминали, в своей вступительной статье к самаркандской публикации П. Вилькошевский, очевидно со слов Анучина, относит «личное знакомство Анучина с М. Горьким к весне 1905 г.». На основании одной лишь этой фразы все последующие авторы считали факт личного знакомства Анучина с Горьким не подлежащим сомнению.

С. Кожевников живо интересовался подробностями знакомства Горького с Анучиным и запрашивал последнего о них. Вот что написал ему по этому поводу сам Анучин (письмо от 19 февраля 1941 года): «Если письма Горького ко мне дают очень много, то мои встречи с ним совсем не ярки. Случалось так, что либо Ал. М. был за границей, когда я приезжал в Питер, либо я был в экспедиции или в ссылке, когда он возвращался на родину. Встреч было всего пять, из них три проходили в обстановке, исключающей возможность побеседовать наедине... А потому в отделе воспоминаний мое имя нужно снять»¹.

Письму же редакции «Сибирских огней» написать воспоминания о своих встречах с Горьким Анучин отклонил, мотивируя свой отказ отсутствием «крупного художественного дарования». «Вот почему, дорогие товарищи, я не могу выполнить ваше поручение и написать воспоминания об А. М. Горьком» (письмо в редакцию журнала от 20 декабря 1940 года)².

Однако даже самое поверхностное знание биографии Горького заставляет усомниться: были ли такие встречи и было ли вообще о чем вспоминать В. Анучину? Достаточно внимательно просмотреть четырехтомную «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», по которой можно проследить жизнь писателя чуть ли не день за днем, как версия об его знакомстве с Анучиным становится крайне сомнительной.

В самом деле, что происходило в жизни Горького весной 1905 года, о которой говорится у Вилькошевского? 10 января 1905 года вечером Горький уехал в Ригу. Арестованный там, он 12 января был привезен обратно в Петербург и заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Освобожденный 14 февраля, он в тот же день в сопровождении сотрудника охранного отделения выехал обратно в Ригу. 21 марта он уехал из Риги в Ялту, заехав по дороге на шесть дней в Москву (22—27 марта). В Ялте он прожил до 7 мая. Так прошла у него весна 1905 года. Обращаясь же к биографии Анучина этого времени, мы видим, что он жил в Петербурге до апреля 1905 года, а затем переехал из Петербурга в Красноярск и прожил в Сибири безвыездно до осени 1907 года.

Так отпадает версия о знакомстве Горького с Анучиным в указанное время. Далее, как известно, 11 февраля 1906 года Горький уехал из России и вернулся в нее только 31 декабря 1913 года. Анучин же, насколько мы можем судить, никогда не покидал пределов Российской империи, а второй петербургский период его жизни приходится на февраль 1910 — осень 1911 года.

Кроме того, в одном из писем к Е. А. Ляцкому, от 13 декабря 1912 года, Горький пишет об Анучине: «Предупреждаю: лично я с ним не знаком...»³. (Разрядка моя. — Л. А.).

Не исключена возможность, что Анучин в период первой мировой войны мог приезжать в Петроград и тут встретиться с Горьким, но найти подтверждения этому не удалось. Между тем другие сибирские писатели (Шишков, Вяткин, Гребенщиков), как

¹ «Сибирские огни», № 10, 1963, стр. 168.

² Там же, стр. 166.

³ Архив А. М. Горького. ПГ — рл. 24 — 9 — 27.

раз в это время бывшие в Петрограде, завязали знакомство с Алексеем Максимовичем, что и подтверждается многими мемуарами.

Весь 1917 год Анучин пробыл в Томске, а в 1918 году его бурная деятельность ограничивалась пределами Сибири. 1919—1923 годы он живет главным образом в Томске. Этот период кончается для него административной высылкой сроком на три года в Казань. В Казани он живет 1923—1928 годы. Между тем Горький в октябре 1921 года уезжает из Советского Союза лечиться за границу.

Таким образом, мы видим, что жизненные пути М. Горького и В. Анучина почти не перекрещивались и возможностей для личных встреч было очень мало. Лишь в 1928 году Горький проезжал через Казань, где в это время был и Анучин. 4 августа 1928 года Горький выступал на встрече с писателями, журналистами и рабочими в Доме татарской культуры¹. Анучин, энергично пробывавшийся на прием к Горькому, не был к нему допущен и мог видеть писателя только во время его публичного выступления, о чем он сам и рассказывает Горькому в письме из Казани в августе 1928 года². Возможно, что такого же рода встречи «в обстановке, исключающей возможность побеседовать наедине», могли иметь место и еще, но никаких личных «близких отношений» у Анучина с Горьким обнаружить не удалось.

* * *

Теперь можно попытаться восстановить реальную историю отношений Горького с В. И. Анучиным на основании девяти подлинных писем Алексея Максимовича (шести опубликованных и трех ненапечатанных) с 1912 по 1928 год и двадцати писем Анучина к писателю — с мая 1911 по апрель 1935 года (пять из них опубликовано в сборнике «Горький и Сибирь». Новосибирск. 1961).

Итак, 23 мая 1911 года В. И. Анучин обратился с письмом к А. М. Горькому, Письмо это было попыткой завязать отношения со знаменитым писателем. Посылая ему свой рассказ, Анучин надеялся, что таким образом ему откроется доступ в «Знание».

На 1912 год и падает в основном переписка между ним и Горьким. Она, как уже говорилось, касается издания «Сибирского сборника» и участия писателей-сибиряков в «Современнике». Видимо, вначале Горький считал Анучина человеком серьезным и даже хотел пригласить его в редакцию «Современника» на постоянную работу. Но непомерное честолюбие Анучина и беспокойная активность натуры, проявившиеся в его письмах, заставили Горького насторожиться. И если судить по письму Анучина из Томска от 2 октября 1912 года, для этого были основания. «Не стану скрывать,— писал Анучин Горькому,— что мне убийственно хочется стать в рядах авангарда, организуемого Вами для «Современника», и знаю, что нужны там такие люди... если я не найду себе места в «Современнике» и вообще около Вас, то придется сказать: ныне отпускаешь!.. Есть еще исход, писать в журнал из Сибири, помогать издаека, но я по натуре слишком активен, чтобы примириться с этой ролью. Я требую своей доли участия в этой работе»³.

Таким же — чересчур навязчивым, сугубо предприимчивым человеком — рисует В. Анучина и неопубликованное письмо от 12 октября 1912 года⁴. Критикуя «Сибирскую жизнь» и говоря о необходимости иметь свою собственную газету, для издания которой потребуется капитал в 25 000—30 000 рублей, он предлагает Горькому «прыгнуть» в Сибирь подходящего для этой цели капиталиста. Горький был, видимо, смущен этим предложением и спрашивал в письме к Г. Д. Гребеншикову (февраль 1913 года): «Не можете ли Вы дать мне характеристику В. Анучина? Буду очень благодарен»⁵. Полученный ответ содержал характеристику убийственную. Репутация у Анучина в Томске, сообщал Гребеншиков, самая незавидная, поскольку он известен своей денежной нечистоплотностью и финансовыми махинациями, связанными с его неблагополучными экспедициями. А. В. Адрианов называет его просто «жулик», а Г. Н. Потанин — «моральный анархист». Лично он, Гребеншиков, не хотел бы верить всему этому, принимая

¹ «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. III, М. 1959, стр. 654.

² Архив А. М. Горького. КГ—П. 5—4—16.

³ Там же. КГ—П. 5—4—6.

⁴ Там же. КГ—П. 5—4—7.

⁵ «Горький и Сибирь. Письма, воспоминания». Новосибирск, 1961, стр. 100.

во внимание передовые взгляды Анучина и надеясь, что он сумеет еще выправиться, но скрыть от Горького истинное положение вещей не считает себя вправе¹. Эта выписка из письма Гребенщикова была переслана Горьким А. Н. Тихонову в Петербург², после чего вопрос об участии Анучина в редакции «Современника» был решен отрицательно.

Следующие два дореволюционных письма В. Анучина касаются «Сибирского сборника», запросов о его судьбе.

Этим, собственно, и ограничиваются отношения Горького с Анучиным, ибо в после-революционный период были только обращения Анучина к писателю с различными просьбами: то он посылает ему свою брошюрку «Твори радость (Моя религия)» (Томск. 1918) с просьбой устроить второе издание, то он просит Горького написать к ней предисловие, то рассчитывает на его содействие в реализации своего приключенческого романа «Азия для азиатов», то посвящает ему трагедию «Красноярский бунт», то отправляет ему посылкой свой роман «Волхвы» и т. д. и т. п.

На весь этот поток писем Горький ответил только один раз очень кратко — 28 марта 1928 года из Сорренто.

* * *

Естественно встает вопрос, для чего была предпринята и осуществлена В. Анучиным такая, в сущности говоря, беспримерная фальсификация?

Если прочесть внимательно все поддельные письма Горького, совершенно ясно ощущается их психологический подтекст — превознесение Анучина, его заслуг, знаний, талантов и т. д. Все письма наполнены восторженными, лишенными каких бы то ни было критических замечаний отзывами о произведениях и личности Анучина.

«Откровенно говоря, меня смущает Ваша порывистость — рассказы, повесть для детей, социальная трагедия, научные работы! Искать себя нужно, это несомненно, но не слишком ли Вы разбрасываетесь?» (письмо № 2); «Вы так богаты фольклорным материалом, что я Вам завидую», «Боюсь, что пожеланий слишком много, но, кроме Вас, не к кому обратиться...» (письмо № 3); «Как тяжело было прочитать в газетах о Вашей ужасной смерти в Туруханском крае и как радостно было узнать потом, что Вы и на этот раз уцелели. Но все-таки не слишком ли много трагического в Вашей жизни» (письмо № 5); «Если Вы напишете пять томов ученых исследований, то все-таки будет не то, что два-три хороших рассказа» (письмо № 6); «И до чего вы, сибиряки, материалами заряжены густо, — особенно Вы с Потаниным. Ведь Вы можете азиатскую эпопею написать в широченнейших масштабах!» «Широта у него (Г. Д. Гребенщикова. — Л. А.) большая, а глубины нет. Возьмите-ка его в обработку и начините как следует» (письмо № 13); «Ваш организаторский талант, поверьте, будет достойно оценен в летописях нашей литературы» (письмо № 19); «Ваша постановка мне кажется чрезвычайно убедительной» (письмо № 20); «Способности у Вас большие, материалами богат как никто, — должна получиться прекрасная вещь. Одобряю, благословляю!» (письмо № 21).

Вся эта стихия совершенно безудержного восхваления, исходящая якобы от Горького, была вызвана необходимостью создать некий камуфляж, под прикрытием которого В. Анучин мог бы существовать вполне удобно и безопасно.

Дело в том, что биография Анучина очень нуждалась в приукрашивании: слишком много было в ней темных и сомнительных страниц. Я не стану подробно останавливаться на этом, но скажу, что жизненный путь Анучина изобилует «эпизодами» и «историями», которые свидетельствуют, что этот непомерно честолюбивый человек был беспринципным в политическом и моральном отношении. Очень часто «деятельность» Анучина сопровождалась скандалами, во время которых в его адрес звучали обвинения в недобросовестности, неразборчивости в средствах, нечистоплотных махинациях, клевете и т. п. В частности, еще в 1917 году были произнесены поистине пророческие слова, что «Анучин вообще очень свободно распоряжается словом, шантажируя в области саморекламы и самовозвеличивания»³.

¹ Архив А. М. Горького. КГ — П. 21 — 18 — 10.

² Там же. ПГ — рл. 44 — 10 — 76.

³ «Сибирская жизнь», 20 октября 1917 года.

Известный сибиревед и этнограф Л. П. Потапов, говоря о деятельности Анучина в своей книге «Очерки по истории алтайцев» (1953), не нашел иных слов, как «политический авантюрист» и «буржуазный националист» (он имел в виду события 1918 года, когда Анучин стал... «каганом государства Ойрот»), имя которого решительно невозможна называть рядом с именами Ленина и Горького. Слова Потапова никем опровергнуты не были.

Как видим, у Анучина была нужда «подправить» и «приподнять» свою биографию.

Существенную роль сыграла здесь и ожесточенная междоусобица, которая разразилась в Самарканде в связи с деятельностью Анучина как председателя жилищного кооператива «Научный работник». В середине тридцатых годов Анучин был снят с поста председателя кооператива и привлечен по материалам РКИ к уголовной ответственности. Он повел длительную борьбу. Достаточно сказать, что начиная с 1935 года до весны 1941 года (в 1941 году В. И. Анучин умер) было пятнадцать судебных разбирательств. Анучину грозили крупные неприятности. И надо было предпринять что-то необычное, чтобы парализовать начавшееся расследование. Тогда-то — в середине тридцатых годов — он и начинает афишировать свою переписку и знакомство с Горьким и Лениным, ссылаясь на их восторженные отзывы о его заслугах, трудах и познаниях.

В этой связи надо остановиться еще на пяти «письмах» Горького, которым по воле их автора придано особое назначение. В своей фальсификаторской деятельности Анучину было мало использовать имя Горького, он решился посягнуть и на имя Ленина.

В 1940 году в ленинградском журнале «Литературный современник» № 1, как уже говорилось, появились воспоминания Анучина об его якобы имевшей место встрече с Лениным в Красноярске (март 1897 года). Ровно через год, ободренный успехом своего предприятия, он публикует в самаркандской газете в юбилейные ленинские дни статью «Переписка с Владимиром Ильичем»¹. Из этой публикации стало известно, что он переписывался с Владимиром Ильичем на протяжении десяти лет (1903—1913). Содержание этих писем дано в пересказе, привести их полностью Анучин все-таки не посмел: сами письма Ленина им были, дескать, утеряны. Чтобы достичь максимальной убедительности, Анучин ввел в «письма» Горького ряд фраз и абзацев, которые должны были логически обосновать факт его знакомства и переписки с Лениным. Таким образом, Горькому отводилась роль авторитетного свидетеля, который, будучи знаком и с Лениным и с Анучиным, подтверждает существующую между ними связь.

Этих писем пять (№№ 5, 6, 11, 15 и 20). Прежде всего это письма, не имеющие документальной достоверности. Это машинописные экземпляры, поступившие в Архив А. М. Горького из редакции того же «Литературного современника» в Ленинграде. Кроме того, их недостоверность была доказана выше и по их содержанию. Следует добавить, что все они не включены в тридцатитомное собрание сочинений Горького.

В июле 1963 года я дважды была в ИМЭЛ. Разумеется, никаких подтверждений о существовании переписки между Лениным и Анучиным я не нашла. Зато я узнала, что институт в поисках писем Ленина безрезультатно обращался во все соответствующие инстанции Советского Союза.

Приведем выдержки из этих писем, «удостоверяющих» и знакомство и переписку Ленина с Анучиным.

Письмо № 20 от 7 марта 1913 года: «Кстати, мне случайно известно, что Вы не ответили на очень важное письмо Ул.— ответ очень нужен, имеет большое значение». Но как же тогда согласовать это сообщение Горького со словами из письма Н. К. Крупской, адресованного ею Е. Д. Стасовой ровно год спустя (21 февраля/6 марта 1914 года): «...Связей ни с одной сибирской организацией у нас нет, и даже не знаем, есть ли где в Сибири таковые»². Е. Д. Стасова, как известно, находилась в ссылке в одном из сел Енисейской губернии с 1913 по 1916 год.

Думаю, что приведенной выше цитатой аннулируется и следующий абзац из письма № 5 (от 14 октября 1908 года): «Ваше письмо к Влуд все-таки до него дошло. Он будет писать Вам подробно с оказией, а пока просит передать и большую благодарность и братский привет, к чему и я присоединяюсь».

¹ «Ленинский путь». 21 января 1941 года.

² «Исторический архив». № 1, 1957 (январь—февраль), стр. 26.

В письме № 6 (от 7 июня 1909 года) читаем: «Между прочим, В. Ул. часто вспоминает «сибирского шамана» и о тех беседах, которые Вы вели с ним во время похождения в Юдинскую библиотеку. Забавно выходит, когда он в лицах изображает, как Вы, рыча октавой, завлекаете его в сибирскую веру»¹.

Но все дело осложняется тем, что в марте 1897 года не было и не могло быть никакого «сибирского шамана». Свою работу о шаманизме Анучин написал много лет спустя, тогда же ему было около двадцати двух лет, «социальное лицо» его было довольно неясным. Это был недоучившийся семинарист, уволенный после четвертого класса духовной семинарии². Первая поездка Анучина в Туруханский край состоялась только летом 1905 года³.

Обращаемся к письму № 15 (от 4 октября 1912 года): «Дорогой Василий Иванович! Ваше сообщение о том, что первым указавшим на роль экономических факторов и производственных отношений был Ибн-Халдун, писавший в XIV веке, произвело сенсацию. Особенно заинтересовался наш общий друг. Но книги пока достать не могли — она оказалась очень редкой, в Неаполе нет, запросили в Париже. А у К. Маркса действительно Ибн-Халдун не упоминается». Из примечания мы узнаем, что «наш общий друг» — это В. И. Ленин. Про Ибн-Халдуна сказано так: «Арабский историк, жил в 1332—1406 гг., умер в Каире».

Видимо, этот Ибн-Халдун произвел на Анучина совершенно неизгладимое впечатление, если на основе его взглядов он создал в 1913 году свой собственный «Социальный закон»⁴. Обратившись к этому изданию, мы узнаем, что «первая попытка найти законы истории принадлежит арабскому мыслителю Ибн-Халдуну (1332—1406), тому самому Ибн-Халдуну, который на несколько столетий раньше К. Маркса указал на значение экономических факторов и производственных отношений...». «Огорченно размышляя над неудачей первой русской революции, я был увлечен в «мистику» цифр и в июле 1912 г. составил нижеприведенную хронологическую таблицу народных движений, революций, восстаний, мятежей, бунтов, смут и междоусобий от наших дней до первого года эры... Факт периодичности налицо...» Обратившись к небу, Анучин нашел в сентябре 1913 года искомое. Оказалось, что в жизни Солнца существует периодичность. Сопоставив «астрономическую» таблицу со своей исторической, Анучин убедился, что она «почти совпадает». В итоге появился «закон периодичности, в силу которого народные движения, революции, восстания и т. п. происходят только через определенный промежуток в 11 лет и 43 дня; эта периодичность абсолютно совпадает с периодичностью максимумов солнечных пятен; следовательно, между тем и другим явлением существует причинная связь» (!).

Трудно себе представить, что, получив от Анучина эти или же аналогичные по своему воинствующему невежеству рассуждения, Ленин не нашел никого другого, к кому можно было бы обратиться с вопросом: «Нет ли еще таких хороших философов на Востоке?»⁵ Конечно, бумага все терпит, но почему должны терпеть это мы, еще современники Ленина и Горького?⁶

Но вернемся к самаркандской междоусобице.

Не удивительно, что уже в то время был поднят вопрос о подлинности писем Горького к Анучину. 24 июня 1935 года правление жилищного кооператива «Научный работник» обратилось к Горькому с просьбой «возобновить в памяти Вашей переписку

¹ Публикуя эти строки, я испытываю чувство неловкости. Новелла с «сибирским шаманом» и Юдинской библиотекой приобрела уже почти хрестоматийный характер. Хотелось бы надеяться, что я буду последним автором, который цитирует эти анучинские строки.

² Государственный исторический архив Ленинградской области. Фонд 119, опись 1, № 295, л. 129.

³ В. Анучин. Предварительный отчет по поездке к енисейским осяжкам в 1905 г. «Известия Русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношении», № 6, 1906, стр. 38—50.

⁴ Анучин В. Социальный закон (Закон периодичности в народных движениях). Томск, 1918, стр. 13.

⁵ «Сибирские огни», № 2, 1947, стр. 106.

⁶ Вопросы о фальсификации В. И. Анучиным воспоминаний о Ленине и писем Горького касается В. Яковлев в своей только что вышедшей книге «Ленин в Красноярске» (Издательство политической литературы. М. 1965. стр. 129—138). К сожалению, при этом В. Яковлев не упоминает о многолетних разысканиях Л. Азадовской, работа которой была ему известна в рукописи. (Ред.)

в 1907—1912 годах с Анучиным Василием Ивановичем, если эта переписка действительно имела место. «Вся общественность,— говорилось в письме,— знает Анучина как нечистоплотного демагога. Мы опасаемся, что... Анучин шантажирует нас, спекулируя Вашим именем».

Далее изложена суть дела: «Анучин предъявил в редакцию «Правды Востока» (местное отделение) Ваши письма к нему, написанные еще в 1907 или 1912 году, в коих Вы, Алексей Максимович, сообщаете ему якобы о том, что Владимир Ильич Ленин прочитал произведения Анучина и восхищен ими, а также выражает желание лично почитать Анучина и т. д.

Ваши письма предъявлены в редакцию не в подлинниках, а в копии. Надобно отметить, что на суде и в прокуратуре Анучин по требованию следственных и судебных органов не представлял подлинных документов, а только копии.

Вот почему подлинность этой переписки вызывает у всех сомнение...

Мы просим Вас, Алексей Максимович, чутко отнестись к нашей маленькой просьбе и сообщить нам, правда ли, что переписка имела место.

Анучин В. И. на всех перекрестках твердит, что в минуты горя он уничтожил письма к нему М. Горького, но все же Анучин в минуты горя сохранил самообладание и предусмотрительно снял копии для каких-то целей, кои теперь для всех понятны»¹.

На это письмо Горький ответил 16 июля 1935 года:

«Кооперативу «Научный работник»

Уважаемые товарищи —

давно когда-то, еще до Октября 17 г., я действительно переписывался с Анучиным-этнографом, автором работы о шаманизме, имя и отчество этого Анучина я не помню. Работу о шаманизме — небольшую брошюру мне прислал Потанин, как работу одного из своих учеников.

Я попробую поискать письма Анучина в архиве моем и пришлю их Вам в подлинниках, если найду их у себя, ибо возможно, что они в Госбиблиотеке Ленинграда или Пушкинском доме.

Привет и всего доброго.

М. Горький»².

Хотя это письмо было опубликовано и даже зарегистрировано в библиографическом перечне³, оно выпало из поля зрения исследователей. Между тем письмо это очень важно. Едва ли бы Горький стал писать так о человеке, к которому адресовал двадцать шесть писем, многие из которых дают столь высокую и даже восторженную оценку его деятельности, что забыть их, а заодно и самого адресата было бы невозможно.

«Удивительные письма! Неужели они были когда-либо действительно написаны?» — спрашивал А. Н. Турунов, бегло просмотрев самаркандскую публикацию. После трехлетнего тщательного изучения этих «удивительных писем» и просмотра громадного количества связанных с ними материалов — в библиотеках, музеях, архивах — я думаю, что могу ответить на этот вопрос — и ответить по преимуществу отрицательно.

¹ Архив А. М. Горького. КГ — коу. 2—96/1.

² «Труды Самаркандского государственного педагогического института им. А. М. Горького», т. IV, 1942, стр. 123.

³ «Горьковские чтения. 1949—1952». Издательство Академии наук СССР. М. 1954. стр. 439.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. СТАРИКОВА

★

ГЕРОИ ВЕРЫ ПАНОВОЙ

Вера Панова как беллетрист писала еще в самом начале тридцатых годов. Имя ее известно, творчество ее любимо. Среди написанного ею есть такой шедевр, как «Сережа», и, как мне кажется, недооцененный критикой «Сентиментальный роман». Рассказы В. Пановой о детях военных лет отличаются той поразительной поэтической цельностью, какой она, пожалуй, не достигала ни в одном из своих романов. И все-таки, когда сейчас вспоминаешь и перечитываешь произведения В. Пановой, то видишь, что наибольшее принципиальное значение для литературы и для читателя имели те ее книги, которые первые принесли писательнице широкую, всенародную известность и первые вызвали большие споры вокруг ее имени, — «Спутники» и «Кружилиха».

Что было в этих книгах такого, что завоевало им особое место в литературе? Что привлекло к ним всеобщее внимание? На какую потребность соотечественников и современников ответил талант В. Пановой, вдруг так внезапно поднявшийся на поэтическую высоту после многих лет поисков себя и накопления профессионального опыта?

«Спутники» и «Кружилиха» были одними из первых книг послевоенной литературы в прямом смысле этого слова. Не в том, как потом говорилось очень долго: послевоенная — значит, включающая чуть ли не целое двадцатилетие после 1945 года. А ведь оно было очень разное, это двадцатилетие!

Но «Спутники» и «Кружилиха» были прямым, непосредственным поэтическим итогом Отечественной войны с ее потерями и ее открытиями, с еще счастливой, ничем не омраченной уверенностью, что выстра-

данная в боях мирная послевоенная жизнь будет чище и лучше той, предвоенной, безвозвратно оставленной за горами развалин. Не может не быть лучше, обязана быть.

Пока шла война, ту — оставленную — жизнь вспоминали с умилением. Но когда мечтали о послевоенной, никто и не мыслил просто продолжить то, чем кончил 22 июня 1941 года. Вернуться в свой дом, к своему станку, к своему рабочему столу, но дальше каждый вносил поправку, меряя свою жизнь опытом войны. Соответственно, конечно, своему пониманию и своим духовным возможностям. Один, увидев кровь товарища и ужасы фашизма, говорил себе: я буду жить во что бы то ни стало чище, и в той прекрасной послевоенной жизни зря не прольется ни капли крови. Другой, увидев за границей сервант, говорил себе: я буду жить во что бы то ни стало лучше, и у меня будет такой же сервант. Причем тот, кто хотел сервант, вовсе не обязательно был плох. Не велика мечта, но почему, в самом деле, жить ему без серванта? Тут ведь весь вопрос только в том, какой ценой и за чей счет этот сервант потом доставался.

В общем, тогда, к концу войны, начались многие процессы, свидетелями которых мы потом являлись. Перед лицом смерти, потерь, страданий вновь обнаружили свое непреходящее значение любовь, дружба, семья, доверие друг к другу. Если у человека не оставалось этого, что у него оставалось? Память об этом же, мечта об этом же, тоска об этом же.

Само понятие патриотизма наполнилось конкретным гуманистическим содержанием. Перед войной К. Симонов написал поэму «Ледовое побоище», в которой идея па-

триотической готовности советского народа к грядущим битвам с германским фашизмом утверждалась историческими сопоставлениями победы на Чудском озере в XIII веке и побед Красной Армии под Псковом в 1918 году. А в пьесе К. Симонова «Русские люди» девушка Валя произнесла монолог о двух березках, без которых — как она с удивлением обнаружила — для нее нет понятия родины. Такую поправку в патриотическую идею внесла война: без конкретности знакомых с детства березок у родного дома не дано человеку принять в сердце память о Чудском озере.

Не велика, казалось бы, мудрость. Но с какой благодарностью были восприняты эти слова! Сколько их повторяли, цитировали, читали со сцены, вспоминали! Замусолили эти березки вконец, до неприличия. Но тогда благодарность была искренней. Эти березки были и разрешением от долгого поста, и открытием. Люди кровью и страданиями проверили значение для себя, для каждого вот этих самых родных, знакомых, милых сердцу березок, а в литературе еще к этому не привыкли, в литературе еще не привыкли иметь право ставить свое личное, малое рядом с большим и великим. Подчинять — пожалуйста, сколько угодно, а равнять — боже упаси.

Но когда случаются всенародные катастрофы, как его отличишь — великое от малого? Кусок блокадного ленинградского хлеба — великое или малое? Или миска похлебки? Некоторые, например, и сейчас считают, что неприлично, так сказать, фиксировать наше внимание на какой-то миске похлебки, потому что это умаляет всемирное достоинство нашей героической литературы. Приходилось такое слышать, и очень стыдно в нашей стране такое слышать, потому что у нас каждый взрослый человек знает или знал, что такое в иной момент миска похлебки. Это ведь смотря в каких обстоятельствах. Тебе надо непременно великое? Умножь эту миску на миллион единиц — получишь искомое великое. Простая арифметика, даже не надо объяснять азбуку элементарной нравственности двадцати веков, по которой каждая человеческая личность, существование которой иной раз зависит от этой миски, представляет некую ценность.

Сталин умер в 1953 году, культ его личности был разоблачен в 1956 году. Но если понимать под этим явлением не только

произвол отдельной личности, но и условия возможности такого произвола, то этот процесс преодоления «культы личности», отхода от него, собственного внутреннего отстранения от него начался гораздо раньше — во время войны, в результате войны, то есть именно в момент, казалось бы, наивысшего торжества этого самого культа. Сталину верили, Сталина славили, но и себя перестали считать «винтиками». Каждый узнал цену и себе, и соседу, и однополчанину. Идея «винтиков» никого больше не вдохновляла. Себя «винтиком» никто не хотел признать, других — еще, пожалуй, согласен, но не себя. И как только это случилось, мы вступили в новую историческую эпоху, и как бы идеология и политика «культы личности» себя еще ни проявляла, как бы она за себя ни боролась, обратного хода не было. Напротив, она сама, противореча себе на каждом шагу, должна была приспособливаться к новому пониманию вещей, к той всенародной переоценке ценностей, которая уже произошла. Спекулируя и на семье, и на чувствах, и на национальных традициях, и на этих же самых бедных березках, она тем самым постепенно разрушала монолитную породу культурного монумента. Но, конечно, процесс этот шел не гладко, а с отступлениями, борьбой. Творчество В. Пановой было одним из участков этой борьбы.

Монументу поклонялись, а про себя каждый твердо знал: если бы не мы все, кто бы победил? Если бы наши одноклассники не ушли в первые дни войны добровольцами, если бы наши постаревшие матери не шили до слепоты телогрейки, если бы наши младшие братья не встали к станкам военных заводов, если бы девочки не грузили по ночам баржи дровами, а вагоны углем? И награда за все это — за погибших близких, за то, чего я не мог не делать, может быть только одна — чтобы наступающая долгожданная послевоенная жизнь была чище и лучше прежней.

Об этом чувстве и с этим чувством написаны были в 1945 году «Спутники» В. Пановой. В. Александров, один из первых откликнувшийся на «Спутников» большой статьей, писал о В. Пановой: «...автор спрашивает себя: «...какие новые моральные обязательства возникают из героических подвигов и трудов победоносной войны?»

Повесть о людях санитарного поезда, вывозящего раненых с фронта в тыл, быст-

ро завоевала сердца доверием и любовью писателя к своим современникам, в которых читатели легко узнавали себя. «Спутники» — это рассказ друзьям об общих друзьях»¹, — писал один из рецензентов книги.

Герои повести, как и вся страна, воевали против фашизма, отдавая этой борьбе все силы, сколько их у кого было. Но изображение их жизни, в силу самой особенности их работы, было почти замкнуто сверкающими стерильной чистотой стенами санитарных вагонов, и замкнутый этой подвижной рамой деятельный мир предстал перед читателями не только в своей общей ненависти к фашизму, но и в своей самоотверженности и внутренних взаимоотношениях. И когда эти высокотоварищеские и высокочеловеческие отношения раскрылись во всей точности реалистических подробностей, наглядно и как-то неожиданно вдруг обнаружилось, что доброта бывает нужнее ненависти, что доверие друг к другу важнее бдительности и что даже простодушие милее хитрого расчета. И не потому, что нет врага, достойного ненависти (как не быть!), и что не нужны бдительность и расчет, а потому только, что любовь, доверие, доброта, самоотверженность — это то, что делает человека человеком, то, ради чего стоит жить. А ради ненависти как таковой — не стоит. И ради бдительности не стоит. «Человечным и добрым стремлением к счастью... окрашена вся книга Пановой»², — писала в июне 1947 года В. Смирнова.

В повести В. Пановой не было ни отвлеченных обобщений, ни патетики, ни деклараций. На первых порах эта черта ее таланта нравилась. Вс. Вишневский, например, прочитав «Спутников», писал о В. Пановой: «Автор пишет непринужденно, «без агитации», что, может быть, является некой типической чертой ряда новых авторов»³. И кого агитировать в том самоотверженном мире, который открылся глазам В. Пановой! Идея доброты и доверия как высших законов существования человека выражалась другим — полным вниманием и глубоким уважением к каждому спутнику

в этом необычном путешествии. Комиссар Данилов и белобрысая девочка Васька, подобранная в поезд в освобожденной от немцев деревне, начальник поезда доктор Белов, переживший здесь, в поезде, трагедию Ленинграда, где погибли у него жена и дочь, и шумная, легкомысленная медсестра Фаина, нашедшая здесь же в поезде себе мужа, — все они равно интересны писателю, а значит, и читателю.

И самим своим построением повесть как бы уравнивала в правах всех героев: глава — Данилову, глава — Лене Огородниковой, глава — Юлии Дмитриевне, а потом — опять Данилову и т. д. Вместе же — полное представление и о жизни поезда в целом, и о войне, и о стране.

Любовь к ним ко всем делала важной — и для автора, и для читателя — мельчайшие подробности их прошлой жизни, их манеры работать и обращаться с ранеными, интонаций их голоса, способа переживания и изживания личных драм. А талант писателя так скуп и точно отбирал эти подробности, что за ними открывались цельные и неповторимые миры: мир всепоглощающей любви Лены Огородниковой, строгий мир долга комиссара Данилова, своеобразный мир медицинской семьи хирургической сестры Юлии Дмитриевны.

А когда за человеком — целый мир, то уж нет опасности принять или выдать его за «винтик». И не только опасности, но даже и возможности. Или эта непосредственная, живая Васька с ее детским и деревенским своевожеством — «винтик»? Или горбоносая Юлия Дмитриевна с ее гордой преданностью любимой работе — «винтик»? Ого, как бы не так!

Опасность была другая. От этой ровной любви ко всем или почти ко всем — один шаг ко всеприматию «бесконфликтности», которая вскоре расцветет в литературе таким пышным цветом и которая, по сути дела, являлась одной из форм паразитизма «культы личности» на «добрых чувствах». И для самой В. Пановой в иные моменты такая опасность становилась реальностью. Но вот перечитываешь сейчас «Спутников», «Кружилуху» — и ясно видишь: от этого доброго, светлого мира действительно будто бы всего один шаг к печальной памяти конфликту между «хорошим и лучшим», но всегда есть что-то, что спасает от этого шага. Это что-то — правда характеров. Даже не столкнувшиеся в

¹ «Литературная газета», 6 июля 1946 года.

² «Литературная газета», 7 июня 1947 года.

³ Цитирую по книге З. Богуславской «Вера Панова». Гослитиздат. М. 1963, стр. 38.

острых конфликтах, они несли в себе потенциальный заряд этих конфликтов.

В «Спутниках» был всего один плохой человек — доктор Супругов. Не совсем вроде бы плохой, потому что и он вместе со всеми выполнял общее милосердное дело: спасал раненых, выносил их с поля боя, работал под бомбами и т. д. Но и, конечно, не хороший, потому что явно отличался от своих спутников тем, что делал это без любви, без души, никогда не забывая о себе и своем маленьком интересе. В санитарном поезде большинство людей его не любило, но, в общем, было довольно снисходительно к этому эгоистическому, мелочному, трусливому и тщеславному человеку. Написал он статью о работе поезда, где кое-что приврал, и не упомянул о комиссаре Данилове. Данилову была чуточку обидна эта несправедливость, но он, благородный человек, счел в целом статью все-таки полезной. Обмен опытом. А потом в газете появился еще один очерк о поезде, уже не подписанный Супруговым, но зато его имя упоминалось там в каждом абзаце. «Супругов, Супругов, всюду Супругов! Показывает, рассказывает, вдохновляет! Ах, ловкач, сукин сын! Данилов хохотал от души, развалился на диване».

В. Панова вслед за Даниловым также скорее жалела Супругова за бедность души, иронически подсмеивалась над его трусливой осторожностью, чем открыто негодовала на его карьеристскую и себялюбивую суету. Супругов не пугал современников. Но глаз писательницы не снисходительный. Подробности она видит зорко и ими не поступается. Никакая мелочь от нее не скроется и ее не обманет. И потому она как бы невольно замечает явления в зародыше, точно определяя его приметы. Читая сегодня «Спутников», думаешь: ведь войной санитарный поезд еще год, и кто знает, не пришлось бы комиссару Данилову служить уже под началом тихого, нет — теперь знаменитого доктора Супругова, прославленного своими и чужими статьями. Вполне возможно. А тут уж какая бы расцветла «показуха», какое чинопочитание — чего бы только здесь не началось! Все это легко проглядывается, образ не потерял своей художественной силы. Напротив, сегодня хорошо видно, как под внимательным, непредвзятым взглядом писателя среди чистых спутников санитарного поезда выделилась одна из разновидностей типа

карьериста, которому суждено было занять довольно большое место в литературе последующих лет. И оказывается, что от доброй, но правдивой и зоркой книги В. Пановой один шаг и к той прозе середины пятидесятых годов, которая сказала первое слово правды об опасности карьеризма в условиях «культы личности». Объективное содержание реалистического изображения становится иногда прозорливей открыто выраженной позиции писателя. Конкретное наблюдение зоркого художника иногда открывает то, что пока еще не осмыслено во всем своем значении ни обществом, ни литературой, ни самим писателем.

Все это, казалось бы, банальные истины, азбука реализма, общепринятое отношение к таланту В. Пановой. Но с каким трудом и сопротивлением утверждаются иные азбучные истины!

«Спутники» были встречены «на ура». Книга как-то сразу покорила своей непосредственностью, не дав опомниться и внимательно разглядеть, что в ней было нового и непривычного. Но вот в 1947 году появился роман В. Пановой «Кружилиха», и вдруг оказалось, что как раз то, что так нравилось в «Спутниках», испугало, поставило в тупик и вызвало негодование в «Кружилихе». Про «Спутников» «Литературная газета» писала: «Панова знает, что ее герои не нуждаются в сглаживании недостатков и оправдании слабостей, что о них можно рассказать всю правду. Она не делит их качества на положительные и отрицательные и не взвешивает, что можно рассказать читателю, а что нельзя»¹. А в «Кружилихе» вдруг оказалось, что то, что В. Панова рассказала, как глава заводского профсоюза Уздечкин, отец двух детей, овдовевший в войну, стирает по ночам белье, унижает достоинство советского человека и общественного деятеля. Какой ужас! Подумайте: сам стирает белье! Нет, все можно простить, но подобные натуралистические подробности — это уж слишком.

В декабре 1947 — январе 1948 года на страницах «Литературной газеты» развернулась широкая дискуссия о романе «Кружилиха». Тогда впервые было произнесено слово «объективизм» в применении к таланту В. Пановой. Впрочем, были сказаны

¹ «Литературная газета», 6 июля 1946 года.

слова и пострашней: «Отказ от критической оценки изображаемого объективно привел автора романа к отрицанию необходимости бороться со всем отжившим, старым и, следовательно, помимо воли автора, к отрицанию принципа партийности в литературе»¹.

Конечно, этот тон приговора, не подлежащего пересмотру, объяснялся просто общественной атмосферой 1948 года: зимой 1948 года она была иной, чем летом 1946 года. Но во многих выступлениях критиков и читателей, принявших участие в дискуссии, слышалось искреннее недоумение и негодование. Душа не принимала. Разум не переваривал. «Ну как справиться нам со всем этим ворохом противоречий, как определить, чего же стоит Уздечкин на самом деле?» — с тоской вопрошал один из первых участников дискуссии, поставленный в тупик необычностью образа того самого профсоюзного деятеля, который имел привычку стирать по ночам белье, быть несчастным и к тому же не очень симпатичным. «Что нам делать с Уздечкиным? Полюбить его невозможно, ненавидеть было бы несправедливо... В сущности, несправедливо относиться плохо к такому порядочному человеку, хорошему члену партии. Этой неловкости и хотела Панова?» Критик называл «Кружилыху» «интересным, талантливым романом, вызывающим на размышления, на спор», но не мог простить, что «писатель переложил ответственность за оценку своих героев на читателя»². А какая у читателя может быть «ответственность»? Только одна — думать. Думать не хотелось. Читая этот роман, «вызывающий на размышления», думать явно приходилось в непривычном направлении.

Роман действительно был противоречив. Талантлив, интересен и противоречив. В нем видны следы истории его создания. Ведь «Кружилыха» была начата раньше «Спутников» — еще во время войны, в Перми, где В. Панова писала корреспонденции и очерки о заводе Мотовилиха и решила написать о нем повесть. Командировка в военно-санитарный поезд № 312 и создание «Спутников» прервали эту работу. Когда В. Панова вернулась к ней, опыт и успех

«Спутников» не мог не сказаться на новом романе. Но и старый замысел давал себя знать. В «Кружилыхе» многое осталось от привычной структуры так называемого «производственного романа», когда-то в начале тридцатых годов бывшей новаторской для советской литературы, но постепенно превратившейся в традиционную схему, тесную для новых явлений жизни.

В. Панова повторяла некоторые элементы этой схемы, вероятно, не столько в силу внешнего подражания, формальной робости, сколько в силу внутренней от нее зависимости — это была традиционная форма мышления, в которую хотелось уложить то, что наблюдалось вокруг. И многие критики подходили к «Кружилыхе» с точки зрения той же схемы. Причем и те критики, которым очень не нравился роман, и некоторые из тех, кому он понравился, пытались уверить, что ничего нового в нем нет: «Многое из того, о чем говорится в романе Пановой, в нашей литературе не ново. Директоров и главных инженеров, лишенных из-за своей занятости личной жизни... мы уже встречали давно... И когда сейчас, на исходе 1947 года, читаешь произведение, в котором тема личного счастья снова решается по-прежнему, воспринимаешь это как пародию на давно пройденный этап в нашей литературе...»¹ «Пародия» — это, конечно, слишком, но была здесь и правда: многое не ново в романе В. Пановой. Автор статьи, например, сравнивал образы «Кружилыхи» с повестью В. Гроссмана «Глюкауф». Можно сравнить с «Сотьей» Л. Леонова: там гоже начальник строительства водит неграмотную мать по величественным пространствам своего индустриального хозяйства и забывает одну женщину, попросе, чтобы потянуться к другой — посклонней и поромантичней. Только сказать, что в «Кружилыхе» решается «тема личного счастья» — это было смешно. В том-то и дело, в том-то и особенность романов В. Пановой, что там темы не «решались» и даже, может быть, не «ставились». Но зато они возникали обильно и как-то произвольно на основе сделанных наблюдений и небольших, но точных открытий. Но спор шел не о сущности этих наблюдений и открытий, а — прежде всего — о самой их законности и совместимости с устойчивостью старых схем.

¹ «Литературная газета», 17 января 1948 года.

² «Литературная газета», 24 декабря 1947 года.

¹ «Литературная газета», 24 декабря 1947 года.

Даже немногие критики, почувствовавшие талантливость книги и желавшие во что бы то ни стало ее защитить, пытались сделать вид, что ничего особенного не происходит. Парируя недоумения и обвинения своих коллег, они объявляли: «Особенность «Кружилихи» в том, что идея морально-политического единства народа воплощена в романе на материале индустриального труда»¹. При всех добрых намерениях, сказать так об особенностях «Кружилихи» — это значило вовсе ничего не сказать. Отвечая автору статьи, другой участник этой шумной дискуссии, В. Смирнова, писала, что критик увидел в романе то, чего там нет, но что «должно было и могло быть главным», ибо, отступив перед трудностью изображения этого самого индустриального труда, В. Панова «пошла в обход: по квартирам, по рабочему поселку, собирая по крохам то, что не решилась узнать и полюбить целиком»². Сейчас, конечно, неловко слышать, что изобразить рабочий поселок — это значит «идти в обход». Но тогда критика, вероятно, была всерьез уверена, что ни у заводских ворот, ни в рабочем поселке ничего любопытного и значительного попросту нельзя увидеть — все это «частная сфера жизни» и «не типические обстоятельства». В этот момент вдруг как-то забылось, что Павел Власов, например, вовсе не был показан за станком, а его мать Ниловна — главным образом и именно у заводских ворот.

Кстати, как раз В. Панова очень хорошо показывала некоторых своих героев непосредственно за работой: талантливую сборщицу Лиду Еремину — у конвейера, демобилизованного Лукашина — за токарным станком в качестве старательного ученика, директора Листопада — в своем кабинете и на партийном собрании. Где же их еще показывать? Но, показывая своих героев на рабочем месте, свершающих, так сказать, свой трудовой подвиг, В. Панова и тут ухитрялась видеть какие-то неожиданные «мелочи», вызывающие недоумение. Например, выполнявшая по несколько норм стахановка Лида Еремина, которая прославилась «Кружилиху» своим трудом, устраивала в цехе истерические скандалы, если ей не обеспечивали особенно благоприятных

по сравнению с другими условий труда. Потом оказалось, что погоня за искусственными рекордами — явление довольно распространённое и вредное, об этом много впоследствии писали. В. Панова, вероятно, еще не знала, как это называется на языке политики и социологии, но невольно, словно между прочим, обратила внимание на некоторые психологические и бытовые особенности, сопровождавшие это явление. Ну, а когда заметишь одну психологическую особенность, захочется увидеть и ту, что рядом с ней или за ней. И вот уже Лидочка Еремина дома — хорошенькая девушка, избалованная родителями и поклонниками, она очень трезво видит свое будущее и твердо знает, какой муж нужен ей для пушкого блеска ее и без того блестящей карьеры. И снова наивные недоумения критика, меряющего роман В. Пановой старой схемой довоенного образа: «Мы знаем немало случаев, когда люди, не избавившиеся от пережитков прошлого, совершали трудовые подвиги. Этого явления не могли обойти писатели в романах о первой пятилетке. Но хорош бы был художник, который играл бы на этом «раздвоении личности», не увидел бы ведущего начала, определяющего новую судьбу и перевоспитание человека!»¹ А у Лиды Ереминой — действительно новая судьба, непохожая на ее исторических предшественниц. Не все нам в ней понравится, но пока В. Панова замесила только начало, истоки этой судьбы.

В общем, к станку в «Кружилихе» присоединился рабочий поселок, к трудовому подвигу — «мелочи» частной жизни. И вряд ли у В. Пановой был особенный новаторский умысел, когда она расширяла поле своих наблюдений. Просто ей были по-прежнему интересны ее обыкновенные герои: как они там, у себя дома, что едят и пьют, о чем и как разговаривают, что любят, чего хотят. За станком много не поговоришь. В санитарном поезде и «дом» и «производство» были одинаково на колесах, а здесь если хотелось видеть человека целиком, то поневоле нужно было из цеха идти в рабочий поселок, а из квартиры снова к заводским воротам. Потом как раз этого расширения поля наблюдений и цельного показа человека и стали повсеместно и очень громко требовать от литера-

¹ «Литературная газета», 3 января 1948 года.

² «Литературная газета», 14 января 1948 года.

¹ «Литературная газета», 24 декабря 1947 года.

туры, но в 1948 году все это очень пугало, потому что в частную жизнь и в мелочи заглядывать не полагалось, а заглядывание туда давало иногда неожиданные результаты, требовавшие объяснений, которых в готовом виде ни у кого еще не было. Не было их часто и у самой В. Пановой.

Главный спор шел вокруг Листопада, директора «Кружилихи», и его ссоры с профсоюзным деятелем Уздечкиным. Недоумения по поводу этих двух образов и привели к вопросам, которые потом периодически повторялись: любит или не любит В. Панова этих своих героев? Стоит или не стоит нам любить их? Хорошие это или плохие люди? И как же трудно ответить на эти детские, наивные вопросы! Даже сегодня трудно.

Защитники «Кружилихи», с точки зрения ее будто бы полного соответствия старой схеме производственного романа, утверждали: «Главный герой романа «Кружилиха» — Листопад, директор, генерал и производитель. Панова сумела нарисовать обаятельный облик этого большого человека... В конце романа во вдохновенной тираде раскрывается существо Листопада как деятеля и организатора нового, коммунистического типа»¹. Сомневающиеся были осторожней: «Сильный, влюбленный в свое дело человек, созидатель в лучшем смысле слова. Ка ж е т с я, что он может стать нашим героем». Но потом шли перечисления грехов Листопада и тут же возникали недоумения и требования к автору: «Если автор того же мнения, что парторг — пусть свет и тени он расположит так, чтобы читатель видел, где важное, а где второстепенное, над чем ему задуматься, а что легко простить герою»². Критика снова и снова тревожила необходимость выбора, над чем именно ему следует задуматься. О прощении же говорил тот самый парторг «Кружилихи», на мнение которого ссылался критик в оценке Листопада: «Во многом он ошибается, верно. Но по человечеству — я ему сто грехов прощу, хотя бы за его отношение к молодежи».

Отношение самой В. Пановой к Листопаду, в общем, действительно было очень похожим на отношение парторга к своему директору. Она тоже ему сто грехов про-

щала за его организаторский талант, сильную волю, энергию, она была уверена, что без таких, как Листопад, мы бы все пропали, она видела в нем не просто даже историческую необходимость, а человеческое выражение величия своего времени. И «тирада», восславляющая Листопада, в конце романа есть.

Но одновременно в «Кружилихе» происходит то же, что и в «Спутниках»: какой-нибудь неприкаянный заводской мальчишка или скромный демобилизованный Лукашин почему-то писательнице столько же, если не больше, интересны, сколько Листопад. Когда директор «Кружилихи» говорит своему парторгу: «Ты любишь, которые простенькие, которые ни черта не умеют, кроме как пол мести и протоколы писать», а парторг Рябухин отвечает: «Люблю, люблю простеньких... А ты сукин сын, эгоцентрист проклятый, но я и тебя люблю — черт тебя знает почему», — это сама В. Панова иронизирует, почти недоумевает над своим необъяснимым пристрастием уравнивать «великих» и «малых» своим одинаковым интересом к ним, ломающим традиционную структуру произведения, а значит, и традиционное иерархическое мышление. Все эти «простенькие», «второстепенные» почему-то под пером В. Пановой отказываются быть фоном для Листопада, оттенять его величие. Не хотят, да и только. Они любят своего директора, восхищаются им, отдают должное, а живут своей жизнью, и жизнь эта чем-то даже шире, поэтичнее, чем жизнь Листопада, в котором тогда же, в январе 1948 года, критика с удивлением обнаружила «бедность души».

Вдруг В. Панова пишет целую главу о том, как непутевый заброшенный мальчишка Толька убегает из дому в деревню, прогуливает рабочие дни. Оказывается, не только голодному тринадцатилетнему мальчишке замечательно вдруг оказаться в деревенской избе у тетки друга, пить молоко, кататься по белому снегу на санках, но и читателю романа эта глава ничуть не менее нужна, чем те главы, где рисуется грандиозная панорама завода или где он, читатель, встречает «тираду» о величии Листопада, одних успокоившую, а других раздражившую. Как не удивляться? Хотя совершенно ясно, что эта вольная «деревенская» глава только оттеняла еще больше суровое мужество детей,

¹ «Литературная газета», 3 января 1948 года

² «Литературная газета», 24 декабря 1947 года.

женщин, стариков, инвалидов «Кружилихи», которые уже четвертый год не отходят от станков (прогульщик Толька-то, оказывается, совсем ребенок!). Но способ выражения этой вполне законной мысли, или даже скорее чувства, был еще не узаконен. А ведь этим же способом был создан образ и самого Листопада, и в окруженном ореолом высокого положения образе интерес к «частной жизни» и «натуралистическим подробностям» казался особенно недопустимым.

В. Панова могла сколько угодно писать еще «тирад», в которых уговаривала бы и себя и читателя восхищаться Листопадом. Но она великолепно и чутко слышит своих героев, и стоило Листопаду заговорить — не на собрании, а именно за заводскими воротами — и тут же обнаружилось, что этот «созидатель» еще и большой барин, с купеческими замашками и любящий лесть. Вот Листопад, весело глядя на услужливость плутоватого шофера перед будущей директорской женой, всего только две фразы роняет ему: «Подхалимничай хорошенько!.. Травкой перед ней стелись, понятно?» — «Вполне понятно, — прикрыв глаза, многозначительно сказал Мирзоев... — и отправился вниз — у хозев раз-узнать подробности о новой директорше». Вполне понятно и читателю: ах, какая шикарная жизнь начнется у этих Листопадов, ах, каким пышным цветом расцветет вокруг них подхалимство, холопство, ложь! Оказывается, «мелочи» В. Пановой вовсе не лишены нравственного смысла.

А критика знай свое: «Листопад правдоподобен, но правды жизни в этом образе нет, — нет правды о коммунисте-созидателе. У Пановой зоркий глаз художника, но ее взгляд устремлен не вперед, а вниз, она подмечает и старательно подбирает лоскутья старых чувств и шелуху отживших идей. Руководствуясь честностью и любовью к правде, она догоняет идущих вперед людей и насильно сует им обратно то, с чем они предпочли расстаться навсегда. В результате такого «правдоискательства» ростки нового оказываются погребенными под кучей старого хлама»¹. Вряд ли Листопад охотно расстался бы с тем, что «свала» ему В. Панова: с властью, преклонением, лестью, красивой женой, большим полем деятельности.

¹ «Литературная газета», 24 декабря 1947 года.

Конечно, в общеполитическом смысле все это — и лесть и подхалимство — пережитки прошлого. Однако В. Панова писала не философский трактат. Она писала роман, писала характеры, сложившиеся в определенных исторических условиях. И характер получился цельный. Ведь разговор с шофером — совсем не неожиданность в этом романе. С первых его страниц характер Листопада рисуется вполне определенно: «Никакой согласованности у нас, по сути дела, нет, а есть только единоначалие, точнее сказать — единовластие, еще точнее — директорское самодержавие... Невозможно определить, чем руководствуется директор в своих симпатиях и антипатиях... На первое место выдвигаются люди, угодные директору... Если требуются средства на наши культурно-массовые или бытовые мероприятия, то директор отпускает неохотно, и приходится долго просить и доказывать. И в то же время за победу над командой «Спартак» он дал каждому из наших футболистов по тысяче рублей, а вратарю две тысячи...» и т. д. Все это говорит на совещании в лицо директору председатель кружилихинского завкома Уздечкин. И директор мысленно соглашается с человеком, которого не любит и презирает: «Все было, все. Зажимал, нарушал, подменял...» Оправдывается Листопад в своих глазах просто: «Что поделаешь, такой характер», а перед собранием по-другому: общественной необходимостью именно таких действий. Да и не очень оправдывается (кого он боится, Уздечкина?), так, выполняет ритуал.

Вот какого человека, какой тип деятеля изобразила в 1947 году В. Панова. Нет, она еще не знала, как к нему отнестись. Много ли было людей, которые знали? Тип-то до конца себя еще и не проявил. Недавно кончилась война, и все трудное, несправедливое, обидное списывалось на нее. Да Листопад и был порождением «культы личности» в условиях войны, хотя с ее окончанием не собирался менять ни себя, ни своих методов работы, ни стиля жизни. Когда Г. Николаева в «Битве в пути» писала Вальгана, в котором нельзя не увидеть развитие того же самого типа, что и Листопад, она была, конечно, много решительнее и определеннее в своих выводах, чем В. Панова, но ведь когда же это и было написано! В. Панова одна из первых направила на фигуру подобного деятеля

яркий луч света, словно приглашая: рассмотрите внимательно моего любимца, я им еще восхищаюсь, но как иногда людям с ним трудно, сколько в нем заложено опасного! И хотя критика была твердо уверена, что смотрит В. Панова «не вперед, а вниз», но на самом деле понадобился не один год, чтобы решить вопрос о соответствии исторической ценности подобных характеров и исторических издержек, которые неизбежно влечет за собой их бурная деятельность.

В. Панова не была прозорливее своих современников, она была внимательнее к ним, чем кто-либо, и зорче, чем многие. А бывают моменты, когда точное знание, трезвый взгляд, честность наблюдений важнее всего для литературы. Не потому что это последнее слово в искусстве, а потому что без этого нельзя больше. «Последнее слово» — это когда писатель все знает о своих героях: и частную мелочь, и общую, так сказать, идею их жизни, и прошлое, и будущее. Но если он не знает, то всего опаснее имитация знания. Лучше уж простое наблюдение, содержащее в себе нравственный смысл, а значит, побуждающее читателя к размышлению, чем абстрактные построения на пустом месте или на груде ложных, устаревших представлений о действительной жизни.

В. Панова о таких, как Листопад, знала далеко не все, а о «простеньких» знала много. Но она уважала своих современников независимо от табели о рангах, и своей внимательностью к ним она вместе с некоторыми другими писателями послевоенных лет заново пробудила в литературе интерес к реалистическому наблюдению, показав его неисчерпаемые возможности, с новой силой подчеркнула демократическое и гуманистическое начало в литературе, ответив на насущную духовную потребность широких масс людей, завоевавших право видеть себя в искусстве без унизительной лжи и ложного пафоса.

После «Спутников» и «Кружилихи» В. Панова написала много книг, и некоторые из них вызвали споры ничуть не менее шумные и ожесточенные, чем первые ее романы. И если мы сегодня вспоминаем

именно этот начальный эпизод писательской судьбы В. Пановой, то только потому, что интерес и сопротивление, с которыми были встречены эти книги в конце сороковых годов, дают нам наглядную меру пути, пройденного нашей литературой и обществом за эти годы. То, что звучало недопустимым с точки зрения догматической эстетики эпохи «культы личности», — сегодня считается совершенно обязательным; то, что вызывало горячий протест и даже искреннее недоумение, — сегодня воспринимается спокойно и естественно. И напротив, многие требования, предъявлявшиеся В. Пановой, сегодня кажутся нам иногда странными, иногда наивными, а иногда и разрушительными для искусства. Демократизм и гуманизм книг В. Пановой, которые для нее являются органическим свойством таланта, для советской литературы на определенном историческом этапе снова выступили как принципиальное открытие и завоевание.

Уже давно никого не удивляет пристальный интерес иного художника к самому простому, внешне ничем не замечательному человеку. Уже давно никто не определяет за автора, где быть месту действия его героев и сколько часов он должен был бы провести за станком и сколько у заводских ворот, сколько в борьбе за выполнение плана и сколько на любовном свидании. Уже никого не обрадует и не проведет декларативная «тирада» в конце романа или повести в качестве высшего свидетельства гражданской активности писателя. Уже никто не смеет громко потребовать от автора дидактической подсказки, кого именно из его героев следует любить и о чем именно следует читателю задуматься. Может, иногда и хочется всего этого потребовать, но ведь засмеют!

А если и звучат иногда на страницах газет и журналов эти отживающие свой век, забытые мелодии, то ни для кого (даже для авторов этих мелодий) не секрет, что никакого серьезного воздействия на литературу они уже не могут оказать.

Впрочем, и тогда, в конце сороковых годов, уже не могли. Тогда они еще пугали, но в корне изменить ничего уже не могли.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Питляр. Записки сельского учителя.— **А. Синявский.** Есть такие стихи...— **М. Рубинчик.** С точки зрения старожила.— **Ю. Манн.** Белинский в изображении Е. Серебровской.— **К. Рудницкий.** Три грани времени.— **Н. Наумова.** Сатира — это серьезно.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Е. Гнедин. Глазами историка и современника.— **Д. Лихачев.** «Камни — немые, если человек не заставит их говорить».— **Л. Лерер.** Человек для людей.— **А. Турнов.** Портрет деспотизма.— **А. Рубакин.** Нужное издание.— **С. Осокин.** Сокровища океана.

Литература и искусство

ЗАПИСКИ СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЯ

Сергей Крутилин. Липяги. Из записок сельского учителя. «Советская Россия». М. 1964. 432 стр.

Учитель Андрей Васильевич Андреев — человек, от имени которого в этой книге ведется рассказ, — всю жизнь провел в Липягах. Здесь он родился, здесь прошло его детство и детство его родителей, здесь живут его родственники и его товарищи, здесь он знает каждого человека и все об этом человеке.

Решение писать «Записки» и в них рассказать о жизни Липягов пришло к Андрею Васильевичу внезапно — когда он разбирал на бревна стены своего родного дома. «Смотрю я, — вспоминает Андрей Васильевич, — на оголившийся клочок земли, что занят был избой, и думаю: — Вот исчезают с нашей липяговской земли избы; заваливаются, гибнут колодцы; умирают старики. А ведь в каждой избе свой мир, у каждого источника своя история. И все это со временем исчезнет из памяти людской. Исчезнет, предастся забвению».

Что ж, эта форма в русской литературе, конечно, не новая: местный житель, скромный человек, пишет потихоньку да потихоньку историю своего села.

И вправду, как исстари делал это кроткий и честный Иван Петрович Белкин («Обитатели Горюхина большей частью росту среднего, сложения крепкого и мужественного, глаза их серы, волосы русые или рыжие...»), так ныне рассказывает нам Андрей Васильевич Андреев о том, что «липяговцы смуглолицы, черноволосы; глаза у наших мужиков черней лебедаевского чернозема. А бабы — на моей памяти — носили клетчатые паневы и напяливали на голову рога языческих богов — кички»...

Впрочем, на этом сходство между Иваном Петровичем Белкиным и Андреем Васильевичем Андреевым, пожалуй, и кончается. Андрей Васильевич — человек нашего века; обо всем, что его окружает, он мыслит вполне современно, дельно, стремясь в каждом конкретном случае доискаться до первопричин события или происшествия.

Образ рассказчика-учителя, по нашему мнению, удался Крутилину. И немного как будто бы места занимает в книге рассказчик — о себе он говорит мало, неохотно и только по необходимости, — а вполне жи-

вым, и достоверным, и очень знакомым (не по литературе — по жизни) кажется нам этот человек.

Повествование свое ведет он неторопливо, в свободной, доверительной, «своейской» манере — будто вы сидите с ним рядом и можете сами, своими глазами увидеть то, что он вам показывает: «Теперь на месте церкви — это рядом тут, напротив школы — бурю заросли репейника: еще лет тридцать назад церковь разломали...»

Все липяговцы от мала до велика — ему близкие родственники, свойственники, соседи или друзья-товарищи. И нет в их жизни ничего такого, что было бы незнакомо или непонятно Андрею Васильевичу. Для него это все привычное, свое, «мирское». Спокойствие, даже бесстрашие — основной тон повествования Андрея Васильевича.

Однако бесстрашие это, как мы скоро убеждаемся, чисто внешнее. У Андрея Васильевича обо всем есть свое, твердое и нерушимое, мнение, и его-то уж он нам так или иначе сумеет передать.

«Липяги» состоят из пятнадцати отдельных и законченных новелл (в первой редакции повести, опубликованной в 1963—1964 годах в журнале «Дружба народов», их было тринадцать), каждая из которых по своему отвечает на вопрос о том, почему пустеют Липяги, почему обваливаются колодцы, почему Андреевы — дети первого колхозного бригадира — не желают больше пахать землю. Мысль об этом не дает покоя Андрею Васильевичу; пытаюсь ответить на эти вопросы, он обращается к судьбам своих односельчан, к истории своей собственной семьи.

При этом нужно сказать сразу же: в Андрее Васильевиче мы вовсе не встречаем поборника патриархальной старины. При всей его любви к Липягам и липяговцам, он прекрасно понимает, что новая квартира в доме для учителей удобней старой и тесной избы, а водопровод удобней и гуманней, чем старые глубокие колодцы, у которых надрывались липяговские бабы.

И все же отнюдь не пристрастие к удобным квартирам и водопроводу гонит липяговцев с насиженных мест, заставляет их целыми семьями уходить на железнодорожную станцию, в город, к некрестьянскому труду.

В одной из лучших глав — «Ракиты» — Андреевы (брата рассказчика, его сестра с мужем) разбирают свою старую избу

с тем, чтобы перевезти ее на железнодорожную станцию, где работают сейчас три брата Андреевых. Вот уже свалился с крыши «князь» — десятилетиями покоившееся на самой верхушке крыши бревно, — ключьями летит слежавшаяся солома: бревно за бревном, венец за венцом рушится старое гнездовье. А вот уже рубят и трехсотлетние ракиты — да какие ракиты!

«Особенно живописна была ракета, росшая перед самыми окнами. Корявый ствол ее, замшелый, лишенный во многих местах коры, едва достигал крыши. Зато два сравнительно молодых побега, могуче разбросав тенистые кроны, были настолько раскидисты, что сплетались с соседскими ветлами. Мир улицы ограничивался этой ракетой, а мир нашей избы расширялся с него. Она была частицей быта семьи и ее поэзией. Трухлявый ствол был утыкан всевозможного рода костылями и гвоздями. Каждый хозяин вбивал их по своей надобности и по своему усмотрению. Был, скажем, костыль, за который на веревочке подвешивалось окошье. Помню, летом, перед выходом в луга или в страду, под этой ветлой дед всегда отбивал косу...»

Были на этом стволе и «бабы» костыли. На них висели чугушки, корыта для стирки белья, тряпки, которыми к праздникам мыли в избе полы; чернело помело для подметания пода печи...»

Разбирают избу, рубят ракиты, а где-то рядом с этим невеселым делом текут мысли рассказчика, разворачивается свиток его воспоминаний. Композиция главы — как и «Записок» в целом — чрезвычайно свободная, непринужденная. Рассказчик нам и избу свою опишет с почти этнографической точностью, и всех членов своей большой семьи охарактеризует, и вспомнит о событиях тридцатилетней давности. А потом снова вернется к настоящему и снова — к другим воспоминаниям. И так до конца — пока не рухнет на землю последняя ракета и не рассыплется «...по зеленой траве серые, в крапинку, грачинные яйца».

Начало коллективизации, споры о коммуне в семье Андреевых. Мать по слогам читает газету: «...Но чтобы достигнуть через нэп участия в кооперации поголовно всего населения, — вот для этого требуется целая историческая эпоха. Мы можем пройти на хороший конец эту эпоху в одно-два десятилетия...» Дед сомневается, не хочет сразу записываться в коммуну. Но приезжает из

Павлово-Посада отец (работавший там на бойщиком на фабрике) и с маху решает семейный спор. Андреевы записываются в «коммунию», отец остается в селе и становится первым колхозным бригадиром-энтузиастом.

В первые годы колхоз под руководством умного и честного Чугунка (бывшего шахтера Чугунова) быстро набирает силу; осенью колхозники — с богатым урожаем; на работу ходят с радостью и охотой. А потом на поля липяговской коммуны пришла техника — тракторы, комбайны, — работать стало легче.

Но вот беда: в иные годы, как осень — сойдутся липяговцы на собрание, а председатель и докладывает:

«— Зерна мы получили всего столько-то центнеров. Из них столько-то центнеров отвезли в заготовку, столько-то оставили на семена, столько-то выплатили натуроплаты МТС»... Глядишь, на трудодни-то выдавать почти и нечего. А тут еще взяли в район, а потом за какие-то никому не ведомые грехи посадили первого председателя — Чугунка. Пошли хозяйствовать в Липягах случайные, часто сменяемые люди. И потянулись липяговцы из родного села кто куда: кто на станцию (здесь получка, ларек с хлебом, кино), кто в город. Бригадир Василий Андреевич все ходит по селу от окна к окну — созывает баб на работу, уговаривает, грозит, что огороды приусадебные отбирать будут, а ведь только они и кормят...

По-иному, с иной стороны освещается эта проблема в одной из самых глубоких и умных главок «Записок» — в главке «Щегол в клетке».

Как и в каждой хорошей книге современных деревенских очерков (а «Липяги», при всем своеобразии их построения, принадлежат, конечно, именно к этому жанру), в «Записках» Андрея Васильевича много внимания и места уделяется проблеме руководства сельским хозяйством, или, говоря проще, изображению различных типов колхозных председателей и выяснению вопроса о том, почему деятельность одних председателей полезна и плодотворна, а других бесполезна и, более того, даже вредна.

Немало верных мыслей высказал на этот счет и Щегол — колхозный агроном Алексей Иванович Щеглов, который долго болел и, следовательно, имел достаточно времени для подобных размышлений.

«Лежал я эти дни и думал, — говорил

он. — Думал: почему наш липяговский колхоз топчется на месте? Кто здесь повинен? Мы ли, специалисты, колхозники ли или еще кто? И вот что на ум пришло. Вот явился ко мне врач. Осмотрел, послушал и установил, что перед ним серьезно больной. В его руках судьба человека! Он сознает всю свою ответственность и принимает решение. Он может госпитализировать, может прописать любой рецепт, и никто не считает себя вправе лезть к нему со своими советами: делай, мол, так, а не этак. Никто — за исключением специалистов. Заметь: специалистов! Консилиум, знатный профессор и так далее. А что происходит у нас с землей? Ведь нами, агрономами, специалистами, всякий командует, как хочет. И председатель, и инструктор райкома. Хорошо еще, когда председатель хоть немного знаком с землей. А то ведь другой проса от пшена отличить не может, а распоряжается специалистом, как хочет...»

С Алексеем Ивановичем трудно не согласиться. Немало таких вот невежественных и незаинтересованных «врачевателей» «потрудились» в Липягах. Взять хотя бы Володюку Полунина, который и в райкоме на разных должностях сидел, и в председателях походил и который, не смотря на это, так и остался в глазах колхозников неуважаемым Володякой. Сколько помнит его Андрей Васильевич, «он всегда был рыхловат, не очень умен, но в делах напорист, изворотлив. Такого голыми руками не схватишь». Голос у Володяки громкий, говорить он любит и умеет — умеет и начальству пыль в глаза пустить. А что до дела, то, как говаривал дед Андрея Васильевича, у Володяки «грабли гребли по-старому», то есть к себе, а не от себя. Недели не пробыл Полунина в председателях, а уже начал ставить себе новый пятистенок, купил на артельные деньги новенькую «победу», чтобы было на чем по пленумам да по разным собраниям разъезжать с речами...

В главе, озаглавленной «Первый и последний», Андрей Васильевич рассказывает о случайной встрече в номере скопинской гостиницы двух председателей Липяговского колхоза: первого — Павла Павловича Чугунова (который после реабилитации вернулся в родные места, но на старую работу не пошел, а преподает теперь в школе) и последнего председателя — Володяки Полунина («последнего» потому, что незадолго до этого Липяговский колхоз слился с

соседним — Хворостянским). Это тоже очень серьезная и интересная глава «Записок». Сталкиваются в ней два человека, два совершенно различных отношения к миру. И хотя они не ссорятся и даже не спорят, а кажется, будто разговаривают они на разных языках. Внимательно вслушивается Чугунок в слова Володяки, а понять и «принять» его никак не может...

В заключительной главе «Записок» создан образ нового председателя объединенного (Липяговского и Хворостянского) колхоза Николая Семеновича Лузянина. И сам Лузянин, и его деятельность на новом поприще обрисованы рассказчиком обстоятельно и, так сказать, «крупным планом». Лузянин — руководитель, стремящийся к тому, чтобы уже сейчас, а не в далеком будущем колхозники могли жить по-человечески. С него, по справедливому мнению Андрея Васильевича, следует брать пример всем колхозным руководителям, это как бы тот образец, по которому им следует равняться. Возможно, есть в этом образе — в отличие от почти всех других образов книги — некая заданность и «литературность». Впрочем, может быть, некоторая «заданность», «программность» в данном случае и входила в намерения автора.

Однако как бы ни был хорош и умен Лузянин, одному ему, конечно, ничего не сделать. Тем и хороши «Записки» школьного учителя Андрея Васильевича, что сумел он нам в них рассказать о своих односельчанах, причем рассказать так любовно и умело, что каждый из них зажил в нашем представлении своей, особой и до конца понятной нам жизнью.

Каждая новая главка «Записок» — знакомство с новым человеком, с одним из тех, на ком держался и держится Липяговский колхоз и в тяжелые, и в хорошие его времена.

Вот богатырь сельский кузнец Бирдюк (глава «Бирдюк») — неистощимый изобретательный, неутомимый, умеющий думать и действовать по-государственному: для блага всех, а не для собственной только выгоды; вот «праведник» дед Печенов (глава «Шегол в клетке») — разумный, по-настоящему интеллигентный крестьянин, не гнушающийся никакой черной работы; вот сестра Андрея Васильевича Марья (глава «Дверь с проулка») — большая, грубо сложенная, но «крепко считающая» женщина, всю жизнь проработавшая дояркой и не

мыслящая для себя иной доли и иной жизни. Это все строители, «украшатели» родной земли, ее опора и основа.

Особенно много, охотно и любовно вспоминает Андрей Васильевич в своих «Записках» о липяговских женщинах; недаром и весь свой труд он посвятил памяти матери. Образ матери Андрея Васильевича — один из лучших в его «Записках» («Раки-ты», «Мадонна» и другие главки). Скромная и молчаливая, умная и тактичная, бесконечно трудолюбивая и многотерпеливая — сколько всякой работы переделала она своими руками, одних только ведер сколько повывтаскивала из глубочайших липяговских колодезь, скольким людям незаметно и вовремя помогла добрым советом, справедливим суждением, делом...

Одна из наиболее лиричных глав в книге — «Баллада о колодезе». Сельский колодезь здесь — это как бы символ многотрудной женской судьбы. Многотрудной еще и сейчас, потому что кто же считал те ведра, которые вытаскиваются из этих колодезь женскими руками. Андрей Васильевич сосчитал количество этих ведер и ужаснулся. И рассказал нам историю пастуховой дочки Груньки, женщины, в недолгой жизни которой глубокий липяговский колодезь сыграл поистине роковую роль.

Нет возможности, да и необходимости пересказывать или даже только перечислить все большие и малые события из жизни Липягов, добросовестно и честно рассказанные нам их «летописцем» Андреем Васильевичем, назвать всех героев, которые в них действуют. Правда, героями в «округлом» романтическом смысле слова их не назовешь.

Так, например, Авданя, такой, каков он есть на самом деле, с точки зрения Андрея Васильевича, — герой, и притом герой немалый. Пусть Авданя немного смешон, пусть он любит приврать, выпить... Все равно именно он и есть настоящий герой. Герой потому, что всю свою жизнь Авданя и его семья, состоящая в основном из многочисленных дочерей, трудились не покладая рук на колхозных полях, трудились безотказно, а подчас и безвозмездно. И не сбежали из Липягов, как другие, а вместе со всеми пережили здесь все трудности. Именно их трудами и трудами таких, как они, держались и держатся Липяги.

С этой справедливой точки зрения, ге-

рой — это Бирдюк, мать рассказчика и его старшая сестра, герои — агроном Щегол и постоянно спорящий с ним дед Печенов, и Таня Виляла, и Чугунов, и Лузянин... Будто и не герои, а все же герои.

В конце главки «Дверь с проулка» Андрей Васильевич записывает свои размышления по поводу того памятника, который ему хотелось бы видеть в центре Липягов. Быть может, в этих рассуждениях есть известная доля наивности. Но — мы ведь уже это знаем — человек он простой, в чем-то, может быть, даже простодушный. И, право же, это не так уж плохо. Так вот, Андрею Васильевичу хотелось бы, чтобы на центральной липяговской площади возвышался красивый, большой памятник. Но «...памятник не какому-нибудь начальнику, председателю, хоть тому же Чугунку, а чтобы увековечен был липяговец. И не мужик, а баба наша липяговская... Главное в памятнике — это руки. «Мне кажется, — пишет Андрей Васильевич, — что у этой бронзовой фигуры должны быть руки, чем-то схожие с руками сестры моей, Марьи, — огромные-преогромные, со вздутыми венами: и она, эта бронзовая Марья, должна не скрывать их, а гордиться ими...»

В своих «Записках» Андрей Васильевич по существу и создает такой памятник липяговцу, человеку прекрасному, несмотря на его «рядовое» звание или, может быть, именно благодаря этому.

Книга С. Крутилина за неполных два года выдержала четыре издания. Автор дорабатывал ее, совершенствовал, менял порядок глав, добавлял новые главы и эпизоды. Свободное, «открытое» построение книги позволяет возвращаться к ней, дополнять ее новыми главами. Ведь жизнь Липягов продолжается, и в ней происходят новые и значительные изменения, ждущие своего летописца... Книга хорошо читается, ее часто можно увидеть в руках у пассажира пригородной «электрички» или метро. Откликнулась на книгу и критика. Причем откликнулась в основном добрым и сочувственным словом. И однако есть в этих откликах нечто такое, с чем самым решительным образом не хочется соглашаться. Мы говорим о тех бегло сформулированных сопоставлениях и противопоставлениях, которые содержатся в некоторых из этих критических отзывов. В частности, в статье Георгия Радова «Липяги — на миру» («Литературная газета», 19 ноября 1964 го-

да,) и в большой статье Лидии Фоменко «Не стоит село без труженика» («Москва», № 10, 1964).

И там и здесь — у Л. Фоменко даже в самом заголовке статьи — явно ощущается желание, так сказать, «столкнуть лбами» С. Крутилина и А. Солженицына, противопоставить «Липяги» «Матренину двору», при этом не в пользу последнего.

Думается, что эти столь различные в жанровом и стилистическом отношении вещи сравнивать трудно. Если же говорить по существу спора, то, положив руку на сердце, следует признать, что материала для противопоставления героев Крутилина как «тружеников» героям Солженицына как «праведникам» произведения этих авторов никак не дают. Потому хотя бы, что «праведники» Солженицына праведны именно потому, что они труженики в той же мере, в какой труженики Крутилина в своих трудах предстают перед нами (и нередко прямо определяются автором) как «праведники». Солженицынская Матрена работала «... не за деньги — за палочки. За палочки трудней в замусоленной книжке». Но разве не об этом же праведном и бескорыстном, но, к сожалению, и почти безвозмездном труде, труде-подвиге пишет Крутилин, когда устами своего рассказчика он вопрошает: «У нас в колхозе кто считался передовым человеком?» И сам себе отвечает: «Кто за труд свой ничего не требовал. Взять хотя бы нашего отца: он сам за палочки всю жизнь бегал да к тому же хотел, чтобы и другие за мое пож и в а е ш ь работали».

И разве не лицемерием было бы утверждать, что авторы вышеприведенных отрывков «идеализируют», возвеличивают и благословляют такого рода «праведничество»?

Не проще ли и не справедливее ли было бы рассудить, что оба они — и автор «Липягов» в том числе — кровно заинтересованы в том, чтобы раз и навсегда покончить с «палочками» «пустопорожных трудней», чтобы люди деревни всегда имели возможность чувствовать себя хозяевами на земле?

Короче говоря, не видим мы повода для противопоставления одних писателей другим там, где предстает серьезная борьба совсем с другим врагом — с бесхозяйственностью и разгильдяйством, с невежеством и отсутствием организovanности, с пренебрежением к народным интересам и народному труду.

И. ПИТЛЯР.

ЕСТЬ ТАКИЕ СТИХИ...

Евг. Долматовский. Стихи о нас. «Советский писатель». М. 1964. 143 стр.

В последние годы заметно повысился уровень поэтической техники. Стихи в массе своей стали разнообразнее, интереснее, тоньше. Поэты, выступающие с новыми сборниками, как правило, демонстрируют лучшую подготовленность и большую искушенность сравнительно с тем, как обстояло дело лет десять — пятнадцать назад, когда в печати имели хождение безграмотные строки и у многих авторов недоставало элементарного навыка, вкуса, профессионализма. Теперь для массовой продукции более характерны не грубые формальные просчеты, а знание и умение в области стихотворства. Настало время предъявить счет к стихам среднего уровня.

Есть такие стихи — «средние», которым не откажешь в наличии мысли и чувства, их автору — в опытности или находчивости в средствах изображения, композиции, броских афоризмах и т. п. Чего недостает им — так это поэзии в большом и высоком значении слова, которое не всегда поддается точному учету, но внятно слуху, душе, перед которой вдруг открывается «и божество, и вдохновенье...». В стихах, именуемых «средними», все достоинства формы и содержания не могут разбить какую-то внутреннюю преграду, отделяющую это, казалось бы, полноправное произведение от большой поэзии. В них слишком ощутимы рамки, законы, границы, в которые уложил себя автор, «потолок», над которым он словно не решается подняться, его старание и умение «быть на уровне», умение, накладывающее отпечаток «заданности», «сочиненности» на строки, по своей идее и словесному выражению, может быть, вполне правильные и даже удачные...

Подобного рода смешанное чувство облегчения (поскольку все достаточно гладко, профессионально и автор, что называется, «владеет стихом») и досады на то, что он не поднимается выше «уровня», вызывает, в частности, новая книга Евг. Долматовского «Стихи о нас». Она не содержит каких-либо серьезных изъянов или погрешностей стиля. А вместе с тем что-то не пускает ее выйти за пределы «общего ряда» со всеми его положительными приобретениями и со всеми последствиями широко распространенного, общеупотребительного

стандарта. Однако наш разговор был бы беспредметным, если бы свелся к «иррациональной» природе поэтического искусства, к сокрушенным вздохам по поводу отсутствующего в данном случае «вдохновенья» и пр. Попробуем подойти к этой книге более рационально, практически и посмотреть, что сообщает ей относительный лад и стройность, а в то же время как бы удерживает автора от полета, связывает его творческую свободу.

Лирический герой Долматовского обозначен как наш современник, обладающий длинным рядом положительных свойств. Они перечислены в предлагаемой «Азбуке»:

Атака.
Братство.
Вдохновенье.
Геройство.
Долг.
Единство.
Жажда.
Звезда.
Исканья.
Есть значение
В той азбуке для буквы каждой...

Уже этот список расположенных по алфавиту добродетелей отпугивает: герой не виден за суммой «признаков», долженствующих воссоздать авторский идеал, а на деле подменяющих целостную личность, человека своего рода анкетой, схемой. «На Ф нам Фантазеры нравятся», — утверждает автор, но такие фантазеры, на букву «эф», слабо фантазируют. Возвышенные литеры не складываются «в единое слово», повисают в воздухе. Здесь, по нашему мнению, лежит первая преграда, отделяющая стих от реальности (а тем самым и от поэзии). Человек у Долматовского выглядит так, как если бы за ним наблюдали в бинокль, не наведенный на резкость. Конкретные черты пропадают, и видны лишь самые общие контуры: «Жить и верить — это замечательно! Перед нами небывалые пути...»

В «Стихах о нас» нам недостает «себя» — в виде ли полнокровных, выхваченных из жизни характеров, в позиции ли резко очерченного, самобытного «я» поэта. Возможно, в такой затуманенности образного рисунка («Любимый город в синей дымке тает...») сказались давние склонности Долматов-

ского-песенника. Ведь в песне, живущей мелодией, не обязательна большая конкретность, резкость изображения, и когда, например, в Отчественную войну Долматовский писал: «Одержим победу, к тебе я приеду на горячем вороном коне», это символическое обещание звучало как традиционная песенная формула, вовсе не требующая, чтобы фронтовик в самом деле вернулся домой верхом на лошади. Но что уместно в песне, далеко не всегда может быть перенесено в стихотворение, построенное как сцена, снятая с натуры. И если теперь Долматовский в стихотворении «Мои знакомые» рассказывает о своем телефонном разговоре с мальчиком, у которого папа летает в космосе и вернется домой «через час», а «мама утром ушла на рынок и придет неизвестно когда», — мы узнаем всего-навсего распространенный в наши дни анекдот, придуманный не Долматовским, а просто переложенный им — в ухушенном виде — в рифму.

Да не сочтет читатель, что автор настоящей рецензии является противником условности в искусстве и требует от поэзии неизменной фактической точности. Речь идет о художественной достоверности образа, о том, чтобы увидеть живое лицо современника, а не его модную эмблему («папа в космосе») или титул: «Современник ваш и предок, революции ровесник...»

Помимо известной отвлеченности, лирический герой Долматовского связан и другими путями, мешающими ему встать перед нами в полный рост и выступить в роли, которую ему прочит поэт, в роли глашатай нашей бурной эпохи. Там, где ему действительно предоставлено право быть «самим собой» и проявлять свою живую индивидуальность (а не предъявлять список признаков), он ведет себя как-то скованно, принужденно, неопределенно. Не то чтобы он был скромным или застенчивым человеком. Скорее ему свойственно повышенное чувство собственного достоинства и своих положительных качеств: «Мне просто слишком много надо, чтоб стать счастливым самому», «Я презираю ищущих покоя...», «А с чувствами хорошими и добрыми мне с полувзгляда ясен человек» и т. д. Все это было бы чудесно, когда б лирическое «я» поэта обладало сильным и последовательным характером, страстью, жаром, когда б Долматовский реализовал в стихе свою декларацию:

О, только бы не стать мне себялюбцем,
Ревниво нянчащим свою судьбу.
Я жизнь вприкуску с сахаром из блюдца
Не стану пить, боясь обжечь губу.
Пусть будет горьким, кислым и соленым
Напиток мой.
Но пью взахлеб, до дна.
Ртом перекошенным и опаленным
Я расскажу про наши времена.

Как раз этой горечи, кислоты и соли не хватает в стихах Долматовского. Он обо всем рассказывает не «ртом перекошенным и опаленным», а довольно спокойно, пресно и рассудительно, и нам странно слышать, что кто-то его героя называет «легкомысленным» («Всю жизнь я легкомысленным слышу»), тогда как в стихах перед нами вырастает характер человека достойного, но в общем ординарного и, пожалуй, слишком трезвого, осторожного, с постоянной оглядкой на мнение окружающих и склонного к поучениям, декламации, резонерству. Считая себя легкомысленным, он, видимо, не замечает своего благоразумия, когда, например, вслед за напоминанием о переднем крае и пережитых атаках вдруг задается коварным вопросом:

Как поступить?
Сказать или промолчать,
Подставить лоб или нанести удары,
Пока молчит центральная печать
И глухо шебуршатся кулуары?

И хотя, по словам поэта, должное решение к нему приходит «быстрее кибернетических машин», сама постановка подобного вопроса рядом с воинским подвигом обдает нас холодным душем и заставляет подумать, что герой, выведенный Долматовским в качестве храбрца, в настоящее время не очень-то смел и дерзок.

Конечно, не обязательно всем быть отчаянными романтиками. Возможны и солидные, рассудительные герои. Допустима и дидактическая, рассудочная поэзия — при одном, правда, условии: если она не выдает себя за в высшей степени рискованное дело, не выступает под маркой бурного гения. Непоследовательность характера, склонность к психологическим компромиссам (он и легкомыслен, он и разумен), пристрастие к оговоркам (вечно «но!» — приправа к этим стихам) и отсюда — сбивчивость, двусмысленность поэтической интонации, смешивающей холод и жар, путающей благополучие с трагедией, — вот главный упрек, который мы обращаем герою и лирике Долматовского.

Возможно ли, безо всяких видимых ограничений сочиняя и печатая стихи о любви, тут же себе в опровержение кокетливо заявлять:

Снова смерть над землей прожужжала,
Снова метят в зарю.
Потому я так редко и мало
О любви говорю.

Стоит ли рекомендовать себя неутомимым путешественником, объехавшим полсвета, чтобы здесь же («Лишь две недели нет вестей из дому», «Венеция» и др.) жаловаться на отсутствие интереса ко всему заграничному? (Кстати сказать, мотив туристической ностальгии в последнее время сделался штампом в нашей поэтической практике. Уехав на две недели, поэты не устают писать о том, как они тоскуют по дому, как им грустно и тяжело в этом путешествии. Позволительно спросить: не лучше ли отказаться от этих удручающих вояжей и не портить себе нервы?)

Нам знакома и большая поэзия, исполненная противоречий, метаний. Но в самих противоречиях, ставших сюжетом творчества, должна быть последовательность, линия поведения, для того чтобы литературный образ начал жить наподобие человеческой личности. В искусстве, вероятно, еще решительнее, чем в жизни, действует избирательный закон, выраженный библейской формулой: «О, если бы ты был холоден или горяч! Но... ты тепл...» Обратясь к более поздним источникам, сходную мысль можно передать словами Маяковского: «Поэзия начинается там, где есть тенденция».

«Стихи о нас» — это теплые стихи, невысокой температуры, с неясной тенденцией, стихи, избегающие крайностей, остроты и тяготеющие к золотой середине. Поэтому, в частности, не вполне удался поэту откровенный и прямой разговор с молодежью, с «детьми» (от лица «отцов»), составляющий головную, ударную часть книги. Смесь оправданий, закланий («Что искренность основой всех основ была для нас — не сомневайтесь в этом») с грозными окриками («Покойник, грозно чертыхаясь, ожил. Он у веков, а не у вас в долгу!»), заигрывание, служащее одновременно мерой воспитательной профилактики («И порой даю вам взбучки, просто чтоб не зазнавались»), и надо всем этим тон снисходительного превосходства («Есть у меня большое преимущество пред тем, кто молод только по

годам») — так выглядит покамест это общение «современника и предка» с юным поколением. «Нет, нет, я к вам в наставники не лезу», — уверяет поэт, не переставая читать нотации. Даже шутки, которые отпускает он, беседуя с молодежью, носят какой-то игриво-проработочный характер:

А встретившись со взрослою девчонкою,
Могу, смутив красавицу слегка,
Рассказывать, как я менял пеленки ей,
А если плакала, давал шлепка.

Между тем у Долматовского есть другие стихи, более глубоко и человечно решающие проблему разных поколений, «отцов» и «детей». Мы имеем в виду его стихотворение «Памяти матери», написанное в 1959 году и не вошедшее в этот сборник. В нем прозвучали подлинные слова любви и сожаления о минувшем, упущенном («Покайся, непослушный сын, ты мать счастливою не сделал»), восстанавливающие с умершей матерью прерванный было союз, более тесный теперь, после горьких и откровенных признаний, чем любые клятвенные заверения в дружбе между детьми и родителями.

В последний раз сегодня я
Ночью здесь по праву сына.
И комната, как боль моя,
Светла, просторна и пустынна.

Но как быстро сменились роли и покаянные речи «сына» уступили место самодовольному резонерству «отца»! Не скажут ли «дети», выслушивая упреки и наставления в новых стихах Долматовского: «А сам ты, папа, как себя вел в юности, когда был сыном?» И не будет ли тогда лучшим ответом «отца» не возвеличивание себя и своих заслуг перед родиной, не лесть по адресу молодежи и не угрозы «отступникам», а вот это грустное и нежное стихотворение «Памяти матери»?..

Лирика Долматовского намного выигрывает в тех случаях, когда наполняется личным опытом, биографическими подробностями и из сферы умозрительных рассуждений и глобальных обобщений переходит на почву жизни, страданий, судьбы конкретного лица, выглядящего в этой реальной обстановке более естественно и привлекательно. Тогда мы в нем действительно узнаем и мужественного солдата (доколе передний край не превращается в условную аллегория, в бесплотный символ), и любящего человека («Опять в Умани», некоторые стихи о любви). Сопоставив эту жизнен-

ную позицию с доктринерской позой, в которую становится поэт, поднимаясь на цыпочки и стараясь вести себя важно, солидно, как подобает «современнику великих событий», — хочется ему сказать: да не пишите вы «о нас», пишите «о себе» — это вам больше удастся и это будет лучшим рассказом о нас.

На собственно формальных достоинствах и недостатках стихов Долматовского нам не хотелось бы задерживаться. И те и другие связаны с центральным лирическим характером книги и колеблются в допустимых пределах «средней нормы». Отклонением в худшую сторону представляется стихотворение «Старый барабанщик», которое открывает сборник и выполняет ответственную роль эстетической программы поэта (приводим в извлечениях):

Юный барабанщик, юный барабанщик,
Он стучит, как сердце, — тук-тук-тук.
Поднимает флаги пионерский лагерь,
Юный барабанщик тут как тут...
Били — не добились, жгли — да не спалили,
Почему так рано стал ты сед?
По далеким странам с верным барабаном
Мы прошли, оставив добрый след.

Времечко такое — не ищи покоя,
Взрослый барабанщик, взрослый век.
Поднимай, дружище, мир из пепелища,
Выручай планету, человек!..
Младшим или старшим, дробью или маршем
Мы еще откроем красоту.
Старый барабанщик, старый барабанщик,
Старый барабанщик на посту.

Славная традиция Генриха Гейне подхвачена веселой барабанной дробью, залетевшей сюда из шуточной «Баллады о барабанщике» Ильи Сельвинского (которая, возможно, в свою очередь была навеяна когда-то популярными комическими стишками: «Старый барабанщик, старый барабанщик, старый барабанщик долго спал, он проснулся, перевернулся» и т. п.). Сейчас этот текст звучит как пародия на Долматовского, хотя он сложен давным-давно и в отношении «Старого барабанщика» играет роль первоисточника. Чтобы оценить эту переключку, послушаем немного Сельвинского, тем более что у него выходит занятнее и звонче:

Крала баба грозди,
Крала баба грузди,
Крала баба бо-бы и го-рох.
Да в ковыле бобыли-то были,
Брали бабу на курок...
Баба была ряба.
Но боялась баба:
«Эх, кабы хотя ба
Помог ба бог!»

Но заместо бога
Брел по эпохе
Паренек убогий,
В барабане бок.

Был он, паря, ранен
По-на поле брани.
Спал на барабане,
Пер на пункт.
Вдруг заметил из кустов он,
Будто кто-то арестован —
Да не нашею командой...

Что такое? Бунт?

.....
Барабаны в банте,
Славу барабаньте.
Барабараньте
Во весь. Свой. Раж.
Н И
в Провансе —
Н И
в Брабанте —
Нет барабанщиков
Таких. Как. Наш.

Мы, конечно, не думаем, что Долматовский намеренно подражал кому-то: тема слишком серьезна для автора, чтобы он решился на такую дешевую перефразировку. Просто задорный стих, некогда услышанный, а потом благополучно забытый, дал у него в памяти неожиданный рецидив, и поэт невольно поддался ритмической инерции, сыгравшей с ним шутку у парадных ворот издания. Это бессознательное подчинение чужому ритму, принятое за свою находку, свидетельствует все о том же — о недостаточной проясненности, четкости лирического «я» поэта, лишеного ярко выраженного лица, прочного своеобразия.

В заключение справедливости ради следует сказать, что «Стихи о нас» Долматовского не лучше и не хуже многих других стихотворных сборников, которые сейчас выпускаются. Критическая придирчивость, проявленная к этой книге, вызвана желанием лишний раз напомнить об ответственных требованиях поэтического искусства, которые не должны подменяться средними величинами. На одно из них, быть может, решающее, мы уже ссылались: «Поэзия начинается там, где есть тенденция».

Этим словам иногда придается суженное значение, применительное лишь к искусству политической агитации. Но вспомним, что Маяковский, говоря о тенденции, в качестве классического ее примера приводил лермонтовское «Выхожу один я на дорогу...». Тенденция в широком значении — это живое формообразующее, творящее начало в стихе, движение, ломающее догмы и штампы, не

терпящее компромиссов, желающее жить по-новому, по-своему. Она утверждает себя и стилем, и жанром, и самой жизнью художника, страшась середины, не допускающего и мысли, чтобы его с кем-нибудь спутали, одержимого своей идеей. Тенденция — исток и заряд, она — душа

поэзии в ее истинном смысле и максимальных, всегда максимальных требованиях к себе. Ибо настоящая поэзия в любых своих проявлениях, помимо всего прочего, неизменно стремится стать выше и больше себя самой.

А. СИНЯВСКИЙ.



С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТАРОЖИЛА

Владимир Ляленков. Сестры Строгалевы. Рассказы и повесть. «Советский писатель». М.—Л. 1964. 184 стр.

Тажный городок на берегу Енисея. ... В домике, у которого «время сдвинуло крышу набок, да так и оставило», живет с тетей Машей и бабушкой совсем молоденькая девушка, почти ребенок. В этой девушке, так же как и в рассказе о ее первой неудавшейся любви, немало юного обаяния.

Было что-то невысказанное и тревожное в отношениях Лены и Бориса — ленинградского студента, одного из четырнадцати бородатых таежных практикантов, остановившихся в гостинице, где работала Лена. Был прощальный ужин с наливкой и танцами под патефон, потом прогулка вдвоем с Борисом при яркой луне, робкий поцелуй. А ранним утром пришел грузовик и увез студентов. Когда грузовик проехал метров пятьсот, ребята увидели Лену. «В машине разом заревели, замахали. Лена подняла руку и помахала медленно-медленно... Борис стоял и смотрел... видел в уходящей дали точку, которая все уменьшалась. Дорога пошла под уклон, и улица, и крайние дома, и точка исчезли».

С Леной вроде бы ничего особенного не стряслось. Но ощущение непоправимости, надлома юной души так же явственно, как если бы мы слышали хруст обламываемого дерева.

Рассказ «Точка» молодого ленинградского писателя Владимира Ляленкова вошел в его сборник, названный — по большой повести — «Сестры Строгалевы».

Если судить о писательском облике автора по одному этому рассказу, можно было бы счесть определяющими для него отзывчивую впечатлительность, лиричность, кое-где переходящую в сентиментальность, желание запечатлеть едва уловимые оттенки настроения.

Но в других вещах сборника характер прозы совершенно меняется. Тут уже не сме-

на ощущений, а сугубая обстоятельность. На выразить мимолетное впечатление от окружающего стремится автор, а сообщить как можно больше сведений о нем.

«Избы деревни стоят на пологом склоне, и улицы, образованные избами, не похожи на улицы других деревень. Они здесь кольцеобразные. Должно быть, вокруг первых избы строились так, что фасады их смотрели на свою родоначальницу... Может, и не стихийно выстроились избы в такой порядок. Ведь и сейчас, случись медведю забрести в деревню, то уж выбраться обратно ему трудно. И носится он по улицам, покуда либо собаки не загоняют и свалят, либо кто не пристрелит из окна или с крыльца» («Сестры Строгалевы»).

Автору удается с осязаемой конкретностью воссоздать обстановку, в которой действуют его герои, жители маленьких городов и деревень, затерянных среди северных болот и таежных лесов. Он внимательно вглядывается в судьбы людей, в их повседневные дела. Опасностей и забот хватает, жизнь складывается нелегко, но характеры формируются здесь прочно, на совесть.

Вот, к примеру, тетка Катерина из рассказа «Тайна в Подлесах». Она живет в деревеньке, где почти одни бабы и есть, где весной и осенью по улице можно пробраться только по проходам из палок и хвороста. Тетка Катерина далеко не молода, но «все лето, до самой что ни на есть глубокой осени, ходила босиком, и ее сильные сухие ноги не болели никогда». Она успешно справляется с хозяйством, вырастила внучку Зинку и ни словом не попрекнула ее, когда та принесла ребенка «без отца». Физическая выносливость здесь для автора признак общей основательности натуры человека, прочно стоящего на земле.

Изображая этих людей и эти края, писа-

тель не впадает в набившую оскомину иллюстративность «с бытовщинкой», не пытается также наскоро сочленить увиденное с припасенным заранее обобщением. Основу повествовательности для Ляленкова составляет как бы изучение фактов, объективное их изложение.

Но кое-где объективность все же обернулась «регистрационностью».

В той же «Тайне в Подлесах» скотница Зина не говорит, от кого родила она мальчика. Бабы на деревне Зинку не обвиняют («известное слово — девка!»); но они сбились с толку, путаясь в нелепых подозрениях, пытаясь отгадать, кто из немногих местных мужиков может быть отцом ребенка. Так драма в Подлесах превращается в историю разгадывания любовной тайны. Все кончилось хорошо: вернувшийся из армии Алексей Новкин расхохотался, узнав о занимавшей всех тайне, признал ребенка своим и стал жить вместе с Зиной. Но из-за чего же сыр-бор загорелся? Что заставило Зинку так оберегать свою тайну? То ли сонное ее безразличие к своей судьбе, то ли, напротив, ее гордость? Или девушка не надеялась даже, что веселый красавец Алексей вернется в деревню, а не пойдет искать счастья в другой стороне?

На эти вопросы нет ответа, потому что «подлесным» бабам не до подобных «тонкостей», их восприятие окружающего ограничено, а другого «глаза» в рассказе нет. По сути дела, нет его и в повести «Сестры Строгалевы», давшей название всему сборнику, хотя здесь он присутствует даже «реально» в лице автора.

Начинается повесть с родословной основателей деревни Строгалево. «Кержаки»-староверы передали новому поколению заветы и крепость старого уклада жизни. История женитьбы деда Строгалевых на пылкой красавице-тунгуске, от которой в староверском роду пошла диковатая краса и буйность в «затмении», чуть ли не прямо перекликается с родословной Мелеховых из «Тихого Дона». Повесть невелика по объему, событий в ней немного. Тем не менее автор использует приемы эпического повествования для того, чтобы подчеркнуть укорененность в жизни своих «крепко сшитых» героев.

Однако в постоянном внимании к «исконности», в некотором даже любовании бытовой устойчивостью людей есть и своя опасность. Особенно заметно это в рассказе

о «личной жизни» Клавдии Строгалевой, занимающем центральное место в повести.

В тайге, рядом с деревней, появились палатки изыскателей. Клавдия полюбила одного из геологов, веселого кудрявого Николая. Молодые «жили хорошо». А через два года Николай, оставив ее с ребенком, скрылся. Только ради сына Клавдия осталась жить.

А потом — новое разочарование. Константин Николаевич Охлопков, другая Клавдина любовь, приехал в Строгалево начальником геологической партии. С Клавдией Охлопков был ласков, называл ее своею «хвойной красавицей», «юношеской мечтой». Женщина была с ним счастлива. А потом она чуть не убила своего возлюбленного в «затмении», когда узнала, что у него в Москве жена и ребенок и он в письмах обещает им скоро приехать.

Клавдия не могла понять, отчего с ней все это произошло. Встретившиеся ей люди не поддавались такой, допустим, привычной проверке: «Видно, хороший человек — хозяйство любит». А других мерок она не знала.

В конце повести, встретившись с Клавдией Строгалевой, рассказчик с удивлением и удовольствием обнаруживает, что в избе чисто, светло и прибрано «по-городскому», что пятеро детей, Клавдии и старшей сестры Ольги, погибшей в тайге в результате трагической случайности, тоже воспитываются, как городские: одеты «во все чистенькое» и едят каждый из своей посуды, а Клавдия ловко управляет с хозяйством, свыклась со своим горем и по-прежнему ждет Охлопкова. Автор принимает как должное, что эта женщина, вспоминая пережитое, винит во всем себя: «Пошто мне на него обижаться...»

В этом умилении ладностью «по-городскому» наведенного порядка в хозяйстве, в смирении перед обманом есть что-то от взгляда на вещи старожилов-кержаков. Не для того же в самом деле нужен глаз наблюдателя, чтобы он уравновешивал то, что уравновесить нельзя, в данном случае обиду, нанесенную Клавдии, с «пользой» городской аккуратности, к которой приучил ее Охлопков.

Есть у Ляленкова рассказ «Федорыч», в котором намечено столкновение точки зрения старожила-прораба Федорыча и новичка в строительном деле, инженера Бориса Картавина, по-видимому не случайно названного именем храброго и умного пол-

ростка военных лет, главного героя первой книги писателя. Борис Картавин доказывает, что людям надо больше доверять, а не брать «горлом» на стройке. Федорыч же игнорирует критику его «стиля работы». В конце концов Борис Картавин пасует перед прорабом и мирно уживается с ним («все одинаковые дети работы»). Ну, а Федорыч «уживается с ним» по-другому, его позиция напориста. Он внушает Картавину, какую ему надо взять жену («хозяйственную»), учит инженера, и не без успеха, приспособливаться к нравам начальства. Он утверждает свой взгляд на жизнь: «Не верь никому! Себе не верь!.. На все требуй бумажку и роспись». «Погоди, погоди, поживешь — узнаешь. Хвост тебе подрубят». «Сказал делать, и шабаш!»

Похоже на то, что точке зрения старожил в данном случае не стоит особенно доверять. Но Федорыч — работяга, и хотя со здоровьем у него уже плохо, он ни за что не хочет уходить со стройки. Хорошее у Федорыча, как бы перевешивает в глазах Кар-

тавина, и конфликт их сходит на нет. Общая авторская характеристика прораба тоже благосклонна. Однако воспринимать сложное сложно вовсе не значит принимать его «таким, как оно есть». Как будто плохое перестает быть плохим оттого, что склеено с хорошим, и нет нужды в определении границы между ними!

В истоках прозы Ляленкова — стремление не ограничиваться поверхностными впечатлениями, знакомиться с предметом поглубже, «исследовать» его, воспроизводить окружающее основательно и достоверно. Но существенны оказались и потери. Пожалуй, автору недостает как раз лиричности. Речь идет не о возвращении к «лирической палитре», но о том, что взволнованность, заинтересованность художника нужны всегда, так же как и чуткость к реальности, обостренное зрение. Главное ведь — не перейти ту грань, за которой объективное повествование превращается во все примиряющую описательность.

М. РУБИНЧИК.

★

БЕЛИНСКИЙ В ИЗОБРАЖЕНИИ Е. СЕРЕБРОВСКОЙ

Елена Серебровская. Я в мире — боец. Повесть о жизни Виссариона Белинского. «Молодая гвардия». М. 1964. 336 стр.

В предисловии к этой книге известный литературовед Н. К. Пиксанов сообщает о той работе, которая предшествовала написанию повести: «Ее автор Е. П. Серебровская издавна изучает Белинского — еще со времен аспирантуры в университете... Продолжая свои изучения, автор осваивал новую богатую специальную литературу о Белинском, начиная с академического издания его сочинений и писем. Были изучены: обширная «Летопись жизни и творчества Белинского», три тома «Литературного наследства», посвященных Белинскому, обширный круг мемуаров — как о самом Белинском, так и о его современниках, три тома монументальной биографии Белинского, написанных В. С. Нечаевой, и множество работ историко-литературных и исторических».

Признаться, смысл этой рекомендации маститого ученого показался нам вначале недостаточно ясным. Зачем надо было хвалить за то, что само собой разумеется? Положим, что не всем авторам посчастливилось учиться в аспирантуре, но ведь надо

думать, с первоисточниками и пособиями знакомится каждый, кто принимается за биографическую книгу. Но потом мы подумали, что, очевидно, указанную похвалу нужно понимать не в том смысле, что Елена Серебровская прочла такие-то книги, а в том, что она сумела это сделать с особой пользой.

В этих предположениях нас укрепили дальнейшие строки предисловия, сообщающего, что жизнь и творчество Белинского «хорошо осмыслены автором» и что создано произведение, которое «окажет известное воспитательное влияние на молодых читателей, обогатит их надежными знаниями и побудит к дальнейшему изучению писателя».

Но вот, принявшись за чтение книги, мы, к большому удивлению, стали находить одну ошибку за другой. Для того, чтобы избежать их, не надо было штудировать монументальные труды — достало бы и знакомства с научно-популярной литературой о Белинском. Например, первое представление «Ревизора» состоялось 19 апреля 1836 года; Белинский же в рецензируемой книге сво-

бодно цитирует комедию («Эх, душа моя, Тряпичкин, вижу: точно, нужно чем-нибудь высоким заняться») в момент написания статьи о «Борисе Годунове» Лобанова, то есть в июне 1835 года. Какими-то неведомыми путями критик познакомился с комедией раньше самого Гоголя, за несколько месяцев до того, как драматург принялся за работу. Другое произведение Гоголя — «Развязка Ревизора» — было напечатано, согласно Е. Серебровской, в 1841 году в качестве «предисловия» ко второму изданию комедии, в то время как в действительности «Развязка» появилась в печати спустя пятнадцать лет. Писателя Кудрявцева, выступавшего под псевдонимом «А. Нестров» (Неустров), Е. Серебровская переделала в Нестерова — лицо, еще не зарегистрированное в летописях российской словесности. Считалось, что письмо Белинского к Гоголю впервые напечатано Гершеном в «Полярной звезде». Е. Серебровская выступает с новой точкой зрения: впервые письмо напечатано «в газете вольнолюбивых русских — «Колоколе» и т. д. и т. п.

Откровенно говоря, мы вначале сильно рассердились на автора за все эти и многие другие грубые ошибки. Но потом мы подумали, что, вероятно, не следует придавать им столь большого значения. Конечно, убеждали мы себя, по части «надежных знаний», способных обогатить читателя, книга удовлетворяет не вполне. Но, должно быть, в ней есть какие-то другие достоинства, компенсирующие отсутствие точности. Нечего требовать от художника, который, как сказано в предисловии, владеет «даром творческой фантазии», рабского копирования действительности. Будем судить произведение по тем законам, которые писательница сама выбрала.

Книга «Я в мире — боец» написана в жанре так называемой беллетризированной биографии. Как известно, этот жанр занимает в литературе промежуточное положение — между собственно документальной биографией и повестью (романом). По сравнению с первой беллетризованная биография более свободна: ее автор прибегает подчас к вымышленным подробностям, деталям, оживляя и «домысливая» реальные события. Но по сравнению с повестью беллетризованное жизнеописание более сдержанно, строго: в его основе лежит все-таки подлинная биография исторического лица.

Все эти жанровые приметы заметны и в

книге Е. Серебровской. В ней нет «романного» сюжета в обычном смысле этого слова; вернее, сюжетом служит писательнице сама жизнь Белинского. Детские годы, учение в университете, работа в «Телескопе», переезд в Петербург — таковы некоторые вехи этого сюжета, преследующего одну цель — «рассказать полно и обстоятельно о его богатой и сложной внутренней жизни». Вместе с тем Е. Серебровская справедливо считает, что избранный ею жанр дает возможность приблизить образ Белинского к читателям, представить его во всей бытовой и жизненной конкретности. Когда писательница в начале книги замечает, что во времена Белинского все было иное — «иные были звуки, которые он слышал, запахи, которые он вдыхал», то мы понимаем, что это не просто деталь экспозиции, но своего рода творческая заявка. И «звуки» и «запахи» — все может передать беллетризованная биография, имеющая свои преимущества перед биографией документальной. И тут, конечно, карты в руки тому, кто отмечен «даром творческой фантазии», кто свободно и умело владеет материалом.

Поначалу, правда, трудно было заметить, в чем проявилась художественная воля Е. Серебровской. Дело в том, что писательница явно перегружает произведение раскавыченными цитатами из первоисточников — черта, очень распространенная в биографических книгах последнего времени. Обширные отрывки из произведений Белинского и его современников, лишь слегка препарированные, вкладываются в уста героев повести. Невольно вспоминаешь давнюю историю о том, как ваятель, которому не хватило металла для скульптуры, пустил в дело разную домашнюю утварь. Но переплавка оказалась неудачной, и когда скульптуру отлили, то в ней можно было заметить контуры подсвечника, столовой ложки и других предметов. В рецензируемой книге также то и дело просвечивают плохо замаскированные цитаты из «Былого и дум», писем Белинского, воспоминаний И. Панаева и т. д.

Могут сказать, что книга рассчитана на читателя-неспециалиста, который не будет обращать внимание на такие тонкости: цитаты так цитаты. Но дело не в этом: письменная речь обладает иной ритмико-синтаксической организацией, чем устная. Не все написанное в статье может быть — в том же виде — произнесено устно. Возможно,

злоупотребление Е. Серебровской цитатами приводит к тому, что повествование то и дело приобретает возвышенно-речитативный характер.

Однако, как ни противоречит такой прием требованиям художественности, мы решили не придавать и этому большого значения. Во-первых, повторяем, это черта не только книги Е. Серебровской. Во-вторых, это в конце концов только одна особенность стиля произведения. Важно же проникнуть в его образную систему.

Белинский показан автором в его отношениях к ближайшим предшественникам, в связях с современными ему литераторами и наконец «в домашней обстановке», в кругу семьи. Пересечение этих трех главных аспектов должно придать образу объемность. Какие же стороны характера Белинского открываются в таком перекрестном освещении?

В творческих связях Белинского с его предшественниками одна из важнейших нитей ведет к Пушкину — критику и редактору. Так, известно, что первые статьи Белинского были с живым интересом встречены Пушкиным, который намеревался привлечь критика к сотрудничеству в «Современнике»; Белинский гордился похвалой великого поэта.

Понятно, что Е. Серебровская воспользовалась этими фактами для создания образа Белинского. Но вот какой им придан оттенок. Принимая руководство журналом «Современник», Белинский говорит своим друзьям и единомышленникам: «Современник»... Когда-то Пушкин звал меня в свой «Современник». Не привелось!. Но если б Александр Сергеевич встал из гроба и спросил меня: «Держись ли, растаковский ты сын?» — я бы ему ответил: «Держусь, принципов своих не растерял! Вот они у меня какие орлята растут! Не уроним славу «Современника»...» Прочитав эти строки, мы невольно вспомнили, с каким тактом и благодарной сдержанностью рассказывал о похвале Пушкина Белинский. В апреле 1842 года критик писал Гоголю: «...Меня радуют доселе и всегда будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастью, дошедших до меня из верных источников. И я чувствую, что это не мелкое самолюбие с моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человек, как Пушкин и что такое одобрение со стороны

такого человека, как Пушкин». После этих строк перечитываешь соответствующую сцену у Е. Серебровской с некоторым смущением: «Держись ты сын?» — «Держусь, принципов своих не растерял...», — какой странный (пусть и воображаемый) диалог между Пушкиным и Белинским...

Поэт беседует с критиком в той несколько казарменной манере, в какой в старое время обращался капрал к солдату, желая поощрить его за ревностную службу.

Перейдем, однако, к взаимоотношениям Белинского с современными ему писателями. Интересен у Е. Серебровской разговор критика с Тургеневым. Белинский говорит Тургеневу, что во имя светлого будущего «много надо поработать». Тургенев в недоумении: «Как я должен работать, чтоб тем самым послужить будущей России? Пишу о том, что знаю... С настоящим это связано, но с будущим...» Белинский: «А что такое настоящее наше, как не образ борьбы прошлого с будущим? Опоьясь мечом, Иван Сергеевич, да вступайте в строй сознательных воинов». Поскольку Тургенев, как обнаружилось, и не подозревал, что будущее связано с настоящим, это дает Белинскому повод для соответствующей беседы. В другом месте Белинский, замечая, что Тургенев погружен в свои мысли, советует ему сесть «за стол, за перо». Этот совет ошеломил Тургенева: «Тургенев смотрит на Белинского растерянно. — Откуда вы знаете? — спрашивает он. И вдруг приходит в сильное возбуждение: — Именно — за стол! Вы бесценный человек! Без царя Россия проживет, без вас мы — сироты!..

Он срывает с торчащего из-за чужого забора куста ветку белой сирени и сует ее в руки Белинскому.

— Это вам! А я марш за стол!»

Подобные советы и указания делает Белинский и другим писателям.

Известно, что критик отмечал преобладание непосредственно творческого элемента у Гончарова и построил на этой основе сопоставление двух писателей — Гончарова и Герцена. В рецензируемой книге этот факт передан с помощью следующего внутреннего монолога Белинского: «Вряд ли предполагал и сам Гончаров, что книга его может послужить основанием для такого глубинного разговора и, ой, как остро нацеленного! Ну, да откуда

ему предполагать, он прежде всего художник, маленько глупый даже художник,— скажем ему это деликатно, он ведь только начал, может быть, и примет во внимание» (Разрядка везде моя.— Ю. М.).

Неужели это думает и говорит Белинский?

Тем временем читатель, вероятно, заметил, что в образной системе повести немало место занимают сравнения и метафоры из военной жизни. Постепенно в произведении открывается продуманная и широко разветвленная сеть архаично-воинской символики. Вот несколько примеров.

В «Литературных мечтаниях» поставлен вопрос, «кто же занял нынче маршальское место в литературе?» «Телескоп» и «Молва» — то были просторные поля сражений для летучих отрядов — боевых его мыслей, которые отсюда мчались в бой против сил тьмы и реакции, против сытой ограниченности и усыпляющих бдительность комплиментов».

Уж на что Гоголь был нестройной чело-век, а тоже не может помыслить о себе вне военной лексики. Прочитав статью Белинского «О русской повести...», Гоголь почувствовал, «что вышел он на крутой берег Днепра и чуть не задохнулся — такой простор перед ним! Шутка ли! Ты начал только, рядовой солдат, совершил первый свой боевой выход, а к тебе уж спешит народ, вкладывает в руку твою маршальский жезл: «Веди нас, Суворов!»

По всему видно, что Е. Серебровскую глубоко захватила аналогия литературного дела с военным. Так, литературный журнал, по ее мнению, это «маленький гарнизон литературной крепости, в котором есть и свой генерал, и фельдфебели, и канониры, и обоз с кухней».

А один из единомышленников Белинского отвечает на просьбу критика так: «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!» Некрасов же рассказывает Белинскому о приобретении «Современника» следующим образом: «Наш, голубчик, наш! Что ж это я не торжественно,— спохватывается он. Затем становится в положение «смирно», руки по швам, принимает торжественный вид и говорит:— Отныне у вас свой журнал...»

Если в первом случае Белинский еще пробовал возражать против того, чтобы его называли «высокопревосходительством», то

во втором — он окончательно смирился с таким стилем обращения к нему. По-видимому, он даже забыл сказать Некрасову «вольное», и тот, держа «руки по швам», отдал Белинскому рапорт о приобретении «Современника».

А вот еще одно прямо-таки озадачивающее сравнение. Обдумывая свой творческий путь, Гоголь понял, что «смех может ударить по злу и несправедливости больше, чем нагайка со свинцовым шариком на конце». Это уже, если мы не ошибаемся, из арсенала не армии, а старого казачества. Каким ветром занесло этот образ в уста автора «Ревизора» и «Мертвых душ»?

Встает вопрос, каково происхождение этой символики в книге о Белинском? Можно предположить, что ее функция чисто внешняя, метафорически-декоративная и что в этом сказалось некоторое увлечение писательницы формой как таковой. Но мы думаем, что никакого отрыва формы от содержания в повести нет, а есть, напротив, их тесное единство. Отмеченная выше символика связана прежде всего с тем выпрямлением и огрублением, которому подвергает писательница жизнь и творчество своего героя...

Возможно, что на такую трактовку образа Белинского автора натолкнули известные слова критика: «Я в мире — боец» — однако в таком случае эти слова восприняты писательницей слишком узко. Да, Белинский беспощадно разил сторонников самодержавия, православия и «народности» в литературе, продажных журналистов, защитников лжи и невежества, врагов великой русской реалистической литературы. Но можно ли забывать о той специфической области, в которой действовал Белинский,— о литературе?

Изображая Белинского как лихого рубаку, писательница придает борьбе, которую он вел, какой-то механический, бездумный характер. Получается, что герой движим одним побуждением: лишь бы вспать! Лишь бы ударить! И не беда, если этот удар придется по сонм.

Вот еще один пример — диалог между Белинским и Тургеневым.

«— Гоголь потому и стал Гоголем, что обратил свои взоры писателя к действительности, к жизни,— слышится голос Белинского.

— Но не будь он одарен талантом, эстетической творческой способностью, он не стал бы Гоголем,— осторожно возражает Тургенев.

— А вы видели когда-нибудь эстетическую способность в чистом виде, никуда не направленную?— сердито спрашивает Белинский.—...Искусства для искусства нет. Ветер обязательно куда-нибудь дует...

— А по мне, искусство выше житейских дряг. Искусство над политикой. Оно — святня».

Оставляя в стороне несколько странное для Белинского сравнение искусства с ветром, который «обязательно куда-нибудь дует», спросим другое: при чем тут Тургенев? Никогда при жизни Белинского не выступал он в защиту чистого искусства, наоборот, был страстным поборником реализма и идеи общественного служения литературы¹. С какой бы стати заступаться ему за чистое искусство и навлекать на себя гнев Белинского? Мы помним о длинном списке литературы, прочитанной Серебровской, и потому даже не допускаем мысли о ее неосведомленности в этих общеизвестных вещах. Но в таком случае невольно приходишь к выводу, что перед нами проявление какой-то непонятной черствости, которая заставляет писательницу принести в жертву своей концепции даже такого человека, как Тургенев.

Мы говорили, что Белинский показан также и в семейном кругу, в домашней обстановке. Внутренняя тема одной из глав чувствуется уже в первой фразе: «И труженики иногда отдыхают». Белинский изображен здесь во время лодочной прогулки, в беседах с женой, со свояченицей; естественно ожидать, что в такой интимной обстановке выступят новые грани образа.

Писательница, в частности, творчески разрабатывает один эпизод, который передал в своих воспоминаниях Н. Тютчев. Белин-

¹ Автор специальной работы об эстетических взглядах Тургенева А. Лаврецкий пишет: в сороковые годы Тургенев «выступает достойным соратником «неистового Виссариона»... Не только литературно-эстетические, но и социально-политические установки великого критика были близки молодому Тургеневу». И далее: «В этот период Тургенев не исходит в своих оценках из одной талантливости или даже гениальности писателя» (А. Лаврецкий и др. Эстетические взгляды русских писателей. М. 1963, стр. 10).

ский страстно любил цветы, но, терпя постоянную нужду, он с трудом мог позволить такую роскошь, как покупку цветов. Н. Тютчев рассказывает, что однажды во время лодочной прогулки Белинский купил себе «кактус с красным цветком, какого он давно желал», и что жена и свояченица стали его за это упрекать: «Безрассудно человеку бедному и семейному бросать деньги на пустые растения, которых и без того девать некуда. Разговор этот подействовал на В. Г. поразительно. Он умолк, съехался, нахмурился, довез молча цветок до дома, молча взял его на руки у пристани и, мрачный, унес его на свою квартиру».

А вот как разработан этот эпизод у Е. Серебровской. Жена и свояченица упрекают Белинского в покупке цветка.

«— Не к лицу бедному человеку так безрассудно бросать деньги на ветер,— говорит она (Агриппина.— Ю. М.) жестко...

— Ну-ну, не ворчите! Смотрите, какой он (цветок.— Ю. М.) зато красавец!

— Что ж, что красавец,— Агриппина не хочет уступить.— Его ведь на стол не подайшь и не съешь вместо обеда.

Съесть? Цветок не съесть? Боже мой! Что она говорит!

Белинский съехался, сгорбился. Он крепко обнял обеими руками горшок с цветком. Две розовые пышные звезды покачиваются на зеленой мясистой ветке. Рядом с ними — лицо грубо несчастного человека.

А Летний сад шумит по-прежнему весело».

Фразы, выделенные нами, составляют оригинальное осмысление Е. Серебровской этого эпизода. Показалось ли писательнице напоминание о деньгах недостаточной мотивировкой хандры Белинского или же по какой другой причине, но в трактовку этой сцены введен ею дополнительный мотив, заметно меняющий ее звучание. По-видимому, Белинский всерьез обеспокоен, не съедят ли цветок... К облику героя книги добавлена еще одна черта — наивная экзальтация.

Но что общего имеет Белинский в освещении Е. Серебровской с тем Белинским, в котором мы привыкли видеть одного из величайших людей русской культуры, человека богатой и сложной внутренней жизни?

И какова же в конце концов природа рецензируемой книги? Документальная биография? Но в таком случае чем объяснить столь вольное обращение писательницы с

фактами? Художественное произведение? Но тогда что такое «художественность»?

Этим мы вовсе не хотим сказать, что высокие похвалы, которые высказаны в предисловии к книге, совершенно лишены оснований и последняя не принесет никакой пользы. Мы помним, что к достоинствам книги там были отнесены: во-первых, «надежные знания» автора, во-вторых, «воспитательное влияние на молодых читателей»

и, в-третьих, стимул «к дальнейшему изучению писателя». Первые два пункта — что поделаешь — отпадают. Но тем более возрастает значение последнего. Другими словами, чем далее уводит Е. Серебровская своего читателя в сторону от реального образа Белинского, тем настоятельнее встает задача изучения жизни и творчества великого мыслителя и критика.

Ю. МАНН.



ТРИ ГРАНИ ВРЕМЕНИ

Б. Зингерман. Жан Вилар и другие. Издательство ВТО. М. 1964. 243 стр.

Последние годы были богаты театральными впечатлениями: к своим собственным, отечественным добавились спектакли зарубежных трупп, которые зачастую к нам, как только политика мирного сосуществования стала одолевать политику «холодной войны». Люди вежливые, наши критики поначалу провожали всякий заграничный театр, посетивший Советский Союз, рецензиями, сильно напоминавшими поздравительные адреса или юбилейные речи. Восторженный тон преобладал, и громкое звучание фанфар только мешало отделить подлинные творения искусства от поделок театрального ремесла. Готовность «всячески приветствовать» оказалась довольно стойкой. Она и поныне еще, случается, дает себя знать. Ей решительно возражает книга Б. Зингермана.

Это книга критических — в полном смысле слова — размышлений и обобщений, лаконичная, строгая. Всеядности здесь противопоставлена трезвость аналитической мысли, настойчивое желание разобраться по существу в многообразии художественных течений и сценических форм.

Искусство театра интересует Б. Зингермана прежде всего постольку, поскольку в этом искусстве выражена общественная жизнь времени, его «духовный климат». В творениях западной сцены он с нескрываемым сочувствием стремится услышать, понять, разгадать напряженные усилия самых даровитых и честных людей современного Запада найти выход из той исторической ситуации, в которой они оказались. Он слишком хорошо понимает, что в театральных спектаклях нам открывают и доверяют свою боль достойные преемники европейских традиций, художники, пережившие

трагедию недавней войны, чуму фашизма, с отвращением вззирающие на заокеанское бедствие американизации и пока еще не всегда способные до конца понять нас. Именно поэтому автор выдвигает на первый план критерий человечности, подлинного гуманизма и обнаруживает откровенную враждебность к сытому самодовольству буржуазности, к ее пошлomu и циничному «здравому смыслу», к модернистскому манерничанью.

А потому на первых же страницах книги автор резко и сухо констатирует старомодность «экспрессионистской взвинченности» спектакля «Смерть Валленштейна» в постановке Гамбургского театра или бульварной и полудекадентской трактовки расиновской «Федры» французской актрисой Мари Белль. «То, что еще недавно могло быть воспринято, как дерзкие художественные искания, — замечает Б. Зингерман, — сейчас выглядит анахронизмом».

Но к действительно существенным сдвигам, происходящим ныне в искусстве Запада, автор относится с глубокой серьезностью. В кратком послесловии Ю. Завадский верно замечает, что Б. Зингерман «далек от очень у нас распространенного стандарта, когда разжевывание авторского замысла и ватный, аморфный пересказ сюжета подменяют собой критический анализ, когда «выводы» представляют собой (будем откровенными!) назойливые, тошнотворно-назидательные рекомендации, которые незамедлительно отбрасывают Вас к временам элементарной, вульгарно-социологической болтовни». Книга Б. Зингермана ценна прежде всего конкретностью и пронизательностью эстетического анализа, способностью автора слышать пульс времени и улавли-

вать его биение в пьесах, работах режиссеров, артистов.

Жан Вилар, французский режиссер, в каком-то смысле закономерно возглавил и возглавил книгу, на страницах которой фигурируют и более значительные, и духовно более близкие автору персонажи — прежде всего, разумеется, Бертольт Брехт. Но Вилар — фигура в точном смысле слова центральная. В его творчестве выразилась скептическая идеология интеллектуализма, забравшая идеалы поочередно все бывшие буржуазные идеалы, а потом обратившегося уже против самого себя и высмеявшего собственный скепсис. Б. Зингерман расстался с Виларом в тот момент, когда Вилар поставил «Карьеру Артуро Уи» Брехта, вступил в конфликт с министром культуры Андре Мальро и вынужден был покинуть свой театр, лучший театр Франции — ТНР. В книге сказано, что отношение Вилара к политическим событиям последних лет определилось достаточно быстро. Сейчас, когда Жан Вилар — уже на другой сцене — выступил со спектаклем, посвященным делу Оппенгеймера, спектаклем, прямо и гневно направленным против угрозы ядерной войны, против шпиономании, против антикоммунистического психоза, мы можем по достоинству оценить прогноз критика.

Глубокую серьезность постановочных исканий Вилара Б. Зингерман в свое время противопоставил принципиальному легкомыслию режиссерских работ Жана Мейера в Комеди Франсез. Милая беззаботность водеvilных решений Мейера оказалась неприложима к современной жизни. Ему тоже пришлось покинуть свой театр. Но в отличие от Вилара нового слова Мейер не произнес и ставит детские утренники в Пале-Рояль. Водевиль, так сказать, ушел на пенсию...

Три грани времени — театры трех европейских стран: Франции, Германии, Англии — предстают каждая в главной своей силе. Интеллектуализм французского театра, социологизм немецкого и психологизм английского выступают, однако, не в искусственно изолированном виде, а в конкретном богатстве своих красок и взаимосвязей.

Вот наугад несколько строк, посвященных знаменитой английской актрисе Вивьен Ли:

«Мечтательные женщины Вивьен Ли всегда готовы к благожелательному обще-

нию с людьми, к любой жертве для них. Обычно их порыв не получает отклика. Их мягкость и общительность оказываются не оцененными, — как суровый максимализм героев Оливье. Внутренний мир женщин Вивьен Ли, освещенный чуткой одухотворенностью, никак не защищен: ни в себе самом, ни вокруг он не имеет опоры. Общество казнит ее героинь не сразу и не обязательно прямой жестокостью — достаточно того, что оно проходит мимо их возвышенных качеств. Достаточно того, что это общество прозаично и что мечтательный порыв, стремление к доверчивому общению оно встречает, чопорно поджав губы».

Здесь выражены и главная тема, пронизывающая творчество актрисы, и конфликт, неизбежно возникающий между ее искусством и буржуазностью. Здесь слышна (а дальше об этом говорится подробнее) горькая элегичность, с которой Вивьен Ли рассказывает о своих героинях, жалких и гордых, лучезарных и хрупких. Наиболее интересна, однако, мысль автора, что «бездушие, которое общество проявляет по отношению к ее героиням, словно возмещается восторженным преклонением перед актрисой», что люди, не допускающие поэзию в сферу практической деятельности, тем острее испытывают потребность в поэзии.

Без сомнения, Б. Зингерман судит о зарубежных театрах, об их исканиях и свершениях, опираясь на всестороннее знание опыта русской и советской режиссуры — опыта Станиславского и Немировича-Данченко, Мейерхольда и Эйзенштейна, Вахтангова и Таирова. Ибо, хотя автор и замечает, что «у многих нынешних художников родословная путаная», все же, так или иначе, корневая система любого «родословного древа» дотягивается до почвы, распаханной русскими искателями и экспериментаторами в первые десятилетия нашего века. «Пора учеников, а не учителей, последователей, а не основоположников», о которой пишет Б. Зингерман, достаточно сложна, и понять достижения учеников, оригинальные решения последователей способен лишь тот, кто хорошо знает учителей и основоположников.

Решительно выделяя «главное направление современного нам прогрессивного театра — реализм», автор ставит своей целью исследовать движение реализма в его ответственности развитию самой жизни. Реалистическое искусство — чуткая мембрана вре-

мени. Оно неизбежно зависит и от изменений социальной структуры, и от политической атмосферы в стране. Вот почему, рассказывая о французском, английском и немецком театрах, Б. Зингерман раскрывает перед нами трагические противоречия, которые чувствуют передовые художники современного западного мира, сохранившие и потребность в правде, и способность ее высказать. Автор повествует об их духовных исканиях, об их напряженных попытках найти и так или иначе выразить в искусстве идеал гармоничного человека, о том, как эти попытки поэтов сталкиваются с жестокой прозой расчетливо упорядоченной и деловито бездушной действительности. Не удивительно, что язык художественной правды в таких условиях бывает резким, подчас усложненным, а подчас нервным.

Стремясь постигнуть социальный смысл и объективную направленность творчества наиболее интересных писателей, режиссеров, артистов современного Запада, Б. Зингерман рассматривает их пьесы, спектакли, роли и образы в конкретных обстоятельствах меняющейся действительности: ведь вместе с ней меняются интересы, духовные склонности людей и соответственно содержание и формы искусства. Возникающие в книге выразительные портреты и характеристики Брехта, Вилара, Питера Брука, Вивьен Ли, Оливье, Гилгуда, Жерара Филиппа, Марии Казарес, плеяды молодых английских драматургов даются на подвижном фоне времени, в сложном сплетении идейных и эстетических концепций и в их точно означенных отношениях друг с другом.

Идейной кульминацией книги вполне естественно становится большая глава о театре Брехта. В ней с наибольшей силой обнаруживается продуктивность и, попросту говоря, практическая целесообразность метода, настойчиво связывающего воедино анализ формальных приемов с анализом философского и политического содержания искусства. Скажем, прием «остранения», то есть стремление представить обычное необычным, дабы выделить его сущность, стремление, свойственное и Брехту, и Чаплину, и многим другим крупнейшим художникам века,—нередко оказывалось у нас объектом только формального анализа. И с помощью «эффекта отчуждения» Брехта небезуспешно «отчуждали» от нашего театра, выводили его за пределы возмож-

ностей советской режиссуры, противопоставляли театральную теорию Брехта теории Станиславского и т. д. Между тем Б. Зингерман коротко замечает: «Сами по себе эти приемы мало что значат. Не в них суть»,—и показывает, что «остранение» у Брехта подчинено пропаганде революционных идей, что брехтовская программа учающего театра обладает достоинством широкого и подлинного демократизма, что в искусстве его сплавились воедино и были поставлены на службу революционизирующей мысли многие театральные идеи века. При таком широком и всеобъемлющем взгляде на Брехта открываются самые различные возможности воплощения его пьес на советской сцене,—возможности, уже реализованные В. Пансо в Эстонии, Ю. Любимовым в Москве, польским режиссером Аксером в Большом драматическом театре в Ленинграде и другими.

Мне представляется также, что Б. Зингерман справедливо указывает на мнимость некоторых уже вроде бы узаконенных и установленных связей. Распространено—особенно на Западе—мнение, будто наиболее близкими духовными наследниками Брехта ныне выступают швейцарские драматурги Фридрих Дюрренматт и Макс Фриш. Но Б. Зингерман, не обманываясь некоторыми чертами формального сходства, замечает, что и Фриш и Дюрренматт—скорее оппоненты Брехта, нежели наследники его, что революционному политическому пафосу Брехта они противопоставляют идею вынужденной аполитичности.

Менее убедительно в книге сопоставление Брехта с Сартром. Превосходство Брехта (бесспорное) утверждается ценой весьма решительного (но по меньшей мере спорного) заявления, будто в пьесах Сартра «ситуация—частное, случайное стечение внешних обстоятельств, которое для человека—единственная реальность... Общие же законы истории—химера, которую нельзя принимать в расчет». Сартр, считает Б. Зингерман, рвет связи человека с большим миром истории. Конечно, у Брехта историческая закономерность надо всем доминирует, но столь резкое—по контрасту—отлучение Сартра от истории, мне кажется, неосновательно. Сартровская ситуация тоже есть выражение исторической необходимости, и не «случайное стечение обстоятельств» ее организует. В пределах

этой ситуации борются не характеры, а концепции, не такие или сякие люди (их индивидуальные особенности для Сартра не очень существенны), а те или иные позиции. Существуют разные способы решения задачи, между ними и надо (по Сартру) «сделать выбор». Другой вопрос, что история продолжает свой путь, оставляя позади те ситуации, которые ею выдвигались и Сартром решались с острой заинтересованностью политика и публициста. Время идет, ситуации отживают. Но они могут повториться, как повторяется, например, ситуация реваншизма в Германии, которой посвящены «Затворники из Альтоны». Вот где ускользнувшее от внимания Б. Зингермана «объединяющее начало» сартровских ситуаций.

Всего острее книга Б. Зингермана за-

ставляет сожалеть о том, что творчество современных мастеров советского театра до сих пор не стало предметом столь серьезного размышления и столь лаконичного разбора, что наша критическая мысль по привычке порождает лишь рецензии, иногда растянутые до масштаба целой книги.

Особо надо сказать о редкостно удачной оформлении книги художника С. Сахаровой и о великолепных рисунках А. Тышлера, которыми предваряются отдельные главы. В этих рисунках как бы пластически выражены и тонкий интеллектуализм французского театра, и суровая эпичность Брехта, и юношеская непримиримость «сердитых» англичан — три грани времени, приковывающие внимание автора.

К. РУДНИЦКИЙ.

★

САТИРА — ЭТО СЕРЬЕЗНО

И. Ямпольский. Сатирическая журналистика 1860-х годов. Журнал революционной сатиры «Искра» (1859—1873). «Художественная литература». М. 1964. 623 стр.

Ярко-желтая обложка. Золоченые буквы заглавия, а под ними карикатура. Чувствуется, что издатели хотели как-то «перешибить» ту спокойную серьезность изложения, которая отличает эту книгу. Как будто есть что-то неловкое в том, чтобы о задорной, живой, «вседневной» сатире писать спокойно и обстоятельно.

«Спичка холодна, стена коробочки, о которую трется она, холодна, дрова холодны, но от них огонь, который готовит теплую пищу человеку и греет его самого». Это писал Чернышевский. Книга И. Ямпольского во всех своих частях теснейшим образом соприкасается с воззрениями революционной демократии, содержанием и духом ее протеста и борьбы. И написана она в том ключе, о котором Чернышевский говорил: «Теория должна быть сама по себе холодна. Ум должен судить о вещах холодно».

Предмет исследования — революционно-сатирический журнал «Искра» (1859—1873), соратник «Современника», а затем некрасовских «Отечественных записок».

«Современник» был «толстым» ежемесячником, «Искра» же — легким, подвижным, можно сказать «летучим», «тонким» журналом. По живости и скорости реакции на события дня она напоминала газету. Пленяда блестящих рисовальщиков-карикатури-

стов придавала ее страницам особую остроту. Один из ее сотрудников вспоминал впоследствии о том, «как жадно набрасывалась публика на каждый номер «Искры», какой авторитет завоевала она себе на самых первых порах, как боялись ее все, имевшие основание предполагать, что они могут попасть или под карандаш карикатуристов, или под перо ее поэтов и прозаиков». Подобно «Колоколу» Герцена, «Искра» насчитывала огромное количество добровольных, по большей части анонимных, корреспондентов во всех концах России.

Этот журнал ставил своей задачей «отрицание ложного во всех его проявлениях в жизни и в искусстве», как говорилось в первом объявлении о подписке. Издатели признавали необходимым использовать как сатиру «в ее общем, обширном смысле», так и «вседневную практическую сатиру». Они считали, что вторая достигает тех же результатов, что и первая, «всем доступною меткостью выражения и упорством в непрерывно продолжающемся преследовании общественных аномалий».

И. Ямпольский четко определяет водораздел между сатирой «Искры» и либеральным «обличительством». Он пишет: «Искра» не рассчитывала на то, что своими обличениями она будет способствовать привлече-

нию того или иного лица к судебной ответственности. Не стремилась она и к прообразу в обличаемых лицах стыда и раскаяния... Она ставила себе совсем другие цели. Во-первых,— и это главное — отражение в зеркале ее сатиры повседневных безобразий жизни России, где трудящийся человек на каждом шагу становится жертвой насилия и обмана, было рассчитано прежде всего на широкую демократическую аудиторию, раскрывая ей глаза и внушая ненависть ко всем существующим порядкам. Способствовать росту сознательности демократических слоев русского общества, революционизированию их взглядов и стремлений — такова была основная задача. Журнал представлял собою, по словам И. Ямпольского, «сатирическую летопись русской жизни, фиксируя... «положение минуты», общественно-политическую атмосферу данного момента».

В этом смысле «Искра» уникальна и представляет собою неоценимый материал для каждого, кто задумается над вопросами жизни, быта, нравов, общественной и политической борьбы прошлого века.

С другой стороны, «Искра» — непосредственная предшественница советской сатирической журналистики. Ее целью была сатира малых форм, которая, сохраняя живой интерес дня, включая в сферу своего внимания самые разнообразные «мелочи быта», в то же время неуклонно основывается на ведущих принципах передовой общественной мысли. «Не было вопроса, которого не касалась бы «Искра», — говорил М. Горький, — ее хороший, здоровый демократизм не пропал даром». «Нужно просмотреть «Искру» Курочкиных и дать статью о ней, о ее роли», — писал он в редакцию «Литературного наследства».

В воспоминаниях о Ленине Н. К. Крупская, говоря о ненависти Владимира Ильича к бюрократизму, так писала об «Искре»:

«У нас в России в 60-е годы в художественной литературе всячески высмеивался бюрократизм, особенно высмеивали его поэты «Искры» (поэты-чернышевцы). Поэты «Искры» (Курочкин, Жулев и другие) сильно влияли на наше поколение. всячески клеймя бесчисленные проявления бюрократизма, волокиты, взяточничества. Стихи поэтов «Искры», всевозможные анекдоты о бюрократизме были своеобраз-

ным интеллигентским фольклором 60-х годов. В последние годы мы вспоминали с Анной Ильиничной часто эту литературу; у нее была замечательная память. В семье Ульяновых эта литература была очень в ходу. Сатира того времени сделала свое дело, помогая нашему поколению с молоком матери впитывать ненависть к бюрократическому укладу. Стереть с лица советской земли всякий бюрократизм — к этому стремился Ильич».

Почему же богатый и яркий материал «Искры» все-таки до сих пор не стал общедоступным? Прежде всего его не так-то легко прочитать. Сотрудники «Искры» работали в условиях жесточайшего цензурного гнета. Журнал оперировал целой системой намеков, иносказаний, читатель того времени понимал их с полуслова, тем более что материал был «горячий», злободневный. Сегодня не только трудно добраться до смысла той или иной шутки или карикатуры, но иной раз бывает просто невдомек, что за ней скрывается какой-то вполне конкретный факт общественной борьбы.

Так, в 1859 году в «Искре» появилась следующая «корреспонденция из города М.»: «К общему удовольствию жителей, в этом году у нас выгнали скотину, не дождавшись Юрьева дня». Почему эти невинные строчки вызвали переполох в высших сферах столицы? И. Ямпольский пишет об этом: «Имелось в виду увольнение некогда всесильного московского генерал-губернатора А. А. Закревского». В 1861 году главное управление цензуры и III отделение заволновались по поводу сцен Н. Потехина «Фигуры откупной колоды», в которых был выведен в весьма неприглядном свете некий Карл Иванович. «Прежде всего, — пишет И. Ямпольский, — Карл Иванович — весьма распространенное в середине XIX века зашифрованное обозначение Николая I». Привлекая ряд документальных материалов, исследователь доказал, что «Искра» намекала именно на «в бозе почившего» царя и что читатели того времени отлично поняли это.

Нужна совершенно особая ориентация в русской жизни того времени, чтобы расшифровать целый ряд каламбуров «Искры». «Иногда, — пишет И. Ямпольский, — каламбур строится на том, что читатель в сочетании более или менее «невинных» слов разгадывает другие, звучащие почти

так же, но имеющие острый политический смысл. В стихотворении Минаева «Кумушки», которое является откликом на студенческие волнения 1861 года, в рифмах каламбурно использованы фамилии активных усмирителей студенчества. За словами «Лупят под лопатку ли» скрывается «Лупят подло Паткули», а за словами «Гнать, и гнать, и гнать его» — «Гнать и гнать Игнатъева» (А. В. Паткуль — петербургский обер-полицмейстер, П. Н. Игнатъев — петербургский военный губернатор).

И. Ямпольский заново прочитал для нас «Искру». Его книга дает возможность ввести этот ценный документ литературной и политической борьбы в научный и читательский обиход. Одновременно его труд значительно расширяет рамки нашего знакомства с XIX веком. В сферу изучения здесь вошли не только литература, политика, экономика, крестьянский вопрос, но и проблемы развития живописи, скульптуры, музыки, обширнейшая проблематика международных отношений и т. п. Книга поражает живой осведомленностью в содержании журнальной полемики эпохи.

Интересны наблюдения И. Ямпольского над тем, как соотносятся содержание и стилистика «Искры» с наследием революционных демократов — Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Щедрина и других. Автор избежал примитивной прямолинейности в осмыслении этих связей, и тем убедительнее звучат его выводы.

И. Ямпольский совершенно чужд стремления приукрасить материал. Он внимательно останавливается на противоречиях в развитии «Искры», указывает на ее слабости и, что особенно важно, объясняет их, ставит в связь с противоречиями эпохи.

Книга написана «густо». На каждой странице чувствуется суровая словесная экономия. Огромный материал, за которым стоит многолетний труд ученого, подается в тоне подкупающей скромности и уважения к читателю, на которого нигде не «нажимают», которому предоставлена широкая возможность без помех в этом материале разобраться.

Н. НАУМОВА.

Ленинград.



Политика и наука

ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА И СОВРЕМЕННОГО

А. С. Ерусалимский. Германский империализм: история и современность (Исследования, публицистика). «Наука». М. 1964. 664 стр.

Книга профессора Ерусалимского — капитальный труд известного ученого, знатока германского империализма и вместе с тем яркая публицистика, плод участия в борьбе против германского империализма и фашизма, в частности в годы Отечественной войны. Диапазон книги велик: от скрупулезных исследований на основании неопубликованных архивных материалов до эмоциональных дневниковых записей военных лет.

Закономерно возникает методологическая проблема: обосновано ли, органично ли в научном историческом труде сочетание «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»?

Это старый вопрос о том, какова объективная познавательная ценность выводов историка. Решить его можно только на практике, в конкретных исторических иссле-

дованиях. Догматическое применение марксистской терминологии или преподнесенная в декларативной форме, хотя бы и правильная, оценка событий не могут служить научным опровержением взглядов буржуазных историков, утверждающих, будто нет объективного критерия исторической истины, а историк обречен на то, чтобы мыслить не о вещах, а об идеях.

Но книга А. Ерусалимского именно и представляет собой конкретное и не столь часто встречающееся доказательство того, что результаты исследования фактов и первоисточников могут быть изложены в публицистической форме без ущерба для научной ценности выводов и что публицистика может иметь научное значение. Автор книги, всецело оставаясь на научной почве марксизма-ленинизма, не только анализирует определенные события, но и размыш-

ляет над историческими судьбами двадцатого века и судьбами исторической науки в двадцатом веке.

А. Ерусалимский исходит из того, что правдивое осмысление и прошлого и современности — это не только научная, но и нравственная проблема; в этой связи он цитирует слова одного из героев Шекспира: «Там в подлинности голой лежат деянья наши без прикрас, и мы должны на очной ставке с прошлым держать ответ». В предисловии профессор Ерусалимский так формулирует свое понимание задачи историка: «...Историк — сын своего времени, и, изучая, в меру своих сил и возможностей, прошлое, близкое и далекое, он не может освободить себя от ответственности, — не только профессиональной, но и моральной. Как бы ни был скромнен его вклад в изучение волнующей его проблемы... он должен стремиться к тому, чтобы его труд стал хотя бы каплей, которая вольется в общий поток жизни и борьбы, именуемый историей и современностью».

Поистине, проблема германского империализма — это волнующая проблема. Она, естественно, волнует старшее поколение, «ровесников XX века», которые самым трагическим образом столкнулись с агрессивной силой германского империализма на протяжении двух мировых войн, развязанных с интервалом всего только в двадцать лет. Теперь в мире живет и действует поколение, не испытавшее военных катастроф. Но разве его, как говорит автор, «встревоженное сознание» не должна занимать проблема, имеющая немалое моральное, но и практическое значение: ответственность за прошлое и за будущее?

Чрезвычайно важно, что различные этапы существования, падения и «возрождения» германского империализма автор освещает в рамках развития мировых противоречий, в рамках всей «системы политических отношений». Это дает ему возможность связать активность и преступления германских империалистических агрессоров с деятельностью других реакционных сил капитализма и вместе с тем своевременно указать на прогрессивные силы, противостоявшие и противостоящие империалистической агрессии. Такой подход придает книге широкий охват, выходящий за пределы даже той обширной темы, которой она посвящена.

Книга проникнута глубоким историзмом. Главы, написанные тридцать лет назад, сохранили свою актуальность, а главы, написанные в 1964 году и посвященные злободневным событиям, дают им перспективную историческую оценку.

Представьте себе трагедию в четырех актах. Читатель знает, что перед ним развернется картина интриг и злодейств, порок будет наказан и снова подымет голову. Тем большее впечатление производит идилическое начало первого акта: «Нашему современнику трудно себе представить ту степень неоправданного оптимизма и неограниченного самовосхваления, с которой господствующие классы главных капиталистических стран готовились встретить вступление человечества в XX в. Промышленный подъем и высокая экономическая конъюнктура внушали им самые радужные надежды, и всемирная выставка, которая готовилась к открытию в Париже в 1900 г., казалось, должна была продемонстрировать начало новой эры процветания капитализма».

Первый акт трагедии называется «Мировая политика» — путь к войне и поражению». В этом разделе суммированы результаты работы в архивах, которые в свое время воплотились в капитальном труде автора, удостоенном Государственной премии и премии имени Ломоносова, «Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце XIX века». Главы этого раздела, как и вся книга, представляют собой реализацию требования, сформулированного самим автором: «Задача историка внешней политики германского империализма заключается... в том, чтобы раскрыть механизм растущего и определяющего влияния монополий, их переплетений и соперничества, их воздействия на правительство... равно как и противодействие других... сил... отнюдь не в последнюю очередь рабочего класса».

«Второй акт трагедии», второй раздел книги называется «Политические зигзаги Веймарской республики». Позднейшее раскрытие западноевропейских дипломатических архивов подтвердило правильность анализа, ранее проделанного автором книги, а равно другими советскими историками. С этой точки зрения большой интерес представляет работа А. Ерусалимского, написанная в 1932 году и вошедшая в качестве особой главы в рецензируемую книгу, «Версальский тезис и его ревизия (Исторические

документы как орудие политической борьбы)». Совсем недавно соображения, высказанные в этой работе, получили еще одно подтверждение во втором издании фундаментального труда немецко-американского историка Г. Хальгартена: он сообщил, что, работая в пятидесятых годах над архивами германского дипломатического ведомства, он не только нашел новые разоблачающие германский империализм документы, которые от него утаили во времена веймарской «демократии», но нашлась и переписка о необходимости утаить эти документы от историка, пытавшегося вскрыть социологическую природу германского империализма, и притом даже не с марксистских позиций.

Во втором разделе, естественно, много места занимают советско-германские отношения. Им, в частности, посвящена большая глава «Великая Октябрьская революция и проблема советско-германских отношений».

Теперь документально подтверждена данная ранее в советской литературе по свежим следам событий характеристика истинных движущих сил и мотивов локальной политики, соглашения Веймарской республики с западными державами; подтверждены указания на двуличие Штресмана, политическое наследие которого было фальсифицировано. Советская публицистика была права, когда утверждала, что существуют тайные соглашения между германскими и западными банками и концернами о подрыве монополии внешней торговли в СССР, а противодействию осуществлению первой пятилетки. Предположения теперь документально подтвердились.

Совершенно естественно, что в третьем разделе книги «Третья империя»: агрессия и крушение» в наибольшей степени сказано объединение в одном лице ученого-историка и участника событий. Анализ преступной подготовки войны германским фашизмом дополняется живой характеристикой его злодеяний, тактики и крушения в первую очередь под ударами Советской Армии.

Глава «Из записей военных лет» читается с повышенным интересом, она придает редкое своеобразие книге профессора Ерусалимского. Агония и капитуляция гитлеризма описаны очевидцем с большим мастерством. В записях военных лет наряду с освещением стратегических и политических успехов

СССР большое место занимают две темы, имеющие и злободневное и историческое значение: одна — маневры фашистской дипломатии, провоцировавшей раскол союзников; другая — отсутствие второго фронта, нарушение союзниками взятых на себя обязательств. Этой теме автор касается и в других работах, например в помещенном в четвертом разделе исследовании «Британская дипломатия и германская проблема». На деле опровергает предположение Черчилля, будто лишь спустя тысячу лет историк сможет «постигнуть тайну» британской дипломатии, он вскрывает пружины и формы непоследовательности и, выражаясь мягко, двусмысленности британской и американской политики. В книге приводится интересный эпизод: в те самые дни, когда союзники объявили об обязательстве открыть второй фронт в Европе, командующий английской армией на Ближнем Востоке генерал Майп доказывал автору, находившемуся у него в штабе, что бессмысленно ставить вопрос об открытии второго фронта в Европе...

В четвертом разделе книги важное место занимает анализ методов, с помощью которых не только западногерманская, но и американская историография пытается снять с германских империалистов ответственность за бедствия и страдания, постигшие по их вине народы Европы, да и всех континентов. Вопрос о виновниках войны и военных преступлений пытаются подменить вопросом об ответственности за военный разгром и катастрофу гитлеровского государства. На этой почве возникает ряд реваншистских проектов. Очевидно, что реабилитация германского милитаризма в прошлом играет прежде всего служебную роль, она расчищает путь германскому реваншизму и его покровителям, в особенности агрессивным кругам США.

Эта тема развивается автором в работе об агрессивных блоках германского милитаризма. После детального исторического обзора автор обращается к НАТО. Историк отмечает то обстоятельство, что «темпы создания НАТО поистине беспримерны. Если процесс формирования Тройственного союза и Тройственного соглашения (Антанты) потребовал не менее четверти века, если на сколачивание военно-политического блока фашистских агрессоров потребовалось около шести лет, то план создания НАТО был разработан и осуществлен в течение

трех лет...». Анализ специфики агрессивных блоков приводит к выводу, злободневному и в настоящее время, когда НАТО переживает кризис и когда германский милитаризм видит в НАТО рычаг для получения в свои руки ядерного оружия. Самая последняя яркая иллюстрация этих планов — авантюристическая «стратегия передовых рубежей», частью которой является зловещий план создания «минного пояса».

Завершающая глава книги посвящена в основном «раскрытию содержания новых форм и специфических тенденций империалистической идеологии, возродившейся и утвердившейся в Западной Германии, в сопоставлении со старыми формами и их исторически пагубной ролю».

Автор показал, что гитлеризм довел до логического конца антиинторизм пангерманистской идеологии, присовокупив к ней звериный расизм; гитлеровский фашизм довел до последнего предела сочетание прусско-германского милитаризма с иррационализмом, апеллирующей к разнузданным инстинктам. А. Ерусалимский указывает и на преемственность по другой идеологической линии: он напоминает, что либеральный немецкий историк Мейнеке в 1924 году выступил с сенсационным пересмотром традиционных взглядов буржуазной исторической школы и доказывал необходимость сочетания немецкого образа мышления с западным «естественно-правовым мышлением». Теперь эти взгляды нашли свое новое преломление в аргументации сторонников «западной интеграции» и участия Германии в западных военных блоках.

А. Ерусалимский анализирует и ряд других концепций крупнейших представителей западногерманской «философии истории» (Ясперса, Ротфельса, Голо Манна). Между взглядами этих историков имеется существенное различие. Голо Манн отходит от своих прежних антисоветских концепций и все более серьезно относится к политике мирного сосуществования. Пример Голо Манна не одинок. В книге А. Ерусалимского приведено одно любопытное высказывание Ясперса, относящееся к 1963 году: «Отправная точка наших морально-политических возможностей кроется в опыте прошлой катастрофы и того, что к ней привело;

далее, она кроется в опыте угрозы будущей мировой катастрофы. Оба опыта могут привести к повороту в образе политического мышления, чего, однако, до сих пор в целом не произошло».

Поворот во взглядах и деятельности многих представителей западногерманской общественности наступит тогда, когда они избавятся от того, что западногерманский историк Фриц Фишер удачно назвал «преемственностью заблуждения». Одним из таких коренных заблуждений является непонимание решающей исторической роли побед нового, социалистического строя, в частности, в Германской Демократической Республике. К «преемственным заблуждениям» относится неспособность буржуазных историков и публицистов раз и навсегда свести счеты с германским милитаризмом, шовинизмом и реваншизмом, которые продиктованы интересами монополистической верхушки, неисправимой узколобой верхушки, не говоря уже о фашистских изуверах.

Существование германского милитаризма несовместимо с прогрессом человеческого общества. История и историк уже вынесли свой уничтожающий приговор. Однако германский империализм еще существует. Этот факт нашел свое отражение в заголовке последнего раздела книги «Снова милитаризм. Мирное сосуществование или атомная катастрофа?».

Таким образом, в «четвертом акте трагедии» еще не завершилась цепь событий. Но автор заканчивает оптимистической нотой: история, говорит он, если распознать ее законы, становится ариадниной нитью в лабиринте жизни, источником веры человека в себя, в свой разум, в будущее человечества.

Такое убеждение автора опирается на весь его научный и жизненный опыт, который столь полно отразился в книге, проникнутой историческим оптимизмом, заинтересованностью в прогрессе человеческого общества и культуры. Недаром А. Ерусалимский в своем изложении ссылается не только на научные труды, но и на высокие образцы мировой литературы от Шекспира до Брехта.

Е. ГНЕДИН.

«КАМНИ — НЕМЫ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ЗАСТАВИТ ИХ ГОВОРИТЬ»

Г. К. Вагнер. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. «Наука». М. 1964. 188 стр.

Слова, поставленные в заголовке, принадлежат Горькому, и они как нельзя больше подходят к той книге, о которой пойдет речь в моей небольшой заметке.

Это первая книга автора, на которого отныне будут ссылаться все историки древнерусского искусства и который сразу же вошел теперь в их первые ряды. Эта книга — событие.

Принято думать, что древнерусская скульптура значительно отставала от древнерусской живописи или древнерусской архитектуры, что в древней Руси не было крупных скульптурных произведений. Мелкая пластика, прикладное искусство с элементами скульптуры, отдельные рельефы во владими́ро-суздальских храмах — да, это известно!

Г. К. Вагнер взял на себя благородную задачу воскресить самый значительный памятник древнерусской скульптуры — сплошь составленный из белокаменных рельефов Георгиевский собор 1230—1234 годов Юрьева-Польского, недалеко от Москвы. Скульптура этого собора, как ее характеризует автор, «была своего рода «каменной книгой», в которой нашли изложение мысли, чувства, мировоззрение всех передовых общественных сил Северо-Восточной Руси, противостоявших феодальному раздроблению страны». Скульптура покрывала простые, лаконичные формы этого собора от его основания и до самого купола. Ни один камень этого собора не оставался не затронутым работой скульпторов. «...Про Георгиевский собор,— пишет Г. К. Вагнер,— можно было сказать словами песни, исполнявшейся при закладке знаменитого французского собора Сен-Дени (XII в): «все камни твоей стены драгоценны».

Этот собор производил настолько большое впечатление, что при Иване Калите в 1326 году по его образцу, но, по-видимому, без скульптурных рельефов, был создан первый Успенский собор Московского кремля, разобранный впоследствии, в 1470 году, за ветхостью.

В XV веке по неизвестным причинам Георгиевский собор в Юрьеве-Польском рухнул. В 1471 году Иван III посылает в Юрьев-Польской известного русского инже-

нера-строителя Василия Дмитриевича Ермолина возобновить храм. Ермолин бережно собирает все резные камни и восстанавливает из них собор, но, увы, скульптурная система собора оказалась разрушенной, а резные камни перепутаны. Ермолин создал своего рода гигантский ребус, над разгадкой которого бились многие крупнейшие историки русского искусства: А. С. Уваров, Н. П. Кондаков, А. А. Бобринский, В. В. Суслов, К. К. Романов, Д. В. Айналов, Н. Н. Воронин и многие другие.

Надо было обладать огромным терпением, трудолюбием, верой в достижимость конечной цели, которой не достигли его маститые предшественники, неиссякаемой любовью к русскому искусству, чтобы приняться за гигантский труд реконструкции всей скульптурной системы этого выдающегося памятника русской скульптуры. Это был труд, который должен был выключить его автора из всякой иной научной работы на много лет,— труд, который не мог обещать на первых порах верных результатов. Надо было произвести сотни измерений, сфотографировать каждый камень, дено и ношно соизмерять, комбинировать различные сочетания камней, перепробовать тысячи комбинаций.

Заслуживает внимания сама методика, с помощью которой Г. К. Вагнер реконструировал скульптурную систему Георгиевского собора. Он начал с исследования современного состояния скульптуры: что в ней восстановлено Ермолиным и что сохранилось от XIII века. Чтобы восстановить систему, в которой находились скульптурные группы на стенах собора, необходимо было знать характер разрушений здания в XV веке и те способы разборки руин и сборки разрушившихся частей, которыми пользовался Ермолин. Сохранившиеся от XIII века без разрушений нижние части собора заключали в себе ключ к решению многих вопросов реконструкции. Г. К. Вагнер попытался представить себе, как легли рухнувшие камни собора и в каком порядке Ермолин должен был их разбирать и вновь собирать при восстановлении стен. Затем Г. К. Вагнер приступил к реконструкции отдельных скульптурных групп. Для этого

понадобилось исследовать внутреннюю сюжетную связь композиций, искать аналогий в искусстве древней Руси, Византии, Западной Европы, Кавказа и Средней Азии и вместе с тем следить за размерами отдельных камней и за переходами фрагментов растительного орнамента от камня к камню. И то и другое было совсем не легко. Исследователи древнерусской мелкой пластики хорошо знают, что XIII век был веком интенсивного иконографического творчества — когда в мелкой пластике появляются сюжеты, не известные ранней традиции или значительно ее меняющие. То же самое должно быть сказано и о пластике «крупной» — связанной с архитектурой. Поэтому восстановить сюжетные композиции Георгиевского собора было далеко не просто. Не менее сложен и вопрос о том, как связать отдельные камни по размерам и по фрагментам переходящего от камня к камню рельефного орнамента. Систематичность и точная методика, выработанная Г. К. Вагнером, преодолела все затруднения. Г. К. Вагнеру понадобилось для восстановления скульптурной системы отдельно рассмотреть серийные рельефы, композиции сюжетные и отвлеченно символические.

После того, как аморфная масса скульптур Георгиевского собора сформировалась в определенные группы, Г. К. Вагнер перешел к связи их с архитектурой здания: он нашел место каждой группы на стенах собора, учтя самые различные данные — от их традиционного положения на стенах до их связи с размерами площадей, пригодных для их размещения. Для этого пришлось произвести реконструкцию первоначальных форм архитектуры собора, измененной Ермолиным, а это в свою очередь потребовало тщательно разработанной методики работы, особенно сложной ввиду того, что собор Юрьева-Польского создавался в эпоху, когда архитектура переживала большие изменения, и формы его были, можно думать, для своего времени новаторскими.

Г. К. Вагнер заканчивает свою реконструкцию анализом идейного замысла и космогонии всей скульптурной системы.

Этот анализ, завершая исследование системы, закрепляет выводы его реконструкции, позволяет сделать общее заключение о значении всей скульптуры собора в ее целом. «Подводя итог сказанному,— пишет Г. К. Вагнер,— можно сформулировать самую общую идею замысла скульп-

туры Георгиевского собора. Она сводилась к представлению о владими́ро-суздальской княжеской династии (через патрональные изображения) как о богоизбранной носителнице «апостольского» начала, находившейся под высшим покровительством и поэтому единственно имеющей право вершить все русские дела. Первая часть идейного замысла (идея патроната) может быть сопоставлена с идеей «щита», выражаемой фасадными скульптурами собора св. Марка в Венеции. Вторая часть (идея «политической миссии») тоже свидетельствует о том, что, как и в скульптуре св. Марка, в фасадной пластике Георгиевского собора в «религиозной одежде» выражалась весьма земная, светская политическая программа». «Фасадный характер скульптуры убеждает, что она рассчитывалась на «прочтение», а «прочтение», конечно, имело в виду не только возвеличение феодалов и укрепление авторитета церкви, но и всемерное утверждение растущего самосознания горожан, «молодшей дружины», различных служилых людей, словом тех общественных слоев, на которые опиралась княжеская власть». Далее Г. К. Вагнер указывает на родственность замысла и содержания скульптуры Георгиевского собора идейному содержанию знаменитого «Моления» Даниила Заточника, отразившего веру в сильную княжескую власть, покровительствующую горожанам.

Книга заканчивается главой «Организация резьбы». Эта глава также замечательна и по своей методике, и по своим общим выводам. Здесь Г. К. Вагнер устанавливает, сколько мастеров работало над скульптурами собора, характеризует каждого из них и изучает организацию работ. Эта глава, следовательно, также «реконструирует». Автор исследует в ней, кто были непосредственные исполнители рельефов, как была организована артель, ее состав, характер разделения работ, количество «человеко-дней», потребных для выполнения тех или иных рельефов, выявляет мастеров и их учеников, их разные школы и т. п. Выявленные им материалы позволяют твердо судить о художественной культуре резчиков, об их осведомленности в искусстве Владимиро-Суздальской Руси и соседних стран, об их связях с западными странами, с Грузией и Арменией. «Теперь становится более ясным,— пишет Г. К. Вагнер,— что это были в основном русские мастера

с большим художественным кругозором, обильно черпавшие образы и мотивы из конкретной действительности, хорошо знавшие достижения соседних художественных культур, не чуждавшиеся некоторым заимствованиям, но сумевшие перелить все это в исключительно своеобразные, оригинальные художественные образы».

По прочтении работы Г. К. Вагнера рушатся обычные представления об искусствоведении как о «неточной науке». Методика работы Г. К. Вагнера так же точна, как и методика многих так называемых точных наук. И это очень важно. В науке методика научной работы не менее иногда существенна, чем достигнутые ею выводы. Методика влияет на другие работы, создает возможности для совершенствования научных работ.

Есть, однако, в книге Г. К. Вагнера и некоторые утверждения, с которыми можно было бы поспорить. Это прежде всего характеристика растительного орнамента, покрывающего все стены, как — «древовидного». Г. К. Вагнер видит в формах орнамента «деревья» со стволами и ветвями. Между тем ясно, что двойные, сходящиеся и расходящиеся, жгуты этого орнамента никак не могут быть отождествлены со стволами деревьев. Орнамент носил, несомненно, тот же характер «оберега», что и большинство скульптурных изображений. Это ведь было средневековье, и нас не должно удивлять стремление скульптора «запутать» нечистую силу, поднимающуюся снизу, от земли к куполу, создать бесконечные лабиринты орнаментальных путей или заканчи-

вать каждый отросточек орнамента двулистной или трилистником, символизировавшими «не переносимую» для дьявола числовую суть христианского бога, единого в трех лицах и двуединого по своей природе.

Заканчивая свою заметку, я хотел бы остановиться на одном вопросе, который, несомненно, может возникнуть у читателя. Не следовало бы теперь, когда мы знаем изначальную систему скульптуры собора, переложить его камни в первоначальном порядке, восстановив формы собора XIII века? Нет, этого делать не следует. Работа замечательного русского строителя XV века В. Д. Ермолина — это тоже своего рода памятник искусства, памятник бережного отношения русских людей XV века к своему прошлому, к своей культуре. Я бы предложил другое: создать в Юрьеве-Польском своего рода панораму древнего Юрьева-Польского, в центре которой восстановить древние формы Георгиевского собора, используя для этого гипсовые слепки с каждого из его камней. Ведь сделали же в Эрмитаже в Ленинграде куда более сложные слепки со скульптур Пергамского алтаря II века до н. э., открыв их для всеобщего обозрения. Скульптура гигантского Георгиевского собора для понимания истории русского искусства не менее важна, чем Пергамский алтарь для понимания истории греческого.

Д. ЛИХАЧЕВ,

член-корреспондент Академии наук СССР.



ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Герман Занадворов. Дневник расстрелянного. Южно-Уральское книжное издательство. Челябинск. 1964. 320 стр.

Человек, чье имя стоит на обложке этой книги, был расстрелян. Он знал, что его ждет; два с половиной года ждал той страшной минуты, когда это произойдет, потому что понимал: едва ли ему удастся сохранить жизнь в тех обстоятельствах, в которых он оказался. И все же он писал — сумел написать все то, что стало содержанием этой книги, и еще многое, что не дошло до нас. Таясь от полицаев и гитлеровских жандармов, он писал потому, что это было его любимым делом, его святым долгом, потому, что был убежден, что не может по-

ступить иначе, потому, что он жил для людей.

И вот мы читаем его рассказы, основанные на том, что он пережил и видел; главы неоконченного автобиографического романа; его письма родным и другу, которые он так и не смог отправить; его дневник, вернее хронику подневольной жизни небольшого уголка оккупированной Украины — и хроника эта, пожалуй, самое ценное и важное, что он оставил нам, ибо в ней отражены и трагическая многосложная жизнь народа в жестокие военные годы, и высокие нрав-

ственные качества, глубокая идейная убежденность советских людей, которые сумели отстоять родную землю, выдержат все испытания и не разувериться в том, во что верили. «Завтра... все может случиться. В данном случае я утешусь тем, что если не всегда действовал искусно, то всегда искренне. Не продавался ни оптом, ни в розницу. Служил тому, во что верил, и ненавидел то, что надо было ненавидеть. И прожил тридцать один год с половиной без того, чтобы продавать свою совесть и свои убеждения. Это тоже счастье».

Герман Занадворов был журналистом и еще совсем молодым коммунистом. Превратностями судьбы и силою обстоятельств он оказался на оккупированной гитлеровцами Украине. Бездыханным — буквально — вырвала его из гитлеровского концлагеря его жена Мария Яремчук, верный друг и помощник во всех его начинаниях, погибшая вместе с ним. Она вернула его к жизни, выходила и, столь же буквально, на своих плечах донесла до деревни Вильховой, где жили ее старики родители. Изможденный, измученный болезнью, он вынужден был жить «под немцем». Нелегко это давалось ему — он был строг к себе. 18 июля 1942 года он пишет (и еще не раз впоследствии возвращается к этой теме): «Меня, не переставая, грызет совесть. Ходят слухи, что сдали Сталинград и перешли Волгу... Они идут на Восток и, очевидно, отрезали Кавказ. А я вот рву буряки, сажаю вишни, качаю мед... Нечто среднее между засидевшимся гостем и паршивым батраком. И сколько таких повсюду! За такую работу сейчас меня судить надо военно-полевым судом...»

Занадворов видел жестокие картины первых недель и месяцев войны. В дошедших до нас главах романа он правдиво рисует их. Он писал эти строки не для потомков, не рассчитывая на века или даже десятилетия. Он горячо стремился к тому, чтобы люди прочитали и поняли все это сейчас, и предпринял попытку переправить рукопись к своим. «Товарищ! — писал он в записке, приложенной к рукописи. — Этот сверток из немецкого тыла. В нем рукописи — совесть журналиста, находящегося на оккупированной территории. Самая горячая, убедительная просьба: не задерживая ни на час, найди способ передать их в редакцию газеты «Красная Армия» для поэта Борнса Палийчука».

Жить и действовать — а для Занадворова это, как мы видим, понятие однозначное — было тяжело.

Непрерывные слезки, допросы в комендатурах и гестапо, унижительные проверки. Постоянная угроза быть угнанным в Германию: Постоянная настороженность — не сказать лишнего — и в то же время «прощупать», кто еще может быть единомышленником и опорой. Скрывать свои мысли и чувства перед подлецами и просто глупцами. Он пишет 7 декабря сорок второго года: «Я все говорю: надо быть терпеливым. Надо учиться терпению. Надо учиться ложно улыбаться и лживо говорить. Но, господа, как это трудно быть терпеливым! С каждым днем я чувствую, как сдают нервы... Кажется порой, что схожу с ума... Для здешних немногих товарищей я в какой-то степени пример, и я говорю: «Терпение, друзья!» И не имею права их сбить с толку, раскрывшись перед ними. А дома тоже тяжело. Мы на иждивении стариков. Если б два часа одиночества за столом ежедневно, я бы чувствовал, что делаю что-то. А то только иногда удается вписать несколько фраз в рассказ, и то чужих, деревянных».

А какво ему было видеть, как грабят, как издеваются над людьми оккупанты и их прихлебатели, как вешают, расстреливают активистов, как зверски уничтожают беззащитных евреев. Но не менее горько и страшно было видеть, как трусливо поджигают хвосты обыватели. «Постепенно становится ясно, — пишет он 31 июля 1943 года, — арестуют и свозят весь прошлый актив района. Зачем? Для чего? Старик решает просто: «Певно, зроблять то, що с евреями...» И больше всего меня бесит это тупое покорство. Хитрят. Выкручиваются. И довольно равнодушны: забрали Терентия, другого, третьего. Ну что ж — не меня! Сопротивление? Но где оружие? В партизаны? Попробуй узнай, где они».

И хотя он считал первым и самым главным делом литератора и художника — бороться с врагом оружием слова, потому что так «он может яд против врага по каплям разлить в сотни тысяч строк — им будут отравляться не замечая», хотя был убежден, что «нужны газеты, листовки, брошюры — в каждую хату. Вот это и должно быть моим делом», он все же ищет, упорно, с риском для жизни ищет путей к партизанам, к активному действию, к «практике». С помощью

друзей он в конце концов связывается с ними и создает в своем селе подпольную организацию. «...Нарастание событий заставило меня заняться практикой, а как раз это последнее время и было богато событиями. Я считал необходимым участвовать в них потому, что это обязанность коммуниста, и потому, что только участие в них помогло дать тот материал, которым логически должна закончиться история о двух с половиной годах под немецкой властью. Я не жалею, что стал практиком, как не жалею, что побывал «под немцами». Если выживу, смогу рассказать о людях, об их делах много такого, чего, пожалуй, не рассказал бы и просто не мог бы узнать».

Он не выжил. Но даже в том, что сохранилось из написанного им, Герман Занадворов действительно рассказывает такое, чего никто другой не мог бы рассказать, потому что просто не знал этого. Жизнь, человек куда сложнее, чем представление о них. На глазах Занадвора с людьми происходила сложнейшая трансформация. «Когда обыкновенный селянин, отравленный чувством обыденности, думавший, что немцы дадут ему клочок земли, удравший из армии, — когда этот селянин стал яростным бойцом за наше дело — это была самая большая победа, самое глубокое доказательство того, что мы — коммунисты — правы, что наши идеи мудрее, дальновиднее, человечнее всякой нацистской словесной спекуляции и всякого национализма».

Герман Занадворов писал о самых обыкновенных людях, живших в Вильховой и соседних селах. Его первые рассказы «Сливки», «Колыбельная» и другие — попади они во вражеские руки, жизнь его оборвалась бы куда раньше! — рисуют, что принесли с собой оккупанты. В первом рассказе он показывает тупого и бесчеловечного коменданта-немца, который приказал повесить украинскую крестьянку, многодетную мать, только за то, что она, мол, разбавляла водой сливки, предназначенные для его милости. Особенно страшен рассказ «Колыбельная». Никто не отважился скрыть у себя младенца, отец которого сражается в Красной Армии, а его мать вместе с другими евреями наутро должны расстрелять в ближнем яру.

Затем были написаны рассказы, которые отражали, как накапливает возмущение, как разочаровываются в пришельцах даже те,

кто ждал их, помогал на первых порах или был безразличен («Молитва»). К сожалению, они не сохранились все. И наконец «Дума о Калашникове», «Была весна» и другие рассказы о людях, понявших, что нет иного пути спасти родину и себя, как борьба против захватчиков и их уничтожение. Тут и отличные люди, боровшиеся с первых дней, и те, кто жил по принципу «моя хата с краю», и те, кто даже вначале помогал врагам, но тоже стал на путь борьбы.

Герман Занадворов много размышляет о роли художника и о литературе, о том, какая она есть и какой должна быть. «А что касается литературы, то мы оказались слепыми котятками, книжными художниками», — делает он горький вывод. Он понял уже тогда, что литература нередко упрощала, приукрашивала действительность, а он сам, да и многие его литературные сверстники знакомились с жизнью по книгам. Когда же он оказался в самой гуще жизни, среди вчерашних колхозников, сельских активистов, сельской интеллигенции, увидел, как и чем они живут, чего ждут, на что надеются, когда сталкивался с невероятными с его точки зрения поступками людей, — он понял, как плохо он знал жизнь. Временами то, что он наблюдал, приводило его в ярость. Но он не давал ей волю, а пытался осмыслить, объяснить эти поступки, да и вообще поведение людей в те страшные времена. И он на собственном опыте убедился, что порой бывает достаточно умного, честного разговора с тем, кто по неразумению или по мальчишеству отступил от наших советских принципов, чтобы вернуть его на верный путь.

Со многими сторонами жизни и человеческой души впервые лицом к лицу столкнулся на оккупированной Украине уралец Герман Занадворов. За эти годы, пишет он, «я узнал о жизни, людях, общественных законах значительно больше, чем за остальное время. Мои убеждения и мысли получили ту жизненную основу, которой не было, без которой убеждения — это только увлечения, без которой нет ни твердости, ни ненависти к противнику».

Я намеренно не привожу подробностей жизни и подвига Германа Занадвора, истории появления этой книги. Об этом хорошо и детально рассказывает в своем предисловии уральский писатель Николай Воронин — человек, по существу открывший для

нашего читателя и для советской литературы Германа Занадворова и положивший много труда, притом совершенно бескорыстно, чтобы с помощью лупы прочесть и восстановить стертые временем, размытые сыростью карандашные строки и издать эту книгу. Доброе дело сделал он и для нашей литературы, и для нашего читателя, рассказав о подвиге этого скромного и отважного человека, замечательного коммуниста и журналиста, познакомив с его творчеством. Имя Германа Занадворова по праву должно занять место в ряду людей, сказавших свое слово о войне.

С огромным волнением читаешь эту мужественную, честную книгу. Она не только исторический документ о великом испытании народа, она — свидетельство огромного душевного богатства, отваги и благородства советского журналиста. Эту книгу, дополненную тем, что печаталось в других изданиях, и довоенными произведениями Г. Занадворова, следовало бы издать какому-нибудь столичному издательству, и массовым тиражом. Герман Занадворов был «человеком для людей», и люди должны знать об этом.

Л. ЛЕРЕР.



ПОРТРЕТ ДЕСПОТИЗМА

С. М. Степняк-Кравчинский. *Россия под властью царей*. Перевод с английского М. Ермашевой. «Мысль». М. 1964. 407 стр.

Эта книга написана известным литератором и революционером-народником на свободе, вдали от преследователей и царской цензуры. Обращаясь к читателям, весьма плохо знакомым с русской жизнью, Степняк-Кравчинский был вынужден предпослать рассказу о современности пространной очерк истории нашей страны, и здесь в наибольшей мере сказались его народнические взгляды.

Однако стоит сегодняшнему читателю преодолеть эту могущую показаться академической часть книги, как его охватит удивительное чувство сопричастности тем событиям семидесятых—восемидесятых годов, о которых пойдет речь дальше. И причиной этого не в малой мере будет замечательный талант Степняка — страстного врага всякого деспотизма и насилия, человека, который умел бороться с царизмом и подлинным, не метафорическим кинжалом, и отточенным лезвием публицистического слова.

Степняк вел своих современников и ведет теперь нас по стране, куда он сам уже не мог вернуться, как у братских могил, замедляя шаг возле тюрем, где были заживо погребены его друзья по отчаянной борьбе с царизмом. Вот он вместе со своей мимолетной героиней, арестованной девушкой, становящейся впоследствии «номером Тридцать девятым», смотрит на Дом предварительного заключения «с длинными рядами высоких и красиво изогнутых сводчатых окон, скрывающих, словно сомкнутые каре

солдат при казни, ужасы, творящиеся внутри». Вот пересказывает чудом дошедшее из Трубецкого бастиона Петропавловской крепости послание, страшному содержанию которого вполне отвечает и сама его «форма»: «...хотя автор письма ухитрился достать перо и бумагу, ему пришлось писать собственной кровью, и он добывал ее, за отсутствием ножа, кусая себя в руку».

И мы с вами словно уже не книгу читаем, а напряженно прислушиваемся к стуку, доносящемуся из соседней тюремной камеры, где томящийся в одиночке революционер или совсем невинный человек, радуясь «собеседнику», торопится рассказать о себе и о других узниках.

Мы окунаемся в ледяную душу атмосферу сыска и доносительства, ночных обысков и арестов, юридического произвола, военных трибуналов, которые метко окрещены в книге «узаконенными поставщиками палача». И если несчастная жертва сумеет даже избежать расставленных сетей судебного разбирательства, где обращаются «с предположениями как с бесспорными фактами, с подозрениями как с уликами», толкуют «личную дружбу... как принадлежность к сообществу, визиты вежливости — как доказательство участия в мнимом заговоре» — то на выручку властям приходят административные меры: «...при упоминании о людях, оправданных по тому или другому политическому процессу, сразу же спрашивают: «А куда их сосла-

ли?» В этом вопросе нет ни тени иронии или сомнения,— пишет Степняк,— это самый естественный вопрос на свете. Наоборот, если бы их не сослали, то это, безусловно, вызвало бы удивление».

Но не довольно ли застенков, тюрем, каторжных нор? Последуем за Степняком на «вольный» воздух не только из естественного желания перевести дух, но и, так же как сам автор, задавая вопросом: «Каким же должен быть политический строй, если его деяния порождают столь страшные последствия?»

Когда заключенные в тюрьмах выходили на прогулку, то они попадали «в другой каменный ящик, отличавшийся от первого (то есть от камеры.— А. Т.) только тем, что над ним было открытое небо».

Нечто подобное происходит и с читателем, когда он знакомится с главами, которые носят мирные названия — «Русские университеты», «Среднее образование», «Начальное образование», «Земство». Стремление елико возможно сузить число образованных выходцев из народа, ущемление профессорских прав, предпочтение, оказываемое карьеристам-чиновникам перед цветом русской интеллигенции, кабальное слушание лекций заведомых бездарностей, уродливая «классическая» реформа среднего образования — все это катастрофически стопорило и умственное и экономическое развитие страны. Желаяшему узнать ближайшие результаты этой «просветительной» политики стоит прочесть несколько статей из недавно переизданной книги К. А. Тимирязева «Наука и демократия». Подхватив брошенное Степняком-Кравчинским (а может быть, имевшее вообще в ту пору широкое хождение) сравнение реформы среднего образования, затеянной Д. Толстым при поощрении Каткова, с избанием вифлеемских младенцев Иродом, Тимирязев убедительно нарисовал то, что сам именовал «кривой русского просвещения с короткой ветвью надежд и длинной нисходящей ветвью мрачного отчаяния». Тот же Тимирязев напоминал, что знаменитый физик Лебедев не смог поступить в университет, так как окончил не «классическую» гимназию, а школу коммерческого характера, а впоследствии вынужден был покинуть его кафедру почти по пророчеству Степняка об уходе оттуда всех подлинных ученых.

Жалкое существование влачат при деспотизме не только школы и университеты, но

и печать, литература. Уже не один зарвавшийся властитель считал, что прекрасно обойдется без науки, академий, газет, литераторов. И верно: по ядовитому замечанию Степняка, «без подлинной печати, мозга общества, деспотизм может прекрасно обойтись и продолжать существовать, как некоторые животные могут жить долгое время после того, как лишились одного полушария головного мозга». Книга Степняка написана в пору закрытия «Отечественных записок» и всевозможных ограничений печатного слова (перечисление лишь части появившихся в восьмидесятых годах секретных запрещений касаться в прессе того или иного вопроса занимает в книге несколько страниц!), а список книг, изъятых из библиотек и читален по приказанию Д. Толстого, по словам автора, «вызвал по всей России такое изумление и смех, что не осталось места негодованию».

«Гласность, дискуссия, откровенное высказывание мыслей,— пишет Степняк,— все лягут правительству смертельный ужас».

Читая эти слова, невольно вспоминаешь одного из угасавших в ту пору царских сановников (причем далеко не самого худшего), который под конец своей жизни боялся любого дуновения свежего воздуха и не желал раздеваться даже перед врачом, что, разумеется, весьма ускорило его кончину.

До какого гнения доходил «организм» самодержавия, можно видеть по знаменитому делу Рыковского банка, изложенному Степняком в главе под многозначительным заголовком «Один пример из многих».

История Рыковского банка с его неслыханными мошенничествами и фальсификацией действительного положения дел не только поразительно воспроизводит общую картину преступлений, гворящихся под завесой безгласности, но и «сюжетно» сплетена с биографиями наиболее ретивых «охранителей» царизма. Разве не характерно, что «чем отчаяннее становилось положение банка, тем более блестяще выглядел его баланс» (разумеется, в отчетах!)? Разве не знаменательно, что Рыков преследовал своих обличителей как «неблагонадежных»? Разве не трогательно, что Рыков превозносил на процессе как одного из своих самых больших благодетелей Каткова и что выгородить проворовавшегося банкира из беды пытался не кто иной, как один из палачей каракозовцев и герой ночных

обысков 1866 года, личный друг царя генерал Черевин?

Как бы ни были ошибочны политические взгляды Степняка-Кравчинского, он верно предсказывал и поражение царизма «в первой же серьезной войне» (что и случилось в 1904—1905 годах при столкновении с Японией), и неизбежный будущий крах само-

державия в целом. И книга этого незаслуженно забытого нами писателя (о чем верно говорится в содержательном предисловии Е. Таратуты) останется для будущих читателей документом героической борьбы с еще сильным врагом, остается верным «родовым портретом» деспотизма.

А. ТУРКОВ.

★

НУЖНОЕ ИЗДАНИЕ

Французский ежегодник. 1963. Статьи и материалы по истории Франции. «Наука». М. 1964. 367 стр.

В глубокую старину уходят корни тесных культурных и научных связей нашей страны с Францией, огромным было в нашей истории влияние французской культуры, науки и даже языка; понятно поэтому, сколь велик наш интерес к истории Франции. Советские историки разрабатывают и перерабатывают с позиций марксизма-ленинизма огромный фактический материал, накопленный французскими историками, изучают первоисточники. И надо сказать, что авторы работ, напечатанных во «Французских ежегодниках» (том, о котором пойдет далее речь, уже седьмой по счету), сделали очень много. Помещенные в них статьи, освещающие различные периоды французской истории, написаны интересно, в большинстве случаев по первоисточникам. Хотя каждая статья сборника является совершенно самостоятельной, все они в целом дают богатый материал для тех, кто интересуется историей Франции.

За последнее время в реакционных — и в частности в клерикальных — кругах западных историков наблюдается тенденция к неправильному освещению деятельности некоторых исторических личностей во Франции. Известно, что одним из наиболее ярких представителей материалистического течения в философии в начале XVII века был Пьер Шаррон, рассматриваемый большинством французских историков как ученик Монтеня, вдохновителя и учителя французских «либертенгов». Ю. Б. Виппер в своей статье о нем, открывающей «Ежегодник», правильно возражает американскому историку Ж. Д. Шаррону (кстати, потомку Пьера Шаррона), который утверждает, будто Пьер Шаррон был глубоко верующим мыслителем и преследовал апологетические цели. Ю. Б. Виппер доказывает необосно-

ванность этих утверждений. Идеи Пьера Шаррона оказали огромное влияние на современников и нанесли серьезный удар по религии, показав ее несовместимость с философией. Достаточно назвать один лишь его трактат «О мудрости», оказавший положительное влияние на развитие материалистических тенденций, чтобы стало ясно, что Пьер Шаррон вовсе не был таким, каким пытается изобразить его американский потомок.

Библиография русских исследований по истории Французской революции XVIII века поистине огромна. «Новую эпоху в истории человечества открыла великая французская революция», — писал В. И. Ленин. «Она недаром называется великой, — подчеркивал он. — Для своего класса, для которого она работала, для буржуазии, она сделала так много, что весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции».

В новом томе «Французского ежегодника» публикуется переведенная с немецкого работа Вальтера Маркова о дореволюционном периоде Жака Ру — одного из виднейших «плебеев» Французской революции и одного из вождей «бешеных». Биографии этих деятелей были мало известны. В последние годы буржуазные исследователи, в особенности католические, пытались изобразить Жака Ру как католика-реформатора, сводя на нет его революционные взгляды и деятельность на том основании, что Ру был священником. Марков на основании документов эпохи восстанавливает истину, показывая, как этот священник стал революционером и даже «бешеным», представителем низшего духовенства, с энтузиазмом принявшего революцию.

Истории заключения Тильзитского мира посвящена статья В. Г. Сироткина. Это был первый крупный контакт России и Франции, первая попытка франко-русского союза. Однако этот важный исторический эпизод был неправильно освещен французскими и русскими, главным образом монархическими, историками. Автор использует недавно опубликованные в третьем томе «Внешней политики России» неизвестные ранее документы о подготовке к переговорам в Тильзите. Он уточняет причины, заставившие Наполеона и Александра I заключить в Тильзите не мир, а перемирие (которое оказалось кратковременным). Многие статьи Тильзитского договора составлены так, что их можно истолковывать по-разному, но главным образом в пользу России. Автор высказывает предположение, что знаменитый Талейран — наполеоновский министр иностранных дел, приложивший свою руку к составлению договора, намеренно оставил редакцию соглашения такой, чтобы истолкование его могло быть полезным для России. Год спустя Талейран стал платным агентом Александра. В Тильзите же он, по-видимому, уже искал способа войти в доверие к русскому царю.

Статья А. И. Молока посвящена революционным выступлениям в окрестностях и пригородах Парижа в дни июньского восстания 1848 года. В ней освещается очень интересный и мало изученный вопрос о сочувственном отношении крестьян и рабочих к этому восстанию. На основании архивных документов автор показывает, что восстание в Париже нашло поддержку, сочувствие и даже вооруженную помощь в окрестностях Парижа.

Очень интересен очерк американского историка С. Бернстайна «Огюст Бланки и I Интернационал». Известно, что Маркс был очень высокого мнения о Бланки, хлопотал за него, когда тот сидел в тюрьме; Бланки также высоко ценил Маркса, но они никогда не встречались. К Первому Интернационалу Бланки относился отрицательно. Французская секция была представлена в Интернационале прудонистами, с которыми Бланки вел борьбу. Такое непонимание исторической роли Первого Интернационала объясняется оторванностью самого Бланки и его сторонников от рабочего движения во Франции. Восстания 1839 года и 14 августа 1870 года, организованные Бланки, провалились — народ их не поддержал.

Статьи М. А. Кудрявцевой — о концентрации и дроблении земельной собственности во Франции в пятидесятых—шестидесятых годах XIX века и Б. П. Кузнецова — об аграрном кризисе и крестьянском движении во Франции в 1930—1938 годах посвящены важным вопросам. Но первая статья не дает по существу ничего нового, а только резюмирует уже известные данные. Кузнецов же, опровергая традиционные версии западных экономистов, показывает, что кризис сельского хозяйства и падение цен на продукты вызваны не перепроизводством их, но явились следствием снижения покупательной способности населения в результате кризиса, разразившегося в капиталистическом мире в 1929 году.

Наиболее интересны для читателя-историка статьи «Ежегодника» о событиях, предшествовавших второй мировой войне. Статья Е. С. Белогловского «Из истории подготовки советско-французского пакта о взаимной помощи 1935 г.» дает точный и документированный материал о взаимоотношениях Франции и СССР в годы, предшествовавшие второй мировой войне. Автор подробно пишет о Луи Барту, умном и дальновидном политическом деятеле Франции, который понимал значение соглашения о взаимной помощи между СССР и Францией для безопасности самой Франции. Необходимость такого соглашения признавали также все патриотически настроенные политические деятели Франции. Даже Поль Рейно, один из «могильщиков Франции», сыгравший печальную роль в поражении этой страны, писал после второй мировой войны: «Без сильного союзника на Востоке Франция не могла бороться против Германии». Это же признавало и большинство руководителей французских вооруженных сил, в особенности генеральный штаб французской армии. Будущий главнокомандующий французской армией в войне генерал Гамлен от своего имени и от имени даже такого заклятого врага Советского государства, как генерал Вейган, говорил, что «Россия представляет собой единственный большой восточный противовес Германии». Как известно, и генерал де Голль неоднократно говорил о необходимости союза Франции и СССР. Против такого союза во Франции выступали лишь реакционные элементы. Но влияние Барту и его сторонников перевесило интриги врагов СССР.

Казалось бы, руководители Франции должны помнить уроки истории: после первой мировой войны Франция и ее союзники дали возможность побежденной Германии сохранить армию. А после второй мировой войны опять-таки политика капиталистических стран заключается в том, чтобы держать Германию вооруженной (не для того ли, чтобы раньше или позже натравить ее на Советский Союз?). Но ведь известно, что вооруженная Германия бросалась в первую очередь на тех, кто предоставлял ей возможность вооружаться. Получалось так, что сперва вооружали Германию, а затем ломали голову над тем, как с ней справиться. Большая и содержательная статья Белогловского дает ясную картину борьбы французской реакционной буржуазии против заключения советско-французского пакта о взаимной помощи. Становится понятным, почему фашистские правители Германии всячески стремились убить Барту,— и в результате он был убит их агентами.

Статья В. П. Смирнова посвящена не менее важному и интересному вопросу — началу сотрудничества правительства Виши с фашистской Германией. Об этом сотрудничестве буржуазные французские историки и политики предпочитают помалкивать, так как это одна из самых позорных страниц в истории современной Франции. В Германии после войны и поражения фашизма скрывали военных преступников и палачей, а во Франции с образованием оси «Париж — Бонн» стали скрывать вишистов и коллаборационистов, их стали оправдывать и даже возвеличивать. В настоящее время многие французские историки даже изображают предателя Петена как защитника Франции. Они не показывают классового характера коллаборационизма, его профашистскую и антикоммунистическую направленность. На сотрудничество с гитлеровской Германией французов толкал страх перед коммунизмом, перед рабочим движением. Мне лично пришлось наблюдать картину этого страха во Франции, когда война шла как будто с Германией, а газеты трубили об опасности со стороны коммунистической России. Французские фашисты надеялись, что Германия захватит английские владения и тогда отведет свои войска из Франции. Они исходили из того, что победительницей в войне будет Германия. Нельзя чи-

тать без отвращения описание переговоров вишистского правительства с немцами — все эти пресмыкательства перед ними, униженные просьбы, заверения в преданности и т. д. Правительство, дошедшее до такой степени унижения после поражения, не могло пользоваться уважением со стороны французского народа. В. П. Смирнов разоблачает миф буржуазных французских историков о том, что будто бы коллаборационизм защищал интересы Франции, являлся скрытой формой сопротивления. В статье рисуется отвратительная картина торговли правительства Петена с немцами за счет интересов французского народа. Вишисты теперь пытаются доказать, что они это делали для спасения Франции и будто бы тайно предлагали помощь Англии. Все это — ложь, разоблачаемая документами.

Интересна и статья В. Ф. Коломийцева о борьбе за демократические преобразования во Франции в 1945—1946 годах. Советская литература не освещала детально политическую борьбу во Франции в этот период. Автор описывает эпоху, когда де Голль возглавлял правительство Франции и насаждал «личную власть». Показана роль французских банков и их защита де Голлем, брат которого был председателем правления Банка Парижа и Нидерландов. Проект конституции, предложенный КПФ, не прошел, но и реакционеры не смогли провести свой проект. В парламенте предательскую роль сыграли правые социалисты, которые чаще блокировались с реакционными партиями, чем с коммунистами. Кроме банков, реакционную роль сыграли и крупнейшие страховые компании. Национализация некоторых банков и страховых компаний оказалась фикцией. Акционерам национализированных банков были гарантированы дивиденды на уровне 1944 года и выкуп акций в течение пятидесяти лет. Коммунистам удалось добиться включения в конституцию статей о некоторых основных социально-экономических правах трудящихся, о политических правах женщин. Но в 1958 году, когда к власти пришел де Голль, эта конституция была фактически отменена.

Нет возможности изложить в рецензии содержание всех статей сборника. Помимо названных, он содержит ряд интереснейших исторических исследований о разных эпизодах истории Франции. Назову, напри-

мер, статью Н. Г. Рудиной «П.-Ж. Беранже в общественно-политической жизни Франции в 1814—1930 гг.», в которой Беранже показан не только как поэт, но и как революционный политический деятель, статью М. А. Бородиной «Колония в Шабо», статью Н. Н. Калитиной «К истории политической карикатуры во время Парижской коммуны 1871 г.» и наконец статью В. И. Виноградова «Французский исследователь Сибири Жозеф Мартен». В этой последней дается краткое описание жизни и исследований рано погибшего замечательного молодого французского ученого, внесшего серьезный вклад в изучение Сибири в конце семидесятых и в восьмидесятых годах прошлого столетия.

Отдел сообщений и публикаций «Ежегодника» заканчивается интересной статьей Г. Л. Арш «К вопросу об идейном воздействии Великой французской революции на балканские народы (Неизвестный текст конституции и «Военного гимна» Ригаса Велестинлиса)». В 1797 году замечательный греческий патриот Ригас Велестинлис

опубликовал проект конституции балканских народов, вдохновленный радикальной якобинской конституцией 1793 года во Франции. Автор приводит полный перевод текста этой конституции на русский язык.

Французские ежегодники представляют большой интерес не только для советских читателей и исследователей, но и для французских. Уже само появление такого рода ежегодников говорит об их большом значении и содействует укреплению франко-советских научных и культурных связей. Французский читатель может ими заинтересоваться на основании имеющихся в конце каждой статьи резюме на французском языке. Эти резюме сделаны хорошо, хотя порою переводчик допускает весьма обильные «русцизмы».

Приводимая в конце ежегодников библиография публикаций по истории Франции на русском языке удачно дополняет это издание и представляет большую научную ценность.

Проф. А. РУБАКИН.



СОКРОВИЩА ОКЕАНА

С. В. Михайлов. Экономика Мирового океана. «Экономика». М. 1964. 276 стр.
Н. В. Васильчиков. Поделись, Нептун! «Советская Россия». М. 1964. 118 стр.

Всякий, кто читал замечательный роман Жюль Верна «Двадцать тысяч лье под водой» и вместе с таинственным капитаном Немо на чудесном подводном корабле «опускался» в глубины морей, не мог не поражаться разнообразию богатств океана. Они полностью удовлетворяли все потребности удивительных подводных жителей.

Как далеко мы шагнули вперед в познании океана за сто лет, прошедших со времени написания этой книги! При Жюль Верне человечество располагало очень ограниченными знаниями о водной оболочке нашей планеты, они сводились в основном к чисто внешним представлениям. Ни один человек в то время не заглядывал под поверхность морей глубже, чем на несколько десятков метров. В наши дни, когда пучины океана штурмуются эскадрами научно-исследовательских судов, люди с помощью эхолотов — приборов, которые можно бы назвать «звуковыми глазами», — «осмотрели» огромные пространства земли под морем. Отважные гидронавты опуска-

лись в океан на глубину более десяти километров. Они соорудили на морском дне своеобразные дома, где живут и работают непрерывно в течение недель.

И характерно, что многочисленные исследования не только не опровергли предвидения выдающегося фантаста о богатствах глубин, а, наоборот, показали, что сокровища океана еще более разнообразны и обширны. В этом с особой ясностью убеждаешься, когда читаешь книги, указанные под заголовком этой статьи.

Труд Стефана Васильевича Михайлова — крупного советского экономиста, много лет работающего в области экономики морей и океанов, — первая монография подобного рода не только в советской, но и во всей мировой литературе. Она охватывает все стороны экономики Мирового океана и написана «деловым» языком ученого-экономиста. Другая — научно-популярная книжка горного инженера (это уже само по себе примечательно: горный инженер пишет о морских ресурсах!) Николая Васильевича

ча Васильчикова, старшего научного сотрудника кафедры океанологии Московского государственного университета,— посвящена проблеме овладения химическими и минеральными ресурсами морской воды и океанского дна и несколько живее по форме. Обе книги удачно дополняют одна другую и читаются с большим интересом.

Почерпнув из них обширные сведения о неисчислимых богатствах океана, читатель, несомненно, согласится с утверждением академика С. Г. Струмилина, что экономика Мирового океана — это экономика будущего.

Одно из основных богатств океана — его несметные обитатели. Их многообразие поразительно. В морских водах обитает более ста пятидесяти тысяч видов животных и десять тысяч видов растений.

Используются эти богатства пока явно недостаточно, хотя уже играют ощутимую роль в экономике человечества. По подсчетам, выполненным С. В. Михайловым и приведенным в книге, население мира получает от океана доход примерно в сорок миллиардов рублей в год. Три четверти этой суммы дает добыча рыбы и других живых обитателей вод, остальное приносят водоросли.

Однако доля океана в общих пищевых ресурсах человечества еще очень невелика. Он дает сейчас немногим более тринадцати процентов белковой пищи животного происхождения и три-четыре процента животных жиров. А в общих пищевых ресурсах современного мира по калорийности дары океана составляют всего лишь один процент.

Перспективы же использования сокровищ океана огромны. По расчетам известного советского ученого, члена-корреспондента Академии наук СССР Л. А. Зенкевича, в океане обитают рыбные стада общим весом пятьсот миллионов тонн. А все живое население морей и океанов составляет не менее шестнадцати—двадцати миллиардов тонн. При этом следует иметь в виду, что количество многих обитателей океана быстро растет. Особо стоит вопрос о планктоне — мельчайших растительных и животных обитателях водных толщ. Планктон обладает высоким содержанием белков, жиров и других ценных пищевых, химических и химических веществ. Так, водоросль хлорелла содержит в сорок раз больше белка, чем фасоль, и в шестьдесят

раз больше, чем рис. В ее состав входят белки, мало чем отличающиеся от животных белков, и много ценнейших витаминов. При искусственном выращивании хлореллы удается снимать за сезон с гектара более четырехсот центнеров сухой массы. Сравните это с урожаем пшеницы. При этом надо иметь в виду, что в пшенице лишь около десяти процентов белков, а в хлорелле — пятьдесят процентов.

Что касается рыболовства, то надо признать, что оно еще находится в самой начальной стадии. В основном идет охота за «дикой» рыбой, огромные косяки которой гуляют на широких просторах океанов. Люди еще плохо знают особенности распространения рыбных стад по глубине и районам океана в зависимости от природных условий. А нельзя ли создать «стада» рыб, подобные стадам сельскохозяйственных животных? Большие перспективы открывает искусственное удобрение толщ морской воды. С. В. Михайлов рассказывает об опыте одного английского института. В результате внесения искусственных удобрений для подкормки водорослей камбала в этом районе была в четыре раза длиннее обычной и росла в шестнадцать раз быстрее.

Океан — настоящая кладовая ценнейшего химического сырья. Н. В. Васильчиков называет морскую воду жидкой рудой. В той или иной степени растворения в ней имеются все известные в природе элементы. К настоящему времени в ней уже обнаружено сорок четыре элемента. В каждом литре морской воды растворено в среднем тридцать пять граммов солей. Подсчитано, что если извлечь всю соль из морской воды, то она покроет поверхность всего земного шара слоем толщиной в сорок пять метров.

Не говоря уж о наиболее распространенных в морской воде элементах, укажем, что даже малорастворенного золота содержится в ней столько, что его пришлось бы на каждого жителя нашей планеты более чем по три тонны. В водах океана — двести миллиардов тонн серебра, еще больше тория, молибдена. В морях и океанах растворено девяносто девять процентов мировых запасов брома

Добыча поваренной соли из моря уже превысила пять миллионов тонн в год. Растет мировая добыча магния, брома и других веществ и элементов.

Сама природа подсказывает рациональный путь извлечения малорастворенных элементов из морской воды: некоторые организмы концентрируют медь, ванадий, цинк, железо, уран, молибден, радий... Открыты бактерии, которые поглощают тяжелую воду. Иными словами, заготавливать тяжелую воду можно при помощи живых организмов! Есть чему удивляться, если вспомнить, какой это энергоемкий процесс в современном производстве. Высказываются предположения, что в некоторых океанических впадинах возможно естественное накопление тяжелой воды.

Особенно благоприятны для добычи многих химических элементов из морской воды те районы морей и океанов, где велика испаряемость вод и не столь легкая связь с открытым морем или океаном — например, Сиваш и Кара-Богаз-Гол, — там концентрация солей превышает нормальную почти в десять раз. В. И. Ленин на заре советской власти обратил внимание партии и народа на эти уникальные кладовые химического сырья.

Есть еще один исключительно перспективный способ извлечения химических элементов из морской воды: с помощью ионообменных смол. Особые иониты, как их называют, обладают поистине сказочной способностью впитывать определенные элементы из растворов. «Настройка» их на конкретный элемент зависит от молекулярной структуры искусственной смолы. Остается только прокачивать через них морскую воду. Таким способом советскому ученому А. Б. Даванкову уже удалось получить первые крупницы золота. Ученый заявил, что экономичность добычи золота с помощью ионитов не вызывает сомнения. Уже несколько раз выходил в рейсы с опытной колонкой из поглощающих смол советский корабль науки «Михаил Ломоносов». Из морской воды успешно «вылавливались» редкие элементы.

Нет сомнения в том, что в недалеком будущем наука найдет еще более экономичные способы выделения из морской воды редких и рассеянных элементов. Примечательно, что в качестве «отхода» при этом получается пресная вода. А она так необходима для засушливых и промышленных районов. В этой связи хочется отметить большое значение достигнутого недавно соглашения между СССР и США по опреснению соленых морских вод.

Ну, а как обстоит дело с богатствами, лежащими на дне океана и в недрах под ним? Известно ведь, что почти три четверти «земной тверди» покрыто водой. Морское дно изобилует рудоносными выходами, которые не надо «вскрывать». Вода при этом является скорее не недругом, а союзником.

В послевоенное время во многих прибрежных районах Мирового океана из-под морского дна добывается все больше и больше нефти. В нашей стране первая нефть со дна моря была добыта еще в 1924 году. А в настоящее время советский морской промысел Нефтяные Камни получил всемирную славу. Еще более перспективными являются другие районы шельфа Каспийского моря.

Специалисты установили, что размещение мировых месторождений нефти и газа приурочено к впадинам земной коры, причем замечено, что чем глубже впадина, тем больше накопления нефти и газа. Вот почему можно считать, что основные месторождения нефти и газа находятся не на суше, а на море.

Геологи предполагают, что, кроме нефти, газа, железомарганцевых образований, в недрах океанского дна имеются также и значительные запасы урана, олова и других полезных ископаемых. В ряде районов они уже добываются, правда, пока еще на сравнительно небольших глубинах. Но поистине фантастические возможности сулят результаты сверхглубокого бурения земной коры под океанами, где она в пять—десять раз тоньше, чем на материках.

Исключительно важное значение имеет использование огромных энергетических возможностей Мирового океана. С. В. Михайлов посвящает этому специальную главу. Существует много интересных проектов создания приливных электрических станций (ПЭС). Трудность осуществления этих проектов в капиталистических странах объясняется как экономическими, так и политическими причинами. Приливная энергия — это, по выражению французского ученого Р. Жибра, энергия «сотрудничества и объединения». Такому сотрудничеству часто мешает конкуренция между отдельными монополистами, фирмами, странами.

Совершенно иные условия для сооружения приливных электростанций в социалистическом лагере, где все виды энергетиче-

ских мощностей принадлежат народу. Сейчас в нашей стране ведутся подготовительные работы по созданию опытной Кислогубской ПЭС на Кольском полуострове. Разработаны проекты более мощных приливных станций, к сооружению которых будет приступлено после накопления необходимого опыта.

Разрабатываются также проекты геотермальных станций, источником энергии в которых будет разница температур верхних и нижних слоев морской воды.

Неограниченные энергетические возможности сулит применение термоядерных реакций. Основное «сырье» для них (дейтерий и тритий) находится в массах вод Мирового океана.

Люди давно поняли, что громадные просторы морей и океанов не разъединяют страны и континенты, а, наоборот, соединяют их. В книге С. В. Михайлова приводятся данные о развитии морского транспорта, о его особенно важном значении при перевозках грузов на дальние расстояния.

Роль моря в жизни нашего народа, в развитии экономики огромна. Это хорошо понимал основатель Советского государства В. И. Ленин. Еще в 1921 году, во время тяжелейшей разрухи, в условиях незакончившейся блокады и гражданской войны, Ленин подписал декрет об организации первого в мире комплексного плавучего

морского научно-исследовательского института. Великий вождь придавал большое значение всестороннему и планомерному исследованию морей. Замечательный ленинский декрет положил начало систематическим морским исследованиям, определил пути и формы их дальнейшего развития.

За последние годы советские ученые добились в этом деле крупных успехов. Изучение природы и ресурсов океана включено в число ведущих научных проблем. Раскрывая содержание этих работ, президент Академии наук СССР М. В. Келдыш заявил, что «познание океана и использование его ресурсов является важной задачей ближайших лет. В результате изучения океанов будут созданы научные основы для прогнозов движения вод в океанах и морях, что имеет важное значение для мореплавания, улучшения прогнозов погоды и климата, промысловых прогнозов, а также выявлены огромные пищевые, химические, минеральные и другие ресурсы и выявлены пути их практического использования».

Пусть же книги о богатствах океана увлекут энтузиастов, особенно молодежь, на борьбу за освоение несметных сокровищ голубой целины.

С. ОСОКИН,

действительный член Географического общества СССР,



КОРОТКО О КНИГАХ

★

Л. Ф. КАРАМЫШЕВА. *Борьба большевиков за Петроградский Совет (март—октябрь 1917 г.).* Лениздат. 1964. 227 стр.

Свыше тысячи человек присутствовало на заседании Совета рабочих и солдатских депутатов в Таврическом дворце 1 марта 1917 года. После горячих дебатов избрали комиссию для редактирования принятых решений. В нее вошли и представители солдат, в том числе большевики А. Н. Падерин, А. Д. Садовский, секретарь исполкома Петроградского Совета «внефракционный» социал-демократ Н. Д. Соколов и другие.

Авторами исторического «Приказа № 1», сыгравшего важную роль в демократизации армии, фактически были рядовые депутаты-солдаты. Они обступили Соколова и продиктовали ему текст. Затем кто-то из солдат явился с этим приказом в помещение временного комитета Государственной думы и, когда там отказались подписать и издать его, заявил: «Ну так мы его сами издадим». И на следующий день напечатанный типографским способом приказ расклеивали и раздавали на улицах города.

Этот приказ предоставил политические и гражданские права солдатам. Он был настолько ненавистен буржуазии, что глава Временного правительства Керенский несколько позже говорил, что отдал бы десять лет своей жизни, чтобы не допустить появления «Приказа № 1».

Читатель найдет в книге и другие примеры, подтверждающие, что Петроградский Совет, несмотря на засилье меньшевиков и эсеров, под воздействием революционных масс с первых своих шагов выступал как орган народной власти. Тут и решение от 27 февраля о создании рабочей милиции, и предложенное А. М. Горьким и принятое 7 марта исполкомом Совета обращение к гражданам об охране дворцов, и решение от 8 марта «Об аресте Николая II и его семьи».

Борьба большевиков за Петроградский Совет в 1917 году — одна из ярких страниц Великой Октябрьской социалистической революции. В книге приводится обширный фактический материал, раскрывающий политику и тактику партии по отношению к Советам на различных этапах революции. Большевикам потребовалось лишь несколько месяцев, чтобы сплотить вокруг себя большинство депутатов и превратить Совет

в один из важнейших инструментов подготовки и проведения восстания.

Руководство большевистской фракцией Совета осуществлялось Центральным Комитетом партии и лично Лениным. С его именем связан ряд важнейших страниц истории Совета.

В заключение автор показывает, как Петроградский Совет из органа восстания превращается в орган государственной власти.

Жаль только, что интересный фактический материал излагается подчас сугубо официальным, сухим языком.

Е. Денисов.

★

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1871 ГОДА. Под редакцией Жана Брюа, Жана Дотри и Эмиля Терсана и при участии Пьера Ангрена, Жана Бувье, Анри Дюбьефа, Жанны Гайяр и Клод Перро. Перевод с французского. «Прогресс». М. 1964. 479 стр.

Большая книга в красной суперобложке. На ней — бесконечные ряды вооруженных людей, лес штыков, боевые знамена, вырастающая в небе огромная фигура Свободы со знаменем в одной руке и мечом — в другой.

Это труд французских историков-марксистов о Парижской Коммуне, который «ее» авторы писали с мыслью о французском народе с его вечно живыми пламенными традициями мужества и храбрости, завещанными ему парижским пролетариатом 1871 года».

Основное действующее лицо книги — парижский пролетариат, создавший в упорной борьбе свою Коммуну, которая стала, по словам В. И. Ленина, прообразом советской власти. Перед читателем развертывается широкая панорама жизни и борьбы передовых сил французского народа во главе с парижским пролетариатом за новый мир, свободный от угнетения и эксплуатации. Знакомясь с биографиями борцов Коммуны, вглядываясь в снимки, зарисовки и гравюры, изображающие революционные события, видя перед собой репродукции революционных документов, листовок, афиш, газетных страниц, карикатур (число иллюстраций в книге превышает пятьсот) и читая большое количество умело включенных в текст книги свидетельства современников, невольно переносишься в гущу событий

весны 1871 года и с большим напряжением следишь за их нарастанием.

Перед читателем встают живые картины героической борьбы федератов на баррикадах и ужасы контрреволюционного террора.

В книге интересно показана французская провинция в эти революционные дни и международная солидарность трудящихся во главе с I Интернационалом, духовным детищем которого была Коммуна. Авторы подчеркивают значение Коммуны для международного революционного движения.

Этот серьезный труд о Коммуне, основанный на глубоком изучении печатных и архивных материалов, раскрывает исторические события во всей их сложности и дает читателю не догматическую схему, а живую картину революционных событий. Издательство «Прогресс» сделало полезное дело, опубликовав эту книгу на русском языке и снабдив ее содержательными вступительной статьёй и комментариями профессора А. И. Молока.

М. Машкин,

кандидат исторических наук.

★

И. С. КНИЖНИК-ВЕТРОВ. Русские деятельницы Первого Интернационала и Парижской Коммуны. «Наука». М.—Л. 1964. 260 стр.

Из аннотации к этой книге читатель узнает, что И. С. Книжник-Ветров в течение нескольких десятилетий собирал и изучал материалы, относящиеся к трем замечательным русским женщинам, участницам Первого Интернационала и Парижской Коммуны — Е. Л. Дмитриевой, А. В. Корвин-Круковской (Жаклар) и Е. Г. Бартеновой. Еще тридцать лет назад он опубликовал их краткие биографии и с тех пор непрестанно пополнял их новыми и новыми данными, которые разыскивал в государственных и частных архивах, в русских и иностранных газетах и журналах, справочных изданиях, мемуарах и книгах времен Первого Интернационала и Парижской Коммуны, а также черпал из бесед и переписки с родственниками отважных революционеров.

Естественно, что книга Книжника-Ветрова обильно насыщена ценными сведениями о жизни и деятельности наших замечательных соотечественниц. Кроме того, она дает много интересных материалов, связанных с революционной обстановкой России и Франции шестидесятых—семидесятых годов, знакомит с прогрессивными людьми того времени, ближайшим окружением Дмитриевой, Корвин-Круковской и Бартеновой. Героини книги Книжника-Ветрова, порвав еще в юные годы со своими богатыми дворянскими семьями, стали на тернистый путь революционной борьбы. Из-за преследований царской жандармерии им пришлось покинуть родину и многие годы жить за границей — главным образом в Женеве и Париже.

Елизавета Лукинична Дмитриева в двадцать лет стала одной из учредительниц русской секции Первого Интернационала. Она хорошо знала Маркса и его семью и помогала ему в его борьбе с дезорганизаторской деятельностью Бакунина в Первом Интернационале, была корреспонденткой Генерального Совета во время Парижской Коммуны. В дни боев на улицах Парижа она сражалась на баррикадах во главе женского батальона.

Немало интересного читатель узнает также об Анне Васильевне Корвин-Круковской (старшей сестре знаменитого математика Софьи Ковалевской). Талантливая писательница, друг Достоевского, одна из образованнейших женщин своего времени, она, так же как и Дмитриева, принимала вместе со своим мужем Жакларом активное участие в русской секции Первого Интернационала. Во время Парижской Коммуны (вместе с Андре Лео) основала газету «Ля социаль», вела агитаторскую деятельность, выступая с воззваниями на страницах газеты и на митингах.

Еще в молодости Екатерина Григорьевна Бартенева, считавшая себя ученицей Н. Г. Чернышевского, узнала о трудах Маркса. В Женеве и Париже она была ревностной пролагандисткой идей Первого Интернационала. Вернувшись в Россию, занималась революционной деятельностью среди петербургских рабочих.

Кратко переданные здесь штрихи биографий трех демократок и социалисток, конечно, лишь в малой мере дают представление о достоинстве труда И. С. Книжника-Ветрова.

Г. Павлова.

★

В. А. ПРОКОФЬЕВ. Героическая биография (Очерки истории рабочего класса России). Профиздат. М. 1964. 360 стр.

Это серия очерков об истории «его величества рабочего класса», рассказ о формировании русского пролетариата, созданий первых рабочих союзов, о революционной борьбе трудящихся.

История не может быть безымянной. Наша молодежь должна знать имена Василия Пятова, одного из первых высококвалифицированных рабочих девятнадцатого века, Семена Бадаева, изобретшего способ получения литой стали, и многих других замечательных умельцев. Особенно дороги ей имена выдающихся рабочих-революционеров Петра Алексеева, Виктора Обнорского, Степана Халтурина, Петра Моисеенко, Ивана Бабушкина, Михаила Калинин и многих других.

Становление рабочего класса России отличалось от формирования рабочего класса на Западе. Там его образование шло за счет разрушения сеховой, ремесленной организации, за счет крестьянина, давно освободившегося от крепостной зависимости. У нас пролетариат появился из вчерашнего крепостного крестьянина, неся в

себе вековую ненависть против угнетателей.

Антипод рабочего класса — русская буржуазия сформировалась в основном также за счет крестьянского сословия, тех «капиталистских» крестьян, которые сумели сколотить состояние всеми правдами и неправдами, будучи еще крепостными. Но как различные судьбы этих классов! Чем более революционным становился рабочий класс, тем контрреволюционнее — буржуазия.

По замечательной характеристике Г. В. Плеханова, русская буржуазия, развивая свои легкие, чтобы дышать воздухом бурного пореформенного капиталистического развития, сохранила жабры, чтобы плавать и дышать в мутной воде самодержавия. Немного из ее числа к концу дней своих, поняв трагическую обреченность, пришли к выводу Егора Булычова: «Не на той улице прожил».

Трудными путями шел рабочий класс России. Сложным и мучительным был процесс превращения его из класса «в себе» в класс «для себя». В ряде очерков В. Прокофьеву удалось проследить этот процесс. Но в целом задача написать родословную рабочего класса, своего рода книгу для чтения молодежи, повествующую о подвижниках рабочего класса, еще не решена.

Биография рабочего класса от начала XX века до победы Октябрьской революции изложена автором слишком бегло. Хотелось бы, например, увидеть в книге очерки о Михаиле Калинин и Думской пятёрке.

Хорошо, что автор поставил перед собой задачу изложить героическую биографию «в доступной, по возможности беллетризованной форме». Но зачем понадобились ему «красивости» вроде такой: «жеманные кринолины грациозно приседают перед напудренными париками...»? Почему героических участников «хождения в народ» он называет «бутафорными» или «водевильными» крестьянами? Или вдруг он дает такой заголовок: «Розовая юность homo sapiens». Это полюбившееся ему латинское выражение он неудачно употребляет и в другом месте, когда совершенно ясную мысль о распространении марксизма в России начинает словами: «Марксизм в России перестал быть достойным homo sapiens».

Все это тем более досадно, ибо, судя, например, по очерку «Рядовой революции» и по некоторым другим, В. А. Прокофьев может писать просто и ясно.

И. Матюшина.

★

ПАВЕЛ ПОДЛЯШУК. Партийная кличка — Лунный. Документальная повесть. Политиздат. М. 1964. 248 стр.

Эта книга рассказывает об ученом-астрономе, революционере-большевике, члене партии с 1905 года Павле Карловиче Штернберге. Она написана на основе кропотливо, со знанием дела подобранных документальных данных. Автор проделал подлинно ис-

следовательскую работу. Он с большой тщательностью собрал о своем герое, кажется, все, что можно было найти о нем в литературе, письмах, воспоминаниях, различных архивах и услышать от живых свидетелей, от его родных и знакомых.

Но достоинство повести не только в том, что она документальна. Автор дает правдивый и живой образ своего героя, с которым он сроднился и которого искренне любил, изучая его биографические данные и раскрывая в живых эпизодах черты этого замечательного и своеобразного человека.

В живую ткань повести, излагающей последовательно этапы замечательной жизни и деятельности героя, удачно, с соблюдением чувства меры вкраплены эпизоды, связанные с видными учеными и революционными деятелями, с которыми на своем жизненном пути встречался П. К. Штернберг.

В повести показано, как демократически настроенный студент и затем молодой ученый благодаря общению с передовыми учеными и личным впечатлениям, полученным от столкновения с жизнью трудящихся в условиях царского режима, логически приходит к сближению с революционным большевистским подпольем. П. К. Штернберга, ученого, привыкшего к точному мышлению, особенно привлекает в марксизме научная обоснованность, строгая логика и стройность марксистского мировоззрения, проникнутого материалистической диалектикой. Все это в атмосфере первой русской революции, героической борьбы русского пролетариата и жестокой расправы царизма с восстанием на Пресне определило окончательный и бесповоротный переход ученого-астронома на путь революции.

П. К. Штернберг не умел отдаваться любимому делу наполовину. Поэтому, вступив в ряды большевистской партии, он взял на себя опасное дело подготовки военно-технических условий для будущего вооруженного восстания, которое, он твердо верил, со временем победит.

Эта глубокая вера, имеющая корни в ленинском научном предвидении, полностью оправдалась. В дни, которые потрясли мир, П. К. Штернберг был в самых передовых рядах борцов за победу Октябрьского восстания в Москве, осуществляя непосредственное руководство боевыми операциями в Замоскворечье — одним из важных боевых центров Москвы.

Глубоко привлекателен образ выдающегося ученого, увлеченного изучением звездного неба, и в то же время страстного революционера-большевика, беззаветно преданного идеям и делу партии. Убедительно показаны на ярких фактах черты его характера: глубокая принципиальность, ясность и четкость мышления, строгий, немногословный стиль его выступлений, твердость характера, неиссякаемая энергия и работоспособность, большое чувство долга и ответственности, строгая деловитость, которая могла на поверхностный взгляд по-

казаться суровостью. Однако все это сочеталось с душевной мягкостью и чуткостью по отношению к людям, особенно к родным и друзьям. Вместе с тем ему присущи были богатство и тонкость душевных переживаний и эстетических настроений, находящихся выход в увлечении музыкой.

Есть в повести и некоторые спорные обобщения, недостаточно обоснованные догадки и неточности. Но они не настолько существенны, чтобы изменить общую, весьма положительную оценку повести об ученом революционере-большевике П. К. Штернберге, отдавшем все свои силы и самую жизнь борьбе за торжество Великой Октябрьской социалистической революции.

Академик К. Островитянов.

★

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗОРУЖЕНИЯ. Книга подготовлена Исследовательской группой при еженедельнике «Экономист» по поручению «Юнайтед уорлд траст». Перевод с английского. Вступительная статья В. П. Глушкова. «Прогресс». М. 1964. 327 стр.

Какие перспективы открывает разоружение перед экономикой современного капиталистического государства? Ответ на этот злободневный вопрос интересен независимо от того, идет ли речь о крупнейшей империалистической державе — США, где военные расходы возросли по сравнению с 1939 годом почти в пятьдесят раз, или о таком рядовом участнике НАТО, как Голландия, или наконец о «чемпионе» Западной Европы по военным расходам — Англии.

Чтобы понять, что стоит милитаризм, достаточно напомнить, что за счет тех средств, которые были поглощены двумя мировыми войнами и подтопкой к ним, все человечество могло бы жить более десяти лет.

К сожалению, о милитаризме приходится говорить не только в прошедшем времени. Лондонский журнал «Лейбор рисерч» в апрельском номере 1963 года показал, каких материальных благ лишается английский народ в результате гонки вооружения: за пятьдесят миллионов фунтов стерлингов, которые расходуются на создание одной подводной лодки, вооруженной ракетами «Поларис», можно было бы построить двадцать пять тысяч квартир или восемьдесят тысяч тракторов.

Форсирование гонки вооружений подрывает позиции Англии как мировой промышленной державы. Отсюда особый интерес, проявляемый ныне ее правящими кругами к экономическим последствиям разоружения. Этому и посвящена книга.

Ее авторы, сотрудники английского журнала «Экономист», выполняли заказ пацифистской организации «Юнайтед уорлд траст». Эта организация определяет свои задачи как изучение международной напряженности и поиски путей для ее смягчения. В деятельности «Юнайтед уорлд траст» принимают участие и те представители правя-

щих классов Англии, которые здраво оценивают положение в мире и считают необходимым осуществление идеи всеобщего и полного разоружения.

Книга состоит из двух частей. В первой говорится о влиянии военных расходов на экономику Англии, во второй рассматривается вопрос о переключении денежных средств с военных целей на гражданские.

В результате анализа огромного фактического и статистического материала, как уже опубликованного в Англии и за ее пределами, так и полученного в результате анкетного опроса большого количества фирм, авторы приходят к выводу, что единственный путь оздоровления экономики Англии — разоружение. В работе рассматриваются различные возможности использования средств, которые ныне идут на военные цели, разоблачаются те, кто твердит о плодотворном влиянии гонки вооружений на положение трудящихся капиталистических стран.

Ю. Улановский.

★

ДОКУМЕНТЫ ОБЛИЧАЮТ. Реакционная роль религии и церкви на территории Белоруссии. «Беларусь». Минск. 1964. 272 стр.

Убийство сектантом пионера. Смерть девушки после изувержского «исцеления» ее сектантами. Убийство фанатиком-католиком своего брата и покушение его же на племянника.

Что это — названия глав детективного романа? Нет, это выдержки из заголовков документов о подлинных случаях, имевших место в последние годы в Белоруссии. В книге опубликованы многочисленные донесения, отчеты, акты и другие документы, характеризующие реакционную роль религии, церкви. Они настолько красноречивы, что не нуждаются в комментариях. Да какой комментарий нужен, например, к помещенному в книге отрывку из «Поучения иерея» (1905), где говорится о том, что самая лучшая власть на свете — это царская, «богом утвержденная». Или к сообщению о том, что в минском соборе был обнаружен тайный склад, где хранилась любовная переписка ксендзов, порнографические книги и фотографии, контрреволюционная литература.

«Религия и церковь на службе немецко-фашистских оккупантов» — так называется одна из глав книги. В ней один за другим следуют документы о том, как служители церкви выдавали советских патриотов гитлеровцам, как содействовали массовому угону советских граждан на работу в Германию. Нельзя без возмущения читать резолюцию конференции епископов временно оккупированной территории Белоруссии с выражением преданности фашистским оккупантам и пожеланиями победы немецкому оружию, приветственную телеграмму Гитлеру, посланную Всебелорусским православным церковным собором в 1942 году, и другие подобные документы.

Глубокие раздумья вызывают напечатанные в книге заявления служителей культа об отречении их от духовного сана и разоблачении ими антинародного содержания религии. Большой фактический и психологический материал содержится в письме бывшего священника одной из церквей Могилевской области Гутаревича, который почти четверть века был служителем культа. Значительное место занимают заявления и рассказы бывших верующих об их пути от веры в бога к атеизму.

В книге есть также разделы: «Паразитизм и аморальное поведение духовенства», «Религиозный обман, фанатизм и изуверство», «Церковь — собственник и эксплуататор» и другие.

Читатель познакомится и с атеистическим фольклором — яркими пословицами и поговорками белорусов о религии и церкви.

Эта нужная книга — результат плодотворного труда работников Института искусствознания, этнографии и фольклора БССР, Архивного управления республики и Центрального исторического архива БССР.

Б. Виноградов.

Минск.

★

ЛИТЕРАТУРА О СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. Ежегодник. 1961. «Наука». М. 1964. 224 стр.

Отечественная востоковедческая наука накопила богатейший запас знаний об экономике, социальном строе, политической борьбе, культуре и искусстве стран Азии и Африки. Чтобы коротко ориентироваться в обширной литературе, созданной этой наукой, нужны специальные библиографические справочники.

К сожалению, в течение долгого времени библиографическая работа вообще и в области востоковедения в частности была почти полностью приостановлена. Из истории советского востоковедения исчезли имена и труды крупнейших ученых. Новому поколению исследователей приходилось подчас открывать давно открытые истины.

Восстанавливать подлинную картину развития востоковедения начали наши библиографы. В течение последних лет вышли в свет библиографии по Индии, Турции, Китаю, Японии, Юго-Восточной Азии, Монголии, Африке.

Однако динамика востоковедческих исследований такова, что этих справочников оказалось недостаточно. Чрезвычайно своевременна поэтому инициатива библиотеки Института народов Азии АН СССР, которая подготовила библиографический ежегодник (руководитель группы составителей А. М. Гришина). В нем собраны работы (книжки и журнальные публикации), изданные в 1961 году.

Система классификации литературы (по регионам и научным дисциплинам), принятая в «Ежегоднике», удачно отражает специфику востоковедческой науки, изучающей весь комплекс проблем той или иной

страны. По материалам «Ежегодника» читатель сможет определить, какие страны, темы, периоды, жанры в наибольшей степени привлекли исследователей. Специальные разделы (и подразделы) указывают литературу по общетеоретическим вопросам и сосредоточивают внимание на важных проблемах общественной жизни каждой из стран Азии и Африки. Однако для удобства читателя, интересующегося, например, состоянием изучения рабочего движения не в какой-либо одной стране, а во всех странах Востока, стоило бы помешать в справочнике предметный указатель. В первом выпуске он отсутствует.

Следует также учесть, что круг лиц, заинтересованных в «Ежегоднике», много шире того, который, видимо, имели в виду составители. К Востоку привлечено внимание самых широких слоев читающей публики. Несомненно, лекторам, пропагандистам, агитаторам помогли бы материалы газет, если бы упоминание о наиболее важных из них было в «Ежегоднике». Думается также, что составителям следовало бы чаще прибегать к помощи аннотаций и таким способом рекомендовать читателю интересные, оригинальные работы.

Издание библиографического ежегодника «Литература о странах Азии и Африки» положено начало важной и нужной работе.

А. Вафа.

★

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ. Библиографический указатель. 1902—1963. Составила К. Д. Муратова. Л. 1964. 263 стр. Институт русской литературы (Пушкинский дом). Библиотека Академии наук СССР.

В последнее время интерес к творчеству Луначарского значительно вырос: выпускаются сборники его работ, печатается восьмитомное собрание сочинений, появляются исследования и монографии о критике. Поэтому выход в свет библиографии его работ о литературе и искусстве отвечает насущным потребностям.

Можно смело сказать, что без трудов блестящего марксистского критика А. В. Луначарского сейчас нельзя представить себе изучение литературы, театра, музыки, живописи, эстетики дооктябрьского периода XX века и советской эпохи. Видный литературовед и специалист по литературной библиографии К. Д. Муратова дала в руки исследователей ценный путеводитель по богатейшему литературному наследству критика. В ее библиографическом своде зарегистрировано 1625 работ Луначарского на темы литературы и искусства, из них свыше пятисот — о русском и зарубежном театре и драматургии, более ста — о музыке, примерно столько же — об изобразительном искусстве. В указателе учтены также художественные произведения Луначарского и его переводы, поскольку в них также нашли отражение литературно-эстетические взгляды критика.

Библиографический труд о Луначарском — результат огромной, тщательно проделанной работы. Автором-составителем систематически просмотрено около ста пятидесяти дореволюционных и советских газет и журналов, большое число книг и сборников. Возможно, со временем выявятся какие-либо статьи и рецензии, не учтенные составителем. Не исключено, что публикации Луначарского в зарубежной печати были более значительны, чем это сейчас отмечено. Однако возможные находки вряд ли дадут что-то принципиально новое: основное, главное из наследия Луначарского по вопросам литературы и искусства К. Д. Муратовой зарегистрировано и описано с учетом строгой хронологии.

Аннотации и хорошо выполненные вспомогательные указатели (составитель указателей — Г. В. Степанова) облегчают пользование библиографией. По-видимому, скрупулезная проверка может обнаружить здесь некоторые неточности (например, неточно проаннотирована статья «Новая поэзия» под № 462: ее содержание шире аннотации). Но суть дела не в этом. Главное — читатель получил добротный библиографический справочник, отразивший поистине колоссальную деятельность Луначарского как критика литературы и искусства. На очереди теперь создание такой библиографии, которая наиболее полно представит литературу о нем.

П. Куприяновский,
кандидат филологических наук.

г. Иваново.



М. ЧЕРНОЛУССКИЙ. Уходящие поезда. Повесть и рассказы. «Советская Россия». М. 1964. 94 стр.

Герои рассказов М. Чернолуцкого добры и человечны. Это, пожалуй, главная черта их характеров, основной принцип отношения к жизни, к людям.

Старый колхозник Егор Тимофеевич берет к себе в дом встреченного на дороге паренька, круглого сироту; простая рабочая девушка своей любовью и добрым участием вселяет в душу солдата, случайного попутчика, так необходимые ему в ту пору мужество и стойкость. И хоть все эти добрые дела совершаются героями М. Чернолуцкого как бы мимоходом, мы знаем цену этим простым проявлениям человечности. Однако писателю меньше удается изображение тех героев, характеры которых находятся в процессе становления.

Порой читатель раньше, чем ему следует, узнает о благородных поступках героев, подчас еще до того, как они бывают совершены. Так, например, происходит с героиней рассказа «Под проливным дождем». О том, что молодой специалист Рая останется на работе в глухом леспромхозе, мы догадываемся значительно раньше, чем эта мысль приходит к ней самой. Несомненно, это нужно отнести к недостаткам собранных в книге рассказов.

В жизни бывают случаи, когда быть чест-

ным, справедливым ничего или почти ничего не стоит. Так, решение молодого специалиста остаться работать там, куда его послали, хоть и заслуживает одобрения, но вовсе не является подвигом, совершенным во имя победы справедливости. Стоит ли автору так восторгаться тем, что не выходит из норм обычного поведения человека? То же самое происходит и в рассказе «Небо». Здесь автор безмерно восхищен своими героями, которые видят в любви прежде всего красоту чувств и чистоту помыслов, а не пошлое стремление «не упустить своего».

Встретив человека, который смутился, заметив, что посторонние люди наблюдают за тем, как он с детской улыбкой смотрит на закат солнца, писатель удивленно спрашивает: «Откуда у него этот ненужный глупый стыд за свою добрую, в сущности всегда чуть наивную душу, за свою человечность?» Автор прав. Человеку действительно никогда не следует стыдиться своей доброты и человечности. Между прочим, точно так же, как и кокетничать ими, выставлять их напоказ. Истинно добрые люди всегда скромны. Этого нельзя упускать из виду и писателю, стоящему на страже доброты и человечности.

Г. Макаров.



КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ. У кого поселяются аисты. Повести и рассказы. «Советская Россия». М. 1964. 381 стр.

Произведения Константина Воробьева, собранные под одной обложкой, будь то повесть о послереволюционной деревне («Сказание о моем ровеснике»), о трагической героине первого военного года («Убиты под Москвой») или о современности, драматически соотнесенной с тридцатыми годами («Почем в Ракитном радости»), — способны держать самый строгий экзамен в условиях сегодняшних повышенных нравственных и эстетических критериев. Судьбы его центральных героев — крестьянского сироты Алешки; зеленого, усвоившего парадно-уставной взгляд на войну и попавшего в самое ее пекло лейтенанта Ястребова; прошедшего все круги жизненного ада, но не утратившего веры в человека писателя Останкова, — соприкасаясь, взаимодействуя, складываются в единую биографию современника, пережившего и переживающего так много, что его духовного опыта хватит не на одну книгу.

Посреди всех этих резко выписанных судеб, удивительных своей прямодушностью историй одна особо останавливает читательское внимание — «Почем в Ракитном радости». Много воды утекло с той поры, как покинул Ракитное паренек Останков. В бесплодный тридцать седьмой год он, четырнадцатилетний сельшок, был неукротимым бичом всякому не порядку в родном колхозе. Когда же ему повстречался родной дядя Мирон с мешком колхозного жмыха, и его не пошадил убежденный в своей высокой правоте подросток. Столкнувшись затем с дядей, уже изгнанным с мельницы, у речки

мальчик, испугавшись его, отступает и падает в воду. Он чуть не погибает и, исцарапанный льдинами, в простудном жару, совершенно перепуганный и сбитый с толку, подтверждает версию председателя колхоза о будто бы совершенном на его жизнь покушении. Дяде Миرونу дают «вышку». И все последующие испытания, выпавшие на долю Останкова — немецкий плен, партизанщина и особенно «свой» лагерь, — он встречает как справедливое, заслуженное возмездие за свою безжалостную ложь.

Но, вернувшись в село, герой вдруг узнает, что дядя Мирон, которому заменили расстрел десятью годами, жив и работает, как и прежде, мирошником на мельнице. Нелегко и не сразу отпускает душу тяжесть, долго мучившая его. Не раз отворачивается он от Мирона — положить, чтобы «костыли глаза», — когда вспоминает прошлое...

Сознывая высокую ответственность за сложные, не герпящие фальши и компромисса темы, какие он избирает, писатель с любовью показывает самые истоки, прочную нравственную основу человека, будь то младший лейтенант Воронов (повесть «Крик») или деревенский мальчонка Костик Мухин, выхаживающий искалеченную птицу («У кого поселяются аисты»). Кровно, родственному ощущая своих героев, К. Воробьев славит их стойкие души, их отдачу труду, их верность добру и человечности.

Несмотря на обилие драматических ситуаций, покалеченных судеб, несмотря на множество смертей, увечий, ран, которые не минуют его героев, произведение К. Воробьева пронизывает глубокая вера в человека и восхищение им.

О. Михайлов.

★

АЛЕКСАНДР ЧАК. Лестницы. Стихи. Перевод с латышского Вл. Невского. Латгосиздат. Рига. 1964. 175 стр.

Если спросить наугад у десяти людей, любящих и знающих поэзию, знакомы ли им стихи Александра Чака, то, пожалуй, лишь один-два ответа окажутся утвердительными. А между тем этот оригинальный поэт заслуживает того, чтобы о нем знали и помнили. Чак умер пятнадцать лет назад, он прожил большую и сложную жизнь, его любят и много читают в Латвии, но его поэзия выходит за рамки узконациональные — он, несомненно, принадлежит всей советской поэзии. Его стихи выдержали испытание временем.

Первая книга Чака вышла в 1928 году. Это было в буржуазной Латвии, замороженной в ту пору иллюзией «процветания»: свинные короли раскатывали в шикарных английских автомобилях по бульвару Свободы, поэзия была душиста и изысканна, как парфюмерный киоск. А Чак, исколесивший Россию санитаром, латышским стрелком, а потом слушавший в Москве Маяковского и Есенина, писал об угольщиках и инвалидах, о пивнушках и кладбищах, трущобах новой, рабочей, а не старой, нидиллической Риги, о трамваях и трубочистах, тор-

говках и уличных мальчишках. Его демократизм был не позой поэта, эпатирующего обывателя-буржуа — нет, он любил свою окраину, ее людей, быт улицы, он не мог писать о другом. Его герои «проживают в подвале — там лестница пахнет известной эссенцией «Кошки и Сырость», там варятся щи ежедневно и жарится лук, вечно сохнет белье на веревке, а солнце бывает не чаще, чем аэроплан» («Мальчонка с подбитым глазом»). Его классовость органична, а не умозрительна, она порождена живым наблюдением жизни и мыслью об увиденном.

«Города-спруты» Верхарна, города немецкой поэзии начала века, город Маяковского и Брюсова — все это в какой-то степени имеет свои сцепления с городскими мотивами Чака. Только у него нет вызова городу, как у Маяковского, или крестьянского страха и презрения к нему, как у Есенина. У Чака скорее можно найти горькую блоковскую любовь к городу, обиду за его оплеванные нищеты и оскорбленные вызывающим богатством улицы. Начальный, подражательный урбанизм Чака очень скоро переплавился в гакую, например, остро социальную балладу, как «Шведские камни» — балладу об уличном восстании, о рабочей демонстрации, вооружившейся булыжником. Причем эта баллада не дань объективному изображению жизни улицы, а полный боли крик поэта, стоящего на стороне угнетенных.

Герой Чака бывает гневен и неистов, но все-таки чаще он смотрит на мир с грустной улыбкой, и он умеет радоваться жизни, как радуется живущий в подвале ребенок тонкому лучу солнца или весеннему воздуху. Это, в сущности, печальная радость, но от этого она не становится менее глубокой или менее чистой. Кто лучше голодного знает цену куска хлеба! Чак не проклинает жизнь, как никогда не проклинают родину, он не гонит против того, что делает жизнь несчастной, а родину нищей.

Куда б ни шел я, лестница со мной.
Когда умру, осядет сизым паром
Мое дыханье на ее ступени,
Чтоб до скончания веков я видел
Пусть мелкую и горькую, но все же
Сняюще-возвышенную жизнь,
По лестнице бегущую вседневно.

Этими словами хочется закончить эту небольшую рецензию, которая не претендует, разумеется, на рассказ о творчестве поэта, а имеет лишь одну цель: отдать должное его памяти и сказать о нем тем, кто не слышал прежде такого имени — Александр Чак.

★

М. Рошин.

АНДРАНИК ЦАРУКЯН. Люди без детства. Повесть. Перевод с западноармянского. «Прогресс». М. 1964. 134 стр.

Люди, которые ищут свое детство... Ищут везде — в чужих странах, в различных профессиях, в искусстве. Ищут, но не находят — ибо навсегда потеряли его в трагический для жизни турецкий армян 1915 год.

Армянские поэты, ученые, литераторы были зверски убиты тогда в горах Анатолии, армяне были изгнаны из родных мест, свыше миллиона человек погибло или пропало без вести в Сирийской пустыне, семьи были разрушены, дороги заполнили беженцы, бездомные, сироты; часть их после мучительных скитаний пришла в Советскую Армению, остальные рассеялись по белу свету.

В среде этих скитальцев возникла литература, которую можно назвать «литературой изгнанников». Она начала активно развиваться после двадцатого года, в особенности во Франции, Сирии и Египте, где осела основная масса беженцев. И, конечно же, ведущей темой этой литературы стала тема утраченной родины, воспоминания о ее быте, картины покинутых городов и деревень — и разлука с детством...

«Если бы дан был тебе, друг мой, в последний, в страшный миг агонии еще один, всего только один день жизни в этом суровом мире, какой из дней ты вернул бы, какой бы пожелал?».

О, лишь один день прошлой жизни! Ни любви, ни величия не вернул бы я... Я бы вернул свое детство».

Эти строки из повести западноармянского писателя Андраника Царукяна «Люди без детства». Андраник Царукян после долгих скитаний очутился на Арабском Востоке, работал учителем в армянских школах Ливана и Сирии. Повесть «Люди без детства» он посвятил маленькому Андранику, который, потеряв родных во время резни 1915 года, оказался в стенах одного из приютов.

Приютские дети не были «сиротами со слезавых картинок воскресных журналов для детей». То были дикие маленькие зверьки, чья «дубленая кожа выдерживала и холод, и ветер, и любви...». Босые, полуголые, вечно голодные — сколько хитрости и душевных сил затрачивали эти дети на то, чтобы получить кусочек хлеба сверх положенного! Сколько изобретательности требовалось, чтобы догадаться просверлить в ложке дырочки и зачерпывать ею из общего котелка одну только гущу!

Самый примечательный из обитателей приюта — маленький Погос, больной, заживо гниющий в своем сыром углу. Приютские надзиратели наказывают сирот тем, что заставляют их провести ночь в одной постели с Погосом. И когда эта кара постигает героя повествования, он, к своему удивлению, обнаруживает, что под язвами и зловонной коростой маленького отщепенца живет широкая, отзывчивая душа. Погос первый дает ему урок подлинной человечности.

Медленно катятся приютские дни. Но постепенно ребята мужают, детские страхи и борьба за лишний кусочек хлеба уступают место впервые обретенному чувству товарищества. И даже когда герой книги находит наконец свою мать, он снова убегает от нее в приют, чтобы не разлучиться со своими друзьями...

Композиционно книга очень проста, и короткие фразы, как бы порожденные детским мышлением, позволяют глубже понять изломанную, одинокую душу ребенка, вышедшего в бой с целым миром. Б. Окуджава, осуществивший русский перевод этой книги, бережно сохранил особенности стиля ее автора.

Л. Фейгина.

★

БЛОКОВСКИЙ СБОРНИК. Труды научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока, май 1962 года. Тартуский государственный университет. Тарту. 1964 557 стр.

«Блоковский сборник» (ответственный редактор Ю. Лотман) — первый за несколько последних десятилетий коллективный труд о Блоке. Он содержит семь статей разных авторов, важнейшие биографические материалы, никогда не публиковавшиеся воспоминания, библиографические сведения.

В предисловии сказано: «Участники сборника связаны прежде всего их стремлением расширить круг проблем и аспектов историко-литературного изучения Блока».

В ряде работ последнего времени все еще продолжает господствовать нетворческое решение сложнейших проблем поэтического развития на рубеже двух веков. Расширение наших представлений о Блоке и его эпохе, его окружении, соотношении его творчества с различными литературными школами — самая настоятельная задача в нынешнем изучении наследия Блока. Надо надеяться, что выход «Блоковского сборника» поможет укреплению неподвзятого и вместе с тем научно объективного взгляда на Блока и искусство его времени.

Инициаторами издания сборника являются Д. Максимов и З. Минц. Ими же написаны статьи: «Критическая проза Блока» (Д. Максимов) — первый опыт широкой систематизации прозаических работ Блока, и «Поэтический идеал молодого Блока» (З. Минц) — также впервые предпринимая попытка выяснить характер преемственности и причины расхождения Блока и Владимира Соловьева. Проблема «Блок и Леонид Андреев» решается в богатой наблюдениями статье В. Беззубова. Статья Ю. Лотмана и З. Минц устанавливает традицию «цыганской темы» в русской литературе XIX века и в лирике Блока. Л. Гинзбург ставит в своем исследовании тему «прозаизмов» в поэзии Блока. Много нового дают статья Ю. Герасимова «Александр Блок и советский театр первых лет революций», его же публикации неизвестных материалов и работа В. Адамса «Восприятие А. Блока в Эстонии». Все это темы, не привлекавшие до сих пор внимания исследователей.

Чрезвычайно важные свидетельства содержат впервые публикуемые воспоминания и дневники одного из ближайших друзей Блока Е. Иванова, очень интересны воспоминания бывшего руководителя издатель-

ства «Алконост» С. Алянского (где впервые на русском языке приводится рассказ Блока о том, как возник образ Христа в поэме «Двенадцать»), дополненные разысканиями И. Чернова «Блок и книгоиздательство «Алконост», мемуарные заметки В. Стражева. Весьма полезны публикации архивных материалов и обзоров — Вл. Орлова «Некоторые итоги и задачи советского блоковедения» и библиографии А. Пайман, где собраны данные (более двухсот номеров) об изданиях и изучении Блока за рубежом.

Очевидный недостаток издания — отсутствие именного указателя. В коллективном труде, содержащем множество имен и названий, он крайне необходим.

Неинтересно сборник выглядит внешне: неудачный переплет, с которым не вяжется выполненная совсем в другой манере супер-обложка.

Л. Долгополов.

Ленинград.

★

АЛЕКСЕЙ ГАСТЕВ. Поэзия рабочего удара. «Советский писатель». М. 1964. 312 стр.

Около двадцати лет в истории советской литературы не было упоминаний об этой книге и ее авторе. Вот почему выход в свет «Поэзии рабочего удара», в которую сейчас включено все лучшее, что создано Гастевым в разные годы (предисловие З. Паперного, примечания Р. Шацевой и С. Лесневского), воспринят с удовлетворением и теми, кто знал эти произведения в пору своей юности, и теми, кто впервые знакомится сегодня с одним из зачинателей нашей поэзии.

Внешний вид сборника, как и само его название, воскрешает ту далекую пору, когда рождалась и делала первые шаги советская власть. Гастев начинал свое твор-

чество как певец «рабочего удара», стальной машинной мощи, где ритм отдельного станка, грохот завода, «железная поступь миллионов» заглушали дыхание отдельной, «конкретной», из крови и плоти личности.

Его «стихопроза», лишенная строгого размера и все же внутренне организованная, приподнятая и гиперболитичная, порой не свободная от риторики, воспевала силу рабочих рук, мощь домен и кранов, стальную волю человека, преобразующего землю. Но шло время, и вместе со всей советской литературой менялся и А. Гастев.

Впоследствии Гастев отдается любимому делу: руководит своим детищем — Центральным институтом труда (ЦИТ). На смену поэзии приходит страстная научная публицистика: как, какими путями увеличивать производительность труда, как бороться за культуру производства.

Наряду с фантастически смелыми проектами городов будущего («Машина») Гастев смело говорит о тех причинах, которые мешают строить социализм, о той инерции, которая досталась в наследство от прошлого разоренной стране.

Гастев учил своего читателя верить, учил работать, учил культуре труда.

Многие его призывы и лозунги звучат и сегодня:

«На собрании никакой оратор не должен брать слова, если не может его закончить предложением».

«Прежде чем изменить способы работ, надо их тщательно изучить».

«Не воображай себя организатором, прежде чем не наведешь чистоту».

«Если решил — действуй!»

Можно много написать о Гастеве — поэте, революционере, организаторе. Но лучше всего познакомиться с самой его книгой.

Р. Борисов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Против догматизма, сектантства, «левого» оппортунизма. 448 стр. Цена 73 к.

И. Азаров. Сражающаяся Одесса. 128 стр. Цена 12 к.

Д. Быков. Комкор Павлов. 80 стр. Цена 11 к.

Люди бессмертного подвига. Очерки о дважды Героях Советского Союза. Книга первая. 512 стр. Цена 77 к. Книга вторая. 528 стр. Цена 80 к.

Ш. Манучарьянц. В библиотеке Владимира Ильича. 112 стр. Цена 10 к.

Р. Маркова. Первый съезд РСДРП. 80 стр. Цена 10 к.

К. Мерецков. Неколебимо, как Россия. 128 стр. Цена 14 к.

Л. Озеров. Ленинские принципы организации контроля. 80 стр. Цена 9 к.

Провал операции «Цитадель» (Разгром немецко-фашистских полчищ в битве на Курской дуге) 264 стр. Цена 41 к.

Социализм и народовластие. Справочник. 176 стр. Цена 22 к.

М. Столяренко. Матрос с «Зари свободы» (О П. Д. Хохрякове). 80 стр. Цена 9 к.

Р. Фраерман. Готовы ли вы к жизни? 64 стр. Цена 6 к.

В. Чуйков. Беспремерный подвиг (О героизме советских воинов в битве на Волге). 160 стр. Цена 15 к.

«МЫСЛЬ»

А. Афанасьева, А. Нуруллаев. Коллектив и личность. 258 стр. Цена 93 к.

К. Гусев. Краткий очерк истории органов партийно-государственного контроля в СССР. 103 стр. Цена 13 к.

Н. Кастере. Зов бездны. Перевод с французского. 174 стр. Цена 49 к.

Е. Княжецкая. Судьба одной карты. 119 стр. Цена 20 к.

Б. Ляпунов. Планета сегодня и завтра. 140 стр. Цена 21 к.

Н. Мальцев. Материальное и моральное стимулирование труда в промышленности. 96 стр. Цена 11 к.

Планирование народного хозяйства СССР. Учебное пособие. 414 стр. Цена 1 р.

Социалистический производственный коллектив. 230 стр. Цена 84 к.

Экономика строительства. Учебное пособие. 192 стр. Цена 49 к.

Экономические проблемы ускорения технического прогресса в промышленности. 277 стр. Цена 99 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ж. Аветисян. Окна настужь. Повести и рассказы. Перевод с армянского. 244 стр. Цена 48 к.

К. Буачидзе. Комедии. Перевод с грузинского. 288 стр. Цена 70 к.

С. Вайман. Марксистская эстетика и проблемы реализма. 320 стр. Цена 75 к.

А. Довженко. Зачарованная Десна. Автобиографическая повесть. Рассказы. 324 стр. Цена 50 к.

В. Кин. Избранное. 392 стр. Цена 69 к.
Л. Ленч. Адская машина. Рассказы фельетоны. 316 стр. Цена 35 к.

В. Лозовой. О чем шумел Полесский бор. Повесть в рассказах. Перевод с украинского. 192 стр. Цена 27 к.

Ю. Слепухин. Ступи за ограду. Роман. 512 стр. Цена 85 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

П. Гаскар. Зерно. Роман. Перевод с французского. 152 стр. Цена 30 к.

М. Дильбази. Яблоневая ветка. Стихотворения и поэмы. Перевод с азербайджанского. 151 стр. Цена 24 к.

М. Коцюбинский. Собрание сочинений. В четырех томах. Том I. 436 стр. Цена 75 к. Том II. 375 стр. Цена 75 к.

Польские народные легенды и сказки. 382 стр. Цена 64 к.

Висенте Рива Паласио. Пираты Мексиканского залива. Роман. Перевод с испанского. 440 стр. Цена 85 к.

Г. Фиш. Избранное. 728 стр. Цена 1 р. 35 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

День нынешний и день грядущий. Беседы. 280 стр. Цена 58 к.

А. Кириосов. Необитаемый остров. Повести и рассказы. 352 стр. Цена 67 к.

М. Колесников. Лобачевский. 320 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 64 к.

В. Порудоминский. Пирогов. 304 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 77 к.

А. Смолян, Д. Ченцов. Здесь, в самом сердце Африки. Повесть о Патрисе Лумумбе. 368 стр. Цена 69 к.

Е. Яковлев. Я иду с тобой. 160 стр. Цена 19 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Е. Брошневич. Одно другого интересней. Повесть. Перевод с польского. 239 стр. Цена 44 к.

А. Власов, А. Млодин. Тайна девятки усащей. Повесть. 184 стр. Цена 39 к.

З. Воскресенская. Костры. Рассказы о Владимире Ильиче Ленине. 96 стр. Цена 22 к.

А. Говоров. Алкамен — театральный мальчик. Историческая повесть. 207 стр. Цена 39 к.

Г. Губай. Когда мы росли. Повесть. Перевод с татарского. 240 стр. Цена 52 к.

Н. Дубов. Мальчик у моря. Повесть. 112 стр. Цена 25 к.

С. Жемайтис. Красная ниточка. Повести. 159 стр. Цена 37 к.

В. Козлов. Президент Каменного острова. 208 стр. Цена 46 к.

З. Косенко, А. Ремезова. Рассказы о жизни мозга. 191 стр. Цена 40 к.

Б. Лунин. Смерть ойуна. Якутская быль. 136 стр. Цена 31 к.

С. Львов. Откуда начинается путешествие. 143 стр. Цена 32 к.

А. Мошковский. Трава и солнце. Повесть и рассказы. 239 стр. Цена 43 к.

Е. Осетров. Поиски, находки, тайны. 176 стр. Цена 82 к.

К. Перевощинов. Остров семитысячный. 127 стр. Цена 31 к.

Б. Привалов. Всадник без бороды. Юмористическая повесть по мотивам казахских народных преданий, сказок и анекдотов. 176 стр. Цена 40 к.

Л. Разгон. Шестая станция. 223 стр. Цена 43 к.

Сат-Он. Земля Соленых Скал. Повесть. Перевод с польского. 222 стр. Цена 44 к.

Я. Свет. Последний инка. Хроника горьких лет борьбы и гибели Царства Солнца и его последнего оплота — поднебесной Вилькампмы. 175 стр. Цена 37 к.

В. Туренская. Марианна ищет родных. Повесть. 144 стр. Цена 33 к.

Г. Федосеев. Пашка из Медвежьего лога. Повесть. 208 стр. Цена 40 к.

З. Фейгин. Мальчик пляшет под дождем. Повесть. 288 стр. Цена 67 к.

Т. Цинберг. Седьмая симфония. Повесть. 176 стр. Цена 26 к

«ИСКУССТВО»

Ю. Головашенко. Классика на сцене. Критические очерки. 302 стр. Цена 1 р. 20 к.

Е. Карцева. Сделано в Голливуде. 260 стр. Цена 91 к.

П. Кончаловский. Художественное наследие. 302 стр. Цена 7 р.

Г. Кремлев. Михаил Калатозов. 243 стр. Цена 60 к.

И. Куратова. Советская скульптура. Краткий очерк. 292 стр. Цена 1 р. 12 к.

А. Левицкий. Рассказы о кинематографе. 248 стр. Цена 1 р. 15 к.

И. Медведева. Екатерина Семенова. Жизнь и творчество трагической актрисы. 320 стр. Цена 1 р. 50 к.

Ц. Нессельштраус. Искусство Западной Европы в средние века. 390 стр. Цена 1 р. 60 к.

П. Новицкий. Хмелев. 243 стр. Цена 1 р. 14 к.

Очерки по истории русского портрета конца XIX — начала XX века. 472 стр. Цена 4 р. 5 к.

О. Прокофьев. Искусство Индии. 232 стр. Цена 1 р. 5 к.

Е. Ротенберг. Микеланджело. 182 стр. Цена 1 р. 20 к.

Б. Рунин. Вечный поиск. 176 стр. Цена 36 к.

А. Свирин. Искусство книги Древней Руси. 300 стр. Цена 2 р. 4 к.

Театральный календарь. 1965. 326 стр. Цена 90 к.

С. Фрейлих. Фильмы и годы. Развитие реализма в киноискусстве. 372 стр. Цена 1 р. 32 к.

Ю. Каламинский. В. А. Фаворский. 291 стр. Цена 3 р.

С. Цимбал. Театральная новизна и театральная современность. 312 стр. Цена 60 к.

К. Чуковский. Высокое искусство. О принципах художественного перевода. 355 стр. Цена 79 к.

«НАУКА»

З. Анчабадзе. История и культура древней Абхазии. 239 стр. Цена 88 к.

Археологический ежегодник за 1963 год. 432 стр. Цена 2 р. 73 к.

Афганистан, Иран, Турция. История и экономика. 138 стр. Цена 81 к.

А. Бритиков. Мастерство Михаила Шолохова. 203 стр. Цена 1 р. 16 к.

Г. Вагнер. Декоративное искусство в архитектуре Руси X—XIII веков. Альбом. 40 стр. Цена 1 р.

В. Вальков. СССР и США. Их политические и экономические отношения (1917—1941). 396 стр. Цена 1 р. 51 к.

Л. Виноградов. Жизнь дальневосточных морей. 111 стр. Цена 20 к.

Н. Гольдберг. Свободомыслие и атеизм в США. XVIII—XIX вв. 300 стр. Цена 1 р. 49 к.

Е. Городецкий. Рождение Советского государства. 1917—1918 гг. 531 стр. Цена 2 р.

О. Знаменский. Июльский кризис 1917 года. 272 стр. Цена 1 р. 36 к.

Л. Климович. Ислам. 334 стр. Цена 66 к. Литература стран Африки. Сборник 1. 199 стр. Цена 65 к.

В. Массон, В. Ромодин. История Афганистана. В двух томах. Том 1. С древнейших времен до начала XVI века. 464 стр. Цена 2 р.

Народы Европейской части СССР. В двух томах. Том 1. 984 стр. Цена 5 р. 20 к.

М. Новлянская. Иван Кириллович Кирилов, географ XVIII века. 142 стр. Цена 35 к.

Очерки по истории экономики и классовых отношений в России конца XIX — начала XX в. 180 стр. Цена 61 к.

А. Петербургский. Как и чем питаются растения. 184 стр. Цена 29 к.

М. Петров. Пустыни СССР и их освоение. 147 стр. Цена 23 к.

Проблемы современной филологии. 475 стр. Цена 2 р. 50 к.

Против современных буржуазных фальсификаторов марксистско-ленинской философии. 248 стр. Цена 72 к.

Русские повести первой трети XVIII века. 324 стр. Цена 1 р. 14 к.

Д. Саруханян. Творчество Шона О'Кейси. 219 стр. Цена 61 к.

Д. Тарасова. Из творческой лаборатории М. Горького. 159 стр. Цена 34 к.

Технико-экономические расчеты в энергетике. Сборник статей. 152 стр. Цена 83 к.

В. Чернецов. Наскальные изображения Урала. 52 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Яковлевский. Аграрные отношения в СССР в период строительства социализма. 343 стр. Цена 1 р. 22 к.

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (ГРОЗНЫЙ)

Р. Ахматова. Откровение. Стихи. Перевод с чеченского. 130 стр. Цена 31 к.

Лермонтовский сборник. 1814—1964. 218 стр. Цена 37 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 15/II 1965 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 15/III 1965 г.
Формат бумаги 70×108/16. Зак. 371. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.).
А 02728. Тираж 119.700.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

**ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ И КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ**

Художественный фонд СССР, художественные фонды союзных республик, их областные, краевые отделения, творческо-производственные предприятия принимают заказы на создание оригинальных произведений живописи, графики, скульптуры.

По тематическому заданию заказчика создаются: циклы графических произведений, галереи портретов, художественные и народнохозяйственные выставки, всевозможные средства наглядной агитации и пропаганды.

Предприятия системы Художественного фонда СССР проектируют и осуществляют в натуре комплексное художественное оформление архитектурных ансамблей, школ, больниц, культурно-просветительных и бытовых учреждений, а также революционных праздников, физкультурных парадов, молодежных фестивалей, карнавалов.

В художественных салонах-магазинах любители изобразительного искусства могут приобрести: произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Письма-заказы направлять в адреса республиканских художественных фондов, их городских, областных, краевых отделений, а также в подведомственные им комбинаты и мастерские.

При необходимости на места для консультации и оформления заказа направляются соответствующие специалисты.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФОНД СССР